ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

[10] 2009

НОЧЬ, КОГДА ПАЛА СТЕНА: ФРАГМЕНТЫ РОМАНА УВЕ ТЕЛЬКАМПА "БАШНЯ. ИСТОРИИ С ЗАТОНУВШЕЙ ЗЕМЛИ" / СТИХИ ХАЙНЕРА МЮЛЛЕРА, ДУРСА ГРЮНБАЙНА И БОРИСА ШАПИРО / РАЙНХАРД ЙИРГЛЬ И ДР. В РУБРИКЕ "9 НОЯБРЯ 1989 ГОДА" / ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ ГЮНТЕРА ГРАССА "ПО ПУТИ ИЗ ГЕРМАНИИ В ГЕРМАНИЮ. ДНЕВНИК 1990 ГОДА" / СТАТЬЯ ГЕРТЫ МЮЛЛЕР "В МОЛЧАНИИ МЫ НЕПРИЯТНЫ, А ЕСЛИ ЗАГОВОРИМ — СМЕШНЫ"

Основан в 1955 году

Этот номер мы решили посвятить двадцатилетию падения Берлинской стены. Мы хотели, чтобы наши читатели убедились, как много общего в их жизненном опыте, связанном с годами Перестройки, и в жизненном опыте восточных немцев. И чтобы они узнали о тех трудностях — и экономического, и психологического характера, — что возникли в связи с объединением страны, народу которой долгие годы навязывалось разделение на две части. Мы постарались поэтому как можно шире представить документальные материалы, опубликовав и эссе из антологии “Ночь, когда пала Стена. Писатели рассказывают о 9 ноября 1989 года”, и фрагменты дневников 1990 года лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса, и специально написанное для нашего номера эссе Веры Бишицки — переводчицы с русского языка, автора нового, недавно вышедшего в свет немецкого перевода “Мертвых душ”.

Мы хотели показать, что в литературе современной Германии осмысление объединения страны остается одной из важнейших тем. Мы печатаем фрагменты трех романов — из-за большого объема их невозможно было включить в номер целиком. Роман Уве Телькампа “Башня”, напечатанный в 2008 году, стал литературной сенсацией, критики сравнивали его с “Будденброками” Томаса Манна. “Новые жизни” Инго Шульце считается лучшим произведением этого очень влиятельного в Германии автора. “Мороженое *Московское*” — талантливый романный дебют Аннетт Грёшнер. Все три автора родились в Восточной Германии, и, при всех различиях, они знают о чем пишут. Совсем иной взгляд — у родившегося на Западе Георга Кляйна, в рассказе которого “Нойма” “социалистическая” тема предстает, скорее, пугающей экзотикой.

В номер включены стихи трех очень разных авторов. Хайнер Мюллер, известный и любимый на Западе восточнонемецкий драматург, автор замечательных пьес и кумир гэдээровских диссидентов, сам, однако, никогда не рвал отношений с правящим режимом. Дурс Грюнбайн пытается осмыслить свое детство, проведенное в “советской зоне”, в Дрездене. Наконец, третий поэт, наш соотечественник Борис Шапиро, эмигрировал в Германию и обрел там удивительную судьбу поэта, пишущего стихи на двух языках, немецком и русском.

Проблемам языка — в условиях тоталитарного режима и после его падения — посвящено эссе Герты Мюллер, немецкой писательницы, которая родилась в Румынии, в семье бывшего эсэсовца, стала румынской диссиденткой и позже эмигрировала в ФРГ.

Мы хотим выразить самую искреннюю благодарность всем сотрудникам московского Гёте-института и прежде всего его директору г-ну Йоханнесу Эберту за всегдашнюю деятельную помощь российским переводчикам немецкой литературы, за поддержку при подготовке этого специального номера.

Татьяна Баскакова,
Екатерина Иванова



[10]
2009
Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

Ночь, когда пала Стена

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Йоханнес Эберт

Директор московского Гёте-института,
руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Гёте-институте

“Часы пробили... 9 ноября”

“...но потом вдруг... часы пробили, пробили 9 ноября, ‘Германия единое отечество’, пробили у Бранденбургских ворот”. Этой фразой заканчивается поразительно богатое и по языку, и по содержанию произведение Уве Телькампа “Башня”, которое в 2008 году как “лучший немецкоязычный роман” было удостоено Немецкой книжной премии. У этого широко разветвленного повествования Уве Телькампа о жизни одной семьи — врачей и интеллектуалов — в Дрездене 80-х годов есть подзаголовок “Истории с затонувшей земли”: роман кончается описанием происходивших осенью 1989 года демонстраций против гэдээровского режима, которые привели к падению Берлинской стены и год спустя к объединению Германии, означавшему, среди прочего, и окончательный крах ГДР.

Но хотя ГДР в самом деле “затонула”, события, связанные с ее гибелью, и сейчас сохраняют жизненную актуальность. Падение Берлинской стены оставило заметные следы не только в Германии; оно символизирует и начало глубоких изменений в мировой политике, прежде всего распад Советского Союза и Югославии, а также возникновение многих новых независимых государств. Процессы политических, социальных и культурных изменений, начавшиеся осенью 1989 года, продолжаются до сих пор и затрагивают глубинные общественные структуры европейских стран.

Ввиду большой общественной значимости и долговременного влияния событий 9 ноября 1989 года (а также тех событий, что привели к ним или стали их непосредственными следствиями) все это наложило отпечаток и на литературную жизнь ФРГ. В произведениях Кристы Вольф, Эриха Лёста, Герты Мюллер, Томаса Бруссига, Инго Шульце, Уве Телькампа (в самое последнее время), а также других значимых авторов гибель ГДР и возникновение новой Федеративной Республики Германии отражаются самыми разными гранями и в разных оттенках цветовой палитры.

Некоторые из этих имен вы найдете в настоящем номере “Иностранной литературы” — пожалуй, самого уважаемого и богатого традициями журнала, знакомящего российских читателей с произведениями зарубежных авторов. Я очень рад, что для сотрудников журнала двадцатая годовщина падения Берлинской стены стала поводом посвятить нынешнему состоянию немецкой литературы целый номер. Понятно, что само это событие и его последствия оказались в центре внимания: со-

шлюсь на “Дневник 1990 года” Гюнтера Грасса, на уже упоминавшегося Уве Телькампа, фрагмент “Новых жизней” Инго Шульце, очерки Томаса Розенлёхера и Дурса Грюнбайна, взятые из антологии “Ночь, когда пала Стена”, которая вышла в издательстве “Зуркамп” и отличается нестандартными, очень личными подходами к событиям осени 1989 года. Однако такие публикации, как стихи Дурса Грюнбайна и Хайнера Мюллера, эссе Герты Мюллер и Веры Бишицки, а также рецензии на новые книги, выходят за пределы основной темы номера и дают читателю возможность составить себе достаточно полное представление о современном состоянии немецкой литературы.

Я хотел бы сердечно поблагодарить сотрудников журнала “Иностранная литература” за их интерес к этому проекту и за интуицию, проявленную при выборе текстов; сердечно благодарю также и всех авторов, которые предоставили редакции свои произведения. Читателям же я желаю получить удовольствие и лучше узнать одну из национальных литератур, которая, как мы думаем, и за границами немецкого языка способна сообщать людям нечто новое, вызывать у них живой интерес.

Перевод Татьяны Баскаковой

Уве Телькамп



Башня

Истории с затонувшей земли

Отрывки из романа

Перевод и вступление Татьяны Баскаковой

Конфликт утопий

> Башня — синоним организованного отступления, сопротивления, особой позиции, но также и синоним смешения языков, подобного тому, что произошло при строительстве Вавилонской башни. Ведь ГДР была, помимо прочего, и Вавилоном: государством, в котором люди перестали понимать друг друга.
>
> Уве Телькамп
> *Интервью Андреасу Платтхаусу, 6.10.2008*

О "Башне", романе Уве Телькампа, сорокалетнего уроженца Дрездена, говорит сейчас вся Германия.

Роман вышел в издательстве "Зуркамп" в 2008 году, в том же году его автор получил за него две очень престижные премии (имени Уве Йонсона и Немецкую книжную премию), в 2009-м — еще две (фонда Конрада Аденауэра и Немецкую национальную премию); книга — несмотря на то, что она очень велика по объему, около 1000 страниц, и крайне сложна стилистически, — семь недель оставалась в списке бестселлеров; по местам Дрездена, связанным с местом дей-

ствия романа, сейчас водят экскурсии. Дело, конечно, не в премиях самих по себе (и уж тем более не в экскурсиях), а в том, что сообщество читателей, в большинстве "непрофессиональных", всерьез заинтересовалось книгой, явно не рассчитанной на легкий успех.

Многие критики сравнивают "Башню" с романами Томаса Манна, прежде всего с "Будденброками": по их мнению, Телькамп возродил ту давно не популярную литературную форму, которая в рамках "семейной хроники" обращается к историческим и философским проблемам. Сам Уве Телькамп в речи по поводу получения премии Уве Йонсона подтвердил такую точку зрения, заявив, что является продолжателем традиции эпического повествования:

Премия имени Уве Йонсона, которую вы мне вручаете, для меня означает признание с вашей стороны важности эпического повествования, литературы непреходящих ценностей, что принципиально значимо в наше время, требующее от людей быстрых решений и приучающее их не думать ни об истоках явлений, ни об их конце... ...эпичность, как я ее понимаю и какой люблю у Йонсона, Пруста, Томаса Манна, Толстого, не есть нечто бесформенно-раздутое, а, напротив, представляет собой сконцентрированную гуманность, и сегодня, в эпоху короткого и затрудненного дыхания, такая эпичность являет пример свободы... Взяться за написание эпического произведения — значит пуститься в рискованную авантюру с целью спасти мир через поиск правды: затея совершенно донкихотская, но вместе с тем и необходимая[1].

До недавнего времени (до 2004 года) Телькамп работал врачом на станции "Скорой помощи" в Дрездене и Мюнхене. Второй роман Телькампа, "Зимородок" (2005), — история безработного философа, сближающегося с группой террористов, — привлек пристальное внимание критиков, хотя некоторые из них и упрекали молодого автора в излишней усложненности языка, зато другие увидели в этой усложненности особую позицию, противостояние литературе мейнстрима.

"Башня" — третий роман Телькампа, который отчасти носит автобиографический характер: автор рассказывает о жизни нескольких семей в престижном дрезденском районе, заселенном в основном представителями интеллигенции, в 1983—1989 годах. Одного из двух главных героев (подростка, затем молодого человека), Кристиана, Телькамп заставляет пройти через главные этапы своей — автора — подлинной биографии: Кристиан, как когда-то Телькамп, учится в престижной гимназии, в старшем классе подписывает контракт на трехгодичную службу в танковых войсках, чтобы по окончании этого срока получить место на медицинском факультете университета... Армейская служба Телькампа, правда, проходила куда более благополучно, чем у его героя, который, ударив офицера, попадает под военный суд и затем в страшный лагерь Шведт, где работает на карбидовом заводе. Но в октябре 1989-го и сам Телькамп, как Кристиан, должен был участвовать в полицейской акции против демонстрантов (от чего сразу отказался, исключив для себя, как он тогда думал, возможность получения высшего образования; однако уже через месяц Берлинская стена пала и ситуация резко изменилась).

Второму главному герою, дяде Кристиана Мено Роде, биологу по образованию, работающему редактором в дрезденском издательстве "Гермес", Телькамп

1. Уве Телькамп. Искусство *должно* заходить слишком далеко. Благодарственная речь по случаю вручения премии имени Уве Йонсона, 27.09.2008.

“дарит” свою любовь к книгам и пристрастие к сочинительству: многочисленные страницы романа, набранные курсивом, представляют собой “роман в романе” — записки Мено и отрывки из его дневников. “Голос” же самого Кристиана передан в тех письмах, которые он пишет из армии родным. Преобладает, однако, голос автора — нейтральный голос повествователя, который время от времени прерывается всякими врезками, вроде цитат из телепередач или историй, иногда даже анекдотов, рассказываемых другими персонажами. Книга как целое, таким образом, представляет собой “рваный монтаж” из разнородных в стилистическом плане элементов. Принцип мозаичности для автора, видимо, важнее, чем связность повествования. Истории персонажей можно проследить лишь пунктирно, часто они обрываются, так и не добравшись до сколько-нибудь эффектной "развязки", да и сам роман заканчивается знаком двоеточия. Нарочитая усложненность структуры прекрасно передает ту атмосферу неуверенности, слухов, удивления перед стремительностью политических изменений, что была столь характерна для последних лет существования ГДР. Кроме того, подобный стиль удачно отражает фрагментарность сознания современного человека, получающего самую разную информацию и с разных сторон, — нечто подобное мы встречаем в прозе других крупных немецких прозаиков — Альфреда Дёблина, Арно Шмидта.

Разрозненные истории в романе Телькампа объединяются образом Дрездена — до осязаемости реального и в то же время мифического. Большинство событий происходит как будто бы в том располагающемся на возвышенности районе бывших вилл, который называется Вайсхирш (Белый Олень). Однако автор не только переименовывает некоторые улицы и дома, но и перемещает их в пространстве: он придумывает мост, ведущий из Башни (района Башенной улицы, где живут его главные герои) в Восточный Рим — не существующий под таким названием закрытый район, с домами, заселенными представителями партийной номенклатуры и “красной аристократии” (то есть старых коммунистов, ученых и писателей, проведших часть жизни в Советском Союзе). Если присмотреться к нарисованной от руки карте города, помещенной на первой и второй страницах обложки, то там обнаружатся не существующие в реальности объекты: не только выдуманные Телькампом Улиточная скала (дом партийного руководителя Барсано), Угольный остров (где работают цензоры и располагается тюрьма) и Асканийский остров (где происходит заседание военного суда), но также Самарканд (район химических заводов) и Карбидный остров, которые, согласно тексту самого романа, должны быть где-то далеко на востоке, вблизи польской границы, и на юго-западе, в районе Леуны-Шкопау-Биттерфельда. Странно также то, что здание Оперы Земпера нарисовано посреди реки, а отдельные части города на карте обозначены как Легкие, Сердце, Печень, Опорно-двигательная система...

Дело в том, что речь идет не просто о Дрездене 80-х годов, а о том, каким Дрезден *виделся* его жителям: каким он был в их разговорах и кошмарных снах, в воспоминаниях о прошлом, недавнем и очень отдаленном, — речь вообще идет об истории и повседневности, *преломляемых в сознании людей*. Об Опере Земпера в том числе, долгое время (и во времени этого романа — тоже) существовавшей в двух ипостасях: как руины и как оставшееся в памяти дрезденцев прекрасное здание.

Отсюда — особая метафоричность, сгущенность, “барочность” языка, призванного сплавить воедино реальность, сны, страхи, догадки, различные оттенки смыслов. Ведь в социалистическом Дрездене жили люди, которые были еще прочно связаны — и своим образом жизни, и своими интересами — с предшест-

вовавшей социализму культурой, культурой немецкого "просвещенного бюргерства". Разные пласты культуры для них в самом деле сосуществовали.

Телькамп в одном из интервью определил особенности этого социального слоя так: "Просвещенность была для них сокровищем и ценностью. Да, они жили в особняках, но особняки эти пришли в упадок, обветшали. Серьезной собственностью, по сути, никто не обладал, если не считать книг, пластинок, а главное — знания как такового и одержимости желанием это знание сохранить... Такой феномен существовал в Йене, в Берлине — в районе Пренцлаузр Берг, где тон задавала художественная богема. 'Башни' имелись повсюду. Между прочим, и за пределами ГДР — в Чехословакии (в Праге) и в Москве (в районе Арбата). Чем пристальнее присматриваешься, тем больше такого обнаруживаешь"[1].

"Я описываю ГДР, — рассказывает Телькамп в еще одном интервью. — Маленький, типично буржуазный квартал в Дрездене — это как владения Спящей красавицы, спрятанные за кустами роз, выросшими на протяжении столетий. Орнаментальность повествования, влюбленность в детали, даже одержимость ими — это мои розы, прорастающие сквозь текст... Дрезден привык считать себя прекраснейшим городом мира, Флоренцией на Эльбе. Ни один дрезденец из описываемого мною слоя не хотел ничего слышать о плохих санитарных условиях. Или о нацистах в городе. Это подпортило бы лак на прекрасной картине в стиле Каналетто. Разумеется, я этот город люблю. И люблю своих персонажей. Но я не закрываю глаза на то, что его можно видеть и по-другому"[2].

Утопия "башенников" — вера в прежние идеалы и уверенность в том, что они проживут в своем замкнутом кругу, — никак не может их защитить от приверженцев других, более "успешных" в данном государстве утопий. От коммунистов старой закалки, таких, как партийный деятель Барсано, успешный драматург Эшшлорак, старуха-цензорша Карлфрида Зиннер-Прист, как экономисты отец и сын Лондонеры. Один из них, Шаде, даже договорился до такой фразы: "...мы, коммунисты первого поколения, однажды уже заняли правильную позицию, вопреки народу! Мы знаем правду, мы обладаем правдой, зарубите это себе на носу, и мы будем ее защищать — если понадобится, опять-таки вопреки народу!".

Еще хуже циничные и равнодушные холуи господствующей системы — вроде супругов, уже в летах, Педро и Бабетт Хоних и братьев Каминских (тех и других "подселяют" к Мено), всякого рода чиновников и цензоров, некоторых учителей в школе... Они все тоже своего рода "утописты", ибо верят, что неустранимые недостатки гэдээровской экономики можно будет до бесконечности затушевывать.

Однако в какой-то момент происходит перелом в настроении "башенников", обывателей Дрездена, — перелом, имеющий непосредственное отношение к так называемым понедельничным демонстрациям в Дрездене, Лейпциге, Берлине, к падению Берлинской стены... И тогда самыми важными оказываются ценности, сохранявшиеся в каждой отдельной семье, те самые ценности "просвещенного бюргерства".

Интересно, что утопиями живут все персонажи Телькампа — вне зависимости от того, сознают они это или нет. Разница лишь в том, что лежит в основе этих утопий, в их совместимости или несовместимости с жизнью. Неслучайно в конце романа речь идет о *"соке печатного слова: жидкости не менее драгоценной, чем кровь и сперма"*. "Искусство, — считает Телькамп, — и само есть утопия, и способ-

1. Интервью с Сюзанной Фюрер после присуждения Уве Телькампу Немецкой книжной премии, 2008.
2. Интервью для газеты "Тагесшпигель", 13.10.2008.

ствует развитию утопий; главная же проблема сегодняшнего человека заключается в том, что он в утопию больше не верит: после идеологических катастроф XX века тотальное настоящее — единственное оставшееся нам обетование. Видения дискредитировали себя, и тому, кого они еще посещают, окружающие рекомендуют обратиться к глазному врачу — либо от такого человека просто с сожалением отмахиваются. Следствия подобного положения вещей — потеря памяти (кто видит будущее только как продолжение настоящего, тому память не нужна), тяжелая одурманенность и меланхолия, подобно ночному кошмару тяготеющая над многими людьми, а также равнодушие к прошлому и страх перед грядущим"[1].

Для публикации мы выбрали три отрывка из романа "Башня", позволяющие, как нам кажется, составить достаточно адекватное представление о его тематике и стилистических особенностях: "Увертюру", то есть самое начало, главу о Лейпцигской ярмарке и почти всю последнюю часть ("Мальстрём"), посвященную событиям 1989 года.

Увертюра

ИЩУЩИЙ, Поток с наступлением ночи, казалось, натягивался, кожа его морщилась и шелестела; казалось, будто он хочет опередить ветер, который поднимался в городе, когда движение на мостах почти замирало, истощаясь до редких автомобилей и единичных трамваев: ветер с моря, а оно охватывало Социалистический союз, Красную империю, Архипелаг, весь пронизанный-проросший-прободенный артериями венами капиллярами того самого Потока, питаемого морем, потока в ночи, который уносил с собой, на своей мерцающей поверхности, шорохи и мысли – уносил в гостеприимную тьму и смех, и все серьезное, и все радостное; взвешенные частички постепенно оседали в глубину, где смешивались городские сточные воды: во мраке морских глубин пролагали себе дорогу ручьи канализационного настоя, по каплям поступавшего сюда из жилых домов и с народных предприятий; в глубине, где затаились лемуры, все накапливалось: маслянисто-тяжелая металлическая кашица из гальванических ванн, ресторанные помои, загрязненные воды электростанций и комбинатов, работающих на буром угле, пена с фабрик по производству моющих средств, жидкие отходы металлургических и сталелитейных заводов, целых индустриальных зон, хирургические отходы из больниц, радиоактивный рассол с урановых рудников, ядовитые супчики с химических комбинатов в Лойне и Галле, с Бунаверке[2], с калийных заводов, из Магнитогорска и из районов сборно-щитовой застройки, токсины с предприятий, производящих удобрения, и с других, специализирующихся на серной кислоте; так вот, по ночам тот Поток... пышно разветвившиеся грязевые, шлаковые, нефтяные, целлюлозные реки и просто вода сплавлялись в единую мощно-дегтярно-ленивую ленту, по которой двигались суда, проплывая под ржавой паутиной мостов, к Рудной, Зерновой и Плодовой пристаням, к пристаням для Тысячи Мелочей

1. Уве Телькамп. Искусство *должно* заходить слишком далеко.
2. Бунаверке ("Химические заводы Буна") – один из крупнейших комбинатов химической промышленности ГДР, расположен вблизи Мерзебурга. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

– И я вспоминаю тот город, страну, острова, что соединялись мостами в единый Социалистический союз, континент Лавразию[1]*, где время, закупоренное в кристаллическую капсулу, оставалось непроницаемым для Другого времени, и музыка с проигрывателей потрескивала под звукоснимателем в бороздках истончающейся виниловой черноты; вспоминаю пульсирующий свет рождественской мельницы, который выхватывал из тьмы пожелтевшие этикетки – "Немецкий граммофон", "Этерна", "Мелодия", – меж тем как снаружи зима сковывала льдом эту землю, превращала берега в ледяные тиски, которые, сжав Поток, тормозили его, навязывая ему, как и стрелкам на всех тамошних часах, состояние застоя.* ...но часы все-таки били, *я как сейчас слышу "вестминстерский перезвон", доносившийся из особняка "Каравелла", когда окно гостиной было открыто, а я, внизу, проходил по улице; слышу бой настенных створчатых часов из комнаты на первом этаже "Дома глициний"; слышу утонченное звучание венских ходиков в "музыкальном кабинете" Никласа Титце: восходящая мелодия и потом, с последним ее звуком, – надломленное Та-та-та-таа, завершающее пронзительные, как пила, позывные "Немецкого радио", которое в начале восьмидесятых "башенники" с Острова Дрезден уже слушали не таясь; сейчас – безголосая звуковая игла японских кварцевых часов, в свое время украшавших запястье одного контрабасиста Дрезденской капеллы, вторгается в звон и дребезжание, в побрякивание и кукушечьи клики "от часового мастера Симхена", которого все называли Тик-так-Симхеном, в гулкие удары напольных часов, во вторящую им многоголосицу больших и малых часовых механизмов из магазина "Часы – Пипер" на Башенной улице 8; а ведь помимо того было и колоратурное сопрано затейливых фарфоровых ходиков, принадлежавших вдове Фибиг из дома "Под мартышкой", и хриплый протест авиационных наручных часов, обитавших на третьем этаже пансиона Штайнера, у бывшего офицера генерального штаба в Африканском корпусе Роммеля; и тявкающий, словно у пекинеса, голос часов из той берлоги в конце коммунального коридора, где жил некий человек по имени Герман Шрайбер, в прошлом образцовый шпион царской охранки, а затем – Красной армии: часов с царским гербом, "спасенных" при штурме Зимнего дворца в Петербурге, в 1917-м; еще я слышу – так же отчетливо, как если бы сидел у него в кабинете или стоял в рентгеновском фургончике, чтобы пройти ежегодную проверку на туберкулез, и смотрел на черно-белый рентгеновский снимок, над которым склонилась седая голова врача, – кряхтение карманной луковицы доктора Фернау; и, конечно, не могу не упомянуть фарфоровые колокольчики Цвингера*[2]*: бой часов с колокольчиками на здании, где когда-то размещалась Государственная плановая комиссия, а до нее – имперское министерство авиации, я расслышу всегда, невзирая на шарканье туристов, толкотню, постоянные звонки мобильников, все эти приметы нашего времени, заглушающие молитвенный шепот*

– На море, на темном Море-океане[3]*, в вечной ночи, ищущий, ищущий – он, который разделился на Поток и реки, обтекающие Населенные острова*

1. Лавразня – северный иэ двух контннентов (южный – Гондвана), иа которые распался протоконтннент Пангея в эпоху меэозоя. Составнымн частямн Лавразнн были современная Евразня н Северная Амернка.
2. Цвингер – дворцовый ансамбль эпохн барокко в Дрездене; эдесь речь идет о часах, украшающих фасад Колокольного павильона.
3. Mare Tenebrarum, то есть Море Мраков, или Море Темиот, – иазванне Атлантического океана, которое употреблял рнмский географ Птолемей (I в. н. э.).

– И я слышал, как часы Бумажной республики звенели звучали отбивали удары над раскинутыми руками моря, отмеряя время для Острова ученых[1] *: для конусообразной улиточьей раковины, врастающей в небо, для Helix*[2], *нарисованной на столе в погребке Ауэрбаха*[3], *для жилищ, соединенных ступеньками, домов, просверленных винтовыми лестницами, для слуховых проходов, проектируемых на чертежных досках, для похожих на паутину мостов*

– Еженощно – проржавевшие, пораженные мучнистой росой сновидений, разъеденные кислотами, тщательно охраняемые, оплетенные побегами ежевики, покрывшиеся ярью-медянкой, осененные приваренным к ним Прусским орлом, в полночь отпускающие на свободу своих зверей-слухачей, выставляющие стоглазые перископы, наводящие окуляры, овеваемые знаменами, окуриваемые серным дымом фабричных труб, притворяющиеся нотными линейками, пропитанные битумной мастикой и все равно загнивающие от проникающей потной влаги, которая заползает в древесину из плесневелых бумаг, обшитые галунами колючей проволоки, освинцованные циферблатами МОСТЫ; что, собственно, и было АТЛАНТИДОЙ, куда все мы попадали по ночам, произнеся волшебное слово Mutabor[4]*: незримым царством по ту сторону зримого, которое только после долгого пребывания в городе (но для туристов – нет, и для не видящих сны – тоже нет) выламывалось из контуров повседневности, оставляя за собой пролом, тень под диаграммами того, что мы привыкли называть Первой реальностью; АТЛАНТИДА: Вторая реальность, Остров Дрезден, и Угольный остров, и Медный остров Правительства*[5]*, и Остров под Красной звездой, и Асканийский остров, на котором работали Justitias Junger*[6] *– все они соединялись в подобие кристаллической решетки, были вотканы в ковровый узор АТЛАНТИДЫ*

– Вокзальные часы в разветвленных коридорах Анатомического института: секундные стрелки едва ползли, а потом еще долго медлили на цифре двенадцать, пока минутная стрелка не выпадала из своего оцепенения... в ближайший отсек, где она, казалось, бросала якорь и – оглушенная, ушибленная буферами прошедшей и еще только предстоящей минут – надолго замирала; "Omnia vincit labor"[7]*, возвещал колокол с крыши высотного дома Кроха: два великана ударяли по нему молотками, и тогда ученые, социалистические игроки в бисер, университетские magistri ludi*[8] *– каменная книга университетского здания, с головой Карла Маркса в качестве корабельного тотема, будто устремлялась в открытое море – ниже склонялись над страницами, от которых веяло духом гё-*

1. Аллюзия на сочинение Фридриха Готлиба Клопштока (1724–1803) "Немецкая республика ученых", представляющее собой свод законов по организации литературной жизни в вымышленной стране.
2. Завиток, спираль, виноградная улитка (*лат.*).
3. Погребок Ауэрбаха в Лейпциге – существующий до сих пор ресторан, знаменитый тем, что стал местом действия одной из сцен гётевского "Фауста".
4. Меня изменяют (*лат.*). Это "волшебное слово" упоминается в сказке Вильгельма Гауфа (1802–1827) "Халиф-аист".
5. Медным островом Правительства в романе именуется Восточный Берлин. Угольный остров и Асканийский остров – упоминаемые в романе вымышленные места, располагающиеся то ли в Дрездене, то ли за его пределами. Угольный остров – шахтный подземный лабиринт, где располагались тюрьма и кабинеты государственных цензоров; Асканийский остров – место всяческих канцелярий, подведомственных штази, где подаются заявления на выезд из страны, а также место, где происходит заседание военного суда и где постоянно работает адвокат Шпербер.
6. Апостолы Справедливости (*лат.*); распространенное в Германии обозначение студентов-юристов.
7. "Труд побеждает все" (*лат.*) – надпись под колоколом часовой башни на высотном доме Кроха – первом многоэтажном здании в Лейпциге, построенном в 1927–1928 гг.
8. Магистры игры (*лат.*) – о них рассказывается в романе Германа Гессе "Игра в бисер".

тевской эпохи, играли во Французскую революцию, пытаясь взглянуть на нее глазами ее современников[1], *провозглашали "принцип надежды"*[2], *рассказывали о классическом наследии студентам, собравшимся в 40-й учебной аудитории, производили вскрытия человеческих тел в залах под Либигштрассе*[3]: *"Здесь смерть поставлена на службу жизни", читай: анатомия – ключ к медицине и ее штурвал*

– Ищущий, в ночи Потока, – и всякий больной или усталый человеко-зверь: он видит сны в своем спальном районе, пока вокруг нарастает холод, а скудно освещенные улицы-артерии на всех островах остаются втиснутыми в мороз и в молчание; прохожие сгорбленными тенями спешат по проспектам, где каждое Первое мая развеваются флаги и от мембран громкоговорителей разлетаются по спирали бравурные звуки маршей, как металлическая стружка – от токарного станка; подрывные заряды, буровые коронки, пневматические молоты пробивают штольни в горе, опережая тянущиеся к ней пальцы реки; стахановское, хеннекксское[4] *движение: горняки прокладывают туннель под островами, плотники отвечают за опалубку, у реки появляются свои стетоскопы*

– Но вот Большие Часы пробили, и море поднялось к самым окнам: к комнатам с папоротниковыми обоями и ледяными узорами на люстрах, с лепниной и красивой мебелью, унаследованной от давних буржуазных времен, на которые все-таки еще намекали береты музейных сотрудников, выверенные жесты дам, угощающихся пирожными в итальянских кафе, цветисто-рыцарственные приветственные церемонии в среде дрезденской культурной элиты, скрытые цитаты, "педагогические"[5], *нагруженные аллюзиями ритуалы, характерные для "мандаринов"*[6] *из Общества друзей музыки, размеренные движения пожилых конькобежцев в оледеневших парках; всё это еще сохранялось в нежно-холмистой долине Эльбы, в домах под советской звездой, как сохранялись и довоенные издания Германа Гессе, и сигарно-бурые томики Томаса Манна от издательства "Ауфбау", пятидесятых годов, которые тщательно сберегались в антикварных лавках с их особым подводным освещением, сразу настраивающим входящего на благоговейный лад, – в сих бумажных корабликах, где постепенно накапливались отравленные воспоминаниями окаменелости, где процветали горшечные растения и компас над потрескивающими паркетинами неизменно показывал направление на Веймар; сохранялось всё это и в розах, в изобилии водившихся на Острове, и над циферблатом тех часов, что постепенно ржавели, пока их маятник, колеблясь между полюсами Тишина и Не-Тишина (было тогда нечто*

1. Имеется в виду двухтомный труд Вальтера Маркова (р. 1909), руководителя отделения всеобщей истории Лейпцигского университета, "Революция в свидетельствах современников. Франция 1789—1799" (Лейпциг, 1982).

2. "Принцип надежды", в 3-х тт. (1954—1959) — основное произведение философа-неомарксиста Эрнста Блоха (1885—1977), который в 1948—1957 гг. возглавлял кафедру философии Лейпцигского университета, а в 1961 г. эмигрировал в Западную Германию.

3. Аудитория 40 — большая аудитория Исторического факультета Лейпцигского университета; на Либигштрассе располагается Университетская клиника.

4. Адольф Хеннекке (1905—1975) — немецкий шахтер, зачинатель стахановского движения в ГДР, позже – член ЦК СЕПГ.

5. "Педагогическая провинция" описывается в романе И. В. Гёте "Годы странствий Вильгельма Мейстера". В 1909 г. по этой модели на севере Дрездена Карлом Шмидтом был основан утопический "город-сад" для рабочих – Хеллерау, – просуществовавший до Первой мировой войны. "Педагогическая провинция" — название первой части романа Уве Телькампа. Упоминается в книге и позднейший аналог гётевского образа — Касталия из романа Германа Гессе "Игра в бисер".

6. Термин, который употребил американский историк Фриц Рингер в своей знаменитой работе "Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество Германии в 1890—1933 гг.", вышедшей в Германии в 1969 г.

такое, просто шумом или звуковыми помехами это не назовешь), кроил и перекраивал наши жизни. Мы слушали музыку – "Этерна", "Мелодия" назывались тогда пластинки, их можно было приобрести у господина Трюпеля, в музыкальном магазинчике "Филармония" на Баутцнер-штрассе, или в "Художественном салоне на Старом рынке"... Большие Часы пробили

– Дрезден... в гнездах муз, как обычно бывает, / недуг "Хочу во Вчерашний день" обитает...

– Ищущий, в ночи Потока, – и Лес: он становился бурым углем, бурый уголь пластовался под нашими домами, копатели-кроты этот уголь добывали, ленточные транспортеры доставляли его к истопникам, на теплостанции с их дымовыми трубами и в наши дома; над крышами поднимался кисловатый дымок: мало-помалу он разъедал стены, и легкие, и души, а обои превращал в лягушачью кожу; обои в комнатах отставали от стен и пузырились, были пожелтевшими и испещренными испражнениями паразитов; когда люди топили печи, стены, казалось, потели никотином, копившимся в них еще со стародавних времен; в холодную пору оконные стекла замерзали, обои покрывались инеем, папоротниковыми разводами и маслянистым льдом (напоминавшим слой жира на дне немытой сковороды, забытой в неотапливаемой кладовке). Желтая птичка, иногда каркавшая в наших снах, бдительно наблюдала за происходящим: ее звали Миноль-Пироль[1]*; и когда те часы наконец пробили, тела наши пребывали в плену, в Сонном царстве, розы буйно разрастались,*

писал Мено Роде,

а Песочный человечек[2] *знай себе подсыпал нам в глаза сонный песок*

<...>

Лейпцигская ярмарка

Филипп Лондонер[3] занимал квартиру площадью семьдесят квадратных метров в одном из рабочих кварталов Лейпцига. Дом выходил на канал, вода которого из-за выливаемых в нее отходов хлопчатобумажной фабрики приобрела студенистую консистенцию; в ней плавали и медленно разлагались мертвые рыбы, белая плоть хлопьями отделялась от скелетов, плавники и ослепшие глаза течением прибивало к берегу, и они покачивались в серой пене, над которой тянулись вверх голые ветки вязов, заселенные тысячами ворон, находивших себе здесь обильную пищу. Жители этого квартала прозвали фабрику "Пушинкой": хлопковые хлопья – "сивуха", как говорили местные, – на много километров вокруг покрывали улицы и, плотно утрамбованные ногами пешеходов, образовывали склизкие гнилые струпья, казалось, вобравшие в себя запах всех лейпцигских собак. Гонимые ветром хлопья застревали в кустах, в летнюю пору забивали дымовые трубы, перемещались вместе с

1. Популяриая в ГДР игрушка: желтая птичка в рабочем комбииезоие – эмблема "Миноля", крупиейшего восточиогермаиского предприятия по производству изделий из сиитетических материалов.
2. Песочиый человечек – герой популяриой в ГДР детской передачи иаподобие иашей "Спокойиой иочи, малыши!"
3. Филипп Лондоиер – брат Хаииы, бывшей жеиы Меио Роде, и его друг. Прототип Филиппа Лондоиера – известиый гэдээровский статистик и экоиомист Томас Кучииьски (р. 1944).

теплым отработанным воздухом, вихрились, словно вуаль, над крышами, опускались в лужи и на рельсы трамваев, так что, когда трамвай въезжал в фабричный квартал, это чувствовалось даже с закрытыми глазами: все звуки вдруг становились глуше, и разговоры в вагоне, прежде сливавшиеся в невнятный гул голосов, разом смолкали.

На Лейпцигскую книжную ярмарку Мено приезжал каждый год. Останавливался он у Филиппа; так продолжалось и после того, как Ханна и Мено расстались, потому что обоих мужчин связывали обоюдная симпатия, спокойное уважение друг к другу, "своеобразная трудная дружба", как выразилась однажды Ханна. Вороны тут водились всегда; казалось, с годами они только умножались, собираясь в воинственные орды. Но хуже, чем их карканье, грай, треск и хлопанье крыльев, был для Мено тот миг, когда, уже в сумерках, ворота хлопчатобумажной фабрики распахивались и рабочие начинали расходиться по домам: тогда крики ворон затихали и слышалось шарканье множества ног, ритмично прерываемое шорохом контрольно-пропускного устройства и, время от времени, — дребезжанием трамвая, описывающего дугу или ускоряющего движение. Вороны в этот час — когда ветер в Лейпциге менял направление на северное и приносил с собой тонкую угольную пыль из карьеров Борны и Эспенхайна, когда он кружил широкими лентами вокруг домов и на улицах возникали теневые вихри высотой в человеческий рост, так называемые кипарисы, — вороны беззвучно сидели на черных деревьях, на фоне светлого неба напоминавших зигзагообразные рудные жилы, и наблюдали за рабочими внизу, которые по большей части не замечали птиц, а просто брели понурившись и волоча ноги к остановке трамвая или к стоянке велосипедов перед фабрикой. Случалось, правда, что какая-нибудь женщина поднимала кулак и чертыхалась среди всеобщего молчания или мужчина запускал в ворон камнем, разражаясь потоком брани; тогда растревоженная, какофоническая птичья стая — а точнее, единая птица-исполин, состоящая из шелестящей летучей массы, гневных выкриков и позвякивающего оперения, — пульсирующими рывками разрасталась в небе над фабрикой, с хриплыми возгласами описывала круги и медленно, будто засасываемая воронками, которые соединялись в один тонкостенный вихрь, один штормовой винт, опускалась обратно на вязы: птицы, одна за другой, высвобождались из-под власти опасного воздушного потока, устраивались на ветке, складывали крылья и опять успокаивались. Мено неоднократно видел это из окна комнатки, которую выделял ему Филипп; фабрика располагалась напротив; по утрам, готовясь к очередному ярмарочному дню, он даже мог смутно разглядеть рабочих утренней смены возле станков — различал быстрые и выверенные движения плоских силуэтов под неоновыми лампами.

Сейчас Мено распаковывал чемодан. В комнате — собственно, рабочем кабинете — рядом с Филиппом сидела молодая женщина.

— Это Мариза. — Филипп закурил экспортную кубинскую сигарку; возможно, лишь от этой одной привилегии он не смог отказаться. — Я уже объяснил ей, кто ты такой.

— Ты, я вижу, усы отрастил, — сказал Мено.

— Она говорит, в Чили теперь это модно. Хочешь? — и он протянул Мено серебряный портсигар.

— Такое мне не каждый день предлагают. Не откажусь.

– Когда ты усовершенствуешь свой испанский, – сказала Мариза и подмигнула Филиппу, – мы тебя сделаем настоящим *compañero*[1]. Пойду приготовлю чай.
Филипп отклонил это предложение:
– Не надо, я сам.
– Нет, ты лучше поговори с другом. Разговоры – дело мужчин. А чай вскипячу я. Это женское дело.
– Чепуха!
– Когда придет время сражаться, я буду сражаться. Классовая борьба – тоже женское дело. Но сейчас время пить чай. – Она гордо вскинула голову и вышла.
– Надеюсь, ты не думаешь, что я это поощряю. Но многие чилийские товарищи ведут себя именно так. Буржуазные пережитки...
– И вовсе это не буржуазные... как ты их там назвал. Или думаешь, наши буржуи носят длинные волосы, как ты? Если я хочу принести тебе чай, это есть форма проявления emoción! Revolución нуждается в горячих сердцах, а не в таких, как у многих немецких товарищей...
– В corazon del noviembre? – отважился спросить Филипп.
– Да, в ноябрьских серрцах, – отважилась перевести Мариза.

ДНЕВНИК:
Перед отъездом на ярмарку – разговор между Шифнером[2]*, госпожой Шевола и мною. О заглавии – "Глубь последних лет" – придется еще подумать. Такие заголовки претендуют на что-то, до чего сам текст не дотягивает; текст, может, в итоге и выиграл бы, да только не всегда это удается: бывает, книга распорядится собой иначе, чем рассчитывал ее автор. Не помню, кто сказал, что книги следовало бы называть по именам их "героев", все остальное, мол, надувательство – чем дольше я занимаюсь своей профессией, тем больше привлекает меня такой принцип; правда, и в нем кроется коварство, ибо кто взялся бы с уверенностью утверждать, что подобная практика позволит избежать надувательства и что в книге, на обложке которой написано "Анна Каренина", речь действительно идет об Анне Карениной? Итак, книгу Шеволы мы публиковать будем, это даже для меня неожиданность. Обычно, когда Шифнер принимает решение в пользу какой-то книги, он дает редактору детальные указания – а не молчит, как в данном случае. Конечно, все пока остается в подвешенном состоянии – как всегда бывает, когда решается вопрос с публикацией, а особенно, если дело имеет касательство к Шифнеру и тем более к ПЛАНУ. Секретарша, госпожа Цептер, особа весьма надменная, – ведь именно от нее зависит судьба стихов, приходящих самотеком, – шумно возилась с кофейными чашками, в то время как Шифнер уселся напротив Шеволы и предложил сесть мне. Он рассматривал свои ногти, разложив перед собой манускрипт, из которого выбились две страницы, и, когда кофеварка начала посвистывать, попытался затолкать их обратно. Мадам Шевола казалась спокойной и сдержанной; она, сцепив пальцы рук, смотрела на стол перед собой и была очень бледной.*
– Итак, вы что-то написали и теперь хотите это опубликовать. Но для начала, милочка, я вкратце изложу вам позицию нашего издательства.
Я ненавижу подобные моменты – и вместе с тем, как ни странно, в какой-то мере получаю от них удовольствие: потому что об ощущениях автора, который слы-

1. Товарищем (*исп.*).
2. Хайнц Шифнер – начальник Мено, директор дрезденского издательства "Гермес".

шит такое вместо приветствия, как самые первые фразы – даже без вводного "Добрый день" (ибо здороваться – дело секретарши в приемной, сам же Шифнер только поднимается из-за стола, расправляет плечи, быстро проводит рукой по волосам, ловит своим отечески-издательским взором лихорадочно-смущенный взгляд автора, протягивает руку и неподражаемым движением, будто отряхивая с пальцев воду, молча указывает на стул для "подсудимого" возле стола для заседаний, напротив собственного роскошного шефского кресла, обитого золотистыми заклепками величиной с монету)... – так вот, догадаться об ощущениях автора, в данном случае госпожи Шеволы, будто бы так прекрасно владеющей собой, для меня не составляет никакого труда.

– Мы делаем ставку на авторов, а не на отдельные книги. И поступаем так не только в исключительных случаях. – Он вздергивает подбородок, округло взмахивает левой рукой. – Просто издать какую-то книгу, милочка? Неет. – Как он при этом покачал головой! Как произнес его, это "Неет": не с нажимом, не с укоризненным повышением голоса, а опустив подбородок и задумчиво тряхнув волосами, как если бы говорил с невоспитанным домашним животным; ладонь же его упала и плоско распростерлась на столе – вылитая тюленья ласта, – прежде плавно разделив воздушные массы, как если бы, кроме этого мягкого "Неет", ему и сказать было нечего; плюс ко всему он выпятил губы. Будто желал попробовать на вкус произведенный эффект. И когда теперь он приподнимает левую бровь, это знак для госпожи Цептер, что пора подавать кофе, самому шефу – со взбитыми сливками, выдавленными из баллончика, который нужно с силой встряхнуть; и лишь после того как он, приподняв бровь еще выше, благодарно кивает секретарше, следует сакраментальная фраза: "Подойдите-ка сюда, милочка". Теперь он показывает гостье графики и картины на стенах, развешанные между книжными полками: портреты писателей в основном, все как один написанные уважаемыми членами Союза художников; мой шеф щелкает пальцами и указательным, на который надето кольцо с зеленым камнем, тычет в направлении первой картины: "Кто это?" – "X". Вторая картина: "А это?" – "Y". Третья: "А это?" – "Z". – Он треплет Шеволу по щеке и говорит: "Вы ошибаетесь, это А". Потом шарит рукой на полке, достает зеркальце, сует его под нос ошеломленной поэтессе: "Ну а это кто?" – "Еще один?" – "Это автор-неумеха". Он пристально и выжидающе смотрит на нее, слегка прищурив глаза, языком нащупывая слева больной зуб; отводит зеркальце назад и секунду держит его неподвижно, словно герой ковбойского фильма, который сейчас спрячет еще дымящийся кольт в кобуру, потом осторожным и точным движением, как если бы это была драгоценность, кладет зеркальце обратно на полку.

– Если таково ваше мнение обо мне, зачем вообще вы меня пригласили?

– Ах, дорогуша, очень хорошо, что вы рассердились. Авторы, которые способны сердиться, как правило, не совсем безнадежны. – Он смотрит на свои ногти, потом переводит взгляд на меня. – Вашей рукописью займется господин Роде, с которым, надеюсь, вы уже познакомились. Он опытный редактор, тонко чувствующий поэзию. И еще одно... – Шифнер достает с полки какую-то книгу. – Вы злоупотребляете точкой с запятой. Это роман Густава Реглера[1]*. Знаете, кто такой Густав Реглер? Нет? А должны были бы... Вы сейчас сядете и проштуди-*

1. Густав Реглер (1898–1963) – немецкий писатель и журналист, в юности был коммунистом, позже вышел из партии; в 1940 г. эмигрировал в США, потом в Мексику. Автор книги "Посев. Роман из времен крестьянской войны в Германии" (1936), исторического романа "Аретино. Друг женщин, враг князей" (1955) и др.

руете четвертую главу – посмотрите, как использует точку с запятой Реглер. Этот знак ведь – указательный палец, сверкнувший зеленый камень... – есть, по сути, замена точки! Вспомните о том правиле, что позволяет ставить точку с запятой перед "но" и последующим главным предложением. Проштудируйте старые грамматики! И помните: немецкий язык сложный, в нем, как может показаться на первый взгляд, много всяких несуразностей – однако, присмотревшись внимательнее, вы обнаружите, что для каждой из них имеются разумные основания. Через час будьте любезны заглянуть ко мне снова.

Она так и сделала. Шифнер между тем успел поболтать по телефону, полистать папку с графиками, нарочито громко порассуждать вслух о том, в каких трех случаях после двоеточия полное предложение пишется с маленькой буквы, а еще – полакомиться мороженым из редакционного холодильника и сбрызнуть виски одеколоном. Он берет у нее книгу и ставит обратно на полку. Потом бросает красноречивый взгляд на ее грудь, дарит ей несколько выпущенных нами книг общей стоимостью в тысячу марок и – отпускает с миром.

К Лейпцигской ярмарке начинали готовиться за несколько недель. Туда ведь не для того ездили, чтобы подержать в руках несколько любопытных книг, пролистать их от начала к концу и обратно; туда ездили, чтобы заглянуть через какое-нибудь окошко в Землю обетованную. "Окошки" имели формат в шестнадцатую долю листа, или в восьмую, или в четвертую, или *in-folio*, но чаще всего были размером 19 × 12 см, без твердого переплета, зато с тремя рыбами на первой странице, или с надписью "гогого" на разноцветных корешках, или обложка была белая, но с рисунками, сделанными пастельным мелком: как увидишь такую, – говорил, к примеру, Никлас, – считай, мы у цели; потому что рисунки те вели свое происхождение от некоего господина по имени Челестино Пьятти[1], а книги с его росчерком были целью, к которой стремились многие. 19 × 12 см – карманный формат. Этот размер проверяли и перепроверяли с линейкой, после чего Барбара[2], вооружившись ножницами, создавала внутренний мир специального ярмарочного пальто, ибо где имеются карманные книги, там не обойтись без карманов.

ДНЕВНИК:

Сегодня я, зоолог по образованию, узнал следующее: оказывается, африканская пустынная саранча имеет сородича в Восточной Германии, а именно, книжную саранчу (Locusta bibliophila) *– существо, которое передвигается на двух лапках, носит джинсы марки "Wisent" или "Boxer"*[3]*, домашней вязки свитеры с высоким воротником и оливково-зеленые либо землисто-коричневые "сутаны" (утепленные плащи), подол которых достает до икр (их шьют по спецзаказу в меховом ателье "Гармония" на Рисcляйте, в свободное от работы время или по договоренности с шефом – ведь и он тоже имеет свои читательские пристрас-*

1. Челестино Пьятти (1922–2007) – швейцарский художник, график, книжный дизайнер; с 1961 до середины 90-х гг. оформлял книги издательства "Deutscher Taschenbuch Verlag" (Немецкое издательство карманной книги).
2. Барбара – жена брата Мено, Ульриха Роде, единственного коммуниста в семье, директора предприятия, производящего пишущие машинки; сама она работала швеей в меховом ателье "Гармония".
3. Те и другие – джинсы гэдээровского производства.

тия, – для чего Барбара, а при возрастании спроса и ее коллега, на один-два дня переключаются с работы по социалистическому плану на обслуживание планов индивидуальных). Упомянутая Locusta bibliophila *питается книгами – но только такими, что происходят из несоциалистической экономической зоны. Атака книжной саранчи обычно планируется задолго до лейпцигского объедалова, генерально-масс-штабно, – и меня, ценного для них агента на форпосте под бумажными кометами, совершающими свой цикл и регулярно возвращающимися, они тоже теперь попытались прибрать к рукам:*

"Где они *разместятся? Когда приедут? Ты должен их подготовить. К нашему появлению. Зарезервируй ящики в камере хранения на Центральном вокзале. Нам надо продумать систему сигнализации. Может быть, носовой платок – сморкаться в него, если грозит опасность? Почему бы и нет, сейчас как раз период простудных заболеваний. Понятно, что тебе надо еще и работать – но этим ты займешься, когда мы уберемся восвояси".*

Обмундирование книжной саранчи (упомянутое "ярмарочное пальто" типа парки) примерно за две недели до решающей акции подвергается тщательной проверке; правая сторона изнанки: два ряда, параллельно, и в каждом по пять карманов, начиная от двух нагрудных и кончая теми, что пришиты примерно на высоте колена (частично внахлест), формат 21 х 14 см, легкость хода проверяется посредством хранящегося в меховом ателье "Гармония" экземпляра книги Генриха Бёлля "Путник, когда ты придешь в Спа...", которая должна

"без сопротивления"

"не высовываясь"

"не образуя вспучиваний"

находить для себя место в кармане. "Сутана" шьется из такого расчета, чтобы она была велика на два размера и застегивалась не как обычно, на молнию "Солидор" (застежку молнии часто заедает, к тому же у этой модели плаща она располагалась бы так низко, что саранче пришлось бы нагибаться, что способствовало бы образованию нежелательных вспучиваний, см. выше), а на кнопки, которые застегиваются быстрее – и, так сказать, пунктуальнее. На левой стороне изнанки располагаются два большие кармана для подарочных альбомов и прочей книжной продукции нестандартного формата. На лицевой стороне "ярмарочного пальто" тоже имеются большие, застегивающиеся на кнопки карманы, а кроме того, на каждом бедре – по крепкому собачьему карабину, закрепленному прочной кожаной петлей: чтобы подцеплять к нему всевозможные пластиковые пакеты, в которые можно складывать шариковые ручки, брошюры, книги, шоколадки, каталоги, бананы, еще шариковые ручки, западные сигареты и еще книги; щелк – и руки у тебя свободны, а твоим современникам и товарищам по пристрастию будет не так-то просто отнять у тебя пакет.

Подлет книжной саранчи осуществляется после деления роя на группы попутчиков: Анна[1] *и Роберт прибывают на принадлежащем семейству Роде "москвиче", Мальтакус и Дитч – на "шкоде" Кюнаста, проф. Теергартен и его жена – вместе с семейством Кнаббе, чей "вартбург" оказался в ремонте; торговец музыкальными пластинками Трюпель – вместе с Никласом Титце. Разговоры: ах, эта восхитительная книга об опере, ах, как хорош альбом Пикассо (музыкальный критик Дэне – Аделингу; эти двое едут на поезде); стратегия обмана охранников на входе и выходе (система "жертва пешки": один начинает буянить, другие используют воз-*

1. Сестра Меио Роде, жеиа хирурга Рихарда Хофмана, мать Кристиана и Роберта.

никшую суматоху, чтобы доставить добычу в безопасное место). Я "подготовил" своих коллег из издательства, сумел зарезервировать аж два (!) ящика в камере хранения на Лейпцигском вокзале. "Всего два?!" – Отчаянье музыкального критика Дэне было таким наивным, будто он приехал на ярмарку впервые. Знал бы он, что в лейпцигской камере хранения ящики передаются по наследству...

Атаки книжной саранчи осуществляются волнами; о том, что одна из таких атак вот-вот начнется, внимательный наблюдатель может узнать, заметив, как чьи-то глаза, и без того неизменно жадные, вдруг сузились, превратившись в две алчные щелки. Алчность направлена прежде всего на краски. Главное: чтобы попестрее. Чем пестрее добыча, тем лучше. И чем ее больше, тем, само собой, – еще лучше. Но особенно падка книжная саранча на красные обложки. Ей мнится: это как-то "связано с нами". Ну, а уж если алчные щелки засекли где-то диссидентское имя, то к боевым действиям переходят немедленно. Книжная саранча Б вовлекает надзирающего за порядком на стенде работника издательства в "стратегическую беседу", в то время как саранча А – с колотящимся сердцем, с каплями пота на лбу и в ослеплении от собственной смелости – молниеносно приближается к нужной полке (ухватив добычу и ощупав ее, клешня замирает, это и есть пауза, определяющая все дальнейшее, секунда счастливого страха: ВОТ ОНО! У меня, обложка гладкая и западная*), теперь:*

расстегнуть кнопки на ярмарочном пальто

элегантно взглянуть на потолок, одновременно облизывая сухие губы

изобразить приступ кашля

наклониться

не забыть залиться краской смущения

усилить кашель

запахнуть полы пальто

прикрыть глаза, и... –

прочь

прочь

прочь

("Эй, вы там, что вы себе позволяете?" – "Но, вы... вы ведь прежде смотрели на такое сквозь пальцы?" Скандал. Тебе, конечно, помогут, отвлекут от тебя внимание. Только не дай бог, чтобы тебя раскололи как члена группы, иначе – запрет на посещение ярмарки. Запрет на посещение ярмарки = катастрофе. Катастрофа = попрекам на обратном пути: "Ты бы заполучил книгу, не поведи ты себя так глупо!" Но вот уже Барбара, вскрикнув, оседает на пол. Внезапный обморок. "Спасибо, мне уже лучше". Мальтакус и Теерваген тем временем улизнули. Добыча: Исаак Дойчер, "Сталин"[1]; Александр Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ", первая часть; Антология "Писатели против атомного оружия"; Фридрих Ницше, "Почему я так умен"[2]. Снаружи: первый раунд благополучно закончился. Успокоительные таблетки из аптечки Ульриха. "Едва-едва в тюрягу не загремели, господин профессор!" – "Но дело того стоило!" – "Вы уже приготовили список, кто и когда будет выступать с докладами?" По глотку из фляги с чаем. Сравнение содержимого пакетов, контрольная проверка "сутан". Отдышаться. И – на второй раунд.)

1. Исаак Дойчер (1907–1967) – польский историк и публицист, в 1939 г. эмигрировал в Англию. Самые известные его работы – трехтомная биография Льва Троцкого (1954–1963) и книга "Сталин. Политическая биография" (1966; второе расширенное немецкое издание – 1978).
2. "Почему я так умен" – название главы в последней книге Фридриха Ницше "Ecce homo".

То был год апокалипсиса. Почти все выставленные на ярмарке книги так или иначе затрагивали тему мировых катастроф. Леса умирали. Создавались пусковые установки для ракет "Першинг" и "Круиз", уже был подписан договор ОСВ-2[1] и разрабатывалась программа "Звездных войн"; взрывных материалов, хранящихся в мире, с лихвой хватило бы, чтобы несколько раз подряд взорвать земной шар. Настроение у посетителей ярмарки было подавленное; редакторы, издатели, авторы: все они исполнились мрачной решимости умереть. Кто-то поднял бокал и пожелал себе, по крайней мере, встретить гибель на вечерней заре у порога своего тосканского домика: тогда, мол, ему не будет так страшно!
<...>

Финал:
Мальстрём[2]

Время выпало из времени... – и состарилось. Время оставалось временем на часах без стрелок. У верхнего времени было обыкновенное течение: солнце поднималось на циферблаты, показывало утро, полдень, вечер, показывало на календарях дни – уже прошедшие, сегодняшние, грядущие. Оно подпрыгивало, описывало круги, спешило дальше: шар, скатывающийся вниз по тесному улиткообразному ходу. Нижнее же время выражало общие законы и о человеческих часовых механизмах не заботилось. Страна болела редким недугом: люди смолоду становились старыми, молодые не хотели взрослеть, граждане жили в особых нишах, откуда вновь и вновь возвращались в государственное тело, которое управлялось старцами и пребывало в смертоподобном сне. Время окаменелостей: когда вода спала, рыбы оказались выброшенными на берег; они, немые, еще какое-то время трепыхались, потом смирились, изнемогли, инертно умирали и каменели – в четырех родных стенах, на замшелых лестничных площадках, – слипались с бумагой, становясь водяными знаками. Редкий недуг помечал лица своими отметинами: он был заразным, и ни один взрослый не уберегся, ни один ребенок не сохранил невинность. Правдой люди давились, а невысказанные мысли отравляли плоть горечью, выхолащивали ее, превращая в рудник страха и ненависти. Оцепенение и одновременно расслабленность – главные симптомы этого редкого недуга. В воздухе висело что-то наподобие пелены, сквозь нее мы и дышали, и говорили. Контуры расплывались, никто не называл вещи своими именами. Живописцы работали, будто уклоняясь от чего-то; в газетах печатали рядами черные буквы, однако не буквы эти помогали людям понять друг друга, а пространство МЕЖДУ*: белые тени слов, нуждающихся в интуитивном прочтении и интерпретации. На театральных подмостках декламировали античные стихи. Бетон... Вата...*
Облака... Вода... Бетон...
но потом вдруг... –
писал Мено, –
потом вдруг...

1. Договор об ограничении стратегических вооружений, подписанный в Вене 18 июня 1979 г. Леонидом Брежневым и президентом США Джимми Картером.
2. См. рассказ Эдгара По "Нисхождение в Мальстрём".

По *техническим причинам.*
Канун В*альпургиевой ночи*

Танцы, мечты... Сон был жиденьким, работающие в утреннюю смену заходили и выходили, хлопали двери, из дальнего конца барачного коридора доносилось неразборчивое бормотание Бухаря, посылавшего дежурного унтер-офицера или его помощника в ближайший магазин: пополнить запасы шнапса (магазин находился в Самарканде, час пешего ходу по грязи, сквозь гордую безжизненность Ничейной земли)... "Целую неделю *кирять*, — сказал недавно Бухарь, — а после просто встряхнуться, будто тебе все нипочем — *отфутболил* неделю, и ладно, забыли. Семь пустых листков в календаре, а ты тем не менее еще здесь". — "Лучше и не придумаешь, шеф", — сказал Жиряк, наслаждавшийся своей привилегией: тем, что в свободное время он может сидеть на краю котлована и играть на аккордеоне танго для экскаватора; право на ответную реплику ему давали, как он думал, те махинации, которые он прокручивал совместно с Бухарем. Но тот, похоже, на него взъелся, грозил "сам знаешь чем, Кречмар", так что Жиряк давно уже составил собственный план действий и время от времени что-то к нему добавлял. Лучше и не придумаешь: целую неделю не знать, на каком ты небе, а после снова натянуть униформу... — "такого даже короли не могут себе позволить. Впрочем, я бы и сам не прочь. Я, шеф, неравнодушен к водолазным колоколам".

Между сменами, лежа на лимонно-желтых простынях, придававших солдатским перебранкам некое подобие домашнего уюта, в табачном дыму, среди щелканья игральных костей и скучающе-фрустрированных прибауток игроков в скат, Кристиан много размышлял.

— Ты веришь, что Бурре был стукачом?

— Сам подумай. Что ему еще оставалось, Немо?

— Ты больше не называешь меня маменькиным сынком?

— Кто выдержал хоть одно лето на карбидном производстве, того уже так не назовешь. Простая констатация факта. Теперь ты, небось, зазнаешься? Аплодисменты — наша пища, как говорят циркачи.

— Я как-то увидел его перед зданием штаба. Там, конечно, много кого видишь, да не совсем так. Трудно объяснить, но я сразу сообразил, куда он желает попасть.

— Будь я на его месте, я бы поступил так же. Расскажешь немножко, и тебя оставят в покое. Потом к тебе не так-то просто будет придраться.

— И что бы ты рассказал обо мне?

— Что ты слишком много думаешь, чтобы быть надежным братом по классу. И значит, опасен. Пройдоха, который держит рот на замке, молча присматривается ко всему, ни с кем не вступая в тесный контакт, — такой не удовлетворится промежуточными решениями. Ему подавай больше. Свободу, к примеру, или справедливость. А с такими всегда возникают трудности.

— Может, ты тоже стукач?

— Мне бы это ничего не дало. Только угробило бы мой бизнес. Я живу за счет своей репутации, а слухи такого рода всегда просачиваются наружу, как влага сквозь стену.

— И все-таки...

— Будь на твоем месте другой, я бы сейчас врезал ему промеж ребер. — Жиряк кивнул на ломик, прислоненный к стене барака.

До 29 декабря держалась необычайно мягкая погода; холода наступили внезапно, из окна экскаватора Кристиан видел, как замерзают лужи, как вместо дождя начинают падать ледяные градины. Рельсы рудничных электровозов похрустывали. Ветер наметал на них холодную белую пыль.

— Эх, парни, — бригадир смены поправил сползший защитный шлем и озабоченно посмотрел на завьюженное небо, — что-то еще будет... Надо же, чтобы такое — перед самым Новым годом.

— Мено, уже четыре. — Прокуренный гортанный смех Мадам Эглантины[1] всегда побуждал его обратить внимание на ее глаза, расширенные, словно от страха, и обладающие уязвимым, как могло показаться, блеском каштанов, только что вылупившихся из зеленой колючей скорлупы; на платье (полотняное, естественного зеленого цвета, с шаловливо-нерегулярно разбросанными по нему вышитыми красными розочками), на печально не соответствующие этому платью ноги в дешевых спортивных тапочках или (зимой) в унаследованных от кого-то грубых ботинках с болтающимися кончиками шнурков: большой ребенок, подумал Мено и прошел за ней в конференц-зал издательства, где редактор Курц как раз включил телевизор, чтобы все могли посмотреть прямую трансляцию с "праздничного заседания Центрального Комитета СЕПГ по случаю семидесятой годовщины Коммунистической партии Германии". Но изображение через несколько секунд исчезло, батареи отопления щелкнули и стали холодными, холодильник в коридоре перестал жужжать, а типограф Удо Мэнхен, стоявший у окна, сказал:

— Мы живем по большей части... среди расстроенных инструментов. Вся улица Тельмана темная. Нам пора переключаться на выпуск книг для слепых.

— Вы уже в прошлый раз это предлагали, остроумия с тех пор у вас не прибавилось, — проворчал редактор Курц.

Госпожа Цептер принесла свечи, рождественские бутерброды и испеченную ею медовую коврижку:

— Я как раз собиралась вскипятить чай.

— А спиртовка у нас на что? — подал голос Кай-Уве Кнапп, занимающийся авторскими правами. — Я ее даже наполнил — человек существо обучаемое.

— Как романтично, — одновременно вздохнули Мисс Мими и сидевшая рядом с ней Мелани Мордевайн; Мисс Мими так коварно и точно попала в тон подруги, что общий смех, на мгновение замерев, приобрел потом оттенок удивления.

Никлас надел белые перчатки, вытряхнул пластинку, упругую, с лейблом "EMI"[2], — подаренную ему одним пациентом, музыкантом Дрезденской капеллы, — из конверта и бумажного вкладыша, подбитого

1. Мадам Эглантина — прозвище сослуживицы Мено по издательству Штефани Вробель. Так зовут одну из паломниц — аббатису с манерами и привычками знатной дамы — в "Кентерберийских рассказах" Дж. Чосера.
2. "EMI" — английская звукозаписывающая фирма.

фольгой, зажал диск между средним и большим пальцами (указательный упирался в красную этикетку, на которой собака слушала голос хозяина, доносящийся из раструба граммофона), начал поглаживать черную поверхность экстра-мягкими углеродными волокнами, которые, будто коллекция соблазнительных женских ресниц, торчали из алюминиевой японской щетки (тоже подарок пациента-музыканта) и удаляли пыль бережнее, но при том основательнее, чем желтая тряпочка, которую фирма “VEB Deutsche Schallplatten” прилагала к некоторым альбомам марки “Eterna”[1]; итак, он нежно и задумчиво прочищал тонкое плетение звуковой дорожки, пока актер Эрик Орре, который в тот вечер был свободен и успел побеседовать с Рихардом о язве двенадцатиперстной кишки, не сказал:

— Ну хватит, Никлас, я думаю, ты уже завоевал их доверие.

Супруги Шведе (она — опереточная певица, беспомощно, но очаровательно взирающая на мир сквозь толстые, словно донышко бутылки, стекла очков; он, по мнению Рихарда, — красавчик, вылитый Кларк Гейбл[2], с усиками, в вязаном кардигане, работает в Комитете по внешнеэкономическим связям на Линдвурмринг; тамошние сотрудницы, как Рихард узнал от Никласа, называют его просто по имени: Нино) стояли у окна, оба — с пивными бокалами в руках, Нино сказал:

— Если и дальше будет так мести, нам, Билли, придется опять включить паровое отопление.

Весь город, казалось, пришел в движение: толкотня, давка, в темноте быстро обнаружились странные проявления свойственной человеку склонности к насилию, пока что отчасти сдерживаемой светом уличных фонарей, может — и цивилизующей силой чужих взглядов (эта склонность, как чувствовал Мено, нераскаянно возрастала, ибо нельзя было увидеть глаз человека, которого ты обругал, задел плечом, толкнул, ударил); но образовывавшиеся скопления уже через пару минут снова рассеивались; людские потоки, казалось, подчинялись мельчайшим изменениям атмосферных условий, возможно также — вполголоса передаваемым слухам, скорректированному магнетизму (толчков, надежды), но при всем том не имели цели движения, как не имеют ее пчелы, у которых отняли улей. Крики и стоны, возгласы на темных улицах, дребезжание стекла: “Неужто уже грабят?” — подумал Мено, стараясь сохранить самообладание; он придерживал руками карманы и шел через Старый рынок к Почтовой площади, где надеялся найти еще функционирующую трамвайную линию. В пансионе “Цвингер”, который дрезденцы презрительно обозвали *жральней*, кое-где горел свет, так же как в Доме книги и в похожем на крепость здании Главного почтамта, построенном шведской фирмой. Мено вдруг очутился в быстро уплотняющейся толпе: люди — казалось, инстинктивно, словно ночные мотыльки, — двигались в направлении огней, хотя им, гелиотропным существам, наверное, было бы лучше во мраке. Начался сильный снегопад. Драматический театр оставался темным, реклама на высотном доме — “Социализм победит” — погасла.

1. Под маркой “Eterna” в ГДР выпускали диски повышенного качества: классическую музыку, оперы и оперетты, политические и народные песни, церковную музыку.
2. Кларк Гейбл (1901—1960) — голливудский актер, кинозвезда и секс-символ 30—40-х гг.

Трамваи больше не ходили: они, будто морские млекопитающие, застыли в снеговом шаре.

“Пользуйтесь нерельсовым транспортом!” — снова и снова кричал один из кондукторов напиравшей толпе; смирившись с судьбой, он плотно закутался в одеяло. Автобус 11-го маршрута подошел к остановке возле Дома прессы на аллее Хулиана Гримау, он был переполнен; Мено узнал среди пассажиров господина Кнабе, супругов Краузевиц, господина Мальтакуса в вечернем костюме с бабочкой, даже госпожу фон Штерн, которая бодро помахивала льготным проездным билетом, пока скульптор Дитч подсаживал ее в автобус и провожал к уступленному ей сидячему месту. “Опера Земпера, Драматический театр — все засыпано снегом”, — возмущенно выкрикнула она, обращаясь к Мено. Автобус довез их только до Вальдшлёсхенштрассе.

— А дальше? Нам что же, пешком идти?

— Как хотите, — ответил водитель, пожав плечами. — Мне дали такие указания.

На мосту Мордгрунд, после нескольких километров пешего марша, маленькая группа еще не разбредшихся пассажиров остановилась передохнуть. Выросшая перед ними гора была не очень крутой, но, как они смогли рассмотреть в своеобразной светлоте, порождаемой падающим снегом, ее покрывал молочного цвета ледяной панцирь. На половине высоты застрял трамвай с погасшими окнами, вмерзший колесами в лед; с проводов и с самой горы, на ее обрывистой стороне, свисали длинные, причудливой формы сосульки.

— Должно быть, прорвало главную водопроводную трубу, — уважительно сказал Мальтакус. — Вопрос в том, как нам теперь отсюда выбираться. Если нас не втащат наверх на канатах...

— Нужна страховочная веревка, как у альпинистов, — вмешалась госпожа фон Штерн. — Мы пользовались такими во время войны, тогда тоже зимой все замерзало.

— ...получится веселенькое катание с горки, и завтра нас всех будут ледорубами высекать из замерзшего ручья.

— С моим инструментом я в любом случае добровольно наверх не полезу, — заявил контрабасист Дрезденской капеллы; коллега валторнист поддержал его: “У нас слишком ценные инструменты”.

— Почему же тогда вы не оставили их в опере? — ехидно спросил, не сдержавшись, господин Кнабе.

— Что за... вы уж простите, но я все-таки закончу: что за дурацкий вопрос! Ваш-то Математический салон наверняка и в этом смысле хорошо обеспечен, не чета нищим театральным гардеробам! Неужели вы думаете, что я брошу свой инструмент на произвол судьбы?

— Понятно, но у вас есть другое предложение?

— Можно подняться наверх по Шиллерштрассе.

— Там тоже проложены водопроводные трубы. И наверняка они тоже лопнули... А Буковая тропа еще круче. Но вам никто не мешает отправиться на разведку. Или просто остаться здесь, с вашими драгоценными инструментами, — съязвил господин Кнабе.

— Ах, да об чем говорить, давайте вернемся и заночуем в отеле, — предложил господин Мальтакус. — Сколько-то марок у меня найдется, а в “Экберге”, глядишь, нас и за задаток пустят.

— Не стройте себе иллюзий, — сказал Мено. — Отели, скорее всего, уже переполнены эвакуированными из Иоганнштадта[1].
— Вон там — снегоуборочная машина едет! — и валторнист радостно указал на участок дороги перед Кукушечьей тропой.

Мороз кусался, мороз сбивал вместе клубы белого дыма из охладительных башен теплоэлектростанции, в другое время распускавшиеся подобно пьянящим снам: небо будто приблизилось к земле и взрывчато-ясно, пламенно, фантастично образовывало переменчивые атмосферные грибы; мороз придал новое звучание железным мотыгам; электрические провода, обычно гудящие, теперь шептались, шелестели, как приглушенные струны музыкальных инструментов; под ледяной коркой они казались незащищенными и восприимчивыми к боли грубыми творениями человеческих рук. Кристиан работал уже семнадцать часов, без перерыва. Перед теплоэлектростанцией скапливались вагонетки с бурым углем. Но уголь в них намертво смерзся, и его приходилось взрывать; взрывы на короткое время заглушали грохот механических молотов, спешно доставленных сюда из ФРГ. Мало было приятного в том, чтобы попасть в команду, получившую задание откатывать в сторону вагонетки, в которых взрывное устройство не сработало.
— У нас два кандидата, — сказал Бухарь машинистам, научившим новичков тянуть жребий.
— Хофман или Кречмар, который из вас? — Он подбросил монетку, решил: Кречмар.
— Стой на месте, — сказал Кристиан, — пойду я.
— Почему? — озадаченно спросил Бухарь.
— Для него это кончится несчастьем.
— Ну, смотри, — сказал Бухарь, — мне-то все едино. Я не против, если кому-то приспичило стать героем.
— Не дури, Немо. У тебя коленки дрожат.
— Да, но ты все-таки останешься здесь. "Ничего со мной не случится", — решил Кристиан.
Приземлился вертолет, выпустил из своей утробы несколько важных шишек, которые, нервно жестикулируя, бегали туда и сюда, нажимали на кнопки радиотелефонов, дискутировали с членами штаба по обеспечению безопасности, созданного на угольном комбинате (штабисты разворачивали планы, которые на несколько мгновений приковывали к себе всеобщее внимание, но потом всплывало что-то новое, планы опять сворачивали, обиженно, они так и лежали забытыми на столе); *ответственные лица* совершали перед теплоэлектростанцией и заходящим позади нее холодным солнцем телодвижения, которые живо напомнили Кристиану индейские ритуальные танцы. Прежде чем снова забраться в вертолет, начальники еще немного постояли, уперев руки в боки, перед вагонетками с углем: жалкая группка унылых, бессильных мужчин.

30 декабря: из города прибывали эвакуированные на армейских грузовиках, с трудом преодолевая только что расчищенный путь через мост

1. Пригород Дрездена, расположенный на левом берегу Эльбы.

Мордгрунд; с горы снова и снова стекала вода — и замерзала; хотя дорогу посыпали жужелицей, она оставалась опасной. Рихард видел: целые роты солдат, а также рабочие с Грауляйте размахивают кирками, чтобы привести дорогу в порядок; среди тех, кто разбрасывал жужелицу, изредка попадались и знакомые лица. Откуда взялась эта вода? Из-за перебоев с электричеством — затронувших, по слухам, всю южную часть Республики (столица, благодаря особым мерам безопасности, по-прежнему наслаждалась приятными предновогодними хлопотами), — вода во многих водопроводных трубах замерзла и трубы лопнули; "Но в трубах же был лед?" — недоумевал Рихард, топая по снегу рядом с Никласом и поглядывая на текущую по улицам воду; новая вода булькала, быстро замерзала, люди не успевали засыпать опасные места. Никлас тащил за собой тележку с перевязочным материалом и лекарствами, которые взял дома. Рихард вполголоса чертыхался: он-то надеялся, что отметит праздник спокойно, с пуншем и дружескими разговорами, что у него найдется время и побыть наедине с собой, и совершить паломничество туда, откуда некогда смотрел на мир Филалет[1], — что он сможет именно оттуда увидеть освещенный фейерверками город и чокнуться за Новый год... Анна была еще у Курта, в Шандау[2]; поезда, разумеется, сейчас туда не ходили; Рихард договорился с женой, что позвонит пастору церкви св. Иоанна (сам Курт телефоном так и не обзавелся); однако телефонная линия не функционировала — как назло. Анна, значит, застряла в Шандау, а он топал рядом с Никласом по льду и снегу, чтобы доставить что нужно для пациентов, которые, вероятно, тем временем уже появились. Они вдвоем шли к лазарету, там Барсано[3] и его аварийная команда устроили опорный пункт, туда должны были эвакуировать людей из районов новостроек: Пролиса, Райека, Горбица, Иоганнштадта.

— Ты замечал, что у человека с пониженным слухом, похоже, и осязание притупляется? — Никлас, подумал Рихард, нюхом чует, что скоро запахнет жареным. — Эццо, наверное, остался в музыкальной школе, Реглинда собиралась провести Новый год у друзей в Нойштадте, Гудрун[4] рассчитывала... — Мено! Эй, Мено! Ты не видел Гудрун?

Мено, только что спрыгнувший с подножки грузовика, отрицательно покачал головой:

— В нашем автобусе ее не было. Вы в лазарет?

— Господин Роде! — крикнул Барсано от двери с красной звездой и замахал руками. — Помогите нам — вы ведь говорите по-русски. У меня и с координацией хлопот по горло. А вы были бы очень полезны как переводчик! Господин Хофман, господин Титце, пожалуйста, зайдите к дежурному врачу.

1. Имеется в виду замок Веезенштейн в окрестностях Дрездена, резиденция Иоганна Саксонского (1801–1873), короля Саксонии с 1854 г., который под псевдонимом Филалет (Любящий правду) занимался переводческой деятельностью, перевел, в частности, "Божественную комедию" Данте.

2. Бад-Шандау — город в земле Саксония, подчинен земельной дирекции Дрездена.

3. Прототип Барсано — Ханс Модров (р. 1928), один из ведущих политиков ГДР. В конце Второй мировой войны он воевал в фольксштурме, в России попал в плен и был направлен в антифашистскую школу. В 1949-м вернулся в ГДР, в 1952–1953 гг. учился на Высших комсомольских курсах в Москве. В 1973–1989 гг. был первым секретарем окружного управления СДПГ в Дрездене. Был сторонником реформ в духе тех, что проводил М. Горбачев. 13 ноября 1989 г. стал министром-президентом ГДР.

4. Гудрун — жена Никласа Титце, Эццо и Реглинда — их дети.

Запретное место, пронеслось в голове у Мено, сплошная пыль — и он прошел в дверь, мимо смущенного часового, пытавшегося ее охранять. NATURA SANAT[1], приветствовали его бывшая дамская купальня и, перед ней, — улыбающаяся, как киргиз, серебряная голова Ленина[2]. Мостки сгнили, оконные стекла побились, орнаменты в стиле модерн поблекли, дожди и грозы основательно подпортили кровлю. Со стрехи, похожей на резной гребень красавицы, умащенный желаниями и обещаниями, но уже лишившийся многих зубьев, свисали сосульки: тяжелые и грязные, они будто хотели заглушить грациозную мелодию незримой музыкальной шкатулки, которая иначе расширила бы щели в зданиях, усилила бы жужжание своей союзницы — котельной на склоне горы. В галереях, куда выходили комнаты бывшего санатория, стояли старые бадьи, доверху наполненные щепками и газетной бумагой. Паутина, словно затейливые украшения татарских шлемов, ниспадала с резных наличников — черная, посверкивающая на морозе. Но была ли то паутина? Мено решил, что обманулся. Ему прежде не встречалась паутина, принимающая такие формы — пусть даже за десятилетия, при наложении друг на друга многих слоев, отчасти рвущихся. Нет, скорее лишайник: странные, похожие на мох наросты, свисающие вниз или — возле сторожевого поста — будто засасываемые бедной плотью деревьев; войлочные, неприятного цвета "бороды" на крышах: лес, очень медленно раскрывая объятия, казалось, пытался заманить их обратно в свое царство. Барсано взмахом руки препоручил Мено своему заместителю, Карлхайнцу Шуберту, взявшемуся проводить гостя к Генрихсхофу, фахверковой вилле, которая когда-то принадлежала владельцу санатория, нынче же в ней обосновалось начальство лазарета. Здания массажного кабинета и кухни пока пустовали, были наглухо заколочены досками. Забитые мусором кровельные лотки, крыши с отчасти отвалившейся черепицей, в потолочных перекрытиях некогда застекленных переходов завелись какие-то грибки, по потолкам расползлись пятна черной плесени. Шуберт ничего не говорил: шел, как на ходулях, захватывающими пространство шагами (словно боялся, если шаги будут мельче, оступиться) — мимо куч листвы, занесенных снегом, мимо безотрадных заколоченных дверей с надписями кириллицей и халтурно намалеванными цифрами; он молча, одним лишь остекленелым взглядом, приветствовал редко попадавшихся по пути больных, которые испуганно вскидывали на них глаза. Потом — затхлый запах коридоров, голубовато-зеленая эмаль, которой здесь покрасили стены, чтобы предохранить их от сырости и ее неприятных последствий; полы на пересечениях коридоров, бесстыдно лишенные их мозаичных украшений — лишь отдельные сохранившиеся камешки пастельных тонов, позволяли догадаться о прежней роскоши римско-античных купальных сцен; гораздо больше повезло запыленным люстрам, которые покачивались на сквозняке, веющем из разбитых окон: их — не иначе как из уважения — оставили в целости и сохранности; стенгазеты с вырезками из актуальной "Правды" и сатирического журнала "Крокодил" —

1. ПРИРОДА ЛЕЧИТ (*лат.*).
2. Здесь описывается госпиталь для советских солдат на территории бывшего санатория. В 1989 г. уже начался вывод советских войск из ГДР.

сиюминутные впечатления и одновременно воспоминания, всколыхнувшие многое в душе Мено[1]. Карлхайнц Шуберт, смутившись, попросил чуть-чуть его подождать; через пару минут он вернулся, качая головой: сказал, что все унитазы вырваны с корнем, упакованы для отправки в Россию и на пакетах надписаны адреса; а два солдата, присев над отверстиями и разложив на походном табурете доску, играют в шахматы... Но затем, похоже, Шуберт внутренне одернул себя — и, поджав губы, добавил: все же, мол, они наши союзники и братья. В Генрихсхофе им пришлось подождать, и в вестибюле Мено долго рассматривал силуэтную картинку из черной бумаги, висевшую в рамочке на стене; тщательно прорезанная подпись указывала, что работа выполнена госпожой Цвирневаден и представляет сцену из баллады об ученике чародея[2]; но если все другие художники (и сам автор баллады) изображали ученика чародея отчаявшимся в результате неудачной попытки самостоятельно что-нибудь сотворить, то здесь юноша, казалось, ожидал возвращения мастера невозмутимо и даже с холодным интересом.

Открытая горная выработка походила на военный лагерь. Солдат передислоцировали, они теперь жили в спешно разбитых палатках. На севере страны и в столице, согласно быстро распространявшимся слухам, электроснабжение функционировало нормально. Однако ниже воображаемой линии, пересекающей Эльбу в ее среднем течении, примерно от Торгау до Магдебурга, экскаваторы не двигались, дома оставались темными, начались перебои со снабжением; Самарканд больше не получал необходимого сырья, да и другие крупные теплоэлектростанции — опухоли, пожирающие уголь и выбрасывающие в жизнь энергию, — возникшие в богатых водными артериями, но пустынных, как на Луне, ландшафтах, тоже оставались темными, неожиданно оказались на голодном пайке.
Рабочая смена у солдат длилась двенадцать часов — палаток не хватало, и одна смена спала, пока другая работала. В бараке Кристиана теперь размещалось шестьдесят человек; если прежде двадцать коек располагались в два яруса, то теперь надстроили третий “этаж” (для лежащего наверху расстояние между телом и потолком было таким маленьким, что он не мог повернуться); на шестьдесят человек имелось лишь двадцать шкафчиков: многие из них запирались теперь аж на три замка, что, понятно, не способствовало тишине в помещении. Жиряк и Кристиан делили на двоих двухъярусную койку и шкафчик; Жиряк грозил поколотить каждого, кто станет претендовать на место в их шкафу; вспыльчивость и физическая сила бывшего циркового атлета произвели впечатление даже на самых задиристых.
Из-за куска мыла, одной сигареты, отданного с запозданием письма вспыхивали драки; к тому же начали прибывать солдаты из других частей (чьи офицеры были далеко), над ними Жиряк уже не имел власти; они говорили: “Ты еще нас попомнишь”, — когда он валялся пьяный на койке и, мало что соображая, усталым движением руки указывал на кучу

1. Мено Роде родился и провел детство в Москве, его родители были немецкими коммунистами.
2. “Ученик чародея” — баллада И. В. Гёте.

корреспонденции (он забывал, какие письма нужно раздать, какие должны быть отправлены); прямо у него на глазах, обретших лишенную блеска посюсторонность сваренных вкрутую яиц, они вносили свои имена в журнал увольнений, крали у него шнапс и подштанники, с радостными воплями водружали их на палку, а палку втыкали в гору мусора возле барака — и срамное знамя развевались на ветру, выставленное на всеобщее жалостливое обозрение; либо враги Жиряка пропитывали этот предмет одежды горняцкой сивухой, купленной у водителей локомотивов, и, одухотворив таким образом, затем поджаривали над костерком.

Была сооружена душевая палатка: десять помывочных мест для сотен грязных мужских тел; вода еле-еле капала, была холодной как лед, а низкого качества ядровое мыло не пенилось. Кристиану совсем не хотелось сражаться в тесном закутке за пару горстей воды, он с ненавистью отнесся к такому покушению на последние остатки приватной сферы, сохранявшиеся у тех, кто, и надев солдатскую форму, не теряет своего Я, а пытается противостоять предписанному "большому Мы" армейской жизни. Он мылся, вспоминая зимнюю воду из бочки Курта, — возле курящейся на морозе глубокой лужи, далеко в стороне от барака.

Утром 31 декабря питьевая вода в автоцистерне, которая обслуживала расположившиеся здесь части, замерзла; еды не хватило на всех: грузовик с полевой кухней застрял где-то по дороге; раздаваемые порции закончились задолго до Кристиана и Жиряка; Кристиан впервые с удивлением осознал, что существует такая вещь, как голод. Прежде ему не случалось сталкиваться с этим явлением — ни в Шведте, ни на Карбидном острове, ни уж тем более дома, где всякий, кого он знал, хоть и постоянно *брюзжал на жизнь*, однако, как ни странно, *ни в чем не нуждался*... разумеется, это достигалось только благодаря *личным связям* и ценой бесконечного *мотания по очередям*, но ведь батон хлеба стоил всего одну марку четыре пфеннига, булочка — одну марку, пакет молока — шестьдесят шесть (а после подорожания семьдесят) пфеннигов, и уж такие продукты имелись всегда...
<...>

Грозовые зарницы

<...>
— Приблизься! — Корректор Клемм важно кивнул своему сослуживцу Мено. — О честный трудяга, — забормотал, — ты безупречно влачишь ярмо, готовишь, как каждый год, ярмарку, но успеваешь... ах, барышня Вробель, вот уж не думал увидеть здесь и вас; господа из Бетховенского квартета о такой приятной возможности умолчали.
— Вы... тоже собрались на мероприятие?
Все трое инстинктивно ретировались из светлого круга под фонарем, и Оскар Клемм, кавалер старой выучки, вместо ответа протянул Мадам Эглантине руку — та приняла знак внимания благосклонно, хотя вообще, как знал Мено, на обращение "барышня" сердилась. Лицо ее было бледным, глаза от сомнений и страха потемнели; зато на пальто, скроенное из добротного дедовского лодена, были нашиты войлочные аппликации в виде разноцветных ступней, пальцы которых (Оскар Клемм называл их, на саксонский манер, топырками) дерзко торчали в разные стороны.

— Вы мне позволите завязать вам шнурки? Прикиньте, моя дорогая, что будет, если вы споткнетесь.

— Розентрэгер должен сегодня говорить, — осторожно сказал Мено.

— Это хорошо, хоть раз послушать что-то другое. Шифнер нам запретил ходить туда, но, дорогие коллеги, — Клемм вдруг остановился и поднял голову, — я, со своей стороны, решил, что пора наконец набраться мужества.

Церковь Святого Креста, программа Мауэрсбергера[1]. Люди стояли так тесно, что одной пожилой даме поблизости от Мено, с которой случился обморок, некуда было упасть. “Как одиноко стоит город, некогда многолюдный!”[2] Но (что очень характерно, подумал Мено) об ужасном *нужно было* сказать красиво, благозвучно — прозрачные голоса хора Святого Креста уже начали очаровывать слушателей, — *нужно было* дать сказаться гармонии, обрамленной правильной формой и преданием; когда эта музыка родилась, в ней увидели лишь приверженность традиции, хотя она хотела быть чем-то другим. Этерические голоса — и, по контрасту к ним, совершенно лишенная украшений, *выжженная дотла* церковь, шершавая штукатурка стен; над головами прихожан, в ореоле свечного сияния, — заклинающий сдержанную скорбь, вносящий умиротворение кантор, чьей дирижерской палочке с детской невинностью подчиняются и светло́ веющие вуали хорового пения, и их опора, звуки йемлиховского органа[3].

Розентрэгер взошел на кафедру. По рядам людей, только что завороженно слушавших музыку, будто пробежала во̀лна. Напрягшись, тела подались вперед (так исполненные ожидания мясистые плотоядные растения поворачиваются к потенциальной жертве, незаметно для себя переступившей черту внешнего сигнального круга); шеи вытянулись, руки начали нервно теребить молитвенники, медленно вертеть шляпы, будто перебирая четки; облачка дыхания, выходящего из многих уст, были невидимыми, но, когда и в самом деле зазвучал хорошо поставленный голос суперинтендента, сквозь весь сумеречно-мерцающий церковный неф пронесся общий вздох облегчения. Розентрэгер заговорил о 13 февраля. Мено почувствовал: это не то, на что надеялись люди — и что, может быть, имела в виду Мадам Эглантина, когда, запнувшись, выговорила словечко “мероприятие”; воспоминания о воздушной атаке, о войне, об опустошении города, о прошлом — всего этого, конечно, люди ждали, но надеялись-то они на слова о сегодняшнем дне. И когда такие слова наконец пришли, то показалось, будто молния, сверкнув, прорвала темную тучу недовольства — так быстро слушающие подняли опять головы к Розентрэгеру (которого Барсано, как сейчас вспомнилось Мено, однажды публично назвал *нашим главным врагом*). Этот ху-

1. Дрезденская церковь Святого Креста на Старом рынке — главный евангелически-лютеранский храм Саксонии, рассчитан на 3000 сидячих мест; знаменит своим церковным хором. В 1989 г. стал центром “Дрезденской революции”. Рудольф Мауэрсбергер (1889–1971) был кантором церкви Св. Креста в 1930–1971 гг. Здесь имеется в виду программа из трех написанных им произведений для церковного хора: “Христова вечерня для прихожан церкви Святого Креста”, “Дрезденский реквием” (написанный в память о бомбардировке Дрездена 13 февраля 1945 г.) и “Vater unser”.

2. Часть “Дрезденского реквиема”, написанная на слова Плача Иеремии (цитируемая строка — Плач Иер. 1:1).

3. “Йемлих” — знаменитая дрезденская фирма по изготовлению органов, основанная тремя братьями Йемлих (Готхельфом Фридрихом, Иоганном Готхольдом и Карлом Готлибом) в 1808 г.

дой человек с прямыми, небрежно разделенными на пробор волосами намеренно говорил сейчас такие вещи, которые другие отваживались высказывать вслух разве что шепотом, прикрыв рот ладонью, — а вообще предпочитали ни с кем ими не делиться. Снова и снова Мено всем телом чувствовал, как цепенеют люди вокруг, когда Розентрэгер говорит о "заблуждениях", о правде, которая может быть единой и неделимой только в Боге, но никак не у той или иной партии; когда он сравнивает правду с зеркалом, показывающим не наши прекрасные желания, но действительность, порой неприглядную (в правильности последнего сравнения Мено, из-за въевшихся ему в плоть и кровь интеллигентских привычек, убежден не был). Этот человек, решил он, понаблюдав некоторое время за проповедником, — не авантюрист, которого, возможно, захлестнула волна благодарности, заставив покинуть гавань жизненно необходимых предосторожностей; но и не честолюбец, для которого всякий раз, когда он поднимается в священническом облачении на кафедру, восходит его личное — маленькое — тщеславное солнце. А просто он говорит простые истины. То, что он делает здесь, в церкви, перед тысячами слушателей, — удовлетворение давно назревшей у людей потребности, а вовсе не происки "изолированной клики", как Барсано величает тех, кто ходит на богослужения в церковь Святого Креста. Здесь кто-то вырвался за границу молчания, нежелания видеть очевидное, страха; сам Розентрэгер, конечно, испытывал страх — это Мено вычитывал из жестов проповедника, чересчур нервных (что со временем, вероятно, повредит его репутации в глазах невозмутимых летописцев нынешних событий); но люди, за которыми Мено сейчас наблюдал, в алчущей тишине буквально впитывали его слова. Может, в том-то и было дело: что Розентрэгер не рассуждал как партийный пропагандист, глыбоподобный и властный, наставляющий паству, склоняясь к ней с облаков якобы известных ему исторических законов; нет, Розентрэгер то и дело поправлял очки, говорил свободно, но как бы все время подыскивая на ощупь нужное слово, держался прямо, расхожих фраз не употреблял; он явно испытывал страх — и все же продолжал говорить.

Рихард попросил Роберта остановиться у поворота к каменоломне[1]. Последний маленький отрезок пути ему хотелось пройти пешком, невзирая на сарказм Анны; зато вернется он на "испано-сюизе"[2], со всей подобающей помпой: будет медленно приближаться, глаза в глаза; да и Роберта он рассчитывал поразить, своего видавшего виды сына (пусть разделит его триумф). Каким чистым был воздух — эскиз еще не наступившей весны; птица вспорхнула с ветки, осыпав Рихарда вспугнутыми водяными каплями.

Скульптор Ежи висел на тале — обрабатывал ухо гигантского Карла Маркса — и махал Рихарду рукой. С другой стороны каменоломни доносились яростные удары горного молотка: там Дитч трудился над своим,

1. Речь идет о каменоломне, выделенной для работы скульпторам, членам Союза творческих работников.
2. Барселонская автомобильная фирма "Испано-сюиза" существовала в 1904–1944 гг.; машины этой марки были очень престижными и дорогими, сейчас они являются предметом коллекционирования.

как он выражался, work in progress[1], над “Большим пальцем”, но он на приветствие Рихарда не ответил. В гараже царил тот чудесный беспорядок, какой остается после детских игр; Шталь[2] однажды заметил, задумчиво и не без иронии по отношению к самому себе: не только после игр – после любой работы, которая делается с увлечением и ради нее самой, потому что занимаются ею те же мальчишки, только закамуфлированные под солидных отцов семейств. Сквозь щели в досках просачивался свет. Машина ждала хозяина, укрытая брезентовым чехлом. “Испано-сюиза”, – прошептал Рихард, его радовало уже само звучание слова. Пока он повторял имя, взгляд его упал на комбинированные кусачки, которыми прежде пользовался Герхарт Шталь. От созданного им мини-самолета, который он назвал “САГЕ”, по первым слогам имен Сабина и Герхарт, ничего не осталось – только меловые линии, отчасти смытые проникающим сквозь крышу дождем, отчасти затоптанные самим Рихардом, еще указывали, где когда-то располагались инструменты и материалы. Детей поместили в приюты, в разные города, это Рихард узнал от адвоката Шпербера[3]. В какие же города? Шпербер вместо ответа смущенно отвел глаза и передернул плечами.

Несколько мгновений Рихард наслаждался видом стоящей на черном полу ярко-желтой канистры с машинным маслом. Как она сверкала! Как ощутимо присутствовала в пространстве и каким ненавязчивым было это присутствие! Потом он подошел к машине и сдернул брезент.

“Испано-сюиза” была изуродована, с профессиональной тщательностью. Кожаная обивка везде вспорота, рулевое колесо вместе с отпиленной рулевой колонкой торчит из водительского сиденья. Рихард открыл капот. Провода, медные артерии, еще недавно полные жизни, и никелированные вены, по которым циркулировало топливо, – все это разбито или перерезано, *с удовольствием* (о, такое чувствуешь сразу!). Мотор – залит бетоном; в застывшей бетонной массе, как в каменном футляре, лежат – Рихард без труда их достал – плоскогубцы, пропавшие перед Рождеством, вместе с трудно добытой елкой. Умело зажатая ими, колышется, как на подарке ко дню рождения, бумажная карточка; на ней машинописная надпись: “С социалистическим приветом!” <...>

Однажды апрельским вечером – людей на улицах было тогда больше, чем обычно, – пастор Магеншток прибивал гвоздиками к доске объявлений перед церковью воззвание некоей группы по защите окружаю-

1. Постоянно дорабатываемое произведение (*англ.*); название незавершенного произведения Д. Джойса.

2. Инженер Шталь (с женой и двумя детьми) жил в одном доме с Мено Роде и дружил с часто навещавшим Мено, женатым на его сестре Рихардом. Когда один из бывших пациентов, скульптор Дитч, подарил Рихарду старую “испано-сюизу”, Шталь взялся помочь привести ее в порядок. Одновременно он начал мастерить в том же гараже мини-самолет, на котором надеялся улететь с семьей в Западную Германию, но на него кто-то донес, он был арестован штази и погиб при невыясненных обстоятельствах.

3. Прототип адвоката Шпербера – Вольфганг Фогель (1925–2008) – гэдээровский адвокат, который во время Второй мировой войны служил в люфтваффе. В 1961 г. он организовал первый за время холодной войны обмен агентами, потом продолжал эту деятельность вплоть до падения Стены; официально числился уполномоченным президента по гуманитарным вопросам.

щей среды: ярко-оранжевый лист, магнит для глаз, занявший место между планом проповедей и призывом делать пожертвования в пользу стран "третьего мира". Мено остановился, чтобы понаблюдать за господином Хэнхеном, здешним участковым уполномоченным, который — словно против воли — медленно приближался к пастору, поглядывая то на тротуар, то на блекнущее цветочной раскраски небо, складывая руки то за спиной, то на импозантном животе, стянутом подтяжками марки "Адидас", которые выглядывали из-под форменного кителя. "Вы ведь понимаете, что не должны себе такого позволять", — заметил господин Хэнхен, прежде основательно проштудировав воззвание, для чего он даже вздел на нос очки. Между тем кантор Каннегиссер с раскрасневшимся испуганным лицом подошел и встал рядом с пастором Магенштоком — хоть и тяжело дыша, но прикрывая его своим телом; высокий толстый участковый уполномоченный и маленький щуплый церковный музыкант какое-то время разглядывали друг друга, недоуменно поднимая и опуская головы.

— Вы, может, хотите стать героем? — спросил Хэнхен, и глаза его погрустнели.

— Слово "герой" вообще не встречается в Новом Завете, господин Хэнхен. Я просто не могу больше нести ответственность за свое молчание ни перед моей общиной, ни перед собственной совестью, — сказал пастор Магеншток.

Хэнхен помолчал, а потом ответил, что такие мотивы ему понятны. И все же в силу своих должностных полномочий он желал бы это воззвание удалить.

— Но ведь у вас тоже есть дети, господин Хэнхен! — воскликнул Мальтакус, который в этот момент, в сопровождении Кюнаста и Краузевитцена, подошел к месту происшествия и тоже встал рядом с Магенштоком.

Господин Хэнхен ответил, что да, дети у него есть.

— Бессмысленно закрывать глаза... — твердо сказала зубная врачиха Кнабе, которая хоть и была нагружена продуктовыми сумками, но тоже встала рядом с Магенштоком, вместе со всеми женщинами из только что ею основанного кружка борьбы за эмансипацию. — Господин Роде, вы тоже идите к нам! — распорядилась она.

— Господин Хэнхен, — попробовал найти выход Мено, — а нет ли возможности сделать вид, будто вы ничего не видели?

Господин Хэнхен ответил, что в принципе такая возможность всегда существует, вот только...

Но тут подоспели сотрудники заведения на Грауляйте. "Разойтись!" — рявкнул офицер. Однако люди не тронулись с места. Зубная врачиха Кнабе медленно покачала головой. Офицер, казалось, изумился, смутился. Другие гуляющие видели странное скопление народа, но вместо того чтобы побыстрей пройти мимо, с невидящим взглядом, со втянутой в плечи головой, как бывало до сих пор при любой конфронтации с властью, они подходили ближе, все в бóльших количествах, — а вслед за ними и те, кто сперва наблюдал за происходящим из парка, тянущегося вдоль Ульменляйте, — и становились рядом с пастором Магенштоком.

Офицер молчал. И Мено еще никогда не видел такого одинокого человека, как участковый уполномоченный Хайнц Хэнхен, стоящий посреди пустого пространства между обеими группами.

Кружок, образовавшийся вокруг Нины Шмюкке[1], был пестрым; Рихард, которого она, как старого знакомого, приветствовала поцелуями в левую и правую щеку (вероятно, чтобы позлить Анну; он потом начал оправдываться, но жена его только отмахнулась), кивнул Кларенсу и Венигеру — последний, воззрившись на него удивленно и враждебно, зашептал что-то на ухо одному из тех бородатых мужчин в джинсах и клетчатых рубашках, которые, как Рихарду показалось на первый взгляд, задавали здесь тон. Анну определенно смутили картины на стенах и на многочисленных мольбертах: повсюду красочные сгустки самых агрессивных тонов сражаются за место на полотне. Остановившись возле одного из немногих окон, которые не были забиты картоном или фанерой, Рихард смотрел на Новый город: обветшавшие крыши, под которыми нагие мужчины отбивают поклоны заходящему солнцу; изъеденные временем дымоходные трубы, а все скамеечки для трубочистов заняты: один толстяк спит на спине, руки и ноги его свисают вниз; тощий человек в черном прорезиненном костюме меряет шагами кровлю, женщина проверяет рыболовное снаряжение... Рихард принес Анне чего-то выпить, пододвинул ее стул к окну; дискуссии, которые из-за их появления прервались, теперь — после того как бородач увлек Нину Шмюкке в сторонку и там она его, видимо, успокоила — возобновились, сопровождаемые частым чирканьем спичек и щелканьем зажигалок. Тягучие, медленные, тягучие. Рихард знал кое-кого из присутствующих: двух медико-технических ассистенток из Неврологической клиники, бывшего врача-ассистента из Центра внутренней медицины[2] (того самого: лишившего Хирургию ее рождественского триумфа) госпожу Фреезе, которая сейчас с неприятным упорством пялилась на него, — он опустил голову, тут же рассердился на собственную трусость, в свою очередь вызывающе взглянул на нее, после чего госпожа Фреезе спряталась за широкими спинами двух сотрудников с Угольного острова. Рихард узнал также того ответственного исполнителя, который перед выездом Регины за границу удрученно перебирал картотеку и остановился на букве "F"; еще с кем-то ему не так давно пришлось иметь дело в связи с ремонтом газовой колонки для горячей воды. Быстрые взгляды, будто вспархивающие с лиц и замирающие в ожидании... Страх, представляющий собой боязнь страха как такового... Руки, не знающие, куда им себя девать... Один инженер заговорил о собственной жизни, которую — что он своими уклончивыми словесными петлями пытался не столько объяснить, сколько скрыть — уже невозможно "в достаточной степени" отделить от повседневного быта... Серость. Великая серость завладела его бытием! Ему поддакивали. Такой жизненный опыт разделяли с ним многие. Кто-то спросил, какие будут предложения.

— Надо прямо сейчас начать сидячую забастовку, — сказала женщина с пиратским платком на голове и в льняном платье, которое было украшено необычной и красивой, как находил Рихард, вышивкой, изображаю-

1. Нина Шмюкке — художница-авангардистка, работающая продавщицей в рыбном магазине; соседка любовницы Рихарда.
2. Центр при Дрезденском университете.

щей красно-белый дорожный знак. Мол, пора наконец что-то у нас менять, сколько народу уже уехало, например, половина высотного дома, в котором живет она, — к чему это приведет?

— Может, у нашего гостя найдется какой рецепт? — Венигер кивком головы показал на Рихарда. — У него имеются контакты, которыми располагает далеко не каждый из здесь присутствующих...

— Это, Манфред, гадкая подтасовка. Возьми свои слова обратно! — Анна поднялась со стула.

— Хорошо, конечно, что ты вступаешься за мужа... Но тебе, Нина, следовало бы предупредить нас, что ты собираешься его пригласить. И вообще, я вижу здесь много незнакомых лиц.

— Если мы хотим разговаривать откровенно, и не только в своем тесном кругу, нам рано или поздно придется выйти за его пределы. Ты, Манфред, кажется, с этим соглашался, — осадил его бородатый.

— Может, оно и так, но я бы все равно хотел знать, кого вы сюда приглашаете. Если *этот* останется, — Венигер старательно избегал взгляда Рихарда, — то уйду я. На мой взгляд, риск слишком велик.

— Манфред, сядь лучше и доешь свое пирожное! — взмолился Кларенс.

— Мы *должны* идти на определенный риск, — сказал человек с гладко выбритым черепом. Рихард знал его, это был коллега Гудрун по Драматическому театру. Его кожаное пальто доставало до лодыжек, но уже сильно обтрепалось. Он скрестил руки (солидно хрустнула кожа), начал посасывать сигару с отрезанным кончиком. Две молодые женщины, сидевшие на полу скрестив ноги, обе в палестинских платках, поспешили заявить о себе. “Меня зовут Юлия”, — сказала одна. “А я Иоганна, — перебила ее другая. — Нам нравится то, что только что предложила Аннегрет. И Роберт из Грюнхайде[1] тоже наверняка бы...”

— А этот Роберт из Грюнхайде знает, где проводить такую сидячую забастовку? — встрял Венигер. — Неужели все всерьез думают, что подобными методами можно вынудить правительство пойти на реформы?

— Вполне даже можно, — задумчиво подтвердил человек в строгом костюме и галстуке, — так оно обычно и бывает.

Его сосед, облаченный в джинсовую куртку с нашивкой “Перекуем мечи на орала”[2], предложил почитать всем вместе Бонхёффера[3].

— Не надо, Баро, — донесся умоляющий голос с канапе, над которым висел акриловый Сталин с фиалкой вместо глаза.

Рихард увидел в окно, как любительница рыбалки махнула рукой. “Атас!” — крикнул кто-то от двери. Полицейские ворвались в ателье. Интерес присутствующих к изобразительному искусству своевременно и резко усилился.

— Проверка документов! Никому не покидать помещения!

1. Грюнхайде — лесопарк в окрестностях Дрездена, где во времена ГДР находилась большая база отдыха для детей и юношества.

2. Круглая нашивка с изображением скульптуры Е. Вутечича и надписью “Перекуем мечи на орала” — отличительный знак гэдээровских пацифистов, сыгравших важную роль в событиях 1989 г.

3. Дитрих Бонхёффер (1906—1945) — немецкий лютеранский пастор, теолог, участник антинацистского заговора, был казнен в концлагере Флоссенбург. В тюрьме им была написана книга “Сопротивление и покорность”, изданная посмертно в 1951 г.

Вальпургиева ночь[1]

— Вот ты и попался. — Арбогаст[2] прислонился к окну, рассматривая на кончике пальца мотылька. Он протянул мотылька господину Ритчелю, который стряхнул его в сачок и бесшумно удалился. — То, о чем вы меня просите, господин Хофман, — совсем не пустяк.
— Но однажды вы уже позволили воспользоваться вашей типографией.
— Синяя книжечка нашего ассириолога, да-да. Но то было развлечение. В вашем же случае речь идет о политике. Выполнить вашу просьбу — значит подставить себя...
— Значит, вы не хотите нам помочь.
— Кому это “нам”?
— Группе людей, для которых нынешняя ситуация не просто повод для размышлений. Которые решились предпринять что-то конкретное.
— ...решились... так-так. Во всякой решимости есть нечто прямолинейное, что можно согласовать с принципами моего института. Но почему вы не обратились в какую-нибудь газету, господин Хофман? Газета — лучшая из инстанций, вносящих разнообразие в нашу жизнь. В последнее время публикуется много интересных репортажей, и далеко не все редакторы — твердолобые дураки.
— Господин фон Арбогаст, ни одна газета у нас в стране не напечатает такое воззвание. Вы это знаете не хуже меня.
— А что касается вашего желания поговорить со мной... Почему бы и нет. Вы получили мое письмо? Я уже несколько раз собирался вам позвонить. У Академии, вероятно, много других забот — помимо моего проекта.
— Весьма сожалею.
— Впрочем, господин Хофман, я разделяю многие идеи вашего манифеста. Я подумаю о вашем предложении.
— Гонорар...
Арбогаст улыбнулся:
— Ах, видите ли, господин Хофман, деньги уже давно не щекочут мне нервы. Другое дело — участие в неплохой затее... Кстати, вы, может, слышали, что я увлекаюсь собиранием книг? И что, среди прочего, меня интересует Бир—Браун—Кюммель[3], счастливым обладателем коего являетесь вы? Как я случайно узнал от вашего зятя, живущего в Итальянском доме. Давайте оба подумаем. Я вас увижу вечером в “Сивиллином дворе”? ...Жаль. — Арбогаст поднялся, одернул на себе пунцовый жилет; в это время из горизонтального циферблата настольных часов — за ле-

1. “Вальпургиева иочь” и “Сои в Вальпургневу иочь” (см. дальше) — иазвания сцеи из первой части “Фауста” И. В. Гёте.
2. Прототип барона Арбогаста — Манфред фои Ардеиие (1907—1997) — иемецкий учеиый, занимавшнйся в основиом прнкладной физикой, автор более 600 нзобретеиий и патентов. В 1945—1954 гг. работал над созданнем немецкой атомной бомбы в Физико-математическом иституте в Сухуми, в 1953 г. получил Сталиискую премию. Потом приехал в ГДР, поселился в Дрездене и основал там в 1955 г. частиый иаучио-исследовательский институт, где работало более 500 сотрудииков. Дважды получал Национальную премню ГДР, был членом парижской Междуиародиой академии астроиавтики, в иоябре 1989 г. разработал теорию социалистического рыиочиого хозяйства.
3. Миоготомиое нздаиие “Оперативиая хирургия” („Chirurgische Operationslehre”), издаиное под редакцией А. Бира, Х. Брауна н Х. Кюммелля в Лейпцнге в 1914 г. и потом миогократио переиздававшееся.

сом остро отточенных карандашей — выскочила танцовщица, Дюймовочка из слоновой кости, и начала кружиться под звуки вальса.

Маскарад! Вестибюль ресторана "Сивиллин двор" был украшен гирляндами со свисающим серпантином и елочными лампочками; над оконными нишами, для поднятия настроения, развесили пестрые мигающие фонарики; натянутый под потолком транспарант возвещал: "Войди в май танцуя!" Мено предъявил приглашение, вынул из рюкзака свой старый халат зоолога и микроскоп, прошел к гардеробу, где Красная Шапочка повесила его шляпу между двумя "борсалино"[1] Эшшлораков[2]. Карлфрида Зиннер-Прист, придворная дама эпохи саксонского барокко, стояла рядом с Альбертом Саломоном (Август Сильный)[3] возле телефонных будок "Сивиллиного двора", открывающихся специальным ключом, который можно получить на рецепции, предварительно вписав свое имя в учетную книгу, — и, похоже, возбужденно болтала с группой авторов; Мено узнал среди них Люрера (к несчастью, тоже наряженного Августом Сильным) и Старгорского (в костюме горца: тот в знак приветствия приподнял руку). Главный зал ресторана был залит иссиня-пурпурным светом, который извергался специальными прожекторами для дискотек и рудными прожилками струился по стенам. Альбин Эшшлорак[4], в костюме ночного дозорного, сидел с потерянным видом (на соседнем стуле его атрибуты — фонарь и рожок) у покрытого белой скатертью стола и издали махнул рукой Мено.
— Ну, Человек-с-микроскопом, что нового в сфере искусства? — с меланхоличным видом воскликнул он; Мено ответил уклончиво, но подчеркнуто дружелюбно.
— Нынешней ночью здесь может стать жарко, — Альбин Эшшлорак пододвинул Мено вазу с шоколадными палочками, но сам так активно продолжал ими лакомиться, что Мено, просто из вежливости, тоже взял один трехгранный батончик, разорвал упаковку с фирменным знаком "Арджента" и бросил ее в вазу.

1. "Борсалино" — итальянская фирма, производящая элегантные мужские шляпы; существует с 1857 г.
2. Прототип Эшшлорака-старшего — Петер Хакс (1928–2003), один из самых известиых за рубежом гэдээровских драматургов, который переселился в ГДР из Западной Германии в 1955 г. Он ориеитировался на классический ("веймарский") период немецкой литературы, казался многим поэтом-аристократом, но в то же время был и остался после падения Стены убеждеиным сторонником социалистического курса ГДР.
3. Речь идет о двух самых влиятельных цензорах старшего поколения — Карлфриде Зииие-Прист по прозвищу Тайная Советница и Альберте Саломоне, из-за своих велеречивых и хитро составленных отзывов прозванного Слаломоном. В романе они характеризуются так: "Она [Зиннер-Прист. — *Т. Б.*] всегда оставалась непредсказуемой, ее мнение в головном ведомстве было весомее всех других, она работала на Угольном острове с иезапамятных времен, ее отзывы считались идеологической лакмусовой бумажкой. <...> Она была тощей и казалась выточенной из дерева, не способиой смеяться куклой. <...> Она призиавала как авторитет только Ленина и славилась непредвзятостью суждений. Караидаши втыкала, как японские шпильки, в плохо сидящий на ней парик, что неестественно удлиняло ее лицо, придавая ей сходство с вымершим доисторическим животным. <...> В свое время она получила поощрительную стипендию от СС. А потом стала узницей Бухенвальда и выжила там"; "Альберт Саломон до 1933 г. работал дизайнером и художииком иа Мейсенской фарфоровой мануфактуре, после доноса попал сперва в тюрьму при гестапо, а затем в КЦ Заксенхаузен, где пыточный мастер раздробил ему кисти обеих рук. Правую руку, которой прежде он рисовал и писал, ему ампутировали в КЦ". Прототип Карлфриды Зиннер-Прист — Карола Гэртнер-Шолле (1896–1978), главный цеизор ГДР, бывшая узница коицлагеря.
4. Сын Эшшлорака-старшего, не иазываемого в романе по имеии, известного драматурга.

Облаченные в белое официанты, которых "Сивиллин двор", испытывавший, как и многие другие предприятия, нехватку кадров, похоже, одолжил на этот вечер у Арбогаста (за буфетной стойкой у двери госпожа Альке пока просматривала какую-то верстку), разносили по столам кувшины; Альбин попросил наполнить два бокала красным пенящимся соком:
– Ревень, – сказал он так, будто его лицо еще не решило, принять ли одобрительное или негодующее выражение. – Напитки из Восточного Рима определенно нуждаются в инвентаризации.
"Сивиллин двор" едва ли сам озаботился раздобыванием напитков, он не располагал необходимым для таких празднеств контингентом; напитки были, скорее всего, мичуринской продукцией[1] или любительским вкладом научных сотрудников института – как, например, этот пунш, приготовленный в лабораториях Арбогаста на Грюнляйте. <...>
Мальтакус просто повесил себе через плечо "Байретту"[2] и явился как фотограф, Шальплаттен-Трюпель – как "сливовый трубочист"[3], со стремянкой и в цилиндре; госпожа Цшунке – с редисками, привязанными к сережкам; госпожа Кнаббе – в медицинском халате, со взваленным на спину гигантским коренным зубом; рядом с ней – госпожа Теерваген и супруги Хоних, которые явно себя особо не утруждали (Бабетт – в пионерской блузке и синем кепи, на кивок Мено она ответила дурацким пионерским салютом; Педро Хоних – в борцовском кимоно и с медалями на груди). За ними – адвокат Йоффе, остроумно вырядившийся бюрократом, и госпожа Арбогаст, весело с ним болтающая; фиолетовые волосы баронессы при здешнем освещении отливали металлическим блеском; бросался в глаза контраст между замшево-коричневым лицом и шкурой далматина, которую она – скорее ради декоративного эффекта, нежели чтобы не мерзнуть, – набросила себе на плечи. Вслед за ней шествовали все обитатели дома "Под мартышкой", предводительствуемые смешливой вдовой Фибиг в роли Бабы-яги, под руку с господином Рихтером-Мейнхольдом, одетым в желто-красное, как и публикуемые им ландкарты.
– Смотрите, а вот и воздухоплаватели. – Альбин Эшшлорак кивнул в сторону террасы, только что выхваченной из темноты светом прожекторов. Госпожа Альке и двое официантов в белых куртках уже распахнули ведущую туда дверь, возле которой тут же столпились любопытные. <...>
Воздушный шар опустился, управлял им господин Ритчель, в белой бескозырке и с боцманской трубкой во рту. Рядом с Арбогастом (в черном плаще) Мено обнаружил Юдит Шеволу (она дерзко облачилась в мужской кожаный костюм авиатора, на ней был даже летный шлем) и Филиппа Лондонера: тот выбрал живописные лохмотья флибустьера.
– "Летучий голландец", – с насмешкой проронила Ослиная Голова, – занесенный к нам из дальних морей бурями и штормовыми ветрами. Надо же, чтобы такое случилось в самый канун праздника рабочего класса! Капитан корабля тоже здесь. Стоит рядом с Кожаной Сентой...[4] Все это скучно, нелепо и, главное, лишено обаяния. А ты что думаешь, Альбин?

1. В романе упоминается кухонный комплекс "Иван В. Мичурин", занимавшийся исключительно снабжением Восточного Рима.
2. Марка дорогого фотоаппарата.
3. Традиционная для Дрездена съедобная фигурка, которую делают из насаженного на палочки чернослива, бумаги и золотой фольги.
4. Сента – персонаж оперы Р. Вагнера "Летучий голландец": девушка, полюбившая капитана про́клятого корабля.

– Думаю, ей надо подумать о своей безопасности. Море ведь холодное и глубокое...
– Ваши коллеги пожаловали, – Ослиная Голова кивнула в сторону двери. – Хайнц Шифнер в тоге, с лавровым венком на голове. В руке он держит чертополох, не исключено, что и настоящий. Вероятно, намекает на характер заключаемых им договоров с авторами. Что скажете, Роде, по поводу сегодняшнего превращения вашего шефа? Просто невероятно! Признайтесь, вы сбиты с толку?
– Барышня Вробель как Шоколадница, – сказал Альбин, облизнув губы. – Аппетитное дитя, очень хочется понаблюдать, как эта гордячка однажды растает. И она еще весы держит, чаши носят имена Приди, Уйди... Я покараулю ваше место! – крикнул он вслед уходящему Мено.
Прикатила и партийная номенклатура Дрездена. Прикатила: на линейке с резиновыми шинами от экипажной фирмы “Хекман”; Лошадница Юле[1] сидела на козлах и разукрашенным по случаю праздника кнутом погоняла двух тяжеловозов. Фуникулер тем временем доставил других гостей и просто здешних жителей, которые украдкой бросали взгляды на наряженных рыцарями партийных секретарей, громко чокающихся друг с другом. Жены партаппаратчиков, одетые как владелицы замков, вели себя тише. Прохожие сутулили плечи и старались поскорей миновать эту группу. <...>
Барсано говорил плохо, но коротко. Фразы были теми же, что всегда, и Мено спрашивал себя: верит ли сам Барсано в то, что говорит? скрывается ли за такими словесами живой человек, как в случае Лондонера[2], который в профессорской коллегии и при прочих подобных оказиях ведет себя совсем иначе, чем дома, в своем кругу? О Барсано распространились кое-какие слухи, Лондонер рассказывал Мено, что репутация первого секретаря – на взгляд берлинского руководства – в последнее время пошатнулась: он, мол, слишком тесно сблизился с “друзьями” в Москве, питает неумеренную симпатию к определенным идеям тамошнего председателя Верховного Совета. Имел место даже “обмен визитами”. Сейчас-то старый Лондонер лежит больной, у себя дома на проспекте Клары Цеткин; тем не менее еще вчера он присутствовал на читке одной пьесы, поправлял английское произношение Мено и так радостно-увлеченно следил за любимыми репликами, что его сегодняшнее отсутствие, якобы по причине болезни, заставляло серьезно задуматься. Конечно, Лондонер, в чем Мено был убежден, предупредил бы по крайней мере Филиппа, Юдит, обоих Эшшлораков и его самого, если бы знал, что появляться на маскараде, устроенном Барсано, опасно. Хотя, продолжал размышлять Мено, Лондонер мог намеренно воздержаться от такого предупреждения, ибо выдуманная им отговорка выглядит правдоподобнее, если нет его одного, тогда как близкие ему люди пришли; у Барсано, скорее всего, никаких

1. Юле Хекман – мужеподобная подруга зубной врачихи Кнаббе, борющейся за женскую эмансипацию. Ее прозвище Лошадница Юле – возможно, намек на героиню детской книжки Инны Бауэр (р. 1948) “Все о лошадях”.
2. Речь идет о Йохене Лондонере, отце Филиппа Лондонера. Прототип Лондонера-старшего – Юрген Кучиньски (1904–1997), немецкий историк и экономист. Во время войны он жил в эмиграции в Англии (где сотрудничал с советской и американской разведкой). Позже стал основателем и руководителем Отдела экономической истории в Институте истории АН ГДР, много лет был членом ЦК СДПГ, в силу своих заслуг пользовался известной свободой.

подозрений и не возникнет. Властные отношения нынче стали текучими... Барсано подвергся нападкам в “Нойес Дойчланд”, прокомментировавшей позицию московской “Правды” с такой “отчужденностью”, что это отразилось на сейсмограммах и встревожило даже тех читателей, которые не обладают достаточным опытом в толковании признаков надвигающихся землетрясений.

Конферансье принял из рук Барсано инициативу ведения вечера, у него был такой же пунцовый галстук, как у пианиста, который, раскинув руки и зажмурившись, шагнул в пустоту (жаль, что никто в этот момент не передвинул рояль); все другие музыканты Танцевальной капеллы тоже украсили себя пунцовыми галстуками, что породило ритмический аналог раскачивающихся водорослей или заградительного огня, едва оркестранты принялись со вкусом наяривать свои неувядающие хиты: рутина, живо напомнившая Мено торговок на дрезденском рождественском базаре, которые так же трезво и эффективно управлялись с елочными шарами, как эти инструменталисты — со своими звонкоголосыми носогрейками. Юдит Шевола наклонилась к нему:

— Раз, два, три, это па повтори... Социалистическая рабочая мораль, в приложении к танцевальной музыке. Вы всегда так неразговорчивы, господин Роде? Вам, между прочим, больше бы подошла фамилия Чибис[1]. Угостите меня вашим “Орьентом”.

...но потом вдруг...

Эльза Альке, проходя мимо, задела цветы; при этом обнаружилось, что цветы увяли. Мальтакус, и вдова Фибиг, и “обезьяны” пили пунш, они уже начали вертеться на стульях, будто те их едва удерживали; ноги сами пускались в пляс.

клик,

услышал Мено рядом с собой, пламя зажигалки осветило лицо Юдит Шеволы, это Старгорски дал ей прикурить. От стола Барсано доносился лихорадочный смех рыцарских жен; водка, пунш, шнапс шумно вливались в глотки, глаза сияли, будто подчерненные пьяной вишней. Мено слышал собачий лай, слышал, как ветер несет к нему голоса, сквозь сновидчески-замедленные движения пирующих, над столами и отгибаемыми в сторону, как прутья в лесу, аккордами Танцевальной капеллы; вой и жалобы; но они могли быть иллюзией, как и двое одетых в зеленое у окна[2], как и тихо, но различимо пробивающийся сквозь шумовой хаос голос Эшшлорака, который сказал Филиппу: “Я просмотрел твои

1. Гидеои Эсдур Чибис — герой романа “Чибис” (1988) швейцарского писателя Андре Камииского (1923—1991): еврей, после войиы приехавший в Польшу с утопическими идеями; позже ои эмигрировал в Швейцарию и от разочарования в своих идеалах утратил дар речи.
2. “Двое одетых в зелеиое”, как и иекоторые другие маски, отсылают к старииной голландской картиие, которую Меио Роде видел в доме у бароиа фои Арбогаста: “В проходе с колоииами, к которому вела лестиица, были изображеиы спокойио беседующие люди в длиииых тогах. На передием плане сидел мужчииа с микроскопом; двое одетых в зелеиое стояли возле подзориой трубы: одии показывал иа иебо, другой рассматривал астролябию с семью плаиетами; плаиеты, казалось, выросли, как плоды, иа коицах его пальцев. Еще одии, седоволосый мужчииа, держал в руке серебряиый кустик чертополоха. Жеищииа занималась какими-то подсчетами. На лугу играл малеиький мальчик; волк и олеиь пили из одиого источиика. Девушка подняла весы, молодой человек рисовал. А в углу стоял кто-то с иедобрыми глазами”.

бумаги; насколько я понял, мы движемся к банкротству. Материал чрезвычайной важности, если цифры соответствуют действительности, — непостижимо, как можно закрывать на такое глаза".

Конферансье, словно жеребец, тряхнул головой, его сбрызнутая лаком пышная грива в свете прожекторов казалась облитой глазурью, один ус приподнялся, обнажив длинные зубы:

— Танцуйте, дамы и господа!

Хайнц Шифнер, не сводивший глаз с декольте Бабетт Хоних, напрасно искал в складках своей тоги гребенку.

...но потом вдруг...

— Его такие отчеты не интересуют. Знаешь, что он сказал? "Я не придаю этому значения. То же самое пишут в западной прессе". А раз так, его это не заботит.

— Потому что не может быть...

— ...чего не должно быть[1]. Я бы насторожился, если б контора на Грауляйте представила мне отчет, совпадающий с тем, что пишут в журнале "Шпигель". Подумал бы: что-то в этом есть... Но те, на самом верху, рассуждают иначе, вот что ужасно...

— Недавно на политбюро обсуждали проблему дамских трусиков. Дамских трусиков напрочь нет — ни в Берлине, ни в прочих частях страны, до которых вообще никому нет дела, — сказал Альбин Эшшлорак. — Они хотели разработать "концепцию преодоления проблемы дамского нижнего белья". Да только Женский союз уже начал кампанию в газетах: стал публиковать выкройки с объяснениями, как самостоятельно сшить себе трусы.

— Оба Каминских нарядились ангелами. Боже, если бы добродетели можно было научить![2]

— Да не слушайте вы Эшшлорака, Роде! Мы с ним еще разберемся. Этот граф с хорошо подвешенным — на французский манер — языком: он ведь потому только и любит коммунизм, что при коммунизме у каждого будет время ходить на его пьесы!

— Ах, Пауль, ты ему небось завидуешь?

— А ты нет, Люрер? Тебя где ни встретишь, ты вечно болтаешь о поездках на Запад да о валютном курсе!

— Господин Шаде[3], я вам давно хотела сказать...

1. Цитата из "Песен висельников" немецкого поэта Кристиана Моргенштерна (1871—1914).
2. Диалог Платона "Менон" начинается фразой: "Что ты скажешь мне, Сократ: можно ли научиться добродетели?" Перевод С. А. Ошерова.
3. Пауль Шаде в романе характеризуется так: "Писатель Пауль Шаде, всегда гордо носивший на груди свои ордена за участие в антифашистском Сопротивлении. <...> Писатель Пауль Шаде, автор революционной поэмы 'Рычи, Россия', большие отрывки которой вошли в школьные хрестоматии всех братских социалистических стран, за исключением СССР. <...> Шаде занимал важный пост в Союзе творческих работников". А о предыдущем его конфликте с Юдит Шеволой сказано: "Но думала ли она о том, что Пауль Шаде в свое время сидел в концентрационном лагере, побывал в пыточных подвалах гестапо? Думала ли о той первой книге, где он описал свое детство в берлинском рабочем предместье и которая сделала его знаменитым, каковым он и оставался до тех пор, пока люди не перестали его читать, после 'Рычи, Россия' и серии опубликованных им романов, изображавших Сталина как 'отца народов', а немецкий народ — как 'волчье отродье', состоящее из неисправимых фашистов (за исключением тех, кто эмигрировал в Советский Союз, и немногих коммунистов, работающих в подполье)?"

— Ах, так вы еще существуете, фройляйн Шевола?
— Как видите.
— Ну что ж. Мы этого так не оставим. Так что вы мне хотели сказать?
— Что вы не можете ни-че-го.
— Что-о?
— Совсем ничего. Вы ведь функционер, а никакой не писатель, тем более — не поэт.
— Я говорю вам... говорю всем вам, что евреи... снова захватили власть. В Америке они интригуют против нас, из-за них нам заморозили кредиты... Но мы договорились с Японией. Японцы нам помогут. Есть ведь в конце концов определенные особенности характера. У народов... ...сяком случае.
— Ты пьян, Карлхайнц. Ты... мне противен.
— Держи себя в руках, Жорж Старгорски. Равняйся на товарища Лондонера. Не выходи из себя. Черт, как они наяривают! Почти как наш шеф на своей гармони.
— Дамские трусики? Может, вместо них пионерские галстуки повязывать — как эта Хоних?! Галстуков вроде пока хватает.
— Карлхайнц, прежде я никогда не вмешивался, если ты позволял себе ляпнуть что-то подобное. Но теперь я хочу, чтобы ты извинился перед Филиппом и Юдит.
— Да ну, что это на тебя нашло? Или, Жорж, и тебе высказаться охота? Лучше держи свое поддувало закрытым. Ты человек конченый, то есть, я хочу сказать, почитай что мертвец.
— Может быть. Но это не так уж плохо — быть мертвецом. Человек ко всему привыкает. А вот если ты не извинишься, я сообщу о твоем поведении в комиссию партийного контроля.
— Ах... Хочешь меня очернить? Желаю успеха! От тамошних птичек ты еще и не такое услышишь! <...>
— Дамы и господа, рекомендую вашему вниманию нашу праздничную лотерею! Не беспокойтесь, каждый лот предусматривает какой-то приз! Туш для госпожи Нотар, прекрасно вам известной по телелотереям... Товарищ первый секретарь тянет первым: вот он разворачивает бумажку: лоб его разглаживается: он передает ее мне: я читаю: дружеская встреча с ветеранами труда из дома для престарелых имени Эльзы Фенске, обмен опытом за чашечкой кофе с печеньем!
— клик, —
рассказывал Старец Горы,
— клик, —
услышал я щелчок зажигалки, голубой огонек вспыхивает, но ветер его задувает; на Восток, на Восток, тамбурмажор крикнул, и солдат покрепче затянул ранец. На Восток катили танки, величайший вождь всех времен и народов кричал Дойчланд, Дойчланд; у солдата же был товарищ, который надорвал письмо от любимой, засмеялся, когда начал его читать, но тут пуля пробила отверстие в его стальной каске, и он повалился навзничь, уставя глаза в небо. Другой товарищ сразу же захотел снять с него сапоги клик,
и первый солдат ночью стоял в карауле возле бивака у реки, но он плохо караулил, потому что читал в лунном свете книжку, и ночью к биваку у реки пришли партизаны, они зарезали других караульных, которым

так и не довелось дойти до реки, и зарезали спящих товарищей солдата, собака ротного под конец залаяла, и солдат увидел, как те, кто еще мог, вскочили на ноги, сам он ничего не сказал и ничего не крикнул, потому что уже не мог; но другие кричали и хватались за оружие, выстрелы крики огонь красные наконечники копий языки дульного пламени, и он увидел, как ротный повар кухонным ножом

Ах ты русская свинья

перерезал горло одной партизанке, а прежде ее шапка покатилась в снег и рассыпались волосы, мягкие белокурые волосы

клик клик,

звучит гимн, в белом овале вскидываются вверх руки, величайший вождь всех времен и народов подходит к микрофону, объявляет летние олимпийские игры, Берлин, 1936, *открытым*, маленькая грамматическая ошибка, над которой белокурый молодой человек на секунду задумывается, потом сразу камера, укрепленная сверху на рельсовом операторском кране и управляемая отважной молодой женщиной-режиссером[1], начинает панорамировать, немецкая молодежь выполняет атлетические упражнения, античная молодежь, неувядающая юность на фоне небесного синего шелка, по которому вдруг проскальзывает изящным утюгом самолет, пульс белокурого молодого человека учащается, он чувствует, как его движения сливаются с движениями других юношей — из гау Бранденбурга гау Бреслау Вартегау[2] — в нечто гораздо более возвышенное, он видит смеющихся людей на трибунах, слышит из громкоговорителя дрожащий от воодушевления голос диктора, какой великолепный день, какая великолепная жизнь, потом белокурый молодой человек пытается встретиться глазами с отцом, отец стоит на трибуне среди делегатов силезской НСДАП, взгляд его впервые светится гордостью, и белокурый молодой человек вдруг ощущает нечто такое, отчего у него перехватывает горло, что поднимается по венам, застилает глаза, быть пловцом свободным как перистые облака там далеко вверху

Снег. Госпожа Метелица вытряхивает перины. Старая женщина с добрым лицом; порой это лицо, дремлющее, видели в озерах: оно подрагивало среди кувшинок, когда просыпались щуки. Снег заполнил грязные борозды на дорогах России — мягкий, крадущийся. От вспотевших лошадей поднимался пар, техник-сержант и солдат вытирали их насухо. Лошади ржали и в страхе закидывали назад головы, шарахались в упряжке, глаза их становились комьями вара. Хлопья, медленно опускающиеся руки, белые шестипалые руки, гладили товарищей по волосам, по плечам, ощупывали палатки, передвижные радиостанции, мотоциклы, танки. Белые руки среза́ли белые ивовые прутья, плели белые коробы вкруг бивака. Белые, сверху вниз тянущиеся, бог знает откуда вынырнувшие пуховые руки, они больше не таяли; добравшись до Москвы, солдат увидел башни: Спасскую, и другую, Ломоносовского университета, с красной звездой

1. Лени Рифеншталь (1902–2003); снятый ею фильм об Олимпиаде назывался "Олимпия".
2. В Третьем рейхе было 33 (позже 43) округа — гау. Гау Бранденбург — самый большой в Германии, возник в результате раздела гау Берлин—Бранденбург; гау Бреслау не существовало, Бреслау (Вроцлав) был столицей гау Силезия. Вартегау, или Вартеланд — имперский округ, образованный на территории Западной Польши после начала Второй мировой войны; под таким названием существовал с 29 января 1940 по январь 1945 гг., то есть упоминание его в связи с событиями 1936 г. — намеренный анахронизм.

сверху, и разноцветные луковки собора Василия Блаженного; перед Москвой, заштрихованной залпами зениток, зима сжала ледяные тиски, и рота оказалась стиснутой лютой стужей. Снег стал грубее, шершавее, он уже никого не гладил, и до солдата порой доносились обрывки песен или голосов, русалочка умерла, аленький цветочек, замерзший, лежал в Малахитовой горе, солдату казалось, он слышит, как дребезжит снег: снежинки позвякивали, словно оловянные тарелочки. Один товарищ помочился рядом с ним, струя замерзла, не долетев до земли, и он, выругавшись, ее отломил. Снег аккуратно накрыл упаковочной пленкой автомобили и попоны на лошадях, чьи ноздри, припорошенные инеем, бестолково тыкались в негнущийся брезент палаток. Снег перегородил дорогу танкам, движущимся на Москву, и тогда замерзли сперва дизельные моторы, потом топливо в них, а солдаты их роты увидели, как снуют люди по улицам Москвы, увидели тамошние трамваи и транспаранты.

— Кружась налево и направо, свой дух омолодишь на славу. Танцуем все вместе — в май, дорогие товарищи!

— Что-то всплывает, очнувшись от глубокого сна времени, — услышал Мено бормотание Эшшлорака, — именно так, от глубокого сна времени, и потом, Роде, — эта вдруг задрожавшая, эта вверх... да, вверх рванувшаяся, лебедино-белая мелодия, звезда над Москвой, и Левитан говорил, только навряд ли вы его помните — ведь правда, нет? Вы тогда были маленьким мальчиком, я уверен: я ведь знаю вашего отца, знал и мать; что же такое всплывает, очнувшись от глубокого сна времени?

Главная задача

— клик —

рассказывал Старец Горы, — из радиоприемника трещали тещины языки, Лале Андерсен[1] пела “Лили Марлен”, и Зара Леандер[2] пела: “Я знаю, случится чу-удо”; немецкое фронтовое Рождество, и Геббельс кричал, и величайший вождь всех времен и народов кричал, и голоса по имперскому радио, и русские тоже кричали. Ур-ра ур-ра! они вдруг посыпались из Москвы, сперва как черные точки на белом горизонте, как следы булавочных уколов, разлетающийся рой насекомых, потом — целыми птичьими косяками, выводками, а после — с флангов на нас двинулись танки; у наших же танков гусеницы покрылись льдом, горючего не было, но один боец попал из фаустпатрона в бак ихнего Т-34, вытекла лужа, черный след на снегу, и загорелась, языки пламени побежали по гусеницам, но танк пер себе дальше, они будто бы могут и без горючего, и крутанулся вправо прямо над этим бойцом в его окопе, и видевший это солдат расстрелял весь свой магазин, но толку-то, плинг-плинг-плинг отскакивали пули, и танк крутанулся влево, крики в окопе смолкли, танк проехал сверху, солдат же, видевший это, набрал пригоршню снега и уставился на нее, ничего лучшего не придумал

1. Лале Андерсен (наст. имя Лизелотта Буннейберг, 1905—1972) — немецкая певица, исполнительница песни “Лили Марлен”, которая в годы Второй мировой войны пользовалась огромной популярностью среди немецких (и не только немецких) солдат.
2. Зара Леандер (наст. имя Зара Стина Хедберг, 1907—1981) — шведская актриса и певица, кинозвезда 30—40-х гг.

Вздерни его
Нет
На тебя выпал жребий, так что
Я не хочу
Вздерни его, жида
Я не могу
Чтобы ты научился, трус, это приказ
было это в украинской деревне. Капитан вытащил пистолет и направил его на солдата, тот увидел: черный кружок дула нацелен ему в лицо. Приказ, попробуешь уклониться, вышибу тебе все мозги! И товарищи подначивали: давай же! подумаешь, жидовская вошь! И подтащили за волосы тощего молодого человека, лет двадцать ему было, как и солдату, а шляпа его валялась в снегу, и рядом скулила подружка, она на коленях подползла к капитану, ухватилась за край шинели, он ее оттолкнул, она снова приблизилась, он выстрелил, она упала и осталась лежать. Тогда-то солдат и сказал: я не могу. А капитан: еще как можешь Я тебя, сукин сын, приведу в чувство! Держи! И перебросил веревку через сук липы, той самой, росшей у деревенского колодца, на ее стволе вообще не было коры, единственной в своем роде — расстрелянной и ставшей привидением — липы, на которой уже болтались бургомистр, и врач, и местный раввин; товарищи делали эту работу по очереди, капитан цыкнул: ну, или... перезарядил пистолет и приставил ко лбу солдата. А тот человек рядом с ним судорожно задвигал руками, будто хватаясь за воздух, попытался дотянуться до капитана, но потом рухнул в снег рядом со своей подружкой и нежно гладил по рукаву и все тряс ей голову. Товарищи рывком поставили его на ноги, связали ему руки за спиной, лицо замотали платком. Солдат взял в руки веревку, товарищи подняли того парня на скамеечку, соорудили петлю, солдат встал на скамеечку рядом с ним, капитан махнул пистолетом, солдат бережно отряхнул с воротника того молодого человека хлопья снега. Дыхание то раздувало платок, то снова стягивало, и тут тот человек отрывисто заблеял, словно козел, — отвратные звуки, как показалось тогда солдату, к тому же платок быстро намок от слюны. Звучит так по-дурацки, что хочется увидеть его харю, сорвите тряпку! — засмеялся капитан. Но тут солдат наконец выбил скамеечку
клик, —
— клик, — пробормотал Эшшлорак,
— ...всплывают, очнувшись от глубокого сна времени: коридоры, темный поток, и, не только по ночам, — крысы, а вместе с ними и государь Завистник, повелитель желтых туманов; он умеет проникать во все щели; в грезах, ночных и дневных, расстилает земли для странствований; зажигает волшебные лампы Аладдина — как супруг государыни Алчности, советницы по холоду; благодаря ему появляются первые шепчущие всходы на полях, засеянных помыслами

ДНЕВНИК:

У Ульриха. Рихард и Анна тоже там, вечер в узком семейном кругу. Ульрих полон забот. Постарел. Трудности на предприятии, трудности с отчетом по выполнению плана. Рассказывал о заседаниях в Берлине, в плановой комиссии. Поскольку на мировом рынке цены на сырую нефть – и, соответственно, на промышленные изделия, производящиеся на базе нефти, – сильно понизились по сравнению с 1986 годом, це-

на, которую мы, по соглашению с Советом экономической взаимопомощи, должны платить за нефть Советскому Союзу, оказалась много выше среднемирового уровня. Это сильно удорожает наши продукты – мы больше не можем продавать их на Запад, получая необходимую прибыль. В которой остро нуждаемся. На своем предприятии Ульрих, по его словам, вынужден использовать бракованные детали, произведенные поставщиками, – а в результате его собственная продукция неизбежно оказывается браком. Проявляются, именно теперь, негативные следствия того обстоятельства, что правительство никогда не выделяло средства для инвестиций. Сколько раз он предупреждал об этом партсекретаря и руководство! И слышал в ответ, что, как члену партии, ему лучше воздержаться от таких аргументов... Тот научный отдел, с которым сотрудничало его предприятие, от которого получало электронные схемы для современных пишущих машинок, теперь – вероятно, поддавшись всеобщему безумию, – переключился на микрочипы. В результате он, Ульрих, должен получать электронные схемы из-за границы, в настоящее время – из Италии. Это выливается в такие валютные суммы, которые съедают вообще весь доход от продажи пишущих машинок. А поскольку его предприятие обязано отдавать государству столько-то марок налога, ему, директору Ульриху Роде, пожалуй, грозит еще и партийное расследование. Товарищу Генеральному секретарю в сентябре 1988 года с большой помпой преподнесли первый 1-мегабитовый чип – о чем, правда, население не узнало, он же, Ульрих, узнал от господина Клоте из квартиры этажом выше: этот чип, будто бы, был изготовлен вручную. Ну и что прикажете делать с таким достижением? Прицепить реально существующий чип к тоже реально существующей, но совершенно устаревшей машинке? В надежде, что она сама собой превратится в кибернетическое чудо, производящее манну небесную? На каждый 256-килобитовый чип государство дает дотацию в размере 517 марок, на мировом же рынке он стоит меньше двух долларов. “И вот я спрашиваю вас, Рихард, Мено: какие мы должны сделать выводы?” Рихард предложил: загодя обзавестись велосипедами. Когда все развалится, не будет ни электричества для поездов, ни бензина для машин, люди опять станут ездить на велосипедах. Нужно обзавестись рассчитанными на долгое хранение пищевыми запасами, а еще – как-то обезопасить себя на случай грабежей, полицейских налетов, конфискаций. Ценные вещи спрятать: их, как и в первые годы после войны, можно будет обменивать у крестьян на что-то полезное. Барбара должна закупить материю, чтобы потом шить из нее одежду. Мое дело – доставать книги, которые могут заинтересовать людей с Запада, потому что, когда деньги потеряют всякую ценность и, как уже бывало, разразится инфляция, западная марка останется единственной надежной валютой. Анна же и он, Рихард, позаботятся о медикаментах.

— клик клик клик,

зажигалка, — рассказывал Старец Горы, — снег покрыл равнины, покрыл деревни, аргонавты видели его в Колхиде, на вершинах Казбека и Эльбруса, где развевалось знамя со свастикой, солдат подхватил тиф, а в Сталинграде замерз насмерть жених его сестры. Окоченевший крапивник лежал в снегу. Самолеты входили в штопор и падали с неба в реки, которые тут же начинали гореть. Обрывки песен, мелодий для волынки, с которыми шли в бой войска маршала Антонеску, молоточные удары зениток, артиллерия, треск истребителей “рата” и хриплый лай автоматов “шмайсер”, перешептывания степных ведьм, шарики травы, которые гнал перед собой ветер. Вкус семечек подсолнуха, в прифронтовом борделе — танцующие девки, жующие лакричные конфеты; в придорожных канавах — до-

хлые лошади с раздувшимися животами, с глазными яблоками, ввинченными в тишину. Убитая старьевщица в местечке на Нареве[1], ее взломанные сундуки и рассыпавшиеся, растоптанные сапогами крестьянские шифоньеры; один из товарищей, засмеявшись, вышел в палисадник, отломил качающийся на ветру цветок чайной розы, начал обрывать лепестки: любит не любит, ах, к дьяволу все это дерьмо, друзья, — он уже не смеялся, а перезарядил парабеллум, поднял за шкирку забившуюся в угол хозяйкину кошку, ткнул дуло ей под подбородок, нажал на курок
клик,
карманный фонарик полевого жандарма, рыскающего по лазарету в поисках симулянтов. Пуля застряла в легком, сказал врач, наклонившийся над солдатом. Инструменты звякнули, брошенные в поддон, запах табаку, впервые после долгого перерыва, хирург в пропитанном кровью халате, сестра подает ему зажатую пинцетом сигарету; солдат еще помнит сладковатый цветочный запах, струившийся из анестезионной маски. Фронтовой лазарет, выстрелы, световые вышивки "катюш", загоревшаяся палатка с ранеными: их крики долго потом преследовали его по ночам. Дребезжание маневровых поездов, свисток паровоза распарывает горячую штору лихорадки, подчиненные Рюбецалю духи вовсю веселятся. Отступление в *распутицу*, то есть в "период жидкой грязи". Грузовики застревали, погружаясь в эту грязь колесами, потом их приходилось вытаскивать с помощью лошадей и солдат. Хомуты, упряжь... солдаты и военнопленные впрягались в лямку, тащили обозную машину, но оси колес ломались, оглобли — тоже. Мошкара по́едом ела лица, заползала в уши, рты, ноздри, жалила в язык и сквозь одежду, проникала под воротник. Потом опять — мороз, подступивший внезапно: воздух будто оцепенел, расширился, натянулся туже, потом начал сжиматься и потрескивать, оставался сколько-то времени без движения и наконец лопнул, как горлышко бутылки. Замерзшая грязь приобрела твердость бетона, образовавшиеся на ее поверхности гребни вспарывали шины грузовиков и подметки сапог. Отступление. Деревни, брошенные на снегу чемоданы со взломанными замками, рассыпавшиеся письма и фотографии
клик,
кнопка радиоприемника
Идеалы! *Ведь для тебя, любимая! Не жаль*
артиллерийский огонь, ближний бой, белесые глаза русского, потом — он уже надо мной, его шумное дыхание и грязный воротничок, я вижу четко очерченный контур облака над занесенным ножом
Не жаль никого из тех, что пали в бою[2]
капельки пота на чужом лбу, солдат видит родимое пятно и одновременно — сцену из кукольного спектакля своего детства, красивый пестрый костюм Арлекина, он снова пытается отбиваться ногами, пытается крикнуть, но чувствует: не одолеть ему этого русского, который дерется молча, который сильнее его, нож приближается, однако внезапно русский дергает головой, глаза у него расширились, он открывает рот

1. Нарев — река в Северо-Восточной Польше и в Западной Белоруссии.
2. "...О родина, / И мертвых не считай! Ведь для тебя, / Любимая! не жаль никого из тех, что пали в бою" — заключительные строки стихотворения Фридриха Гёльдерлина (1770—1843) "Смерть за родину".

Безусловная воля к победе и фанатичная боеготовность немецкого солдата одолеют врага
открывает рот в гримасе беззвучного удивления, капитан заколол его со спины
каждая пядь земли будет обороняться до последнего патрона
кровь хлещет у русского изо рта, попадая в лицо солдату
пока останется в живых хоть один боец
С тебя, дружище, причитается
сказал капитан, обтирая клинок о рукав шинели
— клик, —
сказал Эшларак, — кнопка радиоприемника
клик, и по вечерам, в отеле "Люкс", мы все становились стеклом: такими же хрупкими, как стекло, едва заговорит телефон, а при любом жужжании лифта — бездыханными: Шаги, куда они? Не к твоей ли двери? Каждая ночь казалась событием истории Земли, мы неподвижно лежали на мембране гигантского стетоскопа, ночь была царством Шлангенбадера.

ДНЕВНИК
Вечером у Никласа. Разговор о "Моцартовой новелле" Фюрнберга[1] – Никлас согласился с моей оценкой, что меня крайне удивило, мне даже захотелось еще раз обдумать свое мнение; тут в комнату вошла Гудрун: сказала, что мы непременно должны послушать радио. Мы услышали: Смерть в Пекине. Демонстрации. Площадь Небесного согласия[2]. По здешним радиостанциям: танцевальная музыка. Эццо стоически продолжал делать уроки. Снаружи прекрасная погода. Никлас – об "Ариадне" Кемпе[3], но я ушел. Запах глициний на улице, перед "Домом глициний", это имя придумал Кристиан – как, интересно, у него дела? Мерцающие цветы; весь дом, казалось, охвачен их ароматическим пламенем.

— клик, —
рассказывал Старец Горы, —
С собой шмат сала[4]
и — могилы в снегу, железные кресты с висящими на них автоматами или стальными касками, открытые братские могилы, полные окоченевших лиц, пулеметные гнезда, а там: замерзшие — будто они заснули, обнявшись, — бойцы в белых маскхалатах
С собой шмат сала
и сре́зали в рутенских лесах[5] — с повешенных, задушенных и расстрелянных — всю кожаную амуницию, прямо с тела, чтобы потом варить ее в наполненных снегом стальных касках: размягчить и жевать, проглатывать,

1. Луис Фюрнберг (1909—1957) — немецкоязычный чешский писатель, поэт, композитор; в 1954 г. переселился в ГДР, в Веймар; в 1955-м стал членом Немецкой академии искусств. "Моцартова новелла" была издана в 1947 г., потом многократно переиздавалась.
2. Расстрел студенческой демонстрации в Пекине 4 июня 1989 г. произошел при поддержке правительства ГДР, неоднократно призывавшего китайское руководство к "подавлению контрреволюции".
3. Речь идет об опере Рихарда Штрауса "Ариадна на Наксосе" в постановке (1968) Дрезденской капеллы под руководством дирижера из ФРГ Рудольфа Кемпе (1910—1976).
4. "В добрый путь, с собой шмат сала, я его с охотой ем..." — популярная в Берлине туристическая песня.
5. Рутенами когда-то называли коренное славянское население австро-венгерских земель: в основном района Карпат, Галиции, Буковины.

давясь, лишь бы заглушить голод, — вместе с огарками свечей, еще имевшимися в запасе у повара; размягченные в процессе варки кусочки кожи и сальные свечи — вот что жрали солдаты, да еще тонкую кору осин

клик,

щелкнула зажигалка, фирменная, из “Аптеки Сертюрнера”[1], факел загорелся, солдат тряхнул головой, предостерегающе поднял руку

Ты что это, вздумал мне помешать спалить проклятую жидовскую берлогу, насмешливо спросил заместитель ортсгруппенляйтера в Буххольце[2] и горящим факелом указал на рассадник нечистой силы: дом братьев Ребенцолей, богатейших купцов в местечке, которые раньше регулярно приглашали к столу бургомистра, окружного врача, пастора и аптекаря; теперь-то на их двери и в простенках между разбитыми окнами красовались желтые звезды

А сами-то Ребенцоли где

Да где же им быть — где таким и положено, в доме остались только их родственнички, которых всё защищал бургомистр, предатель своего народа, такое же ничтожество как ты

Ты этого не сделаешь

Каким ты был с самого начала

Ты этого не сделаешь, или

Что

солдат вскинул автомат, однако заместитель ортсгруппенляйтера НСДАП в Буххольце, владелец “Аптеки Сертюрнера”, только коротко засмеялся и передернул плечами, сверху начал умоляюще бормотать женский голос, но отец солдата уже поднял факел

Пора кончать с ними,

с этой еврейской сволочью, бандитами, они хотели меня задушить ростовщическими процентами, так что

Нет

Да пошел ты!

И бросил факел, дом сразу заполыхал, языки пламени взвились до второго этажа, в окнах которого показались испуганные лица, и сразу в доме поднялась суматоха, послышался топот, кто-то завизжал, солдат же смотрел в лицо своему отцу и не узнавал его больше: на мгновение ему показались совсем чужими седые волосы и эти словно от бессилия повисшие руки

Хочешь поднять руку на родного отца

Ты поджег дом

Да ведь это просто жиды

Нет, люди! Люди!

Ты сам стал предателем

Они же люди!

Наставил на меня пушку

1. Фридрих Вильгельм Сертюрнер (1783–1841) — немецкий фармацевт и изобретатель морфина, его именем названы аптеки в разных немецких городах.
2. В романе раньше упоминалось, что Старгорски, он же Старец Горы, был сыном владельца “Аптеки Сертюрнера” в местечке Буххольц, в Исполиновых горах (часть Судетской области, ныне — на территории Польши и Чехии). Прототип Старгорского — Франц Фюман (1922–1984), сын аптекаря из Рохлица (Чехия), который с 1938 г. служил в войсках СС, воевал в Греции и России, в 1945-м попал в плен и был направлен в антифашистскую школу в Ногинске (под Москвой). В 1949-м вернулся в ГДР, стал известным писателем, поддерживал авторов-диссидентов.

Люди!

Я прибью тебя, как бешеную собаку, ты не сын мне больше — ублюдок так солдат застрелил своего отца.

Дрезден, словно страдающий от артрита рак-отшельник, замер на берегу реки; нити окукливания уже оплетали шероховатые грани новостроек, серая пудра веяла под ногами прохожих, почти и не трогавшихся с места, контуры их расплывались, как на засвеченной фотопленке. Куколочный чехол потрескивал и скрипел. Мено остановился, но никаких трещин в воздухе не заметил. Это вернуло ему прежний страх, но уже как беззаботно-элегантное ощущение; крыло самолета, в разрезе каплеобразное, зачерпнуло и унесло вверх тяжелый гул бетономешалок, работающих в центре города, — оно качнулось, как ножка насекомого, отталкивающегося от земли, чтобы быть унесенным воздушными потоками, которые и сейчас вдруг ясно обозначились в воздухе, несмотря на присущую ему улиточную меланхоличность. Мено представилась обветшавшая барочная церковная кафедра в форме носа парусного корабля; стрелки гидрокомпаса, похожие на гадюк, застыли в позе солнцепоклонников. Чудовищные, покрытые герпесом губы небесных навигаторов выблевывали в волны разгоряченного воздуха кувшинки — над Старым рынком и Цвингером, над сиропно-густым сиянием Тельманштрассе (и Сказка как Альманах[1], одетая в соответствии с гэдээровской дамской модой, рассыпáла гладиолусы над блочными домами на Пирнаише-плац); цветы кувшинок, будто сваренные вкрутую, в изобилии сыпались на людей, так что Мено в поисках морского дна устремил глаза к небу, а не вниз, где у перекрестков целыми гроздями покачивались автомобили, словно камбалы, судорожно пытающиеся глотнуть свежего воздуха. Эльба скинула исцарапанные килями судов, растрепанные ветряным гребнем одежды и подставляла солнцу свое металлическое тело, которое Мено еще ни разу не приходилось видеть в столь ослепительно-гладкой наготе. Солнце, подрагивающее от россыпи птиц, носящихся туда и сюда, будто под воздействием магнита, стояло в зените; неведомые микроимпульсы то и дело возбуждали ртутно-серебристую, туго натянутую кожу реки, и на ней вдруг возникали кружки, будто нарисованные с помощью циркуля: они отличались тем же нежданным благородством, что и, скажем, золотые цветки ослинника, раскрывающиеся в определенную секунду, в сумерках, или тот крошечный батискаф, в котором свершается таинственная и необъяснимо-грандиозная метаморфоза бабочки. Пока Мено вспоминал, что распускание цветов ослинника можно ускорить, если на уже близком к раскрытию бутоне раздвинуть еще стиснутые края, и тогда сжатые, туго свернутые цветочные лепестки быстро распрямятся, взрывообразно явят себя, но окажутся хрупкими, вялыми в своей неподвижности, как распахнутые мышеловки, — пока он вспоминал все это, он видел, как кружки на воде сближаются и соприкасаются, вступая в параболический контакт друг с другом, как зримые эхо-волны дробятся и, оставаясь четко различимыми, проникают друг в друга, образуя некое подобие разрезов зданий, театральных секторов на архитектурных планах. И пока он разду-

1. Сказка как Альманах — персонаж одноименной сказки Вильгельма Гауфа (1802–1827). На иллюстрации из гэдээровского подарочного издания сказок Гауфа (Берлин и Веймар: Ауфбау, 1967) она представлена в современном женском брючном костюме и в блузке с жабо.

мывал над словами своего школьного учителя физики, которые именно сейчас добрались до него из немыслимой дали одного несчастливого лета в маленьком городке и, одновременно с раздумьями, высвободили какую-то чешуйку из блока прежде неведомой ему тоски — потому что они, будучи безымянными, пересекли время, как метеорологические баллоны, обладающие подъемной силой, всплывают из водных глубин, когда тросы, привязывающие их ко дну, под воздействием жвал различных существ из зоопланктона, или ласкающих подводных течений, или их собственного сгнивания, коему способствуют обрастание водорослями и карбонизация, наконец лопаются, — так вот, пока он слушал голос, исходящий от покорно склоненной учительской головы и монотонно втолковывающий ему, что даже два шифоньера воздействуют друг на друга присущей им силой притяжения и по прошествии миллиона лет непременно преодолеют то пространство, что разделяет их в типичной спальне рабоче-крестьянского государства, пока он слушал эту речь, перекрещивающуюся с насмешливым бормотанием соседа (дескать, такая теория, при всем уважении к ее создателю, могла возникнуть лишь благодаря легендарной прочности шифоньеров с мебельного предприятия “Хайнихен”), он увидел, как город его превратился в одно гигантское ухо.

В эти жаркие, вялые от духоты дни Анна решилась наконец отказаться от присущей ей осмотрительности (которую только чужаки, думал Рихард, могли бы назвать трусостью или безумием) и прямо взглянуть на те веющие в воздухе угрозы, с которыми прежде пытались справиться уста (высказывавшиеся и от ее имени, печатно, иногда очень красноречиво, иногда о многом умалчивая) или руки других людей. У Рихарда же после гибели “испано-сюизы”, разговорами о которой он замучил жену во время многих ее напрасных попыток успокоить его и заставить думать, вопреки отупляющей апатии, а также их мелочных ссор, ярость в итоге уступила место подавленности, упрямство — безропотному смирению. Иногда он спускался в подвал и остругивал пару досок. Иногда — утром — взглядывал на свое отражение в зеркале и уже не мог отвести глаз; вода бурлила, наполняя раковину, но он и не шевелился, когда она с шипением начинала переливаться через край. Он покупал Анне цветы, мог отправиться в другой город в поисках чего-то, что доставит ей удовольствие; однако на ум ему приходили только предметы домашнего обихода — после того, как на стройный водяной насос, который он собственноручно покрыл ярко-желтым лаком и установил в саду, а позже на плюшевого медвежонка от фирмы “Штайф”[1] Анна отреагировала лишь снисходительной улыбкой. Кружок Шмюкке Анна теперь посещала одна, хотя Арбогаст в тот раз в самом деле помог им размножить текст.

Когда слова “Венгрия”, “Будапешт” приобрели заговорщицкое, голубое, как сама свобода, звучание[2], Анна и Юдит Шевола взяли на себя задачу рас-

1. Немецкая фирма, производящая детские игрушки и прежде всего плюшевых медвежат; существует с 1880 г.

2. Со 2 мая 1989 г. начался демонтаж укреплений на венгерско-австрийской границе. 27 июня министр иностранных дел Австрии Алоис Мок символически перерезал колючую проволоку. Это еще не означало, что граница открыта, но в Венгрии скапливалось все больше гэдээровских граждан, надеявшихся на побег или просивших разрешения на выезд в посольстве ФРГ в Будапеште. 19 августа, во время так называемого паневропейского пикника (мирной демонстрации) в Сопроне, близ венгерско-австрийской границы, шестистам гражданам ГДР удалось бежать.

пространения печатной продукции; теперь Юдит Шевола копировала уже не партийные брошюры, а тексты диссидентского содержания. Рихард наблюдал за Анной и стал удивленным свидетелем тому, как за короткое время ее квартира превратилась в нечто вроде конспиративной ячейки. Обувные коробки, наполненные размноженными копиями, громоздились в комнатах (и разбирались молчаливыми юношами — после того как те произносили пароль; однажды таким делом занялся и приехавший на "скорой помощи" Андре Тишер[1]); здесь появлялись странные книги и странные личности: последним предлагали чаю, они взмахивали руками, чтобы придать бóльшую выразительность своей болтовне о той или иной модели общества (после чего бутерброды исчезали в их глотках), либо внимательно слушали болтовню других, вставляли умные или не очень умные замечания, восхищались напольными часами и прочими остатками былого бюргерского благосостояния, которым "Собачий вальс", наигрываемый одним из гостей на пианино, для поднятия духа, придавал, как находил Рихард, нечто удручающе-чуждое: даже тишина и привычное одиночество вдвоем, возвращавшиеся, когда все посторонние уходили, далеко не сразу отогревали душу, устраняя это неприятное впечатление. Бывали вторжения, после которых исчезали сразу все коробки, а заодно с ними — странное, примитивное алиби — и целые ряды банок с консервированными фруктами. Однажды пропала и Рихардова коллекция: портреты футболистов (их фотографии, спрятанные под оберткой фээргэшных шоколадных плиток, он в течение многих лет получал от Алисы и Сандора в качестве приложения к рождественским посылкам); и Рихард, который в порыве бессильного отчаяния бросился жаловаться в полицию, на Угольный остров, а в конечном итоге и на Грауляйте, впервые с незапамятных времен заболел (Кларенс[2] назвал его недуг эндогенной депрессией, сам же он упорно молчал); впав в глубокую меланхолию, провел две недели — пока снаружи цвели миндальные деревья и с приэльбских лугов, сквозь щели между закрытыми ставнями, вливался ореховый аромат летнего сена — в клинике Кларенса, где по коридорам шаркала госпожа Теерваген с потухшим взглядом и где Рихард снова увидел Александру Барсано, коротко остриженную, не оказывающую сопротивления сестрам, которые сопровождали ее до туалета и обратно; где по ночам безумные крики из палаты самоубийц рубили в мелкую сечку теплый сон остальных пациентов — пока не появлялся дежурный врач, сопровождаемый валькирией с подносом, полным шприцов, которые он, как Рихард знал по своему опыту, брал совершенно механически, как другие берут детали с ленты конвейера; и тишина "восстанавливалась" — инъекции заставляли замолчать одну глотку за другой. Рихарда никто не навещал. После того как его выпустили из больницы, коллеги молчали, не хотели ничего знать, даже медсестры, обычно столь любопытные, не интересовались его делами. А Анна? У нее на него не хватало времени. Сказала: "Ты снова здесь; это хорошо". По телефону она звонила редко (по телефону можно говорить только о пустяках), много всего организовывала, часто куда-то уезжала. Рихард не спрашивал, чем, собственно, она занята. Скорее всего, она не ответила бы — а так, по крайней мере, он мог надеяться, что когда-нибудь получит ответ. В конце недели, если не дежурил в

1. Сосед Рихарда Хофмана и его жены Анны.
2. Коллега Рихарда, врач-психиатр.

больнице, он ужинал у ресторатора Аделинга, в “Фельсенбурге”[1], где в вестибюле тикали часы с маятником и сияли цветные кораллы на панно работы Кокошки[2], тщательно оберегаемом от пыли. Анна намазывала себе бутерброд и уходила, как она выражалась, “на работу”: это могла быть встреча где-нибудь в городе, переговоры с представителями Восточного Рима или кружка Шмюкке. Она тоже на всякий случай собрала чемодан; он стоял рядом с дорожной сумкой Рихарда, в передней, в стенном шкафу. Чем большие масштабы принимало движение беженцев через Венгрию, тем самозабвеннее Анна, сидя на веранде, погружалась в фиолетовые строки ксерокопий, отпечатанных на плохой бумаге. Анна обеспечила для кружка Шмюкке контакт с пастором Магенштоком, другом Розентрэгера: Розентрэгер предоставлял убежище тем, кому грозила непосредственная опасность. Анна поговорила с Реглиндой: если та и дальше будет жить у них, могут возникнуть трудности — Реглинда начала работать курьером, и самым лучшим, нейтральным местом для встреч оказался зоологический сад (вольер с гориллами человек посторонний вряд ли отважился бы обыскивать); пока гиббон совершал свои лунатические жесты, происходил незаметный обмен записками. То, чем занимались Анна, Магеншток, члены кружка Шмюкке, было уголовно наказуемо, подпадало под действие параграфа 217[3]. Но Анна, которая прежде всегда притормаживала Рихарда, стоило ему завести разговор о “политике”, теперь ничего не боялась. Она, казалось, точно знала, чего хочет. Он — нет.

М*агнит*

...всплывает, очнувшись от глубокого сна времени, –
писал Мено, —
бумага: а прежде она попадала в уныло-серый водоворот, возле которого трудились сукновалы; сукновальные мельницы перерабатывали ее в войлок, рука реки тянулась к Бумажной республике, корабль “Тангейзер”[4] плыл по аллее, обрамленной людьми в форме (и мне вспомнилась духовая музыка военных оркестров, широкие бульвары этого города Атлантиды, над которыми проносились зимы и облака, похожие на гагачьи гнезда[5]; а еще – небесные корабли полярных исследователей: “Челюскин”[6], участники экспедиции Нобиле, приветствуемые детьми Октября; река поднимала и опускала город, словно была гидравлической театральной сценой; вода, коричневая с ледовыми вкраплениями, потеплевшая от остатков целлюлозы, и моторного масла, и выбросов канализационных труб (ржавых, во многих местах протекающих, некачественно отвальцованных) над забетонированным берегом – все это извергалось в коллектор фабрики удобрений; пена: белое гуано и фосфат, крутившиеся

1. Названне ресторана; возможно, автор намекает на “Остров Фельсенбург” – утопнческнй роман немецкого пнсателя Иоганиа Готфрида Шнабеля (1692 – ок. 1758).
2. Оскар Кокошка (1886–1980) – австрнйскнй художник, график, поэт-экспрессиоинст; в 1919–1926 гг. жил в Дрездене, преподавал в дрездеиской Академнн художеств.
3. Параграф (в уголовиом кодексе 1968 г.) о “сборнщах, угрожающнх общественому порядку н безопасностн”. Участникн таких “сборнщ” подвергалнсь денежиому штрафу илн тюремному заключению сроком от 4 до 6 месяцев, оргаинзаторы н руководнтели – тюремному заключенню иа срок от года до пятн лет.
4. “Тангейзер” в ромаие – миогозначный снмвол: это и опера Рнхарда Вагнера, которую жнтелн “Башнн” слушают виовь н вновь, в семи разных нсполненнях, н названиый так кннотеатр, который, собственно, и есть “корабль”, переиосящнй зрителей в прошлое.
5. Эти гнезда выстилаются постепенно заполняющим их гагачьим пухом.
6. Пароход “Челюскнн” был раздавлен льдамн в Берниговом пролнве 13 февраля 1934 г.; команду, за исключеннем одного человека, удалось спастн.

у шлюза, зажигали в реке лимонно-желтую вену – а может, то была Нева, тоже лимонно-желтая, в мороз потрескивающая от рублевых бумажек, или река Москва, или все-таки Эльба, которая внезапно сделалась прозрачной, позволила увидеть суда, лежащие на ее дне, уподобилась ядовитому, впитавшему краски цветов меду; ледяные глыбы с хрустом терлись боками; и уже с раннего утра, когда тысячеголовые дома-бронтозавры рядовых партийцев, проквашенные слухами и страхом, а также пóтом вынужденного молчания, дома обветшалые, по ночам затаивающие дыхание при каждом луче прожектора, стуке сапог во дворе, и их коридоры с натянутыми бельевыми веревками, с висящими на них майками, за ночь превращающимися в замороженных рыб, и засоренные сортиры в коммуналках, и мавританские лепные арки с их такелажем, четырьмя метрами выше, и комнаты, разделенные на отсеки шкафами, занавесками, чемоданами, когда все эти ночью оледеневшие графитные глыбы, казалось, вновь соединялись в нечто единое; уже с раннего утра, когда черные машины с надписью "Мясо" заканчивали свою работу, когда ворóны из городского парка обсуждали, чем бы им в этот день заняться (посетить скотобойни или полюбоваться замерзшими фонтанами Бахчисарая, а может, очернить образ любимого вождя в воздушном пространстве над Адмиралтейством, над Морским музеем); уже с раннего утра начинали звучать военные марши, в такте четыре четверти они выплескивались из громкоговорителей на магистральные улицы города и покрывали их как бы слоем ила; определенно один из набобов праздновал день рождения, один из верховных жрецов византийского дворца, красная звезда сияла над Ледовитым морем, и рано или поздно должно было наступить утро, полное остановившихся троллейбусов, воодушевленных радостным ожиданием лиц, ветеранов с металлически позвякивающими торсами; утро триумфа военно-воздушных сил; Ульрих завидовал летчикам, потому что они носили часы "Полет", голубые околыши на фуражках, голубой кант по воротнику, Ульрих размахивал их флажком с изображением пропеллера; я же тогда предпочитал форму моряков, темно-синюю с золотыми пуговицами, мне нравились часы "Ракета" с 24 цифрами на циферблате, их носили командиры подводных лодок; ну так вот, после того как иссякали команды в громкоговорителе, стихали барабанный бой и маршевая музыка, на секунду воцарялась тишина, и все жители Атлантиды – будь то на фабриках, в школах или университетах, – затаив дыхание, собирались у приемников: звучала неизбежная мелодия Чайковского в исполнении оркестра Большого театра, затем Большая процессия приходила в движение, палочка тамбурмажора мелькала в воздухе перед барабанщиками в белых перчатках и капеллами дудочников, на трибуну фараоновского мавзолея поднимались музыканты со сверкающими золотыми фанфарами. Маленькие, как точки, придворные фараона, совершая утонченно-святотатственный обряд на красных гранитных блоках, под которыми покоился Великий Мертвец, махали рукой дефилирующим внизу, мимо них, трудящимся массам, электростанции на колесах, тайге ракет, танковым командирам в белых перчатках, которые салютовали им, стоя на машинах, в этот момент преодолевающих незримую водную преграду, а также "МиГам", выписывающим в воздухе цветные юбилейные петли; и я вспоминаю, что ВСЕ дома Атлантиды подвергались такой "промывке" посредством маршевой музыки вперемежку с мелодиями Чайковского, что они гранула за гранулой утрачивали свою старую, полузабытую субстанцию, как это происходит с вымываемой из почвы солью –

Город прислушивался. Его стетоскопы, сверхвосприимчивые, впитывали информацию так, будто находились в руках опытных акушерок и были приставлены к животам беременных – слухами беременных – летних

дней, которые вразвалочку прогуливались по очень жаркой, уплощенной барочными облаками долине Эльбы и пока не озабочивались тем, что пора бы приискать место, где они разрешатся от бремени. Стетоскопы прислушивались к Праге, и то, что Либусса[1] рассказывала о событиях в тамошнем западногерманском посольстве, потом гуляло по кварталу, возвращалось таким, что и не узнать, — раздутым; никак не могло угомониться, просачивалось по Буковой тропе на Кёрнерплац, быстро пересекало мост "Голубое чудо"[2] и настигало Мено в "Деликатесах" Фендлера, где он покупал резиновых космонавтов, — как некое предположение; чуть позже настигало еще раз, теперь у Нэтера, к которому у него было поручение от Барбары, — уже как твердая уверенность. Стетоскопы прислушивались и к Восточному Риму, где улыбались садовые карлики, а деревянные почтовые ящики в форме часов с кукушкой постоянно ломились от корреспонденции.

Лондонер пожелал узнать, чем Мено так озабочен. Сам он, казалось, находился в превосходнейшем расположении духа, угостил бывшего зятя портвейном, с явным удовольствием закинул ногу на ногу. Да, Ханна ему рассказала. Эти люди в посольстве... Мено ведь, как-никак, шурин хирурга, а в хирургии такие вещи называются вскрытием абсцесса. Где гной, там приходится резать! Как раз сейчас обнаружились несомненные признаки прогресса: секретарь по экономическим вопросам обратился к нему за консультацией, сославшись при этом на статью, которую он, Йохен Лондонер (лицо старика просияло) напечатал в "Единстве", теоретическом журнале ЦК... Союз свободной немецкой молодежи выступит с какой-нибудь... — да что там, со многими... — чепуха, он будет *в массовом порядке* выдвигать различные инициативы, касающиеся, например, завода "Максхютте"[3] в Унтервелленборне: Макс нуждается в отбросах — что ж, доставим ему сто тысяч тонн железного лома! Тогда и обнаружится, сколь громадными резервами мы располагаем! Мено молчал, ошеломленно смотрел на Лондонера. Прежде тот бы заметил, какая жутковатая шутка невольно сорвалась с его губ, — а сейчас лишь радостно потирал руки, рассуждая о кредитах из Австрии, о тайных (он будто смаковал это слово, с довольной улыбкой *посвященного*) валютных резервах; Мено спрашивал себя, какие дискуссии разгораются по вечерам между старым и молодым Лондонерами; но тут Йохен Лондонер добродушно ударил своего визави по плечу: его, Лондонера, новая книга ("может быть... нет, *наверняка* лучшее из мною написанного") окончательно утверждена к печати; кроме того, они с Ирмтрауд собираются в отпуск: на Сицилию, в Таормину! Ну, что он на это скажет?

...но потом вдруг...

(Шаде) "Ах, да перестаньте вы ссылаться на народ и его мудрость, фройляйн Шевола! Мы уже видели, чего сто́ит эта пресловутая мудрость; мы,

1 Либусса — чешка, жена бывшего судового врача Алоиса Ланге — соседа по дому и друга Мено Роде.

2. Так дрезденцы называют Лошвицкий мост через Эльбу, построенный в 1891—1893 гг. и соединяющий Кёрнерплац с площадью Шиллера.

3. Крупный сталелитейный завод в Тюрингии, в 1948 г. ставший народным предприятием. В 1948—1949 гг. Союз свободной немецкой молодежи под лозунгом "Макс нуждается в воде!" организовал массовую мобилизацию молодежи ГДР на строительство необходимого заводу водопровода.

коммунисты первого поколения, однажды уже заняли правильную позицию, вопреки народу! Мы знаем правду, мы обладаем правдой, зарубите это себе на носу, и мы будем ее защищать — если понадобится, опять-таки вопреки народу!"
(Люрер) "У вас что, ничего другого в запасе нет? Вы говорите, как заезженная пластинка!"
(Шаде) "А вы говорите, как мой дядя, который был коммерсантом. Вы говорите 'мои читатели' так, как он говорил 'мои клиенты'. Ради своих клиентов он был готов на все!"
(Шевола) "Ты знаешь край, где свет не смешан с тенью? Туда, туда влечет меня томленье"[1].
(Барсано) "Хотите, пополню ваше собрание анекдотов? Когда Хрущева шуганули, он написал две записки. И сказал своему преемнику: 'Если попадешь в безвыходное положение, вскрой первую. Если такое повторится — вторую'. Очень скоро его преемник оказался в вышеупомянутом положении. В первой записке он прочитал: 'Свали всю ответственность на меня'. Это помогло. Когда он снова попал в безвыходное положение, он вскрыл вторую записку. На ней значилось: 'Сядь и напиши две записки'".
(Конферансье) "Я крутильщик циферблатного круга, каждый час всё ставлю вверх дном, в этом цель моя и заслуга"[2].

Крик тысяч желающих выехать на Запад прилип, как опасная инфекция, к балкону Немецкого посольства в Праге, с которого министр иностранных дел ФРГ провозгласил свободу[3], одновременно прислушиваясь к своему усталому и больному телу, сороковой день рождения которого он предполагал отметить через несколько дней. К тому моменту, когда шесть поездов с выезжающими проходили через Дрезден, территория пражского посольства вновь заполнилась до отказа. Слух, что еще один поезд будет отправлен из Праги на север, через Бад-Шандау и Дрезден, подобно эпидемии распространился по городу — несмотря на опровержения по радио и в газетах, ложь и запугивания, а также ту отчаянную ярость, с какой, так сказать, дежурные морские офицеры пытались вычислить новое местонахождение подвластного им судна. Судно, которым, казалось бы, они управляли, больше не подчинялось их приказам, принявшим шизофренический характер, а подчинялось (как понял Мено, побывав на приеме для литераторов и художников, ежегодно организуемом Барсано)... — ветру, то есть той неконтролируемой, лихорадочно-мощной силе, которую власти на протяжении многих лет сдерживали методом угроз и обещаний, кнута и пряника.

1. Аллюзия на песню Миньоны из "Вильгельма Мейстера" Гёте: "Ты знаешь край лимонных рощ в цвету <...> / Ты там бывал? Туда, туда / Возлюбленный, нам скрыться б навсегда". Перевод Б. Пастернака.
2. Песенка из популярной в ГДР серии детских мультфильмов "В гостях у сказки".
3. На территории этого посольства с лета 1989 г. проживало около 4000 беженцев из ГДР, желавших получить разрешение на въезд в ФРГ. В 7 часов вечера 30 сентября 1989 г. министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитер Геншер обратился к ним с балкона посольства с такой речью: "Дорогие соотечественники, мы пришли к вам, чтобы сообщить, что сегодня ваш выезд в Федеративную Республику Германию стал возможным". После отправки этих людей, к 4 октября на территории посольства собралось около 5000 новых беженцев. 28 октября они были отправлены в Западную Германию, но к 3 ноября набралось еще 5000 человек. 3 ноября в 9 вечера заместитель министра иностранных дел ЧССР объявил с этого же балкона, что все граждане ГДР без разрешения их правительства могут свободно выезжать с территории ЧССР на Запад. Эти события непосредственно подготовили падение Берлинской стены.

Холод накапливался в блочных домах, в кухнях с купольной вытяжкой и буфетом, на дверцах которого болтались плюшевый утенок и лейпцигский ярмарочный человечек; в кухнях, где матери старились возле крошечных плит, подогревая детское питание или семейный ужин, приготовленный в соответствии с ассортиментом ближайшего гастронома: многометровые полки с мукой и солодовым хлебом, капустными кочанами и "местами для ничего"; в мясном отделе – пустые сверкающие крюки и обычный товар под плексигласовыми колпаками: кровяная колбаса, зельц, требуха, сало, а между ними – маленький алюминиевый Эрнст Тельман; холодный, насыщенный пылью воздух заполнял промежуток между кухней и жилой комнатой, где Песочный человечек желал юным пионерам спокойной ночи – с экрана телевизора, встроенного в стандартную "стенку" с матрешками и горняцкими вымпелами; холод царил в подъездах с висящими в них стенгазетами и объявлениями жилищно-эксплуатационной конторы ("ЖеЭ-эК, ЖеЭ-эК", эхом разносилось по реке, так что слышно было и на корабле "Тангейзер", на границе с Атлантидой): уполномоченный по дому призывает всех на субботник! Граждане, не бросайте что попало в мусоропроводы! Поддержите массовую народно-хозяйственную инициативу ("Мэ-энн-и, Мэ-энн-и", – пела птичка миноль-пироль) – приведите в порядок дорожки возле своего дома! Холод замораживал лужи перед блочными домами, грязные дороги затвердевали, ветер, мрачный бригадир, высасывал тепло из батарей центрального отопления, срывал транспаранты с Дома культуры, рылся в мусорных контейнерах, среди которых дети после уроков играли в индейцев

– Бледные городские дети. Покрытые шрамами коленки, "дырка в голове", раны, которые зашиваются без наркоза в местной амбулатории; ссадины, политые щиплющим, холодным как лед антисептиком; кожа, ободранная во время потасовок на заднем дворе, между натянутыми бельевыми веревками; веснушчатые большеухие мальчишки в пошитых матерями футболках со знаменитыми цифрами на груди, с легендарными именами: Вальтер, Ран, Дуке, Пушкаш, Хидегкути[1] *(такое не сразу напишешь! трудно даже найти кого-то, кто знает, как это пишется!), Пеле. Девчонки прыгали через "резиночку", девчонки читали книжки... Девчонки играли в шахматы ("Этой книгой мы хотим отметить твое успешное участие в городской спартакиаде 19.. года по шахматам. Мы желаем тебе и в дальнейшем много радости и успехов на поприще этого интеллектуального спорта! Твоя шефская бригада"). Невозможно было пройти и сотни метров, не столкнувшись с каким-нибудь именем. Свободу Луису Корвалану. Модели атома Бора и Резерфорда; товарищ председатель Государственного совета*[2] *задумчиво и доброжелательно смотрит, слегка склонив набок голову, с голубого постера ("ничего"! "ничего"!): "наша молодежь". Учитесь, накапливайте знания: в кабинетах физики и химии, в кружках "Юные техники", "Электроника", "Юные космонавты" –*

3 октября люди столпились перед зданием главного вокзала, перед рекламой страхования автомобилей и негаснущей надписью "Пиво Радебергер": несколько сотен мужчин (а женщины – за их спинами, более осторожные, выжидающие); дело было холодным ненастным вечером, относившимся уже к новому летоисчислению, ибо после запрета "Ново-

1. Фридрих ("Фриц") Вальтер (1920–2002) – один из популярнейших немецких футболистов, после войны жил в Западной Германии. Хельмут ("Босс") Ран (1929–2003) – западногерманский футболист. Петер Дуке (р. 1941) – футболист из ГДР. Ференц Пушкаш (1927–2006) – венгерский футболист и футбольный тренер. Нандор Хидегкути (наст. имя Нандор Кальтенбруннер, 1922–2002) – венгерский футболист и футбольный тренер.
2. Эту должность в ГДР занимали: Вальтер Ульбрихт (1960–1973), Вилли Штоф (1973–1976), Эрих Хонеккер (1976 – 24 октября 1989), Эгон Кренц (24 октября – 6 декабря 1989).

го форума"[1], после пражских событий что-то произошло, обычными мерами власти больше не могли обойтись, что-то происходило в темноте, проштампованной желтыми четырехугольниками окон в высотках на Ленинградской улице, снова и снова пробиваемой фарами трамваев и междугородних автобусов. Мужчины — молодые, почти все лет двадцати-тридцати, их тела облачены в плохо сидящие куртки военного покроя, на крашеном искусственном меху, в ношеные джинсы и клетчатые рубашки здешнего производства; немногие господа постарше нарядились по-воскресному — что показалось Мено нелепым, — будто собрались на загородную прогулку с заходом в ресторан. На всех лицах — отчужденное и испуганное выражение, характерное для спасенных жертв природной катастрофы, которых пока что собрали в *относительно* безопасном месте. По мере увеличения чего-то ожидавшей толпы напротив нее скапливалось все больше полицейских, заграждавших входы. Полицейских, казалось, набрали со всех концов страны: Мено заметил на их машинах ростокские и шверинские номера.
— У нас же есть билеты, мы спокойно пройдем, — сказал Йозеф Редлих. Но его остановили, один полицейский грубым тоном велел предъявить удостоверение и показать багаж. Редлих, сбитый с толку, поднял свой чемоданчик с материалами для осенних заседаний в издательстве "Гермес"[2] — слишком быстрым, резким движением, — полицейский мгновенно отскочил назад и замахнулся дубинкой. Мено и Мадам Эглантина, жевавшая сардельку, поспешили втиснуться *между*, но в них сразу вцепились несколько парней в форме и протолкнули их внутрь вокзала — там, к счастью, всем троим удалось доказать свою благонадежность. Внутри народ толпился еще гуще. Большинство, как понял Мено, приехали из Бад-Шандау, где надеялись проникнуть в один из поездов с беженцами или изыскать способ добраться до Праги — но их отогнали полицейские и солдаты. С полудня беспаспортное и безвизовое сообщение с ЧССР было прекращено. А с Польшей — еще не восстановлено; в городе не без горькой иронии поговаривали, что зарубежные поездки отныне будут осуществляться только пешим ходом.
Полицейские были в защитных касках с забралами; двигались они неуверенно и настороженно, как пилоты, которые в полете хорошо делали свое дело, но приземлились не там, где надо, и потому считают себя героями лишь наполовину. Перед вокзальными цветочными киосками расположились лагерем панки. Горстка монахинь следовала за желтым раскрытым зонтом с надписью "Иисус жив", покачивающимся над головами ожидающих. Перед телефонными автоматами у выхода к остановкам 11 и 5 трамваев — где всегда, когда Мено уезжал в Берлин, была зона нетерпеливо гудящих людей, которые осаждали эти самые автоматы, — теперь, казалось, образовался заколдованный круг вокруг большого, окаймленного

1. "Новый форум" — первая действовавшая на всей территории ГДР оппозицнонная группа, основанная тридцатью диссидентами 11 сентября 1989 г. в Грюнхайде под Берлином. Участннки группы были сторонникамн сохранення ГДР, но требовали радикальных политических реформ. Через несколько дней их воззванне подпнсалн 1500 граждан. 19 сентября группа попыталась зарегистрироваться как политическая организация. Ходатайство о регистрации было отклонено под тем предлогом, что "Новый форум" проводит "враждебную государству политику". После этого движение продолжало свою деятельность в нелегальных условиях.
2. В центральном офисе издательства, находившемся в Восточном Берлине.

брызгами пятна блевотины: бежевый, взорвавшийся на земле сгусток еще бурлящей энергии, губительной, как граната; выплеснутая из помойного ведра краска — конкретно-дикий экспрессионизм[1]. Йозеф Редлих снял шляпу. В буфете — толкотня, пропитанный табачным дымом воздух, обмен хмурыми взглядами над красно-белыми клетчатыми клеенками в пятнах соуса, над пластмассовыми тарелочками, над общепитовскими чашками с зеленой каймой. Снаружи — опять толкотня; трое сослуживцев с трудом пробились к своей платформе. Переполненные, опрокинутые урны. Возбужденно взлетающие голуби, китовые ребра сводов над опорами из известняка, которые каждый день приходится белить заново. Йозеф Редлих присматривался к поездам, объяснял детали. Электровозы, дизельные локомотивы, на дальних путях — ископаемые времен их пионерского детства: разъяренные буйволы, извергающие из ноздрей пар. Этот маленький человечек, казалось, чувствовал себя неуверенно, он дергал чемодан, вертел в руках шляпу.

— Что вы обо всем этом думаете, господин Роде? — Он смотрел вниз, на гладкую серую платформу, усеянную пивными бутылками и скомканными газетами.

— Не знаю, — Мено уклонился от ответа. Надо соблюдать осторожность, он твердо придерживается этого правила. Правда, Редлих ему всегда нравился, да и в "Гермесе" его считают "человеком порядочным", который "делает, что может".

— А вы сами? — спросила Мадам Эглантина, носком ботинка столкнув сигаретный окурок с края платформы.

— Я тоже не знаю, — Йозеф Редлих нахохлился, будто вдруг ощутил озноб.

— Что-то должно измениться, вы ведь тоже это понимаете, — попыталась продолжить разговор Мадам Эглантина.

— Да, но в какую сторону, госпожа Вробель, в какую сторону — вот в чем вопрос, — тихо сказал Йозеф Редлих. — Вы оба были в церкви Святого Креста, вы двое и господин Клемм. Наш шеф собирается обсудить это на собрании. Как будто еще осталось время для подобных детсадовских внушений. Вы, между прочим, играете в скат?

На противоположной платформе заклубилась бумага: мусороуборочная машина с громыханием пробивалась сквозь нее, как затравленный жук. И тотчас равновесие на незримых весах ожидания нарушилось: топот, возбужденные крики, хныканье детей; по́езда еще не видно, но он вот-вот должен подойти, раз толпа так долго его заклинала, "Ваши желания станут действительностью", прочитал Мено на рекламном объявлении, вырванном из западного журнала. Однако подошел только оранжевый маневровый локомотив, машинист беспомощно дернул головой, когда разочарование толпы вылилось в многоголосый свист. Полиция сразу вмешалась. Шары, состоящие из трех-четырех людей в форме, покатились вперед, кого-то хватали, откатывались обратно; главный же блок полицейских всасывал в себя задержанных, чьи крутящиеся головы, протестующе барахтающиеся руки какое-то мгновение еще были видны, а потом пропадали под ударами дубинок. Внезапно сделались ощутимей сопротивление воздуха,

1. Имеется в виду живопись неоэкспрессионистов (или "Новых диких") — течения, распространившегося в Западной и Восточной Германии в начале 1980-х гг.

наскакивающие и отскакивающие завихрения; электропровода над перронами гудели жестко, как проволочки яйцерезки; из общей массы голосов, смешавшихся в акустическую кашу, выбивались протесты; отдельные выкрики вспарывали человеческий кокон, объединивший стражей порядка и рядовых граждан, который постепенно разбухал возле выходов, потом опадал и раздувался снова. Поезд на Берлин подошел к платформе с провоцирующей медлительностью. Все крики теперь хлынули на эту платформу, Редлих и Мадам Эглантина кинулись — впереди всех — к своему вагону, Мено же отъединила от них перепуганная кучка задержанных, которых гнали перед собой полицейские. И снова — падающая бумага, пурга бумажных обрывков, часть из них медленно-медленно опускалась на скамью; Мено расшифровал один: "Х. Кестнер. Приватная рассылка презервативов"[1]; предложения по обмену жилплощадью, подвесные моторы, слабительные средства... Озадаченная тюленья физиономия Редлиха мелькнула в окне вагона, рука Мадам Эглантины далеко высунулась из того же окна и указывала на Мено, в самом деле на меня, подумал он, его толкали и задевали, ее рот исказился в странной гримасе, будто она хотела крикнуть и не могла, громкоговорители, казалось, ослепли от бумажного снегопада, клочки бумаги, снова и снова подбрасываемые разъяренными сапогами, зигзагообразно бегущими ботинками, подобно праздничному конфетти танцевали над пепельно-бурым щебнем, над шпалами. Мено так и не сумел добраться до поезда. Свистки, сигнал отправления, хрусткое закрывание дверей. Кто-то опрокинул его чемодан, кто-то другой об этот чемодан споткнулся и напоролся на Мено, пытавшегося, несмотря на давку, вызволить свой баул. "Ты куда смотришь? Идиот чертов!" — крикнул споткнувшийся и размахнулся, чтобы закатить обидчику оплеуху. Мено пригнулся, и оплеуха досталась полицейскому, стоявшему сзади; тот, словно толстый избалованный карапуз, который вдруг понял, что его мамочка способна и на такое, обалдело-обиженно надул щеки и выдал жалобное "Ауаа!"; Мено усмехнулся. Двое полицейских сорвали его с места, он получил удар кулаком, в подложечную впадину (не особо болезненный, поскольку в нагрудном кармане у него были дорожные шахматы), потом еще — в область печени (тут-то, жалостно щелкнув, и сломалась любимая курительная трубка с круглой головкой), потом — несколько не быстрых, а как бы пробных ударов, от которых, однако, у него перехватило дыхание; затем его — вместе с человеком, закатившим злосчастную оплеуху, у которого теперь были разбиты в кровь обе брови — куда-то повели. Звон разбитого стекла, крики, голуби, рассекающие крыльями воздух... Чемодан Мено остался на перроне. К противоположной платформе подкатил поезд — очевидно, тот самый, долгожданный, лейпцигского депо, который должен был забрать беженцев из пражского посольства; в атмосфере всеобщей паники, под аккомпанемент визгливых угроз, доносящихся из громкоговорителей и полицейских мегафонов, начался штурм поезда[2]. В зале ожидания люди кидали в витрины забаррикадированного "Интершопа" шары из скомканной бумаги.

1. Это объявление дрезденского предпринимателя Кестнера во времена ГДР печаталось во всех газетах, ежегодно он рассылал около 2 миллионов кондомов.
2. Только глубокой ночью полицейские очистили вокзал. Тогда тысячи людей пешком отправились по шпалам в направлении чешской границы, парализовав движение поездов на этом перегоне. Эти события послужили толчком для массовых демонстраций в Дрездене.

– Проваливай, парень, – сказал полицейский, выведя Мено из здания вокзала.
– Но там мой чемодан...
– Исчезни!

(Эшшлорак) "Но люди, даже если добьются свободы, что они сделают со своею жизнью? Если они хотят быть счастливыми, в чем обретет выражение это их счастье? Они просто отправятся на охоту! Аристократы, у которых всегда было больше досуга, чем у других, наилучшим времяпрепровождением считали охоту. А у маленьких людей есть своя маленькая "охота": они займутся рыбалкой. Чего вы добьетесь, устроив революцию? Роста поголовья рыболовов! Только и всего. Улучшение судьбы рабочего будет состоять в том, что он сможет посвятить себя этой простейшей форме охоты. И ради этого – свобода, равенство, братство?.. Ах боже мой".
(Старгорски) "Теперь *вы* рассуждаете как циник".
(Эшшлорак) "Я лишь пытаюсь никого не идеализировать. Не изображайте людей более интересными, чем они есть... В жизни очень много дешевки, и в этом смысле искусство ей подражает, ну и что тут такого?"
(Шуберт) "Но должна же оставаться надежда! Без надежды нельзя жить!"
(Эшшлорак) "Боюсь, нам всем придется этому научиться. Нести вахту на берегу мейстерзингеров, в городе старинных и вечно новых напевов, и каждый пусть остается на своем месте, подчиняется твердо установленному порядку, ведь госпожа Часовая Стрелка – волшебница, вечно все изменяющая – утратила свою власть!"
(Конферансье) "Вот он, часть силы той, что вечно хочет блага и вечно совершает зло: послушайте, дамы и господа, 'Вальс Мефистофеля'[1] в исполнении нашего волшебного дрезденского Биг Банда[2]!"
(Альбин Эшшлорак) "Что ж поделаешь. Тогда... я просто нахохлюсь. Хотел бы я курочкой стать...[3]"
(Шевола) "Вы уже успели навлечь на себя все отвращение, которое люди испытывали к прежнему идолу".
(Альбин Эшшлорак) "Позволите называть вас впредь барышней Вивисектор?"
(Эшшлорак) "Ты не можешь пребывать в покое, мой сын, когда вокруг неподвижной оси твоей комнаты вращается мир".
(Зиннер-Прист) "Вообразите, что я почувствовала, когда мой шеф заявил о своем решении действовать в соответствии с конституцией этого ненавистного мне народа! Который в своем безумном суеверии дошел до того, что отбивает носы статуям, чтобы они не ожили!"
(Барсано) "Мы верили, что все люди, в сущности, предрасположены к добру. Если мы обеспечим их в достаточной мере продуктами, жильем, одеждой, они перестанут быть злыми, ибо в этом уже не будет необходимости. Ошибка, какая ошипппка!"

1. Произведение Ференца Листа (1811–1886), первоначально написанное для фортепьяно, а после переработанное для оркестра (1856–1861).
2. Биг Банд – оркестр студентов дрезденского Технического университета.
3. "Хотел бы я курочкой стать..." – знаменитая в свое время песня берлинского вокального ансамбля "Комедийные гармонисты" (1927–1935).

Но Мено не хотел просто так "исчезнуть". В оставшемся на вокзале чемодане были тексты, в том числе и рукопись Юдит Шеволы — с уже внесенной редакторской правкой, незаменимая. Чувство долга, страх, любопытство, любовь к авантюрам...: он обошел вокруг и снова проник на территорию вокзала через боковой вход. Поскольку у него был с собой билет на поезд, его пропустили. Чемодан нашелся под одной из скамеек, за ним присматривала старая женщина, которая жила недалеко от вокзала и пришла сюда, чтобы бесплатно раздавать чай и печенье. Она видела, как полицейские увели Мено и другого мужчину.
— Вам уже доводилось переживать что-то подобное?
— Нет, — сказал Мено.
— Такое случалось разве что во время войны да еще семнадцатого июня[1], — сказала женщина. — Вы еще молоды — я бы на вашем месте ушла отсюда.
Мено поехал домой. Трамвай полнился слухами, люди не хотели молчать, казалось, их больше не заботило, что разговор может услышать кто-то посторонний. Дрезден покоился в холодной, пасмурной, тягостно-тоскливой бесприютности своих осенних дней; над тихими улицами, озвученными только шепотом веток, качались фонари.
Ветер раскручивал древесные кроны на Лунном спуске, пружинисто спрыгивал с крыши "Тысячеглазого дома"[2], заставляя ее кряхтеть и скрипеть. Педро Хоних уже вывесил возле своего окна флаг. У Либуссы работал телевизор. Аромат ванильного табака просачивался сквозь дверные щели, хотя Мено и забил их матерчатыми змейками, сшитыми Анной и Барбарой. В зимнем саду кто-то беспокойно расхаживал. Мено открыл дверь со стрельчатой аркой и вышел на балкон, сопровождаемый котом Чакаманка-Будибабой, который тут же начал принюхиваться к туманному воздуху. Из парка доносился запах гнилой древесины, который смешивался с садовыми запахами — гумуса и влажной листвы. Мено смотрел на город, на видную отсюда часть излучины Эльбы, по которой двигалась баржа; значит, нынешнее время состоит и в этом: кто-то по-прежнему должен следить за силой течения и буями, люди по-прежнему нуждаются в угле и щебне, или что там транспортирует это судно... Мено вернулся в комнату. Каким мирным выглядит его стол: микроскоп и пишущая машинка, в ней торчит пустой лист. Мено сел к столу, попытался работать, но мысли опять и опять уклонялись в сторону. Он встал, ему надо было с кем-то поговорить.
Либусса и судовой врач, приветственно махнувший Мено рукой из-за бамбуковой занавески, тем временем включили радио.
— Ты разве не уехал в Берлин? — удивленно спросил Ланге.
— Я не сумел сесть на поезд, вокзал оцеплен полицией.
Либусса настроила приемник на чешскую волну, начала переводить. Ничего интересного, одни общие слова. Зычный, внушающий доверие голос диктора радиостанции "Дрезден" тоже ни словом не упомянул о событиях на вокзале. Либусса выключила радио, она молчала. Мено вдруг тоже почувствовал, что не может ничего сказать; сидел, судорож-

1. Имеется в виду Берлинский кризис 1953 г.
2. Особняк (прозванный так Кристианом из-за обилия книг), в котором жили Мено Роде, Алоис Ланге с женой, семья инженера Шталя, позже также — подселенные к ним близнецы Каминские, супруги Педро и Бабетт Хоних.

но сжав руки, под красующимися на стене морскими узлами. Он решил навестить Никласа.
— Будь поосторожнее, приятель! — крикнул ему вдогонку судовой врач.
Особняки на Генрихштрассе, похоже, опять ретировались в окаймленное плющом Сонное царство, немногие освещенные окна смотрели не на улицу, а в страну Вчерашнего дня; рододендроны и кусты ежевики — вдоль заборов между разъеденными коррозией калитками — казались сверх меры разросшимися картинками: силуэтами из черной бумаги. У Гризелей горел свет; второй этаж, где жили Андре Тишер и сестры Штенцель, был темным. Рихард, наверное, дежурил в больнице, а Анна уехала на какую-нибудь встречу оппозиционеров в Нойштадте или еще дальше, в Лошвице, на Кюгельгенштрассе... Или отправилась в гости к Мацу Грибелю и его друзьям, художникам-анархистам.
Дверь открыл Эццо[1]; зажав под подбородком скрипку, он энергично водил смычком, пробовал то тот, то другой штрих, пока Мено вешал свое пальто на вешалку напротив комнаты, где раньше жила Реглинда. Эццо оставил его в одиночестве. Будто отрешенные от времени, задавали свои вопросы — из гостиной — "готические" и большие напольные часы, им отвечали серебряным голоском венские ходики в "музыкальном кабинете". Мено подождал немного перед дверью гостиной, матовостеклянной с гравированными цветами, стараясь, чтобы тень его их не задела, затем коротко постучал и осторожно нажал на ручку. Никлас стоял возле печки, кивнул. Альбом "Старейшие немецкие соборы" лежал в центре стола, вокруг него группировались несколько томов Дехио[2]. Мено хотел что-то сказать, но не смог. Раскрытые книги по искусству, тепло, позже будет музыка... Особый универсум Никласа.

(Барсано) "По ночам — шаги. По ночам — топотанье крыс в коридорах отеля 'Люкс'. Внизу — булочная, она-то и притягивала крыс. Они появлялись и днем, наше присутствие их не смущало. Лифты поднимались, лифты останавливались. По ночам мы лежали без сна и считали секунды, пока работал мотор лифта. Считали секунды, пока приближались шаги".
(Эшшлорак) "Придет время, когда они будут считаться дьявольщиной, эти ритуалы единообразия... — я допустил неточность, Роде, а вы меня не поправили! Понятие ритуал уже подразумевает единообразие. Хе-хе. Diabolus: перевертыватель. Или, чтобы было совсем понятно: дьявольское — это вечный переворот, вечное изменение существующего..."
(Барсано) "Маму вызвали на допрос. Следователь грозил ей палкой. Другой ругался. Свинскими, грубыми ругательствами. Русский язык на ругательства очень богат. Мама спросила, не в гестапо ли она попала. Оба следователя опять принялись ее оскорблять. Тогда она встала и сказала: вы, товарищи, не служили в армии, не воевали. Я вам покажу, как правильно ругаться".
(Эшшлорак) "...итак: время. Время, Роде, это и есть дьявол, потому что оно — орудие изменения... Клейкая лента, к которой мы липнем, как мухи... Потому-то именно мы живем в богоугодном государстве: потому что

1. Сын Никласа Титце — ученик музыкальной школы.
2. Так сокращенно называют многотомный справочник "Путеводитель по немецким памятникам искусства", который начал выходить в 1905 г. под общей редакцией немецкого искусствоведа Георга Дехио (1850—1932).

поставили себе цель — упразднить время. Горе, если мы потерпим неудачу... Я уже вижу зарю новой эпохи Настоящего, когда всякое изменение будет состоять в вечном повторении того же самого и когда дьявол погрузится в повседневность: уже не обеспечение изменений будет его делом, а — застой, единообразие, мельница, которая превращает все великие (или задуманные как великие) камни в пыль на дорогах вечно неизменного Настоящего...”
(Барсано) “Оба следователя так удивились, что ругательства свои прекратили. Зато они начали расспрашивать маму об интимных сторонах ее жизни, со всеми подробностями, хотя к обвинению это отношения не имело, но они хотели узнать все — и непременно в моем присутствии”.
(Эшшлорак) “...это будет значить, что Бог стал дьяволом, слился с ним. Бог и есть дьявол”.

Порядок и безопасность.
Но эта бумага, пестро-цирковая, этот асимметричный снегопад бумажных клочков... Мено пробирался к входу на вокзал, крепко сжимая ручку чемодана и билет на поезд; долг призывал его ехать в Берлин, но ему не хотелось: здесь происходило нечто, не имеющее отношения к привычным играм в тезис-и-антитезис, не имеющее отношения даже к привычным ответам. Луиза, его безрассудно-смелая мать, наверно, сказала бы: ты очень многим рискуешь, если не останешься сейчас здесь. Шумы в зале ожидания: как в гроте, со слабыми бесцельными отголосками. Проникновение внешнего мира в его слух: воспринятые чисто акустически, еще не отфильтрованные голоса и шумы накатывали на барабанную перепонку, бушевали, заставляя вибрировать молоточек, наковальню, стремечко: сигналы морзе для эндолимфы, защищенной перепончатым лабиринтом и барабанной лестницей? Город был Ухом, вокзал же помещался в Улитковом протоке: Helix[1], звуковые колебания, шумовые частицы; они хаотически перемещаются в разных направлениях, сталкиваются, некоторые — не больше пылинки, едва-едва задевающие порог акустического восприятия, другие — с силой ударяющиеся об него: амплитуды государственной власти. Перебираемые Золушкой горошины, потом — шлепающиеся капли, потом — стеклянные градины, словно на фабрике детских мраморных шариков отодвинули заслонку и готовые шарики густо посыпались в контейнер; между тем уже выявился базовый ритм: бам-бамм! бам-бамм! — грубо-солдафонская напыщенная театральщина, мертвого Зигфрида везут в лодке по Рейну, — может, полицейских специально так обучили... или это вышло случайно. (Но бывают ли *случайности в форме*, подумал Мено, — в нашей стране?) “Силы особого назначения”. (Против скопища человеческих слабостей.) Полицейские сбивали людей в испуганные отары и вытесняли с вокзала, размахивая дубинками, а себя защищая пластмассовыми щитами. Мено оказался вовлеченным в это движение. Выходы выблевывали бегущих, но одновременно, подобно тому как кит (настоящая пищеварительная фабрика) всасывает планктон, всасывали все новых любопытных: невидимая часть этой биомассы формировалась, похоже, на Пражской улице, из *веслоногих*, которые, преодолев сперва трамвайные рельсы на Венской площади, за-

1. Завиток, спираль (*лат.*); зд.: свободный край ушной раковины.

тем устремлялись к северному фасаду вокзала. Две силы; под надписью "Пиво Радебергер" (сейчас, в это голубино-сизое утро, она казалась немой и безотрадной) силы столкнулись, образовав буферную зону мельтешащих тел, жестикуляции и архаического страха-блаженства, образовав кольцо (успокоительное, как ни странно, и разбухавшее наподобие теста) с шероховато-колючими краями разрывов — там, где между двумя сталкивающимися клиньями, под воздействием силы удара тут же притупляющими друг друга, как бы лопались швы: Мено видел все это в разрозненные мгновения галлюцинаторной зоркости, но такие моменты не имели ничего общего с его усилием удержаться на плаву в водовороте всеобщего опьянения; не имели ничего общего с железнодорожным билетом, воплощением смутного обещания, который, словно смертельно испуганная рыба, трепыхался в его руке, ни на секунду не ослаблявшей хватку; они не имели ничего общего и с мелькнувшей вдруг мыслью, что он, пожалуй, уже не хочет ехать в Берлин, а хочет остаться здесь, уступив своим авантюрным наклонностям. Я останусь здесь. Я хочу посмотреть. Я хочу (собственными глазами) увидеть, что здесь происходит.

Любопытство? Или молчавший до сих пор материнский ген, который теперь начал робко подмигивать на партизанском горизонте Роде, желая проявить себя в чем-то конкретном? Парящие в воздухе, хрусткие, сталкивающиеся, скомканные — гневом или радостью — обрывки бумаги... Люди просачивались к проходам. Внезапно крики: поезд! поезд! И — целые косяки отчаянно заработавших руками пловцов. Поезд, мол, уже подошел. Да где же он?! Где? Поезд! Тот, долгожданный, из Праги; который вывезет нас на свободу. Поезд. Свобода! — крикнули сразу многие голоса в лицо надвигающейся турбине защитного цвета, которая в ответ плотоядно и опасно взревела. Резиновые дубинки уже скандировали свое: проваливайте! проваливайте! Поезда все не было. Люди сразу отхлынули назад, снова заняли выжидательную позицию; среди них много болезненно-настороженных, много — впавших в ярость, еще больше — обессиленных и разочарованных; все, чтобы передохнуть, опустили рюкзаки и сумки на густо усеянные бумажками перроны. Поезд так и не подошел.

Из Берлина названивали в Дрезден. На окружном уровне — ректорам высших учебных заведений, главврачам городских больниц, в городской Центр хранения и распределения препаратов крови. Руководство этого Центра звонило, в свою очередь, на донорские станции. Там новые указания, так сказать, повисали в воздухе — принимались к сведению и замалчивались. Увеличить производство консервированной плазмы — за счет чего бы это? Пустые слова... В паузах между операциями Рихард прохаживался по клинике, что помогало ему не утратить контроля над противоречивыми впечатлениями. Он спускался в подвал, где сестры, санитары и врачи курили, шепотом обмениваясь слухами по поводу беспорядков на вокзале, по поводу ситуации в Праге. Потом выходил на воздух, в парк с его монастырской, осенней атмосферой, к фонтанным статуям, которым скульптор сумел придать особую привлекательность, что, вероятно, стоило большого труда, ибо она, эта привлекательность, была какой-то потусторонней и вместе с тем — не лживой. Никакой дешевой красивости; просто казалось, что фигуры хорошо себя чувствуют, и, вероятно, добиться такого было труднее всего. Привлекательность заблу-

дившихся... Кристиан недавно написал: “Что я должен делать, если получу сам знаешь какой приказ? Ты всегда хотел воспитать в нас прямодушие, однако сам лгал. Твои речи в защиту лицемерия, тогда, перед ‘Фельсенбургом’ (они были достаточно громкими; может, мы, мальчики, нарочно тогда расшумелись, чтобы не слышать такого), и урок, который по твоей просьбе преподал нам актер Орре, и твои советы, твои упреки, когда ты навещал меня в лагере военной подготовки[1], — припоминаешь? Так что же мне делать? Наша казарма приведена в полную боевую готовность, все увольнения и отпуска отменены, телефонная связь теперь только внутренняя, газет мы больше не получаем. Если мне прикажут пустить в ход дубинку — что я должен делать? Это письмо я отдаю нашему повару — с надеждой, что оно дойдет до тебя и что твой ответ, если, конечно, ты пожелаешь ответить (или: если сможешь), тоже каким-то образом дойдет до меня”. Рихард постоянно носил это письмо с собой. Никогда прежде Кристиан ему так не писал. Здесь он избегает слова “отец”. А Анна? Рихард не показал ей письмо. Что же произошло, продолжало происходить с ним, с ними всеми? Все дело во времени, времени, шептали ветки деревьев, обремененные латунными листьями. Ветер пах углем.

Кто-то швырнул камень — сподручный, выбившийся из мостовой черно-белый кусок гранита; беззвучно-параболический полет камня стоило бы прокомментировать, как если бы речь шла о футбольном мяче, с помощью которого (как опытный репортер догадывается, когда игрок еще только берет разбег, чтобы нанести короткий взрывной удар) будет забит лучший гол года: тот гол потом проанализируют бессчетное число раз, отцы, которые сидели на стадионе, гордо покажут сыновьям фотографии в воскресных газетах (или и в этой стране когда-нибудь появится видео?); итак, Мено увидел, как камень полетел в фалангу прозрачных щитов, озерно отражавших по-больничному резкий неоновый свет, как он, вроде, должен был промазать, а кривая его траектории — затеряться в некоей заштрихованной зоне (вроде тех, что указываются на полетных картах); но потом оказалось, что нет, камень все-таки попал, тогда — редкий случай обратного отражения — линия его полета вспыхнула еще раз, тут будто курок щелкнул, с быстротой электрического механизма подтвердив совпадение мушки и целика:

и

окрики, свистящие дубинки, раскаленное добела алкание[2]. Загоняли толпу в котел, перемешивали ее, вбуравливались. Из Шандау — пешим ходом — вернулись тысячи: отчасти — потому что их прогнала полиция и прочие представители власти, отчасти же — просто из-за усталости от долгих мытарств вдоль железнодорожного полотна

и

зачинщики, на чьих лицах треснула корка повседневных шлаков, дав выход белому подспудному потоку ненависти-ненависти-ненависти: такие с хрустом выламывали доски строительных лесов, отбивали донышки бу-

1. Военный лагерь — в ГДР место обязательных двухнедельных военных сборов для мальчиков, учащихся девятых классов.
2. “Раскаленное добела алкание” (helle Gier) — выражение из песни тирольского рыцаря и поэта Освальда фон Волькенштейна (ок. 1377–1445).

тылок, чтобы получить убийственно зазубренное орудие, мигом набирали полные руки булыжников и швыряли их в накатывающую волну стражей общественного порядка; щиты разбивались, забрала лопались, оконные стекла обрушивались, как сверкающие кулисы, дождь осколков, казалось, усеивал землю крупицами крупной соли, в ответ каждый раз раздавался рев многих голосов; Мено, прижатый к какому-то столбу, дрожал, не мог шевельнуться

и

все-таки они приблизились — подъехавшие на машинах спецназовцы, и полицейские заградительного отряда, и готовые к ударам резиновые дубинки, "Опишите-ка течку оленихи и ритуал встречи двух оленей-соперников", почему-то пронеслось в голове у Мено, чемодан был еще при нем, а вот билет — нет, только зажатый в кулаке клочок, сам билет кто-то вырвал из его руки

и

черные собаки, лающие, с таким розовым языком в бело-клыкастой слюнявой пасти, они рвались с поводков у собаководов, сотрясаемых силой черных собачьих ляжек; странная гравировка, оставленная когтями на гладком твердом полу вокзала: петли и завитки, может, цветы даже, "собачьи узоры", подумал Мено

и

дубинки замолотили, заморосили, засвистели — сверху вниз; грохот, как когда шарики каштанов падают на крыши припаркованных машин; искаженная реальность ответных криков; люди, упавшие, оказавшиеся под ногами других, вскинутые в самозащите руки — но дубинки уже лизнули, уже
страха и
крови и
крови и
вожделенья напробовались

и

там были туалеты, Мено побежал с другими, толпа, инстинктивно... искала возможностей... Туалет. Сводчатое помещение, голубой кафель, запах аммиака как боевой метательный диск рассек дыхание вторгнувшихся. Мено сразу рванулся назад: ловушка, ты отсюда не выберешься, ловушка, зачем же ты, а если они перекроют вход, — выбежал наружу, увидел лица полицейских, офицеров за их спинами, властно протянутые руки с указующими перстами. Прочь, прочь с вокзала, прочь с этого вокзала. Капсулы со слезоточивым газом уже звякали об пол, люди побежали, сразу стала видна зияющая свободная зона, словно надрез, сделанный хирургическим скальпелем по тугой коже, — и тут заклубился дым. Водометные машины пробивали просеки в гигантском клубке (из бегущих и тех, кто наносил им удары), превращали в жидкое месиво бумагу, оттесняя ее к краям платформ, где она громоздилась причудливыми слизистыми за́мками. Мено поднял голову, увидел видеокамеры, увидел разбитые информационные мониторы; вода капала с распорок, наполняла вокзал пеной и металлически поблескивающими лентами, в которые, словно под лупой времени, вплетали свой тканый узор кровяные нити.

— *Бумага*, —
писал Мено, —

бумага, гора из бумаги —

Кристиан сидел в каптерке, от которой у него теперь был ключ, и с мычанием вгрызался зубами в свежую пачку солдатского белья. Порой ему казалось, он сходит с ума. Потому что он видел во сне только казарму, танки, переводы из одной роты в другую — тягучую, неприятную галиматью, которая когда-нибудь все же должна закончиться, и тогда он будет лежать ночами в своей постели, свободный, может, и "Комедийных гармонистов" слушать, с граммофона сестер Штенцель. Успокоившись, он прошел в казарменную библиотеку — гротескное место, охраняемое добродушной толстушкой в фартуке, как у его бабушки, и с вязаньем в руках (она вязала согревающие пояса для "молодых товарищей"). Белокурые деревья трепетали на казарменных улицах. Офицеры нервно приветствовали друг друга. Напряжение и страх — на всех лицах. Количество часов, отведенных на политзанятия, в последнее время удвоилось. Фразы, которым их там учили, слюною капали из ртов, покрывали землю незримой, но притягивающей пыль пленкой да так и лежали под слоем пыли — презренные, никем не принимаемые всерьез. Солдаты тренировались, работали с танками, вскоре должны были начаться осенние маневры. Кристиан считал часы, оставшиеся до дембеля. Иногда ему, уже отслужившему почти пять лет, казалось, будто он не выдержит немногих последних дней сидения взаперти; он забирался на крышу батальонного штаба — гудрон был еще по-летнему вязким, и между черными вытяжными трубами воздух сильно нагревался, — писал письма, которые один из младших поваров тайком выносил из казармы и бросал в гражданский почтовый ящик, или читал то, что присылал ему Мено (книги издательства "Реклам", томики советской прозы, публикуемые издательством "Гермес", которые удивительным образом изменились: теперь внезапно вынырнули откуда-то синие кони на красной траве[1]). Большинство их солдат работало теперь в народном хозяйстве, на различных предприятиях Грюна. Сам Кристиан стоял у токарного станка, снимал металлическую стружку, он был помощником токаря. Всем солдатам хотелось домой, но утром 5 октября им раздали резиновые дубинки; Жиряк рассмеялся: "Втыкалки мы от рождения получили, а рукоятки к ним — только теперь!" Что Кристиан собирается делать, спросил он. Кристиан этого не знал. Он даже представить себе ничего такого не мог, да и не хотел представлять. Прибыли полицейские и стали на полковом футбольном поле обучать их разным приемам. Атака слева, атака справа. Распознавание зачинщиков, наступление на группу. Одно время поговаривали, что отряд Кристиана выступит с огнестрельным оружием. Отряд был сборным, пополнялся из еще оставшихся рот (весной 89-го, вроде бы, вышел приказ о сокращении армии): из Котбуса, Мариенберга, Гольдберга; потоки перемещающихся солдат, с лета 1989-го, ни для кого не оставались секретом. Бухарь радовался уже тому, что раздобыл для всех форму и продукты. Подъехали грузовики. Младшему повару разрешили еще раз выйти за казарменные ворота, он вернулся и пересказал слухи, касающиеся Грюна, где рабочие металлургического завода уже перешептывались о последних событиях, а также — Карл-Маркс-Штадта, Лейпцига и

1. "Синие кони на красной траве" (1978) — пьеса Михаила Шатрова (р. 1932).

Дрездена. Вечером приказ: "По машинам! Без стрелкового оружия. Резиновые дубинки, летняя полевая форма, защитные жилеты, дополнительный рацион — алкоголь и сигареты на каждого". Солдаты в основном молчали, уставясь в пол. Жиряк курил.
— Тебе, небось, все до лампочки, — сказал сосед Кристиана.
— Поцелуй меня в задницу, — огрызнулся Жиряк. И высунул голову из-под брезента. — Ничего не видно, никаких дорожных щитов.
— Знать бы, куда нас везут, — вздохнул солдат помоложе, ему оставалось служить еще год.
— В Карл-Маркс-Штадт, — предположил сосед Кристиана. — По логике вещей. Тамошних среди нас раз-два и обчелся.
— Уже проехали, — возразил Жиряк.
— У тебя что, топографическая карта внутри? — спросил ефрейтор.
— Плюс спидометр.
— Тогда, значит, в Дрезден, — сказал молодой солдат.
— Перетасовать компашку голубых, мужики, — это я понимаю, — сказал ефрейтор. — Эй, Немо, в Дрездене много голубых? Думаю, их там хватает.
— Классовых врагов, — подсказал Жиряк, пока кто-то давал ему прикурить.
— Вы, значит, тоже верите тому, что нам говорят? Что там просто дебоширы и все в таком роде? Засланные с Запада, а еще контрреволюционные группы? — спросил молодой солдат.
— Может, ты тоже один из таких, а? Смотри у меня... — пригрозил ефрейтор. — Эй, Немо, ты что, язык проглотил?
— Да не цепляйся ты к нему, — как бы между прочим бросил Жиряк.
— Я не позволю, чтобы мне угрожали, и не позволю очернять государство, — сказал ефрейтор.
— Парень, из какого темного захолустья ты выскочил? — пробормотал сонный голос с места перед кабиной водителя.
— Ты, выходит, собрался их бить, — сказал Жиряк.
— Ясное дело, они же свиньи. Лучшего не заслуживают!
— Тогда я и тебя заодно припечатаю. Ты так хрюкаешь!
— Я, Кречмар, заявлю на тебя куда следует. Вы все слышали, что он сказал.
— Ни на кого ты не заявишь, — сказал Кристиан.
— Я тоже так думаю, — поддакнул Жиряк. — Здесь никто ничего не слышал. Ни-тче-во.
— В Дрездене, говорят, полицейского повесили.
— Детские сказки!
— Главный вокзал, говорят, закрыт. Выглядит хуже, чем после бомбардировки.
— А ты уши развесил! И веришь всему, что тебе втемяшивают! Этой дерьмовой лжи!
— Кто это сказал? Кто сейчас сказал про дерьмовую ложь?
— Но если так оно и есть?
— Да заткнитесь же наконец, — пробормотал сонный голос.
Солдаты молчали, курили, смотрели на номера автобусов, обгонявших их колонну.
Дрезден. Всем выйти из машины.
Они стояли на Пражской улице. Кристиан смотрел на уличные огни как на что-то чужое, незнакомое; он в этом городе родился, но, казалось,

больше к нему не принадлежал, а все предметы, все здания, казалось, ожили: Круглый кинотеатр стыдливо прятал витрины с киноафишами, международные отели высокомерно не замечали солдат, дежурных полицейских, курсантов офицерских школ, которые строились перед своими бегающими взад-вперед офицерами, но сверх того *получали наставления* от каких-то начальников в штатском: крики, приказы, угрозы.
Действовать беспощадно.
Решительные меры.
Противник.
Контрреволюционная агрессия.
Защита рабоче-крестьянской родины.
Перед ними — устремляющиеся к вокзалу люди. Солдаты построились сотнями, образовали цепь, соединив руки. Кристиан оказался во втором ряду, рядом с Жиряком. Со стороны вокзала — глухой ритмический стук. "Впее-ред!" — гаркнули офицеры. Кристиан почувствовал, как колени у него подогнулись, то же ощущение, что при оглашении приговора в зале суда, сейчас бы убежать, сделать что-то, прекратить это безумие, повернуться и просто уйти, но ему было страшно, он видел, что и Жиряку страшно. Вокзал казался клокочущим, алчным шестереночным механизмом, освещенной глоткой, которая заглатывает шаги и выплевывает воду, пар, лихорадочное возбуждение. Туда? Туда он должен идти? Трамваи бессильно замерли, как косточки в набухающей фруктовой плоти, состоящей из человеческой массы. Один автомобиль уже опрокинули и подожгли, бутылки с "коктейлем Молотова" мелькали в воздухе, словно горящие пчелиные ульи, разбиваясь, они выпускали на волю мириады убийственно-раздраженных огненных жал. Солдаты остановились перед книжным магазином имени Генриха Манна, перегородили Пражскую улицу. Тут Кристиан и увидел Анну.
Она стояла в паре метров от магазина, окруженная группой людей, говорила что-то полицейскому. Полицейский поднял дубинку и ударил. Раз, второй. Анна упала. Полицейский наклонился и продолжал наносить удары. Пнул ее ногой. Немедленно получил подкрепление, как только кто-то из группы попытался его удержать. Анна, словно ребенок, заслонила лицо руками. Кристиан видел мать, как она лежит на земле и как полицейский ее топчет, бьет. Лампы скользнули куда-то мимо, ушли, будто ныряльщики под воду. Вокруг Кристиана образовалось пустое пространство, пропащая область тьмы, в которой сгинули все скопленные им ресурсы молчания, послушания, чувства самосохранения. Он сжал дубинку обеими руками и собрался уже кинуться на полицейского, бить его, пока не подохнет, но кто-то Кристиана удержал, кто-то обхватил его сзади, кто-то кричал: "Кристиан! Кристиан!", и Кристиан крикнул что-то в ответ, и взвыл, и задрыгал ногами, и от бессилия обоссался, на чем все и кончилось: в железной хватке Жиряка он обмяк, как молодой кобель, которому проломили затылок, они могут делать с ним что хотят, сам он уже ничего не хочет, разве что... оказаться в будущем, в далеком, как можно более далеком, он ничего не хотел, разве что... находиться не здесь, и Жиряк потащил его назад, а Кристиан всхлипывал, Кристиан хотел умереть.
Он вернулся в казарму, где на следующий день его вызвал для разговора сотрудник, ведавший всеми запломбированными, зарешеченными дверями. Сотрудник долго изучал дело Кристиана, после чего положил го-

лову на свои сплетенные пальцы, как на комфортную подставку для подбородка, пробубнил задумчивое "гм-гм".

Кристиан, еще прежде получивший от врача в медпункте успокоительный укол, сказал (вспомнив прощальные слова Корбиниана и Куртхена[1]: "Даст Бог еще увидимся, отсюда тебе не выбраться, держись и прости, если что не так"): "Шведт", — он сказал это трезво, утвердительно.

Его визави встал, подошел к окну, почесал небритую щеку:

— Я еще не решил, что нам с вами делать. Но не думаю, что Шведт был бы разумной мерой. Нет. Я думаю, вы нуждаетесь в...

Кристиан равнодушно ждал, нервы его теперь мало на что реагировали.

— В отпуск, — сказал тот, другой. — Я вас отправлю в отпуск. Вам ведь совсем недолго осталось служить. Вот и съездите к своему дедушке в Шандау. Хотя с вас станется и там наделать глупостей... Так что лучше отправляйтесь-ка в Гласхютте. — Он вытащил из ящика увольнительную, подписал ее, поставил печать. — Не советую вам ехать через Дрезден. Есть прямой автобус от Грюна до Вальдбруна, а оттуда дорогу вы знаете.

Кристиан не мог заставить себя подняться. Увольнительная лежала перед ним на столе.

— Вы бы мне хоть спасибо сказали, товарищ капитан. Мы не совсем такие...

Улицы, по которым машины зарубежных делегаций будут приближаться к центру с его трибунами, и еще пустые проспекты, где вскоре пройдут демонстранты, тщательно подметены, дома – до максимальной высоты, видной из проезжающих мимо дипломатических машин, – заново оштукатурены и снабжены оптимистическими лозунгами. В окуляре – нервные клетки, ауратически вспыхивающие под воздействием психококтейлей, тропические растения распустились на берегах Шпрее, Дворец Республики[2] весь заполонен притаившимися в засаде, красными, как мясо, цветами-паразитами; прочие нервные клетки, похоже, отключены: поскольку к ним не поступают ни питательные вещества, ни вещества-медиаторы[3], они постепенно атрофируются и, впав в своего рода ретро-эмбриональный ступор, в такте тикающих часов как бы замуровывают себя заживо, то есть слой за слоем наращивают вокруг своих клеточных мембран известковую кору. Сам мозг стар, это дряхлый мозг, и тонкие кровеносные сосуды, обеспечивающие его снабжение, лопаются подобно поверхности пирога из слоеного теста, как только исследовательский эндоскоп – ведь не один я нахожусь в пути, в Системе попадаются и другие недоверчивые сотрудники – начинает продвигаться внутри какого-нибудь изгиба; образуются склеротические бляшки, в результате – мастер Игольное ушко[4] и затор, сквозь который пробиваются, доставляя кислород, лишь единичные крас-

1. Сокамерники Кристиана в следственной тюрьме, где он находился до начала судебного процесса.
2. Дворец Республики – огромное здание, построенное в 1976 г. в центре Восточного Берлина, на месте полуразрушенного Берлинского замка прусских королей; аналог московского Дворца съездов. Во Дворце Республики проходили заседания Народной палаты (парламента ГДР), устраивались концерты, приемы и т. д. В 2006—2008 гг. здание было снесено.
3. Медиаторы – различные химические вещества, которые служат для передачи информации внутри организма (гормоны, парагормоны и пр.).
4. Мастер Игольное ушко – портной из Страны сказок, герой многочисленных детских передач гэдээровского телевидения (1955—1975), чью роль исполнял актер Экарт Фридрихсон (1930—1976).

ные кровяные тельца. Гала! Песочный человечек взлетает на вертолете. Суд Немецкой ассоциации игроков в скат[1]*, заштрихованный розовыми диаграммами нарастающих болевых ощущений, объявляет Grand ouvert*[2]*; Карл-Эдуард фон Шницлер*[3]*, боцман с Черного канала, чьи нелепые позывные, подходящие разве что для драмы из жизни вампиров, наполняют сейчас вестибюль Дворца Республики – этой лавки ламп, которая сегодня на иллюминацию не скупится, – уже превратился в корабельного древоточца, главный пропагандист заставил его изогнуться в гримасе ненависти и муки, и теперь можно видеть, как он ввинчивается в каюту "Почтового ящика желаний", где Ута Шорн и Герд Э. Шэфер*[4]*, болтая за чашечкой кофе, обмениваются анекдотиками; но здесь он надолго не задерживается – как, впрочем, и у веселых "Парней в синем" из "Klock acht"*[5]*, поющих шанти под аккомпанемент судового рояля, и в "Klönsnack"*[6]*, и в "Godewind"*[7]*; он пересекает зал, где разыгрывается "Ледовое шоу Кати"*[8]*, после чего исчезает в недрах буко-буквенного министерства, которое обосновалось в Центре Вернике*[9]*, в акустико-речевом секторе, – и начинает вбуравливаться в трухлявую массу старых документов, вахтенных журналов. "Самбу танцуй со мной всю ночь! Самба заботы прогонит прочь", – доносится с Александерплац*[10]*, и гости на государственном приеме теперь переходят к кулинарным удовольствиям: окорокам свинок из Виперсдорфа*[11]*, выкормленных под тамошними оливковыми дубами, жаркому из дичи, куски которого красиво уложены между декоративно скрещенными охотничьими двустволками, позаимствованными из Музея огнестрельного оружия в Зуле, в дула двустволок вставлены пучки петрушки, и к этому подаются: коньяк марки "Гурман", лимонад для советской братской делегации, мейсенское вино, ананасы, а также все прочее, что советует попробовать телезрителям повар из кулинарной передачи*

– Правда! Правда! – чирикнула птичка Миноль-Пироль. – Правда печатается там, в партийных газетах, в ЦЕНТРАЛЬНОМ ОРГАНЕ и в окружной прессе, вот видишь проводочки, тонкие как паутинка: дотронься до них, и зазвонит телефон, и отзовется какой-нибудь редактор, дрожащим голосом, потому что ты застукаешь его в час выпивки, которая происходит еженедельно по четвергам после засе-

1. Скат – популярнейшая карточная нгра в Германни; была изобретена в городе Альтенбурге иедалеко от Лейпцнга.
2. Открытый "гранд" (*франц.*): варнант партии в скат, когда играют с открытыми картамн, а козырямн являются валеты.
3. Карл-Эдуард фон Шницлер (1918–2001) – самый влнятельный комментатор на телевндении ГДР, ведущий передачи "Черный канал" (1969–1988), которая показывала и подвергала тендеициозиой критике отрывки из западногерманскнх телепередач и которую обязательно должны были смотреть старшеклассинки и солдаты.
4. Ута Шорн (р. 1947) – немецкая кнноактрнса; с 1975 по 1990 гг. совместно с кнноактером Гердом Эгннхардом Шэфером (1923–2001) вела на телевидении ГДР развлекательную передачу "Почтовый ящик желаиий", где по заявкам телезрителей показывались отрывки из разных концертов н других передач.
5. "Восемь часов" (*искаж. англ., нем.*) – популяриая в ГДР телепередача из Ростока, синмавшаяся в кафе: там исполнялись *шанти* – песни моряков и портовых рабочих.
6. Популярная в ГДР музыкально-развлекательная передача из Ростока, на местном диалекте.
7. "Попутиого ветра!" (*нем. диалект*) Возможио, имеется в виду музыкальиая группа из Шлезвнг-Гольштейна, основанная в 1979 г., которая нсполняла песни моряков н в 1989 г. совершила миогоиедельное турне по ГДР.
8. Имеется в виду Катарина Внтт (р. 1965) – популярнейшая фигурнстка ГДР, четырежды чемпнонка мнра, дважды победительница Олимпийских игр; журнал "Тайм" назвал ее в 1988 г. "самым красивым лицом социалнзма".
9. Цеитр Вериике – участок коры головного мозга, обеспечивающий возможиость восприятня н аналнза устной речи (а следовательно, и пнсьменного слова, и вообще возможность мышления).
10. Александерплац – площадь в центре Восточного Берлнна.
11. Замок Виперсдорф (земля Брандеибург), когда-то прииадлежавший Людвигу Ахиму и Беттине фон Арннм, во времена ГДР стал домом творчества и санаторием для писателей и художннков.

дания политбюро (по вторникам) и после совещания секретариата ЦК (по средам), так соединяйтесь же, главреды всех газет Медного острова, в чаще Медного леса, сиречь массовых организаций, соединяйтесь в кабинете у руководителя пресс-службы правительства, подключайте к этой машине, к этому аппарату и прочих функционеров: пуансон-речь раскатывает язык=lingua! автоматические руки в белых перчатках дергают за него, речевой пуансон работает, потом – пробный пуск! – что-то с дребезжанием падает на пол: шкурки слов, жестяные заголовки, извиваются бумажные змеи: ТОВАРИЩ, ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ОБЪЕКТИВНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТИЙНОСТЬ! БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМ – ЗНАЧИТ СТОЯТЬ ЗА ИСТОРИЧЕСКУЮ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ, ЗА РЕВОЛЮЦИЮ, ЗА СОЦИАЛИЗМ! На речевом пуансоне имеется ярко-красная кнопка: ленинская кнопка, сейчас на нее нажмут: ПРАВДИВАЯ ПРЕССА[1] – НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПРОПАГАНДИСТ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ АГИТАТОР, НО ТАКЖЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР! –

(Конферансье) “Балет Государственной оперы танцует полонез из ‘Лебединого озера’ Чайковского. Для тех наших телезрителей, которые смотрят передачу в черно-белом режиме, я расскажу о красивых балетных пачках товарищей танцовщиц...”

Поцелуйчик здесь, поцелуйчик там, снаружи горстка демонстрантов, но все танцуют и поют, это улучшает настроение, а начальник спецназовского штаба, расположившегося в Доме учителя, пока не решился устроить большую очистительную акцию на Алексе[2]...

(Конферансье) “А теперь послушайте хор ‘Проснись’ из ‘Нюрнбергских мейстерзингеров’ Вагнера!”
(Генеральный секретарь) “Сегодня Германская Демократическая Республика — аванпост мира и социализма в Европе!”
(Горбачев) “Того, кто опаздывает...”[3]
(Народ, хором) “Свободу!”
(Министр полиции) “Сейчас бы самое милое дело — устроить хорошую взбучку этим мерзавцам, чтобы таким ни одна куртка не была к лицу... Меня не надо учить, как обращаться с классовым врагом!”
(Народ, хором) “Свободу!”
(Министр госбезопасности) “Что же, когда он, то есть товарищ Горбачев, отправится восвояси, я сразу отдам приказ о начале операции, и с гуманизмом будет покончено!”

Пористые зоны: мозг отключает бодрствующие участки, и становятся видимыми альфа-волны сна. Но этот придаток – орган-щит, панель управления об-

1. У В. И. Леиина в статье “С чего начать” (1901) сказано: “Газета – не только...” (дальше как здесь).
2. Так берлнны иазывают Александерплац, где в то самое время, когда во Дворце Республики проходил прнем, иа котором прнсутствовалн, среди прочнх гостей, Ясир Арафат, Михаил Горбачев и Ннколае Чаушеску, собралось около 3000 берлницев. Именно нз-за этнх ностраниых гостей мннистр госбезопасности Эрих Мильке (1907–2000) не решился разогнать демонстрантов, которые крнчали: “Лгуны! Лгуны!”, “Свободу прессе!”, “Горби, помоги нам!” н др.
3. “Того, кто опаздывает, наказывает жнзнь” – слова нз выступлеиия М. С. Горбачева на государственном приеме во Дворце Республнкн в Берлине 7 октября 1989 г.

меном веществ – не спит никогда, этот серый дворец из бетона, с частично зеркальными, частично замазанными краской окнами, под которыми слизистым, враждебно-заразным молочным потоком движется лимфа...

...но потом вдруг...
часы пробили –

Гудрун сказала: “Мы все выходим из своих ролей”. Никлас сказал: “В Опере дают ‘Фиделио’[1], и когда начинает петь хор арестантов, весь зал поднимается и поет вместе с ними”. Барбара сказала: “А Барсано сидит в королевской ложе, мысли его витают где-то далеко, и он не поет”. Анна, чье лицо еще разбито, а запястья распухли от ударов дубинкой, взяла свечу. Рихард и Роберт, отложивший свой отпуск на последние дни перед дембелем, проверили, высохли ли надписи “Никакого насилия!” на бумажных шарфах, которые они оба повесили себе через плечо. Все вышли на улицу.

По пути им попадалось много людей. На всех лицах заметны были страх, оставшийся от последних дней, печаль и беспокойство, но также и нечто новое: излучаемое ими сияние. Это, видел Рихард, уже не подавленные, понурые люди, как во все прошлые годы, не те прохожие, что спешили по своим делам, обменивались приветствиями, сдержанно кивали, но старались не смотреть долго друг другу в глаза, – теперь они подняли головы, дышат хоть и стесненно еще, но с гордостью, потому что такое стало возможным, это Напрямик: что вот они идут, распрямившись, и тем самым заявляют о себе, о том, кто они, чего хотят и чего не хотят, что идут все более уверенно, чувствуют такую же элементарную радость, какая свойственна детям, впервые встающим на ноги, чтобы научиться ходить. Шведес и Орре шагали под руку, среди других обитателей “Дома глициний”; из дома “Уленбург”[2], соседнего с “Каравеллой”, вышло в полном составе многодетное семейство торговца углем Хаушильда (“От мала до велика, как органные трубы”, – сказала Барбара) и, кажется, разом зажгло все свои припасенные на зиму свечи; господин Гризель, сопровождаемый женой и письмоносцем Глодде, который только что вернулся с работы, замыкал эту детскую процессию; в мастерской у столяра Рабе пилы умолкли, мастер отер руки тряпкой, свистнул ученикам и тоже извлек из кармана вельветовых брюк огарок свечи.

На мгновенье все замерли в нерешительности – спуститься ли по Ульменляйте, к церкви, или сперва завернуть на Рисcляйте, к булочной Вальтера? Очередь перед булочной при их приближении поредела, распалась на группки; из дверей выглянули, смущенно комкая фартуки, продавщицы; “Булочек захватите!” – крикнул кто-то; взмахи рук, крики: “Присоединяйтесь, мы нуждаемся в каждом мужике!” А зубная врачиха Кнабе, подтолкнув вперед своего запуганного супруга, добавила: “Правильно – и в каждой бабе!” Ульрих сорвал с себя и бросил на землю партийный значок. Барбара договорилась с Лайошем Винером о переносе на другой день своего визита к не-

1. “Фиделио” (1805) – опера Людвига ван Бетховена, действие которой разворачивается в тюрьме.
2. Дом назван в честь Уленбурга – замка в стиле “везерского Ренессанса”; сейчас он является частью города Лёне (земля Северный Рейн – Вестфалия).

му — пока он писал на двери парикмахерской: "Закрыто по причине революции". Госпожа фон Штерн, повесившая через плечо жестяную коробку для завтраков, бодро стучала об землю узловатой палкой: "Это на случай, если кто-то нарушит должную дистанцию. Невероятно, что мне-таки довелось увидеть такое — после событий октября семнадцатого!" Рихарду же этот день, этот октябрьский день 1989 года, вдруг показался серьезным и простым, исполненным энергии; на небе за деревьями проступили едва заметные, не толще волоска, трещинки; Рихард видел выбоины, беспомощно заделанные асфальтовыми кляксами, — халтурно заштопанную кожистую оболочку старых улиц, которая, как у змей при линьке, похоже, вот-вот должна была лопнуть; и хотя уже сгущались сумерки, через все эти трещины веяло дурманящей свежестью, какую он чувствовал молодым человеком, когда затевалось очередное приключение, одна из тех внезапно вспыхивающих грандиозных авантюр, которые нарушают норму, но награждают Я золотым нимбом, сотканным из счастья и боевой песни. "Ханс", — сказал он своему брату, вынырнувшему из-за угла Волчьего спуска; "Рихард", — сказал токсиколог, вот и все, но то были первые слова, которыми они обменялись за долгое время. Ирис и Мюриэль[1] отказались взять свечи, предложенные им пастором Магенштоком; воздержался от этого и Фабиан, теперь — уже молодой человек, с немножко смешными гайдуцкими усиками; все трое не несли ни свечей, ни плакатов с изображением Горбачева, в отличие от столь многих: они не хотели никакого улучшенного социализма, они вообще не хотели социализма и для поддержания своих надежд не нуждались ни в проповедях, ни в световых цепочках. Рихард не мог не признать, что и Хонихи, на свой лад, проявили мужество: они развернули гэдээровское знамя, высмеиваемое и презираемое (притом во многих местах города, как знал Рихард, уже обезоруженное тем, что из него вырезали кругообразный кусок); как бы то ни было, Хонихи присоединились к шествию, и их никто не прогнал, на них просто не обращали внимания.

Проходя по улицам, люди звонили в дома. Не все хозяева открывали, иногда гардина приподнималась и вновь опускалась, иногда собака начинала бросаться на дверь с той стороны и долго не могла успокоиться, а вот у продавца граммофонных пластинок Трюпеля очень кстати оказалась умело сломанная нога с неумело наложенным гипсом: он проковылял на костылях мимо них, сожалея, очень сожалея, что так получилось... Лавка проката одежды Маливора Маррокина по-прежнему оставалась закрытой, без всяких объяснительных записок; так что седовласому чилийцу, хозяину лавки и по совместительству фотографу, так и не довелось заснять ни одного из демонстрантов, чувствовавших себя все увереннее.

...но потом вдруг...
часы пробили:

и вот уже Медный остров опрокидывается под тяжестью народа, столпившегося по его правому борту; красно-бело-клетчатые клеенки, закручиваясь, соскальзывают вниз – туда, где пена и море взбалтываются в одной гигантской воронке; угольные брикеты от избытка воды крошатся и размокают...

1. Ирис — жена Ханса Хофмана, брата Рихарда. Мюриэль и Фабиан — их дети.

(Конферансье, предлагая ордена из обувной коробки) “Берите! Ордена! За победу в социалистическом соревновании! Берите же! Тут всего полно! Даром!”

великаны на высотном доме Кроха в Лейпциге гулко ударили своими молотками по колоколу, Филипп Лондонер сидит один в затемненной комнате, рабочие бумагопрядильной фабрики выключают машины и присоединяются к демонстрантам, около ста тысяч человек собралось в этот понедельник[1], *они маршируют к центру города, к увитому розами зданию университета, к концертному залу “Гевандхаус”, сверкающему, словно кристалл, на фоне сумеречного неба: народ, который пробует голос, который не позволит больше водить себя за нос, которому до тошноты надоели ложь и решетки...*

(Эшшлорак) “Крот, слепой в темной утробе земли, утром ли, вечером ли, ночью ль — для него нет времени; он, конечно, боялся: но *без времени.* Судно с безумным капитаном и безумной командой, наполненное шумом и яростью, странствующее между Вчера Сегодня Завтра... Плаванье, привязанное к Большому Колесу, которое постоянно крутится в тумане, и мы, здешние короли, — мы все находимся на одной лопасти-скрижали, на ней же кровью предначертаны возвышения и падения империй, вечное возвращение одного и того же, на краткое мгновение, — догадка о солнечном луче, и любящие, обнявшиеся перед плахой, уготованной им *дивным новым миром*, в котором чистота понимается как извращенная красота и одна черная утроба порождает другую черную утробу” —

“Мы народ”[2]

(Эшшлорак) “Крот видит кротовьи сны о солнечном свете и свободном небе, а сам все копает и копает во тьме, причем не сны задают ему направление, а только копание как таковое и то, что он чует носом; и вот он видит во сне, будто он есть венец творения, будто небо земля звезды созданы только ради него, будто крот — это центр мира, как и весь его прокладывающий штольни род, коему кротовий бог обещал бессмертие, — но тут внезапное сомнение, некий голос: Крот это только крот и ничего больше, а кротовьего бога он сам и сотворил как свое зеркало, из эха и безумия сам и сотворил свой теневой образ” —

“Мы — народ”

(Эшшлорак) “И как река не может потечь вверх, так и крот навсегда останется кротом, никогда не покинет он своего туннеля тьмы, никогда не узрит солнечного света: таков уж его кротовий жребий, Вселенную все это не заботит, и как бы он ни мучился, ни боролся, как бы ни раз-

1. “Понедельничные де́монстрации” в Лейпциге начались 25 сентября, люди встречались после работы, в 17 часов, и шли на богослужение в Николаи-Кирхе (позже — и в другие церкви города, которые все стояли открытыми). В первый понедельник собралось около 10000 человек, в третий и четвертый (последний) — около 100000. Люди ставили зажженные свечи на тротуарах возле здания госбезопасности и возле ратуши.
2. Один из лозунгов участников демонстраций в октябре—ноябре 1989 г. Лозунг впервые появился в Лейпциге 9 октября, в ответ на многократные публикации в городской прессе, характеризовавшие демонстрантов как хулиганов.

мышлял и как бы глубоко ни чувствовал, это ничего не изменит: он так и будет существовать без времени" —

"Мы — один народ"[1]

...но потом вдруг...
часы пробили

Социалистический Союз, кремлевские часы останавливаются с шорохом сломавшейся пружины; красная звезда над Москвой, все еще посылающая радиосигналы через море – своим вассальным островам, постам на мостах между Бухарестом и Прагой и Варшавой и Берлином...

(Питтиплатч[2]) "Ах ты моя носатенькая"
(Крякотушечка) "Кряк-кряк-кряк"

жидкостно-внезапно застопоривается совсем особый сок[3]*, в результате инсульта гаснут ленинские огни, медная пластина теперь торчит из моря подобно ледяной глыбе, "Я кругл, я крутильщик циферблатного круга, каждый час все ставлю вверх дном, в этом цель моя и заслуга"; óрган-щит, где папоротник ползет и в конце любой монолит разобьет, в том числе и бетон норманнских жилых построек, где по комнатам со стандартными цветочными обоями, фанерной мебелью, стандартными пепельницами, стандартными канцелярскими письменными столами теперь разгуливает свежий воздух вкупе с ломающим все стандарты народом; бумага взвихривается вверх, бумаги, старые акты, имеющие уставный характер, буря бумажных листов, листы неистовствуют в световых дворах, слетая вниз с галерей, уставленных лиственными растениями и пластмассовыми лейками, которые ad libitum*[4] *могут быть оборудованы оптическими приборами для визуального наблюдения и нацелены на кладбища Республики; в подвалах измельчительные машины пожирают бумагу, засасывают напечатанные на пишущих машинках тексты в свои прожорливые пасти, пока у них еще есть на это силы; гражданским комитетам пока хватает других забот – не позволять, чтобы их удивление и отвращение были неправильно истолкованы как слабости; вскрывается некая опечатанная комната, представляющая собой, как оказалось, картотеку запахов: у тысяч "неблагонадежных" граждан тряпочкой незаметно снимали пробу подмышечного пота, запечатывали тряпочку в целлофан, снабжали биркой с персональными данными и сохраняли на будущее, для собак*[5]*; бумага хрустит на полу, из-за обилия мелких бумажных обрывков в таких помещениях трудно дышать, выбитые из бумаги кружочки, кучи белого конфетти возле чугунных*

1. Этот лозунг сторонников объединения Восточной и Западной Германии впервые прозвучал на демонстрациях 9 октября в Лейпциге и 16 октября в Йене, но был тогда поддержан немногими. Массовый характер он приобрел уже после падения Стены, после того, как 11 ноября был напечатан в западногерманской газете "Бильд".
2. Питтиплатч (мальчик-кобольд) и Крякотушечка (утка) — куклы, герои многочисленных детских передач гэдээровского телевидения, напоминающих наши "Спокойной ночи, малыши" и "В гостях у сказки". Передачи показывались с 1959 по 1993 гг.
3. "Кровь, надо знать, совсем особый сок" — слова Мефистофеля в первой части "Фауста" И. В. Гёте. Перевод Б. Пастернака.
4. По желанию (*лат.*).
5. В экспозиции лейпцигского музея "Рунден Экке" теперь выставлены образцы таких "консервированных запахов", большое хранилище которых было обнаружено в городе в 1989 г. в бывшем здании штази. Карточки такого рода в 80-е гг. были заведены практически на каждого диссидента ГДР.

дыроколов, раскрошенная бумага разбухает; непереваренной кашей выползает она из кишок канцелярий, бумага, бумага –

И вот в одно ноябрьское утро Кристиан и Жиряк стоят перед казармой; постовые на КПП смотрят им вслед отчасти с завистью, а отчасти — уже вновь обратившись мыслями к своим делам; знамена вдоль казарменной улицы плещутся на безрадостном ветру, пока все те же: красное, и черно-красно-золотое с молотком и циркулем в венке из колосьев, и голубое — Союза свободной немецкой молодежи; прибыли новые призывники, неуверенные и с поникшими головами: потому что они *здесь*, потому что *сейчас*, потому что *при том, что происходит вокруг*, не имеют больше свободы и вынуждены носить ненавистную форму Национальной народной армии; Жиряк — в потертой кожаной куртке, вокруг шеи повязан собственноручно изготовленный из простыни резервистский платок с запретным черно-красно-золотым орлом, как полагается, при собачьей метке, нашивке, резервистской плакетке, с зеленым танком и нанесенными шариковой ручкой подписями товарищей между вывязанными на плечах римскими цифрами, обозначающими годы службы, — поворачивается к Кристиану, который носит такое же одеяние (как он мечтал об этом дне, год за годом, с тех пор как появился хит Нены[1] "99 воздушных шариков", традиционно воспаряющий в небо над каждым полком, когда до дембеля остается ровно столько дней!), но кажется себе в нем смехотворным, даже анахроничным (можно подумать, будто кто-то еще ими интересуется, будто кто-то в самом деле их ждет: этих молодых мужчин, которые сегодня вернутся с воинской службы, размахивая, словно трофеями, подаренными им коричневыми спортивными костюмами, — они начнут буянить и напиваться по вокзалам и пивным, но будут становиться все тише по мере своего рассредоточения, по мере приближения к тем различным местам, где они живут, где у людей совсем другие заботы, и перед их историями, отныне обреченными на замалчивание в ядре из взрывоопасной немоты, просто задвинут засов, сказав: "Ну, вот ты и пришел"); Жиряк, значит, поворачивается к нему и большим пальцем показывает на своих приятелей, которые только что выскочили на мотоциклах из-за угла и резко добавили газу или нажали рычаг сцепления, так что их машины подпрыгнули; Жиряк говорит:
— Ну, бывай.
— Бывай, — говорит Кристиан.

– Ищущий: Чистота,
писал Мено,
исписанная и белая, с напечатанными на ней фотографиями, с помощью тонких и грубых насечек превращаемая в газету, подкрепляющая, успокаивающая, утверждающая, прочитываемая между строк, ликующая, осмотрительная, затененная, непроницаемая, должностная, опровергающая Бумага; бумага для ИСТИНЫ, печатного зеркала, для НОЙЕС ДОЙЧЛАНД, ЮНГЕ ВЕЛЬТ, ПРАВДЫ, газет, обрывки которых смывают в воду; в водоворотах крутятся:

1. Нена (наст. имя — Габриэла Сюзанна Кернер) — популярная западногерманская рок-певица. Сингл "99 воздушных шариков" был записан в 1983 г.

сигареты, комки промасленной и бутербродной бумаги; билеты на матчи – ЦСКА Москва Спарта Прага Динамо Дрезден Локомотив Лейпциг ГФК Хеми[1], *– билеты на мотоциклетные гонки-спидвей, билеты в плавательные бассейны, квитанции смешиваются с изоляционной бумагой; объявления, указы, книги, блокноты попадают на пропеллеры турбины, в которой они перемалываются и превращаются в вату; клочья бумаги свисают, словно мох, с лопастей пропеллеров; бумажные сосульки, бумажная слизь, волокнистая слякоть наматываются на бобины, образуя гигантские нити, и нити эти нарезаются ножами-"лирами", находящимися, словно инструмент косарей, в постоянном движении: специальные автоматы-"косари" иссекают бумажный рулет, как металлический повар – скользящую мимо него лапшовую ленту; газетные обрывки, смытые в воду, а там на берегу – черпаки многоковшовых цепных экскаваторов, протекающие фланцевые трубы над каким-нибудь огородом, который в результате удобряется мелко порубленной бумагой; и еще – капель в архивах, погружающихся под воздействием бумажного груза в состояние безропотной затхлости: само давление прессует скоросшиватели, осуществляет "отжим"*[2] *формуляров, заставляет документы отсыревать, организовывать влажные бракосочетания между печатной типографской краской и древесной массой и кислотами; лопасти винта нависают надо всем этим; капли здесь образуются так же естественно, как бисеринки пота, выступающие на лбу у двух мужчин, которые меряются силой рук; капли эти разбухают, влажные слои сводчато выгибаются один над другим, пока не достигнут незримой отметки, и тогда внезапно вниз начинает литься тонкая струйка, две капли сталкиваются с таким звуком, какой производит экспандер, когда человеческие руки оказываются для него слишком слабыми, из одной струйки получаются две, и вот уже гнойно-белые ручейки ищут для себя путь к трубным отверстиям, которые указывают на наличие входа в трубу, а вход, в свою очередь, указывает на наличие выхода, так все и передается "из уст в уста", а в конечном счете на выходе самой последней сточной трубы сочится сок печатного слова: жидкость не менее драгоценная, чем кровь и сперма, – продукт секреции архивных бумаг –*

...но потом вдруг...

часы пробили, пробили 9 ноября, "Германия единое отечество"[3], пробили у Бранденбургских ворот:

1. ГФК Хеми – футбольный клуб Хеми ("Химия") из города Галле.
2. "Отжим" (*Gautschen*) – восходящий к XVI в. обычай немецких производителей бумаги: молодого человека, закончившего курс обучения и сдавшего экзамен, собратья по цеху окунают в бочку с водой или сажают на мокрую губку, после чего он получает шуточный диплом.
3. "Германия единое отечество" – строка из государственного гимна ГДР ("Возрожденная из руин"), написанного в 1949 г. композитором Хансом Эйслером на слова Иоганнеса Бехера. После 1972 г., когда ГДР официально отказалась от идеи объединения Германии, гимн больше не пели, он звучал только в инструментальном исполнении. Эта строка из гимна, взятая в кавычки, впервые появилась на щите у одного из лейпцигских демонстрантов 30 октября 1989 г. Массовым лозунгом она стала уже после падения Стены – на понедельничной демонстрации 13 ноября 1989 г.

Хайнер Мюллер



Стихи из разных книг

Перевод Алексея Прокопьева

Лес сновидений

Сквозь лес иду Мне снилось Оробев
От ужасов По алфавиту в нём
Стояли звери Не понять и днём
С глазницами пустыми Меж дерев
Мороз Окаменели Елей ряд
Откуда по снегу ко мне звеня
Мне снилось вижу я что вижу я
В доспехах мальчик И лучи горят
На кончике копья И солнце пьёт
Во мраке елей Он сейчас зайдёт
Последний отблеск золотого дня
За сновиденья лес Смерти кивнёт
Удар-укол: и – между – в миг огня
Я мальчик тот взглянувший на меня.

***

в зеркале моё разрезанное тело
вскрытое посерёдке — на операции
спасшей мою жизнь к чему
для жены для ребёнка для позднего творчества
жить учиться полуавтоматом
дышать вкушать запретный вопрос к чему
слишком легко слетает с губ смерть
это просто умереть это может каждый дурак

28.10.1994

***

диалог
что тебе нужно от меня идиота поглядывающего
на тебя издали
дурак что знаешь ты о любви

Взгляд извне: прощание с Берлином

Лист пуст по комнате вперед-назад
Драму в себе не публике повем
Глух победитель побеждённый нем
На чуждый город бросишь чуждый взгляд
Сер облаков жёлт цвет ты посмотри
Чем серо-белым на Берлин срут сизари

14.12.1994

***

Словно некую тень Бог
человека создал кто же
будет его направлять когда солнце
зашло.
художник живёт в своей тени, ни в каком
солнце не нуждающейся.

Смерть в театре

Театр уж пуст. По правилам искусства
На сцене умирающий актёр.
Кинжал в спине. И страсть — умолкший хор,
Но соло напоследок просит чувства,

Аплодисментов. Пусто всё. А в ложе,
Пустой уж тоже, платье. Не молчит.
Шёлк шепчет то, о чём актёр кричит.
Шёлк всё красней становится, о Боже,
А тот актёр, что был на сцене там,
Бледнея, исчезает. В свете люстры
Шёлк словно пьёт всю кровь его так шустро,
Что он теперь лишь на себя похож. И
Ни радости, ни страха, кровь же в пятна
Ушла (пусть в красочные!) безвозвратно.

9.12.1994

***

DAY AFTER DAY
THEY SEND MY FRIENDS AWAY
TO MANSIONS COLD AND GREY
TO THE FAR SIDE OF TOWN
WHERE THE THIN MEN STALK THE STREETS
WHILE THE SANE STAY UNDERGROUND[1]

Может быть, я всё переживу
Что я любил и что не любил
Женщин друзей мысли

DAY AFTER DAY
THEY TAKE SOME BRAIN AWAY
THEY TURN MY FACE AROUND
TO THE FARE SIDE OF TOWN
AND TELL ME THAT IT'S REAL
THEN ASK ME HOW I FEEL

Или сгину, скажем
В горящем самолёте
От удара ножа в Сохо[2]
На больничной койке, от равнодушия
Потому что пережил своих любимых
Свою ненависть и презрение

Старый человек в опустевшей стране

1. Здесь и далее по-английски – фрагменты композиции "All the Madmen" Дэвида Боуи. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Аллюзия на "Трехгрошевую оперу" Б. Брехта.

***

В настоящем мужчине
прячется ребёнок
он хочет умереть

***

...И иди дальше в ту местность,
у которой нет другой задачи, кроме
как ждать, когда человек
исчезнет...
Художник фиксирует момент перед исчезновением,
ту студёную секунду, когда тело
сворачивается в оттенок цвета, он видит последний вздох,
задушенный слоем краски, как забвением.
Художник рисует забвение. Картина забывает
о том, что на ней. Художник — Харон. С
каждым ударом кисти/весла пассажир
становится всё туманней. Поездка — самоцель,
смерть — умирание. На другом берегу
из лодки никто не выйдет.

***

МЕЖДУ БИТВАМИ С САМИМ СОБОЙ
Каковыми битвами являются мои работы
(Меняются вооружение и тактика
Один из нас всегда выигрывает, чаще всего
Это *другой*)
Пролегает мёртвое время, размеченное вот чем:
Кормежкой сексом наркотиками болтовней — жизнью.
Она слишком длинная, раны
Затягиваются слишком быстро.

Вампир

Маски потрёпаны fin de partie
Рабочий Убийца Крестьянин Солдат
из заёмных ртов не проникает ни звука
В пыль рассыпалась власть о которую бился мой стих
как прибой многоцветно и радужно
последний крик умер в зубной ограде
WILLKOMMEN IN WORKUTA KOM(M)MISSAR
вместо стен вокруг меня зеркала
ищу своё лицо глазами но пусто стекло

1995

Конец рукописной эпохи

В последнее время когда я хочу что-нибудь записать
предложение стихотворение какую-нибудь умную мысль
моя рука противится необходимости
которой голова хочет ее подчинить
почерк испортился ничего не понять Только пишущая
машинка
еще порой вытаскивает меня из пропасти из молчания
главного протагониста моего будущего

1995

***

в башке миры галактики и царства
остаток в капельнице мутен и поган
и рак бежит от химии лекарства
в песчинке заключённый ураган

к тихому буйству из кишок лечимый
яд апельсинных рощ в цвету и здесь
бессонный день и ночь неотличимы
смерть-родина божественная смесь

декабрь 1995

***

Перед моей машинкой вдруг твой глаз
Лицо твоё Ты явишься и спросишь
Как мир жесток Как ты его выносишь
Как сделать чтоб он навсегда погас
Перед машинкой натруждаю горб мой
Уж полночь близится и рядом тут
Спит наша дочь Ей нужен ли мой труд
Иль смерти я ее работник скорбный
Твой глаз Я вижу в нём что говорю
Что жизнь моя имеет смысл поди ж
В мире не нами населённом лишь
И дочь – не ты – глядит... не на меня бы...
Надолго ль мир её ты пощадишь
коль я как баба стал с тобою бабой

Инго Шульце



Новые жизни

Фрагменты романа

Перевод и вступление Святослава Городецкого

В особом представлении Инго Шульце не нуждается. Тот, кто интересуется современной литературой, и так знает, что это уникальный пример немецкого автора, который написал свою первую книгу в России и о России[1].

Его пространный эпистолярный роман "Новые жизни" на первый взгляд имеет ту же структуру, что и предыдущая книга — "Simple storys"[2]: это собрание небольших историй (в данном случае писем), объединенных общим сюжетом. Однако при дальнейшем знакомстве становится ясно, что перед нами, скорее, "complex story"[3]. Не только потому, что в книге переплетаются по меньшей мере четыре повествовательных плана и написана она совсем другим, более изысканным языком, но и потому, что ее главный герой — двадцативосьмилетний Энрико (Хайнрих, Генрих) Тюрмер[4], письма которого мы читаем, — страдает комплексом писателя-неудачника. Еще мальчиком он вдохновляется примером выдворенного из ГДР Вольфа Бирмана и мечтает отправиться по проторенной диссидентской дорожке: снискать славу непокорного борца за справедливость и издаваться миллионными тиражами на Западе.

Когда в восемьдесят девятом году политические страсти накаляются, Тюрмер участвует в демонстрациях и выступает с пламенными речами на народных

1. "Тридцать три мгиовеиья счастья". Перевод А. Г. Березииой. – СПб.: Издательство имеии Н. И. Новикова, 2000.
2. Простые истории / Перевод Т. А. Баскаковой. – М.: Ad Marginem, 2003.
3. "Сложиая история" (*англ.*).
4. В фамилии героя обыгрываются два зиачеиия глагола "türmen": "громоздить" и "спасаться бегством". Кроме того, в ией скрыта любопытиая параллель с ромаиом Уве Телькампа "Башня". Телькамп тоже иазывает одиажды своих героев "Türmer", т. е. живущими в башие ("Turm") сторожами/звоиарями.

собраниях. Он чувствует себя как рыба в воде, ведь к этой роли он готовился со школьной скамьи. Однако объединение Германии, за которое Тюрмер так активно ратовал, становится для него тяжелейшим ударом. Внутренний мир приходит в столкновение с внешним и рушится с той же быстротой, что и Стена (хотя остатки сохраняются в обоих случаях).

Подобным духом двойственности, духом метаний проникнут весь роман "Новые жизни". Тем более, что нельзя объективно установить, где в нем правда, а где — вымысел, поскольку нам представлены только две позиции: Тюрмера, который, очевидно, любит приврать, и некоего фиктивного издателя, выступающего под именем Инго Шульце и снабдившего роман предисловием и сносками. Реальный же автор в своей лекции по поэтике написал о "Новых жизнях": "В этой книге нет ни одной точки опоры, ни одного места, где скрывалась бы истина, отличающаяся от других, ложных высказываний"[1].

Тюрмер пишет много и пишет часто — с шестого января по одиннадцатое июля 1990 года он успевает написать более шестисот страниц. Предлагаемые читателям "ИЛ" письма взяты выборочно из начала романа. Обращается Тюрмер, как правило, к двум адресатам: Николетте Хансен, которой рассказывает о прошлом, и Йоханну Цильке, которому живописует настоящее. К тому же иногда он пишет своей горячо любимой сестре Вере, которую на русский манер называет Верочкой.

В этой небольшой подборке, кроме главного героя, появляется и главный антигерой книги — Клеменс фон Барриста, которому Тюрмер "едва ли не по-собачьи предан" и который в итоге разрушает всю его прежнюю жизнь. Барриста, как можно заключить из его имени, выступает в роли адвоката, причем адвоката дьявола — отсылки к "Фаусту" более чем прозрачны. Он увлекает Тюрмера в погоню за наживой, за наличными ("Bar"), и окончательно отбивает у того желание стать писателем.

Помимо "Фауста" следовало бы вспомнить и "Житейские воззрения кота Мурра" — Шульце признается, что книга Гофмана стала главным источником вдохновения при создании романа. Достаточно сказать, что макулатурным листам из романа Гофмана в "Новых жизнях" соответствуют рассказы горе-писателя, случайно сохранившиеся (или намеренно им оставленные) на оборотных сторонах его писем к Николетте Хансен[2].

Еще нельзя не сказать, что биографии главного героя и самого Шульце во многом схожи (юность в Дрездене, армия, карьера завлита в альтенбургском театре, участие в основании "независимой" газеты "Альтенбургская неделя"), что, разумеется, придает книге особую глубину. Ведь когда-то, после событий девяностого года, Шульце уезжал в Россию именно потому, что был переполнен грузом переживаний и хотел попробовать стать писателем вдали от родины. И у него, в отличие от Тюрмера, это получилось. Когда же вышли в свет "Новые жизни", стало ясно, что Шульце наконец-то удалось раскрыть свое дарование в полной мере.

После "Новых жизней" Шульце написал еще сборник рассказов "Мобильник" (2007) и роман "Адам и Эвелин" (2008), который вошел в шорт-лист Немецкой книжной премии, — но все же на встрече с русскими читателями, в феврале этого года, именно "Новые жизни" он назвал той книгой, которую в первую очередь посоветовал бы прочесть человеку, незнакомому с его творчеством.

1. Ingo Schulze. Tausend Geschichten sind nicht genug. — Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2008. S. 48.

2. По стилю повествования некоторые из этих рассказов напоминают "Simple storys", а некоторые больше похожи на основную часть романа. Но все они, так или иначе, становятся — порой весьма своеобразной — художественной иллюстрацией к происходящему в письмах. В новелле "Титус Хольм" прослеживаются темы, общие для Шульце и Телькампа.

Предисловие

В поисках сюжета для нового романа семь лет назад я начал собирать материалы о немецких предпринимателях. Хайнрих Тюрмер привлек мое внимание тем, что, работая в газете, за несколько лет основал небольшую империю и подчинил своему влиянию целый регион на границе Тюрингии и Саксонии. Конец широкомасштабного начинания Тюрмера был столь же внезапным, сколь и запоминающимся. Тысяча девятьсот девяносто восьмой год верующие и налогоплательщики встретили, стоя перед открытыми дверями и пустыми кассами. Тюрмер спасся от уголовного преследования бегством. За его спекуляции расплачивались другие, последствия ощутимы в регионе до сих пор.

Во время своих исследований я столкнулся со множеством удивительных и необычных деталей. Но одно незначительное обстоятельство привело меня к совершенно неожиданному открытию.

Изначально Тюрмера звали Энрико, и лишь во второй половине 1990 года он германизировал свое имя, превратившись в Хайнриха. Рожденного и выросшего в Дрездене Энрико Тюрмера я знал: как брата Веры Тюрмер — подруги, которую я потерял из виду после того, как она уехала на Запад, — и как ученика из параллельного класса. Мне с трудом верилось, что тучный и элегантно одетый коммерсант с газетных фотографий — тот самый неприметный Энрико, с которым я некогда играл в футбол и пел в хоре.

К моему вящему удивлению, введя в поисковике слово “Тюрмер”, я обнаружил роскошно оформленный томик малой прозы (Гёттинген, 1998). Полагаю, что издание не осуществилось бы без финансовой поддержки автора. Немногочисленные отклики были сплошь уничижительными. И поделом. Хотя, если бы не горькое послевкусие от его бегства, Тюрмера следовало бы поощрить за попытку отразить в литературе будни делового человека с их тревогами, нуждами и радостями. В предисловии Тюрмер славит мир труда как “обетованную землю литературы будущего”.

Мои попытки связаться с Хайнрихом Тюрмером через издательство ни к чему не привели. Однако мне ответила Вера Баракат-Тюрмер. Она даже утвердила меня в намерении взять биографию брата за основу романа. Самоотверженно и великодушно Вера Баракат-Тюрмер предоставила мне все записи брата, которые тот еще в 1990 году передал ей на хранение, почему они потом и не были конфискованы. Теперь, надеялся я, мне удастся прояснить дело Тюрмера вплоть до самого начала его предпринимательской деятельности.

В пяти пыльных, забитых до отказа коробках из-под обуви обнаружились дневники, письма, записи и прозаические фрагменты вперемешку с квитанциями, транспортными билетами, магазинными чеками и тому подобным. Впрочем, бо́льшая часть из того, что Тюрмер запечатлел на бумаге в период между 1978-м и 1990-м — будучи школьником в Дрездене, солдатом в Ораниенбурге, студентом в Йене и театральным деятелем в Альтенбурге, — не подходила для моих целей. Подростковый тон был невыносим. Тюрмер, казалось мне, даже письма свои писал с оглядкой на некую воображаемую публику. Примечательно, что у него

всегда оставались копии собственных писем, в то время как чужие письма он хранил крайне редко.

Растущая неприязнь к фигуре Тюрмера уже грозила поставить крест на моем замысле, когда я, наконец, нашел кое-что интересное.

Передо мной лежали письма к Николетте Хансен. Их качество заставляло сомневаться в авторстве Тюрмера, однако напрасно я искал в почерке улики, подтверждающие мои подозрения.

Среди писем к Николетте с переменной частотой появлялись послания к другу юности, Йоханну Цильке, датируемые тем же временем — первой половиной 1990 года. В них, как и в письмах к Николетте, Тюрмеру, похоже, удалось достичь того, к чему он тщетно стремился в своей прозе.

По моей просьбе Вера Баракат-Тюрмер сумела уговорить и Николетту Хансен, и Йоханна Цильке передать мне для ознакомления все оригиналы писем. К тому же Вера Баракат-Тюрмер доверила мне тринадцать писем своего брата, обращенных к ней.

Когда я хронологически упорядочил письма всем трем адресатам (с шестого января по одиннадцатое июля 1990 года) и прочел их, передо мной открылась панорама того времени, когда жизнь Тюрмера — и не только его — находилась на грани перелома.

Я читал о человеке театра, который стал газетным редактором, о писателе-неудачнике, который стал успешным бизнесменом, читал о школьнике, чьи мечты о славе оказались проклятьем, о солдате, который избежал вторжения в Польшу, но не конфликта со своими товарищами, о студенте, который влюбился в актрису, о нерешительности, которая против своей воли становится геройством, читал о демонстрациях и первых шагах на Западе, читал о брате, который не может жить без сестры, читал о болезни и об изгнании беса — одним словом, я читал роман.

И я решил отказаться от собственного романа и целиком посвятить себя изданию этих писем.

Скажу сразу: на поиски издательства и разговоры с заинтересованными лицами ушли годы.

Не всегда было возможно прийти к общему согласию или принять условия одной из сторон. Насколько необдуманными, да что там — лживыми и злобными подчас оказывались набросанные Тюрмером словесные портреты, пришлось испытать почти всем, на кого обращался его взгляд. Автору этих строк тоже довелось отыскать свое искаженное отражение в кривом зеркале Тюрмера.

Особую благодарность я хочу выразить актрисе Михаэле фон Барриста-Фюрст и ее сыну Роберту Фюрсту, вместе с которыми Тюрмер тогда жил. Без понимания с их стороны и без их великодушия мое начинание было бы обречено на неудачу. Элизабет Тюрмер долго колебалась, прежде чем дать согласие — все-таки эта публикация выставляет ее сына не в самом выгодном свете. То, что она в конечном счете согласилась, заслуживает уважения. Йоханну Цильке, школьному другу Тюрмера и теологу по образованию, тоже пришлось преодолеть себя, прежде чем он дал согласие. Поскольку для него как для доверенного лица и ведущего сотрудника Тюрмера бегство последнего не только означало предательство дружбы, но и ввергло самого Цильке и его семью в величай-

шие юридические и финансовые затруднения. Те немногочисленные сокращения, которые он попросил сделать, были вполне приемлемы и никак не повлияли на общее впечатление.

Порой согласия удавалось добиться лишь благодаря обещанию представить противоположную позицию. То, что Марион и Йорг Шрёдер, бывшие коллеги Тюрмера по газете, пошли на такой компромисс, очень меня обрадовало. Не в последнюю очередь хотелось бы поблагодарить Николетту Хансен, которая прекратила свои отношения с Тюрмером еще в 1995 году. Иногда заручиться согласием адресата не получалось, поскольку, как в случае д-ра Клеменса фон Барристы, нельзя было установить его местонахождение.

Что касается приложения и комментариев, нужно отметить следующее:

Двадцать писем к Николетте Хансен написаны на оборотных сторонах старых рукописей. Эти рукописи — и Тюрмер сам признал это первым — в лучшем случае имеют второстепенное значение, к тому же они не полны и не окончены. Они публикуются в приложении, чтобы по возможности прояснить то, о чем в письмах умалчивается или говорится лишь намеками.

Сноски призваны облегчить процесс чтения. То, что кому-то, возможно, покажется лишним, с благодарностью будет воспринято молодым читателем. Я воздержался от комментариев там, где суть дела становится понятной из дальнейшего.

Внимательный читатель заметит, что в зависимости от адресата Тюрмер описывает одни и те же события совершенно по-разному. Давать этому оценку — не дело издателя.

Когда я выразил свое удивление по поводу маниакального пристрастия Тюрмера к исповедям, Вера Баракат-Тюрмер поделилась со мной следующим наблюдением: "В Энрико меня всегда поражало то, что его так сильно тянуло сойтись с кем-нибудь и поотkровенничать. Во все периоды его жизни находился человек, которым он безоговорочно восхищался и которому был едва ли не по-собачьи предан".

Инго Шульце,
Берлин, в июле 2005 года

Суббота, 13.1.90

Чудеснейшая Верочка!

Я каждый день выхожу на улицу, не меньше чем на час. К тому же на мне лежит ответственность за покупки и приготовление пищи, и я уже научился готовить лучше, чем школьный повар Роберта, что было совсем нетрудно. Каждый вечер Роберту позволено заказывать себе завтрашний обед. Сегодня я попробовал себя в приготовлении омлета. И что же, Михаэла даже доела то, что оставалось на сковородке. Ее кулинарные книги — единственное, что я в настоящее время читаю.

На этой неделе мне уже дважды приходилось писать мамане[1]. Второй раз надо было писать, потому что Михаэла позвонила[2] ей и спросила, слышала ли она уже что-нибудь о моем решении[3].

Это же не какое-нибудь плевое дело — я предал искусство, я предал ее, Михаэлу, предал наших друзей и жизнь вообще, на что я ей постоянно возражаю: дезертировал не я, а искусство[4]. Этого она, разумеется, не приемлет.

Вчера днем впервые побывал в “редакции”. Дом, принадлежащий Георгу, одному из двух совладельцев газеты, расположен примерно в трехстах метрах за почтой на Фрауэнгассе. Он стоит в саду, йmение en miniature[5]. Над садовой калиткой нависает подгнившая деревянная конструкция — решетка для роз. Дверной звонок мертвого подымет.

Если пройти налево, по глухой передней, то попадешь в расположенную напротив лестницы небольшую гостиную с широкими половицами и балочным перекрытием, до которого я достаю рукой. Почти все пространство в ней занимают стол и стулья. Пахнет мебельной полировкой и кофе.

На подоконниках стоят почтовые весы. Стекла в окнах старые и искажают вид сада. Достаточно чуть отвести голову, и деревья сморщатся до кустарников или вырастут до небес.

Мы вышли во двор, обогнули дом и поднялись наверх — сад состоит из нескольких террас. Я уже решил, что нам пора возвращаться, когда Георг раздвинул заросли и принялся карабкаться по крутой тропе. Мне с трудом удавалось не отставать. Вдруг открылся сказочный вид: город лежал у наших ног под сиреневым небом, справа — Шлосберг, слева — Рыжие Клинья Барбароссы[6]! Все казалось живительно чужим, даже театр я, казалось, видел впервые.

Я вдыхал запах гнили и прохладного воздуха и был очень рад тому, что отныне смогу наслаждаться этим видом, когда захочу.

Тем временем Йорг, мой второй начальник, пришел и приготовил чай. Он настолько же ниже меня, насколько Георг выше. Говорит он как пишет. Во мне Йорг, похоже, сомневается. Он не выпускал меня из виду и немного насмешливо улыбался всем моим словам. Но этим меня не испугать.

Георг и Йорг хотят платить мне столько же, сколько будут получать сами, то есть две тысячи чистыми, почти в три раза больше, чем моя завлитская зарплата. Они оставили надежду получить деньги от Нового форума[7]. Главное, мне больше не надо ходить в театр. Там бы я пропал. Нет на свете места скучнее!

1. Так брат и сестра обыкновеиио иазывали мать. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. Инго Шульце как персонажа книги.*)
2. Телефоиа ие было ии в квартире Т. и Михаэлы, ии у его матери в Дрездеие. Мать можно было застать, только позвоиив во Фридрихштадтскую больиицу, где оиа работала операционной медсестрой.
3. В начале января Т. уволился из театра.
4. Это загадочиое выражеиие в разных вариациях часто повторяется и в последующих письмах.
5. В миииатюре (*франц.*). (*Прим. перев.*)
6. Отличительиые черты Альтеибурга. От осиоваииого при императоре Барбароссе моиастыря остались лишь кирпичные башни, которые якобы символизируют рыжие клинья его бороды.
7. Первоиачальиая идея была издавать еженедельную газету “Нового форума”, финаисируемую этим гражданским движеиием.

Я начал читать газеты. На первой полосе “НД”[1] — фотография Гавела[2]. Вот кто вовремя сменил профессию. А Норьега выглядит так, как на снимках угрозыска[3].

Все время думаю о тебе!

Твой Хайнрих.

Пятница, 19.1.90

Дорогой Йо!

Это лист такого формата, на какой надо переносить все статьи: тридцать строк по шестьдесят знаков. Вот я и попробую[4].

Сегодня утром я набросал черновик письма, в котором рассказывал тебе о своих ночных приключениях. А уже днем нас ждало новое испытание. С помощью дерзкой вылазки Георгу, Йоргу и мне предстояло заполучить издательскую лицензию. Лейпцигской типографии неймется увидеть печать. Без регистрации не будет договора. Заявка валяется в крейсрате с середины декабря.

В приемной никого не было. Мы постучались к чиновнику, ответственному за торговлю и промышленность, и через мгновение оказались в его пещере. Я впервые в жизни увидел, как *сочится* свет. Всякое излучение тонуло в чаду, многолетнем сигарном чаду, ложившемся вулканической пылью на вечнозеленые комнатные растения. Грязные стекла и пожелтевшие шторы добавляли колорита, но мутное свечение исходило от самого человека! Удивительно, что мы вообще разглядели, как он встает из-за письменного стола, при отсутствии цвета и тени, *его* цвета и тени. Кроме крупных зубов, желтоватой, небрежно постриженной бороды и волнистых волос мне запомнился его смех.

Ни в коем разе, сказал он и расхохотался, он не сможет дать нам лицензию на издание газеты. Пауза. Он принял важную позу. Георг наклонился к Вулкану и сказал, что тот намеренно задерживает появление нашей газеты, даже пытается препятствовать ему, превышая свои полномочия, такие действия должны разбираться в Комиссии по противодействию коррупции и злоупотреблениям служебным положением. Вулкан рассмеялся и попросил Георга повторить это длинное название. Насколько ему известно, такой комиссии еще не существует. Не важно, что ему известно, а что — нет, закричал Георг, помрачнев от гнева, он уже больше ничего не решает, ему надо лишь поставить печать — только за это ему и платят.

— Хо-хо-хо! — загоготал Вулкан, обнажив свои лошадиные зубы и выдыхая с каждым “хо” новые клубы дыма. Георг застыл, наклонившись вперед, и пристально вглядывался в своего собеседника, словно тот принадлежал к доселе неизвестному науке виду.

1. “Нойес Дойчланд”. (*Прим. перев.*)
2. Во время своего первого визита за рубеж в качестве президента Вацлав Гавел посетил сначала ГДР, потом Мюнхен.
3. 24 декабря 1989 года американские войска заняли Панаму. Президент Норьега, бывший агент ЦРУ, спасся бегством в посольство Ватикана, откуда его забрали третьего января 1990 года. Ему инкриминировали торговлю наркотиками.
4. Газету набирали вручную свинцовыми литерами.

– Хо-хо, хе-хе, заявка, хо-хе, заявка, ха, да ее и нет вовсе, ее, хо-ха, вашей заявки, хо, ее нет, у меня во всяком случае, хо-хе, вы пришли не по адресу, совершенно не по адресу, хо-хо, не туда, хо-хо. – Он сделал несколько затяжек и безмолвно выпустил дым. Я уже приготовился идти в другой отдел.

– Ну и пусть! – воскликнул Йорг, прежде сохранявший необычайное спокойствие, и, будто об этом было условлено, стянул с головы берет. – Тогда мы прямо здесь и сейчас изложим свою заявку, а вы нам выдадите бланк и поставите печать.

К сожалению, все заявочные бланки кончились, сказал он. Вулкан стремительно изверг еще одно облачко дыма, растаявшее в сумраке его пещеры.

– Вообще-то я не занимаюсь газетами, – глухо проговорил он. – В любом случае решение принималось в Лейпциге.

– Ну вот! – воскликнул Георг. – Нужно только немного доброжелательности.

Мол, Вулкану вообще не придется ни о чем заботиться, заботы не входят в его обязанности. Йорг выдержал паузу, сделал шаг назад, взял меня под руку и отрекомендовал как артиста, печатающего вслепую десятью пальцами: "Энрико Тюрмер!"

Я сел за машинку, вставил три крейсратовских листа и напечатал место и дату. Не только "а" и "о", все буквы были запачканы до неузнаваемости. Кроме того, отсутствовала левая клавиша верхнего регистра.

– Ну и? – вопросил Вулкан десять минут спустя. Словно желая удостовериться в качестве печати, он осмотрел листок и отложил его в сторону. – Ну и? Что мне с этим делать?

– Номер, печать, счет! – бросил в ответ Йорг.

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал Вулкан – только вам это незачем.

Йорг попросил поставить печать с подписью и на копии и оставил одну из них на подкладке для письма.

От Вулкана мы ушли не прощаясь. На улице стряхнули друг с друга пепел. Йорг сразу отправился в Лейпциг.

Я езжу по окрестностям и раздаю листочки с красным шрифтом. Реклама газеты вместе с бланком подписки выглядит как предупреждение об эпидемии.

Привет от Михаэлы.

Энрико.

Пятница, 26.1.90

Дорогой Йо!

Ян Стен решил нашу судьбу! Страшно было, как в сказке, но под конец Иванушка-дурачок[1] получил-таки сокровище!

Если б мы знали, что нас ждет в этой поездке, то, наверно, не стали бы дожидаться Михаэлы, которая лишь ночью решила, что поедет с на-

1. Персоиаж из русских сказок, самый младший и предположительно самый глупый из братьев, решает все задания.

ми, и потому с утра звонила тетушке Трокель, чтобы проконтролировать Роберта.

На дорогу у нас осталось шесть вместо семи с половиной часов, лишь на час больше, чем понадобится на то же расстояние скоростной машине Яна Стена. Михаэла со школьным атласом Роберта на коленях сидела рядом со мной и делала вид, будто в машине нет ни Георга, ни Йорга, ни стеновского описания пути. Но я все равно был рад, что она рядом.

Остановились мы лишь однажды — в Нюрнберге. Вокруг заправки и места для отдыха крутились наши соотечественники, опустившие стекла и устроившие себе пикник с бутербродами и термосами. Их можно было узнать по активным жевательным движениям и беспокойным взглядам. Когда я нашел место для парковки и открыл багажник, Михаэла взбунтовалась. Если здесь есть ресторан, то она не хочет оставаться за дверью, как собака. Она нас приглашает.

Пока мы с Георгом и Йоргом в нерешительности фланировали мимо стеклянных полок с выставленными на них кушаньями, на подносе Михаэлы уже толкались друг с другом пудинг под ванильным соусом, яблочный штрудель, фруктовый салат и булочки. Каждому из нас она заказала по яичнице, лишь о кофе с чаем нам следовало позаботиться самим.

Даже Йорг, который, как я увидел только за столом, взял с собой бутерброды, капитулировал перед этой скатертью-самобранкой, намазал маслом купленную за дойчмарку булочку и положил на нее яичницу с ветчиной.

Георг взял себе еще тарелку белых колбасок со сладкой горчицей, Михаэла открыла для себя салат из огурцов — салат из огурцов зимой!

Мы залили в бак канистру бензина и поехали под гору по полосе обгона. Приятным сюрпризом для меня были названия на указателях: Хайльбронн, Карлсруэ, Страсбург, Фрайбург, Базель, Милан. Я бы нисколько не удивился, если б за поворотом показались пальмы.

Незадолго до полудня мы въехали в Оффенбург, отыскали ресторан “Ратскеллер” и вовремя очутились перед Стеном, потягивавшим пиво с великаном Вольфгангом. Все внимание сосредоточилось на Михаэле. Стен пригласил ее к себе в машину, Георга и Йорга он усадил сзади, а мы с Вольфгангом покатили следом.

Тот при встрече молча обнял меня, а теперь трещал без умолку: как важно быть пунктуальным, нам это удалось великолепно, великолепно, мы Стену очень нравимся, наконец-то ему есть на кого положиться, люди, которые чего-то хотят и добиваются, а не ждут, пока им все на блюдечке подадут. Стен аннулировал всю свою рекламную кампанию на Лейпцигской ярмарке, объявления будем давать только мы, разве это не великолепный жест, на этот раз с его стороны? Он хлопнул меня по ноге. Мы поднимались по шварцвальдской горной дороге. Нескольких серпантинов хватило, чтобы Стен скрылся из виду. Мы увидели их, лишь когда снова поехали под гору. “Просите тысячу марок, тысячу дойчей за страницу”, — проговорил Вольфганг, не оборачиваясь. “Тысячу дойчмарок за страницу”, — ответил я.

На парковке “Солнца” стояли Георг и Йорг, каждый сам по себе, и будто прислушивались. Воздух! Он был настолько чист и свеж, что его было больно вдыхать.

Михаэла, которая скорее лежала, чем сидела, то поднимала, то опускала жужжащее затемненное стекло и вылезла, лишь когда служащий отеля осведомился о нашем багаже. Она пошла за ним, а мы направились в ресторан вслед за Стеном. Стен разговаривал сразу со всеми, не давая никому расслабиться. “Тысяча дойчмарок”, — прошептал я Йоргу.

Ресторан, судя по всему, был закрыт, мы оказались единственными посетителями. Стен подвел нас к угловому столику и уселся на скамью под головой косули. Я отлучился в туалет. У меня не было уверенности, что Йорг меня правильно понял, и я не торопился, однако ни Георг, ни Йорг не появлялись.

Йорг говорил о примерном тираже, районах распространения, количестве страниц и т. п. “А владельцы, — перебил его Стен, — это вы оба?” И при этом кивнул Георгу и Йоргу. Он хотел “пустить объявления”. Во сколько бы это обошлось.

Георг и Йорг молчали. Потом Георг спросил, о какой рекламе идет речь. Двойной подбородок Стена снова пришел в движение, но быстро остановился. “Воздухотехническое оборудование, — сказал он, — что же еще? Одна страница!” Георг начал одно предложение, потом второе, потом третье и четвертое, но ни одного так и не закончил. “Двенадцать страниц для начала... нужна на каждой полосе... реклама, которую никто не поймет... всего двенадцать страниц... полурейнским... это немного, если... и воздухотехническое оборудование... зачем это... в Альтенбурге и окрестностях... целую страницу... почему сразу целую страницу?..”

— Что это значит? — возмутился Стен и посмотрел на Вольфганга.

— Надо обдумать... — ответил Йорг, но сбился, не договорив, и взглянул на Стена, скрывшегося за меню — у каждого было свое. Вольфганг сделал глубокий вдох...

— Страница стоит тысячу двести дойчмарок, — выпалил я, словно наконец-то подсчитал ее стоимость. Голова Стена снова показалась из-за меню и смотрела то на одного, то на другого. “Тысячу двести”, — повторил я, старательно улыбаясь.

— Ох! — простонал Стен и откинулся на спинку. Он разглядывал меня, и это явно доставляло ему удовольствие.

Йорг воззрился на меня так, будто я сидел за соседним столиком. Георг уперся взглядом в свои руки. Вольфганг громко дышал. А я уже держал наготове монолог с извинениями.

Стен проурчал что-то вроде “ну да” или “куда”, облокотился о стол и сказал буквально следующее: “Для начала я дам вам *двадцать* тысяч, а там посмотрим, согласны?” Он приподнялся, протянул руку Георгу, Йоргу, потом мне. Его галстук нырнул в пустой бокал, а после того как он сел, остался лежать на краю тарелки. “Вам как лучше: чеком или кэшем?” Официантка поднесла каждому по полбокала шампанского.

— Так как?! — спросил Стен.

— Чеки нам не нужны, — ответил Йорг.

— Значит, кэшем! — решил Стен и взял свой бокал, но насторожился, потому что никто не двигался.

— Наличными, — пояснил Вольфганг и тоже поднял свой бокал. — Кэш — это значит наличные, барыш!

Тишина. Йорг сказал, наличные — это хорошо, очень хорошо. Стен сразу расцвел, и у него вырвался такой звучный смех, какого я не слы-

шал ни разу в жизни. "Cash, — завопил Стен, как только обрел дар речи, но снова утонул в новом взрыве хохота, задохнулся, поперхнулся, откашлялся, — бар... барыш!" Двойной подбородок ходил ходуном. Смех постепенно разбирал и Вольфганга.

Чем дольше продолжался этот приступ веселья, тем более бестактным он мне казался. Вольфганг стал хихикать тише и, наконец, зажмурил глаза, словно хотел подавить в себе всякие позывы к смеху.

"Барыш — это очень хорошо!" — воскликнул Стен. Он промокнул губы сложенным носовым платком, поднялся и направился навстречу Михаэле. Взял ее под руку и подвел к столу. Вместе они выделялись на нашем фоне, как оперные зрители в трамвае.

Потчевали нас клецками с олениной под каким-то невообразимым соусом. Суп был из брокколи. Стен не уставал распространяться о блюдах, словно обо всем остальном мы уже договорились, и исчез, коротко попрощавшись, перед самым десертом — темным итальянским пирогом, мягким, влажным, со взбитыми сливками[1].

Не припоминаю, когда в последний раз видел, чтобы Михаэла вела себя так непринужденно и выглядела такой красивой, как за тем обедом. Когда мы встали из-за стола, она поинтересовалась, над чем так смеялся господин Стен, а Георг ответил, что ему это тоже не совсем понятно. Однако господин Стен намеревается выдать нам двадцать тысяч дойчмарок. За двадцать тысяч дойчмарок, сказала Михаэла, можно и такую неопределенность потерпеть.

До Оффенбурга нам надо было добраться к пяти. Мы решили немного поваляться и проспали, но когда приехали на место, альтенбургская делегация только выходила из автобуса.

Для нас, газетчиков, были запланированы встречи с разными партиями, кроме СвДП (у нее всего пять членов, хотя она и представлена в городском парламенте).

Михаэла рвалась к зеленым, Йорг был предан СДПГ, а Георгу оставался только ХДС.

Никто из нас не догадывался, какую ошибку мы тем самым совершили.

Михаэла, а уж тем более я зеленых разочаровали. Когда мы представились и попросили пепельницу, настал их черед рассказывать о себе. Говорящие упорно не сводили с нас глаз, поскольку остальные в это время хихикали и балагурили. Михаэла сперва записывала имена и кто чем занимается, но перестала, когда ее спросили, зачем ей это. Вокруг только и говорили о ГИ (гражданской инициативе) да о "стрижке зелени". Я осведомился о зелени у своей соседки. Она не поняла меня. Потом вдруг загорлопанила: "Слыхали, ждо думаед Энриго, ждо дакое здрижшка зелени?"

Последовавший затем гул заглушил напевный голос какой-то красавицы: "Вод вы и прокололис! Вод вы и прокололис!"

Михаэла не дала меня в обиду. У нее возникла та же ассоциация. "Зелень" — обычное название долларов. Она сама часто его употребляет.

В новой газете, проговорил я, окружающая среда будет играть важную роль. Говорил я как-то вяло, да никто меня уже и не слушал. В кон-

1. Тирамису.

це концов, с нами осталась супружеская пара, которая вспоминала о своих поездках в Вайсвассер и Карл-Маркс-Штадт, потягивая минеральную воду. Мы проголодались.

На обратном пути я заблудился, лишь ближе к одиннадцати мы нашли "Солнце". Навстречу нам выскочил взбудораженный Йорг.

— Все пропало, — закричал он, — все пропало!

Вольфганг в костюме и галстуке восседал в холле. Руки его свисали по бокам подлокотников, как у пьяного Вакха, венок волос держался ровно.

— Где вас носило? — прокричал он нам, его руки ожили, проплыли по воздуху и легли на подлокотники, казалось, он хотел встать, глаза его вылезали из орбит — потом снова опустился на кресло. Когда он закрыл веки, мне показалось, что он сейчас заплачет.

— Они нам даже поесть ничего не дали! — возмущалась Михаэла. Йорг непрерывно тер глаза и лоб. Георг бегал взад-вперед на своих длинных ногах со сгорбленным, как у жокея, туловищем.

Ян Стен весь вечер прождал нас в ресторане "Нобель" в Шварцвальде. Вольфганг бегал к телефону каждые двадцать минут. В десять Стен с яростью швырнул салфетку на тарелку и уехал домой. Увидимся ли мы с ним еще хоть раз, известно только небесам.

— А мы откуда знали? — спросила Михаэла.

— Об этом никто не знал! — закричал Йорг. — Никто, никто, никто!

Вместо ответа Вольфганг изрек нечто о толстой рыбине, которая сорвалась у нас с крючка, очень толстой! Эта фраза доставила ему мрачное удовольствие и, казалось, успокоила его, потому что больше в тот вечер мы от него ничего не слышали.

Йорг и Георг сидели у нас на кроватях. Мы чистили яйца на салфеточку ночного столика. Довольствовались тем, что разделили заготовленные накануне бутерброды. Запили холодным чаем из крышки термоса.

Мы снова стали теми людьми, которые утром сели в Альтенбурге в "Вартбург". Между нашим ужином и давно позабытыми утренними часами пролегла лишь странная греза.

Вдруг Михаэла перестала жевать. "Может, это — наш завтрак!" — сказала она и положила начатый бутерброд на столик. "И кто теперь будет платить за номер?" У всех четверых было не больше семидесяти деймарок. Георг успокаивал нас. Но был единственным, кто продолжал есть! Обиднее всего, проговорила Михаэла, что Стен ждал нас в ресторане "Нобель".

Второй день прошел тихо и мирно за посещениями больницы и газеты "Тагесцайтунг", монополизировавшей здешний рынок. У Йорга взяли интервью на радио.

На следующее утро Вольфганг колотил в наши двери. "Он сидит внизу и ждет. У него мало времени!"

Стен был в прекрасном расположении духа. Каждое его замечание чрезвычайно веселило Вольфганга. Я было заговорил о досадном недоразумении, когда Стен воскликнул: "Клювик открой!" Поднес мне к носу вилку и велел попробовать. Чистое сало, но мне понравилось! Стен заказал порцию для меня. Йорг и Георг тоже открывали клювики.

Михаэла, влезшая в старые джинсы, появилась последней. Стен был с ней любезен и следил за каждым ее шагом, но его прежнее восхище-

ние исчезло. В остальном же он вел себя так, будто мы уже два дня развлекаемся вместе. Он превозносил Шварцвальд, Базель и Страсбург, потом вдруг ни с того ни с сего начал убеждать нас покупать немецкие машины. Его интересуют только немецкие. Таким образом он включается в товарооборот. Кто хочет сам жить хорошо, должен позаботиться о том, чтобы и другим жилось припеваючи. Я плохо передаю его слова. Он говорил лучше. Еще важнее был тон, которым он говорил. Стен был уверен в себе, уверен в добропорядочности своих отношений с миром, готов в любой момент отчитаться в собственных поступках.

Попрощался он снова коротко. Пожелал нам доброго пути, поцеловал Михаэлу в обе щеки и исчез.

Не надо делать такие лица, прошипела Михаэла. Вольфганг за все это время и бровью не повел, а со Стеном простился кивком. Я уже догадался: ему поручено что-то нам объявить. Никто не отваживался обвинить его во вчерашнем испорченном вечере. Все-таки благодаря его содействию нас поселили в отеле. Вольфганг отодвинул тарелку, смахнул со скатерти крошки, достал несколько листов и положил их перед собой. "Вот, — без вступления начал он, — двести шестьдесят два адреса, по которым надо рассылать газету. Вот двести марок на бензин и еще каждому по сотне на дорогу, а вот... двадцать тысяч. Кроме того, — монотонно продолжал Вольфганг, — он еще оставил вот это". Тут он вытряхнул содержимое матерчатой сумки, на которой была та же эмблема, что и на зажигалках, ручках, блокнотах и карандашах, градом посыпавшихся между тарелками и чашками. "Вам надо только расписаться *вот здесь*". Он отодвинул канцелярскую дребедень в сторону, положил передо мной листок и протянул свою ручку. Я решил, что расписываюсь за сто марок и бензин. Поставил подпись и передал лист по кругу. Лишь когда Михаэла засомневалась, я понял, что расписался в получении двадцати тысяч. "Одной больше, одной меньше", — проговорил Йорг, расписался и пододвинул бумагу Георгу. Взамен мы получили лист, на котором размашистым почерком было выведено: "Ян Стен".

Вот и все на сегодня!

Обнимаю, Энрико.

Вторник, 6.2.90

Верочка,

я очень неохотно отлучаюсь из редакции, потому что боюсь пропустить твой звонок. А когда прихожу, с трудом сдерживаюсь, чтобы каждый раз не спрашивать о тебе. Когда Йорг или Георг слишком долго разговаривают по телефону, теряю терпение. Пытался дозвониться тебе из Парижа, но неправильно набирал номер и не понимал слов автоответчика.

Да, мы были в Париже — по крайней мере, нам нравится так думать. В воскресенье в девять вечера мы уже вернулись домой. "Мы из Парижа!" — заявил Роберт соседке на лестничной площадке. Та, вместо того чтобы удивиться или начать задавать вопросы, осуждающе посмотрела на нас с Михаэлой, словно мы приучаем ребенка ко лжи.

Я рад, что все закончилось. В конце концов, я поехал только ради Роберта, ради поездки всей семьей. Михаэла думала, что мы и без денег прекрасно обойдемся. "Трехдневный тур" — так это называлось официально. Первым днем была пятница. В пять вечера мы должны были выезжать из Айзенаха.

Сотни людей месили слякоть на площади, окруженной домами под снос и тусклыми фонарями. Если б не сумки, можно было бы подумать, что начинается демонстрация. Маманя ждала нас в Айзенахе с двух. Она была совершенно вне себя, потому что мы приехали лишь в полпятого. Армада подъезжающих автобусов гоняла нас с одного места на другое. Водители появлялись в автоматически открывающихся дверях, выкрикивали места назначения и снова садились за руль.

Парижских автобуса было два. Уже испугавшись, что нас не возьмут, мы нашли места в третьем и четвертом рядах, с которых можно смотреть даже в лобовое стекло. Рядом с нами стоял автобус в Амстердам, слева — в Венецию. Процедура была везде одна и та же. Сначала раздавали паспорта ФРГ, в которых все было правильно, кроме имени и места жительства. Даже рост и цвет глаз совпадали. На французской границе, согласно предписанию, нам надо было поднять паспорта вверх[1] и вести себя мирно — что бы под этим ни подразумевалось. Венецианцы даже отрепетировали поднятие паспортов. Уезжая, они помахали нам руками.

Роберт выбрал меня в соседи, сиденья были очень удобными, мотор — почти бесшумным. Ни одно громкое слово не нарушало плавного полета по вечернему автобану. Я вылезал на каждой остановке, участвовал в забеге до туалета и на каждом привале запихивал в рот по крутому яйцу из маманиной корзинки для пикников — как будто иначе и не умею проводить время.

Усталость навалилась на меня только на рассвете. Я видел парижские окраины в серых сумерках, а потом мы сразу въехали в город. Шел мелкий дождь, и небо как будто потемнело. Сориентировался я только на площади Бастилии. После этого мой вестибулярный аппарат работал безукоризненно. Я блистал перед Робертом и Михаэлой и сам удивился, когда мы поехали по бульвару Генриха IV и справа действительно показались острова и собор Парижской Богоматери[2]. Я твердил нашу сокровенную мантру: "Quai de la Tournette, Quai de Montebello, Quai St-Michel, Quai des Grands" и любовался знакомыми развалами букинистов.

Мы проехали по мосту Согласия на север, мимо Мадлен и Сен-Лазара, вверх по рю де Амстердам. Я ждал, что следующей остановкой будет Сакре-Кёр, и надеялся, что первый солнечный луч и чашка кофе сделают эту поездку хотя бы наполовину сносной, но тут водитель объявил, что мы направляемся в самую известную "мышеловку" в мире. Мы дважды повернули, медленно вписываясь в повороты. Автобус качало туда-сюда, потом вдруг приподняло спереди какой-то волной, и мы поехали дальше.

Я увидел женщин, усеявших тротуар, — проституток в восемь утра. Пассажиры затихли, водитель болтал о продажности любви. Посреди его болтовни под автобусом что-то хрустнуло, словно мы сели на мель.

1. Обычная в те времена практика, о которой издатель знает н по собственному опыту.
2. У брата н сестры была венгерская карта Парнжа, которую онн пыталнсь выучнть наизусть. — *Со слов В. Т.*

Водитель выругался, и громкая связь выключилась с громким треском. Мы медленно тронулись дальше. В молчании, с которым мы смотрели за вычищенные до блеска стекла, было что-то благоговейное. Это же чудовищно — за несколько купюр выбирать себе женщин! Роберт обернулся ко мне с блуждающей улыбкой, засомневался, будто намереваясь что-то спросить, потом сразу снова уткнулся лбом в стекло.

Вдруг от стены отделилась девушка — ее облегающие брюки заканчивались на икрах широкой опушкой — и подбежала к нам. Яркий платок, по-пиратски завязанный вокруг головы, скрывал ее волосы. Она приблизилась к нашему окну, подошла близко-близко — она была еще совсем молода, — поцеловала руку и прикоснулась кончиками пальцев к стеклу возле Роберта. Даже когда ей пришлось бежать, чтобы не отстать от автобуса, она смотрела серьезно, хотя женщины позади нее ухохатывались, корчились от смеха, и до нас доносились их крики и улюлюканье.

На шее Роберта выступили красные пятна. "Просто ты ей понравился", — пыталась успокоить его Михаэла.

На парижскую землю мы ступили у Сакре-Кёр. Воздух был мягче, чем я ожидал. Море домов излучало спокойствие, не нарушаемое немногочисленными машинами и мопедами, что словно рыбки поблескивали на улицах. Мы поднялись по ступеням. "Как часто мы поднимались сюда после сделанной работы, мерзли, увидев приход осени на бульваре Сен-Жермен, дождь над Сеной", цитировал я[1]. Роберту хотелось знать, что это за большая крыша с левой стороны, и он оторопел, когда я не ответил, какой это из вокзалов и вообще вокзал ли. Меня поразило, как мало было выделяющихся зданий: Мадлен и Лувр, справа — Эйфелева башня, а все остальное расплывалось перед глазами, и мне это нравилось. Больше всего хотелось растянуться на скамейке и заснуть. Белые камни напоминали мне о Рыбацком бастионе[2]. Голуби, спугнутые мусоровозом, прилетели с Нойштадтского вокзала[3].

Потом время полетело стремглав. Нас выпускали у Центра Помпиду, у Триумфальной арки, на площади Согласия и у Инвалидов — так, словно в каждом месте был особенный воздух, хотя из автобуса везде, кроме Центра, открывался более удачный вид.

Когда водитель остановился у Эйфелевой башни, на другом конце поля, мы en famille[4] отправились на поиски туалета. А на обратном пути увидели, как наша группа в считаные секунды собралась у средней двери автобуса и столь же быстро построилась в ряд. Шофер-сменщица здоровенным половником разливала суп по пластмассовым тарелкам. Мы с Робертом встали в очередь. Однако поскольку нам не досталось ни мисок, ни ложек, нас попросили подождать, чтобы потом взять и вымыть пустую тарелку у быстрых едоков, как выразилась сменщица.

Во время этой процедуры мне пришло в голову, что теперь, когда мы "подкрепились", надо было "забраться" на башню. Первые как раз улизнули, когда я пытался убедить маманю и Михаэлу пойти прогулять-

1. Эрнест Хемингуэй. "Праздник, который всегда с тобой".
2. Постройка конца XIX века в Будапеште. С нее открывается вид на Дунай и весь Пешт.
3. Вокзал в Дрездене.
4. Всей семьей (*франц.*). (*Прим. перев.*)

ся. Единственное, что мне удалось, это получить от мамани несколько купюр — и мы разделились.

Я хотел было догнать их, даже сделал несколько шагов, как вдруг чуть не расплакался. Сознание того, что в ближайшие два часа я свободен, так свободен, как еще никогда в жизни, лишило меня силы воли. Я поплелся обратно к тому кафе, где мы ходили в туалет, чтобы переждать там, укрывшись от всяких случайностей.

Заказал кофе, поставив ударение на последний слог, и "mineralnaja woda" — как будто по-русски говорить было легче, чем по-немецки. Потом я просто ткнул пальцем в одну из двух бутылок, которые сунула мне под нос барменша, и слишком поздно заметил, что во второй была настоящая, газированная минералка.

Как же мне хотелось с кем-нибудь поговорить!.. Я наблюдал за официанткой, управлявшейся с гигантским кофейным аппаратом, не сводил глаз с застежки ее лифчика, просвечивающей сквозь белую блузку, и чувствовал себя совершенно лишним.

Мне подали кофе со вспененным молоком, я воспользовался большой металлической сахарницей и наблюдал, как песчинки тонут в пене и прилипают к краям.

Я сделал два или три глотка, когда в нос мне внезапно ударил запах подгоревшего молока. Я размешал вторую ложку сахара и продолжал пить небольшими глотками, но как только я отодвинул чашку, запах появился снова.

Я достал кошелек, стоя дождался счета и отдал на чай почти половину своих франков, потому что мне показалось неприличным расплачиваться мелочью.

При этом я даже не допил, слишком сильным оказалось воспоминание о пластмассовых чашках — этих зеленых, красных или коричневых пластмассовых чашках[1], — до краев наполненных горячим молоком, с пенкой, которая, стоило только снять ее и вытереть о край тарелки или штаны, появлялась снова, прилипала к губам, из-за чего от отвращения перехватывало дыхание. Я вышел на улицу.

Хотя было ветрено и холодно, мне показалось, что внезапно наступила весна. Все представилось в ином свете. Я быстро зашагал, как будто мог отыскать в Париже тебя, как будто ты могла встретиться мне в любой момент. Я хотел, чтобы ты была рядом, а вместе с тобой все, что мы знали, что видели, что нам принадлежало, наши улицы, наш мир. Эта сосредоточенная рассеянность, которой все по сердцу, все по душе, братская, сестринская, полная ожиданий. Белое декольте продавщицы сигарет в сумраке киоска. Мне пришлось согнуть ноги в коленях, чтобы увидеть ее лицо. Двадцатипятилетняя девушка в платке, которой лишь вчера исполнилось двадцать пять. Я обращаюсь к ней, она здоровается со мной, повторяет то, что я сказал, дает мне пачку, я плачу́, она благодарит, и мы прощаемся друг с другом.

Как азартный игрок, я менял свой курс у каждого фонаря. Я не знал, где искать, но был уверен, что найду тебя. Первые шаги на свободе, думал я, первые шаги на свободе. Мне хотелось забыть свой возраст, свое

1. Пластмассовые чашки были для Т. символом официального мира: от детского сада до армии. — *Свидетельство В. Т.*

имя, свое происхождение, хотелось только смотреть, брести, едва передвигая ноги, и чтобы ты была рядом.

Два североафриканца спросили меня о чем-то — их голоса были не менее ценны, чем темные блестящие ткани, — я пожал плечами и двинулся дальше. Париж, как назойливая реклама, навязывал весну февральским будням. Я проводил рукой по ящикам с фруктами, по металлическим перилам, по стенам домов, по дверным ручкам. Я знал, что ты близко. Не видел тебя — это было бы чересчур, — но точно знал, что мы дышим одним воздухом, и мог слышать тебя.

Вдруг передо мной выросли маманя и Роберт. Михаэла, разговаривавшая с пожилым господином, который что-то ей объяснял, подняла глаза и замахала мне рукой. "Пунктуален до минуты", — похвалила меня маманя. Пунктуально до минуты вернулся я из потустороннего мира. Шел мелкий дождь.

Михаэла протянула мне носовой платок, чтобы я вытер пот с лица. Маманя в принудительном порядке нацепила на меня свой шарф. Ее зонтик сломало ветром.

Мы шли за Робертом, проходили мимо окрестных кафе и быстро сбились с пути. Я замерз и, когда увидел, что на углу подают гигантский омлет, чуть не умер с голоду. Маманя вытащила кошелек и кивнула. Разумеется, мы сели в самом неудачном месте. Официант положил перед каждым из нас ярко-красную пластиковую салфетку, словно мы были детьми. Михаэла стала заказывать на своем школьном французском и покраснела после заключительного "мерси, мадам" из уст официанта.

Официант принес банку пива и начал сам наполнять мой бокал, а мы недоверчиво за ним наблюдали. Едва мы прошептали наши "мерси", как Михаэла призналась, что вообще-то заказывала только воду. Я пил горький скандинавский импорт и от усталости с удовольствием прилег бы на стол. К туалету вел узкий проход, в котором мне приходилось протискиваться мимо бочонков и пакетов. Из глубины на меня двигался кто-то, совершавший те же самые движения, что и я. Незадолго до встречи мы одновременно свернули. Так что тут есть мой двойник. А мое пиво оказалось дороже омлета. Мы написали несколько открыток, одну из них тебе.

Все это время с улицы доносилась музыка, как будто поблизости шел концерт какой-то группы. Роберт, заметивший, что его любопытство приятно радует маманю, поспешил к выходу. Как же он огорчился, когда нигде не оказалось ни сцены, ни зрителей, словно "Битлз", Нил Янг и Элтон Джон были растворены в парижском воздухе.

На углу сидел японец, окруженный всяческими устройствами, с железным каркасом на плечах, поддерживавшим губную гармошку, с гитарой на коленях. Я не сразу понял, что перед нами решение загадки. Этот японец был настоящим, реальным Орфеем Парижа. И если при исполнении "Heart of Gold", он не дул в гармошку, то изо рта все равно выбивалось облачко пара, как будто наружу рвалась его душа.

Некоторое время мы не могли отвести глаз. Я отдал ему оставшиеся у меня франки и испытал при этом глубокое удовлетворение. Счастье и равнодушие были похожи друг на друга, как две капли воды. Можно было остаться или уехать — все было хорошо.

Твой Хайнрих.

Понедельник, 12.2.90

Дорогой Йо!

(Возможно, главное в жизни — подобрать себе нужный макет.) Я даже не догадывался, что это такое! Лишь когда я увидел, как легко считать статьи, переносить их на макет, я снова поверил, что у нас все получится. Макет — это наша карта, наша конституция, наш Отче наш. Макет (Йорг говорит "оригинал-макет", а Георг — просто "макет") мешает тебе быть несправедливым и делать собственные предпочтения, ничего нельзя выставлять напоказ, задвигать в конец или забывать. Макет — это цивилизация и право, это вежливость и приличие, воспитатель, дарующий тебе свободу.

Работа переросла в оргию. Необходимость сдать в срок была сильнее любой воли, любых моментов и исключала всякую усталость. Нами завладел какой-то демон, существо о трех головах и шести руках. Наверно, такое же опьянение чувствует операционная бригада. Лишь теперь я сознаю, каким чудом является газета без пустых мест.

Однако предшествующие дни были сплошным кошмаром, наш корабль чуть не опрокинулся, сходя со стапелей. Мы утопали в материале, а страницы оставались пустыми. Хуже всех был Георг, который забраковывал все, даже свои собственные статьи. Для первого номера нужно было что-то особенное.

Когда и Фред выразил свое мнение — читательский гнев обрушится в первую очередь на него, главного по сбыту, — Йорг выставил его за дверь. Воскресным утром в папке лежала лишь страница Яна Стена. Остальные одиннадцать еще предстояло заполнить. Франка, жена Георга, пошла с детьми в церковь, чтобы Георг мог в гостиной шлифовать свою статью о заправках, Йорг еще раз переписал передовицу, а я рылся в словаре (теперь знаю, как по-французски пишется "мизансцена") и следил за печью. Фред уехал в Оффенбург за фольксвагеновским автобусом. Накануне он постелил линолеум в комнате напротив. Она будет нашим вторым рабочим помещением.

Ближе к одиннадцати раздался звонок в дверь. Трое мужчин пришли к Георгу и Фреду, у них договоренность, они познакомились на рынке. Друг за другом повесили они свои длинные пальто в прихожей. Их невысокий предводитель сморщил нос и сразу засуетился: ему надо было все пощупать, все подержать в руках. Почтовые весы под его пальцами пришли в неистовое движение. Он похлопал по печной плитке и по столу, ногтем большого пальца проверил на прочность спинки стульев.

Его наряд — коричневые вельветовые брюки, темно-зеленый пиджак, желтая безрукавка — вызывал уважение, в отличие от нарядов его лакеев, разодетых в сиреневый и темно-красный.

Когда я спросил предводителя, кто *он* по профессии, он поднялся и с многочисленными извинениями бросил на стол свои визитные карточки, словно выбирал козырей. Следом легли два туза. Я имел дело с директором и двумя редакторами гиссенской газеты.

Пока они разговаривали, я принес из кладовки наш макет и накрыл им всю поверхность стола. Я так тщательно раскладывал фотографии и статьи на моих страницах, будто собирался преподнести их в подарок. Наконец, я взял план макета и взглянул с уверенностью, что завершил свой обманный маневр.

Директор сгорбился, раскинул руки в стороны и прокричал: "Свинцовый набор! Вы работаете со свинцовым набором?!" На миг мне показалось, что волосы на его руках встали дыбом. "Вы даже не знаете, что это такое", – обратился он к своим лакеям, улыбнулся мне и провел рукой по белым листам, его подбородок указывал на план макета. "И так это будет выглядеть?"

Я кивнул.

"Прекрасно, прекрасно, – промолвил директор и начал задавать мне загадочные вопросы: например, сколько пунктов в заголовке и подзаголовке. Отвечал он, к счастью, каждый раз сам: "Значит, двадцать два или восемнадцать и двенадцать подзаголовок. А шрифт? Значит, восемь". Мы оба вперились в расстелившееся перед нами широкое белое море.

– Я забыл спросить разрешение, – внезапно обернулся он, – вы ведь мне позволите?..

– Разумеется, – ответил я и снова устремил взгляд за горизонт. Йорг безостановочно колотил по клавишам.

Директор снял пиджак и властно протянул вперед руки. Его холопы услужливо подскочили к нему и отстегнули запонки. Он закатал рукава со знанием дела. И вдруг его руки воспарили над макетом, понеслись, как стрекозы над водой, туда-сюда, застывали на миг, а потом снова чертили незримый узор.

Он потребовал карандаш, типографскую линейку и калькулятор ("Бумажка тоже сгодится"), отступил на шаг и начал.

В следующий час я научился тому, чем можно заработать кусок хлеба: ремеслу. И впервые после окончания школы решил уравнение с одним неизвестным.

Директора не интересовали отглагольные существительные и спряжение глаголов, четкость и удобоваримость формулировок, он спрашивал лишь о количестве знаков и строк, к какой статье относится та или иная фотография, где сделать две, а где три колонки. Теперь его руки превратились в мышей, юркающих по бумаге.

Моя статья о садовнике Диппеле была на дважды шесть строк длиннее, чем надо. Я сократил ее и ужаснулся тому, насколько легко мне это далось. Директор тут же распорядился о новом сокращении.

Во мне снова забурлила жизнь. Страница была готова. Директор уже хотел взяться за следующую, как пришел Георг и пригласил всех, в том числе и гиссенцев, к столу. Отчего адъютанты позабыли смысл вытянутых вперед рук начальника. "Запонки!" – прошипел тот, и оба принялись рыться в карманах своих пиджаков.

Сначала я подумал, что мы управимся к восьми вечера. Надо же было только считать и выбрасывать лишнее. Пробило десять, пробило двенадцать, час, три. Около четырех мы сложили страницы в папку. Больше всего мне понравился процесс уборки. Георг чистил печку, Йорг – электрическую машинку. Наконец, мы уселись перед папкой, как будто ждали, пока наше дитя заснет.

Послезавтра поедем читать корректуру.

Обнимаю, Э.

P. S. Вера просила передать тебе привет. Звонила из Бейрута. Ее свекровь (с красивым именем Афина) заболела и противится поездке в Берлин. Нико-

ля подумывает закрыть свой магазин в Берлине, чтобы продолжить дело покойного отца. Дом сровняли с землей. Но наиболее ценные вещи сохранились во время разрушений и ограблений в подвале. Мать и сын считают это чудом и знаком. Какую роль они собираются отвести Вере, неизвестно никому — во всяком случае, ей. А поскольку моей сестричке становится дурно, когда она перестает чувствовать себя пупом земли, я стараюсь как можно чаще признаваться ей в любви. Впрочем, непонятно, доходят ли вообще до нее мои письма. Если хочешь, попробуй: Madame Vera Barakat, Beirut, Starco area, Wadi Aboujmil, the building next to Alliance College — 4th floor[1].

Вторник, 13.2.90

Дорогой Йо!

За эту неделю у меня случилось столько встреч, в том числе и странных, сколько прежде не было за год. Позавчера[2] я сидел над статьей о питомнике (питомником ему еще предстоит стать, пока это дикий зверинец, скорее, даже псарня Народной полиции). Материала у меня было достаточно, и заголовок был, но слова никак не шли. Получалось либо жалостливо, либо цинично. Мне надо было тысячу пятьсот знаков, не больше! Прошел час, а я еще не написал ни одного нормального предложения. Как будто меня заколдовали. Когда я собрался подложить дров, огонь в печке уже погас. Пахло "мокрой псиной". Я помыл руки, понюхал мусорку, глянул за машинку, выругался. Как только я опустил пальцы на клавиши, "мокрая псина" вернулась.

Ночью мне непрерывно снились сны, и под утро я чувствовал себя разбитым. Днем у меня были встречи в Мойзельвице и Луке, я собирал новости по деревням и угостился ромашковым чаем винтерсдорфской секретарши.

Вернувшись в редакцию, я обнаружил на своей полке фотографии, в том числе те, что я сделал в питомнике. В печке еще тлел огонь. На этот раз я набил ее поленьями, будто собирался остаться на ночь, и сел за машинку.

Глаза разболелись. Время от времени меня прошибал пот. Холод уходит из тела, думал я, и от этой мысли мне становилось легче. А потом — это звучит таинственней, чем было в действительности, — у меня возникло смутное ощущение, что сзади кто-то осторожно надевает на меня шляпу.

За столом сидел человек (когда дверь не закрыта, посетители не задумываются о том, что рабочий день давно закончился), которого я откуда-то знал, с которым было связано что-то приятное, не очередной краевед.

— Не тревожьтесь, пожалуйста, — весьма любезно проговорил он и поприветствовал меня легким поклоном. — Я покорнейше буду ждать, я один виноват, что мы разминулись, пожалуйста, продолжайте. — Он ска-

1. Мадам Вера Баракат, Бейрут, Старый район, Вади Абуймил, здание рядом с коллежем "Альянс", 4 этаж (*англ.*). (*Прим. перев.*)
2. Датировка этого письма спорна. Однозначная классификация невозможна. Т. явно перепутал числа. "Позавчера" было воскресенье, т. е. тот день, когда они допоздна работали. Более ранняя дата также сомнительна. Если он писал его в среду или четверг, это вызывает ряд противоречий. Скорее всего, оно написано в четверг утром, хотя странно, что он ни словом не обмолвился о выходе первого номера.

зал это так, словно я мог спокойно не обращать на него внимания и печатать дальше.

— Мы условились в двенадцать, — продолжил он, чтобы вывести меня из затруднительного положения, — надеюсь, мое отсутствие не доставило вам неудобств. Я целиком и полностью в вашем распоряжении, когда бы вам ни заблагорассудилось. — Заблагорассудилось! Он постоянно употреблял слова, которые, судя по всему, мог выговорить только с поклоном.

— Надеюсь, мне не придется опасаться бестактностей! — воскликнул он, как мне показалось, с английским акцентом. — В литературе и вечности я ничего не смыслю! У меня иное видение!

Я понятия не имел, о чем он говорит, и решил, будто что-то упустил.

Ему только хотелось сказать, поспешил он объясниться, что хорошо, когда людям, ставшим героями статьи, не приходится читать напечатанное. Поневоле обращаешь внимание то на одно, то на другое из распространяемого о нем. Часто сами журналисты — немногие из тех, кто называют себя так, заслужили это гордое звание — принуждают его читать и потом удивляются... он махнул рукой, но уже через мгновение между пальцами у него оказалась визитная карточка — "лучше лишняя, чем ни одной", — и он пододвинул ее мне.

Клеменс фон Барриста — белые буквы на черном фоне. Больше ничего. Я вспомнил, что где-то уже слышал это имя.

Ты, конечно, не сможешь представить себе Барристу, пока я не предъявлю тебе описание его глаз: по сравнению с его очками, твои — стекло оконное! Большие глаза смотрят исподлобья, как будто впиваются в шпиона. Черные усы отчасти прикрывают его заячью губу и, как и смоляные волосы, еще более оттеняют белизну угреватой кожи. Со своим внешним видом он явно смирился — неуверенности нет и следа. Он немного отодвинулся от стола. Круглый живот обтягивала белая рубашка.

Чем дольше я заглядывал ему в глаза, тем меньше знал, что мне делать. Тогда Клеменс фон Барриста поднялся и сказал что-то вроде: "Ничего не поделаешь" и протянул мне на прощанье руку. О чем я только думал?!

— Присаживайтесь, — быстро проговорил я. — Располагайтесь поудобней.

Барриста задумался, окинул взглядом редакцию и, снова усевшись, заговорил на таком невообразимом немецком, что я не смогу его передать. Он посмеялся над жесткостью наших стульев, он считал хорошее кресло "отличительным признаком" разума, рвущегося к деятельности разума, и пропел хвалебную песнь роскоши, возрождению человека из духа роскоши. Его арго достигло апогея в следующей сентенции: "Красота кажется красивой, добро может быть и добрым, но лучше, когда лучше!"

Я счел его намеки неуместными, снял мягкое сиденье со стула-вертушки и предложил ему. "Роскоши у нас немного", — сказал я.

Он совсем не то имел в виду! Это цитата, которой он хотел сделать мне комплимент.

— Что вам угодно? Чем могу быть полезен? — спросил я, чувствуя, как мне передаются его напыщенные манеры.

Клеменс фон Барриста бросил на меня такой взгляд, словно смотрел сквозь толщу морской пучины, слегка поклонился и произнес совершенно без акцента: "Вы намеревались объявить мне сегодня свое решение!"

После поклона, скопированного у него, я возразил, что мы впервые встретились во вторник[1], на псарне Народной полиции, где мы, к моему сожалению, лишь перебросились парой фраз и разошлись, не условившись о встрече...

— Вчера вечером я разбил у вас левое колено, — вспылил он, — из-за отсутствия света, которого нет и сейчас! Мы ужинали здесь, и я сделал несколько предложений. Вашу газету, — он снял очки и принялся массировать глаза большим и указательным пальцами, — мне порекомендовали!

Я с сожалением признал, что мне об этом ничего не известно.

— Так, значит, вы вовсе не господин Шрёдер? — он снова уставился на меня сквозь стекла очков.

Я представился, снова упомянул о нашей встрече у полицейских и хотел выйти, чтобы зажечь в коридоре свет, когда он остановил меня, резко подавшись вперед.

— Дело касается визита наследного принца!

Наконец-то до меня дошло! Конечно, я знал о посланнике принца! Барриста — знакомый, если не поклонник Веры! Только представлял я его себе совсем иначе!

— Нас предупреждали о вашем приходе — и, разумеется, о взаимных ожиданиях наилучшего, — поспешил извиниться я. Вскочил и почувствовал, как это признание лишило меня сил, насколько трудно мне стало говорить. И сразу понял, что могу что-то испортить, что-то очень важное. Разве не проскользнула у него улыбка от моих "взаимных ожиданий наилучшего"?

— Ну, теперь-то он больше не придет! — вздохнул он и начал рыться в кармане брюк. Прежде чем я успел спросить, кого он имеет в виду, Барриста извинился. "О, пардон, пардон! Уже поздно". Он пристально взглянул на часы, у которых не было ремешка. "Без десяти двенадцать", — проговорил он, подавив зевок.

— Без десяти двенадцать?

— Сначала я полагал, — сказал он, не обратив внимания на мое удивление, — будто ваши глаза блестят от воодушевления. Но, дорогой господин Тюрмер, вам надо беречь себя. Позвольте мне забрать вас с собой, довезти вас до дома.

Я махнул рукой в сторону окна.

— У меня тоже есть... — все, что мне удалось выговорить. Имея в виду машину.

— Тогда позвольте хотя бы проводить вас на улицу, — из прежде не замеченного мной портфеля он достал две красные, уже порядком обгоревшие свечи и, сведя фитили, щелкнул зажигалкой.

Со свечкой в каждой руке и портфелем под мышкой он был похож на рождественскую фигурку из мыла, взглянувшую на меня своими синими, как море, глазами. Ты знаешь мою слабость к учтивым людям, но я не смог сдержать улыбки. Он подождал, пока я соберусь. Прежде чем выключить свет, я заметил, что воск течет по рукам Барристы и капает на пол. Я открыл сначала дверь в приемную, потом дверь в переднюю и нащупал выключатель.

1. Возможно, имеется в виду вторник предыдущей недели.

– Почему вы не доверяете мне? – спросил он. И впился в меня взглядом. Выключатель щелкнул – и ничего. "Ничего страшного, ничего страшного", – воскликнул Бarриста и поднял свечи повыше. Я был пристыжен и взбешен – взбешен тем более, что мысленно уже слышал отговорки Фреда.

– Я уже привык, что на Востоке надо быть ко всему готовым. – Он снова вежливо поклонился, потому что не мог пропустить меня вперед. – Умение обходиться с людьми – это целое искусство, настоящее искусство. – Уверенно ковыляя передо мной, он нес горящие свечи как можно дальше от тела. – Работать тоже надо учиться, не надо считать себя исключением! – Открыв входную дверь, он придержал ее локтем. Сквозняк задул свечи. Однако Клеменс фон Барриста продолжал идти в тусклом свете фонарей, словно по-прежнему освещал путь. Тут на церкви Мартина Лютера забили колокола. Мгновение спустя фонари погасли. Недолгое мерцание, и ночь поглотила Барристу.

Еще мгновение я слышал его шаги и английскую песенку, дважды прокричал ему "До свидания!" и ждал, что вот-вот увижу огни его машины. Но было темно, и, когда отзвонили колокола, кругом воцарилась мертвая тишина.

Спал я без задних ног.

Энрико.

P. S. Когда я сегодня пришел в редакцию, Йорг уже обо всем знал и спросил, что я думаю о Барристе.

– Своеобычен, – сказал я и хотел поправиться. Не люблю это слово. Но Йорг сразу со мной согласился. – "Своеобычен" – иначе, наверно, и не скажешь.

– Как бы то ни было, – сказал он, обращаясь к Георгу, – Барриста хочет заполучить нас! Нас, и никого больше!

Йорг около восьми утра приехал в "Венцель" и позавтракал там с Барристой – "почистил яйца", как он выразился. Барриста не только рассказал ему истории других постояльцев, но и спародировал их жесты и манеру общения. Йоргу было смешно "до чертиков".

То, что Барриста рассказал о наследном принце, заставляет Йорга при всей надлежащей осторожности ожидать визита пожилого господина с величайшим любопытством. Единственное условие Барристы – "разумный исход выборов".

Когда пришел Фред, я потребовал от него объяснений. Он развернулся и, оставив двери открытыми, зажег свет. Передняя купалась в непривычно ярких лучах. Фред утверждает, будто поменял лампочки еще вчера утром, и это заметили все, кроме меня...

С надеждой, что хотя бы ты мне веришь!

Твой Э.

Суббота, 17.2.90

Дорогой Йо!

Я снова напечатал твое имя, но тот человек, который писал последнее письмо тебе, даже тот, кто два с половиной дня назад вышел на рынок с пачками газет, кажется мне сегодня инфантильным чужаком. Не

жди божественных откровений! Все было более чем обыденно. Ту газету, которая при чтении корректуры казалась мне чем-то далеким и загадочным, я теперь листал, утешаясь хотя бы тем, что в ней нет пропусков. Промедление было смерти подобно. Водители ждали еще с обеда. Добровольцы со времен "открытого текста" поделили между собой территорию распространения. Телефон трезвонил не переставая. Мне не удалось даже допить открытое по настоянию Йорга шампанское. Роберт получил от Георга кондукторскую сумку с горстью десятипфенниговых монет. Я перекинул через плечо мятую сумку из лакированной кожи. И мы помчались — каждый с двумя пачками по двести пятьдесят экземпляров — под моросящим дождем.

На рынке, неподалеку от Шпоренштрассе, мы бросили пачки на землю и принялись массировать онемевшие пальцы, исполосованные сине-красными линиями. Пять торговых палаток жались друг к другу, словно страшились широты рыночной площади. Ближе всего к нам располагался продавец овощей и фруктов. Ценники над его райским изобилием были столь же велики, сколь и излишни. Названия экзотических фруктов, которые он выкрикивал, с таким же успехом могли быть названиями восточных пряностей. Истинное волшебство заключалось в помидорах и огурцах, грушах и винограде. Редкие прохожие едва ли могли служить поводом для его криков. Натренированность его голоса доводила искусственность всей сцены до абсурда. Он мог бы и арии петь.

Я попытался развязать узлы на пачке, не выпуская из виду никого из приближавшихся к нам людей. Ждал, что все без исключения будут останавливаться и спрашивать, не продаем ли мы новую газету "Альтенбургская неделя". Роберт не сводил глаз с моих рук. Его сковала такая робость, что ему даже в голову не пришло одолжить мне свой перочинный ножик. Потом он послушно дал повесить себе на руку стопку газет. Я встал рядом с ним и развернул "Неделю", держа заголовок на уровне глаз.

Когда первые прохожие не обратили на нас внимания, я посоветовал Роберту самому заговаривать с ними. Надо же называть, что предлагаешь. Теперь вместо того чтобы открывать рот, он, как неуклюжий официант, при появлении людей выставлял руку с газетами далеко вперед. Михаэла считала, что безответственно "приучать его к детскому труду". Но теперь отсылать Роберта было слишком поздно, он должен был выдержать это.

Под конец мне не осталось ничего другого, как показать ему, что надо делать. Я никого не пропускал. Приближался к людям, улыбался и заговаривал. Даже отдаленным прохожим не удавалось проскользнуть мимо. "Вы уже знаете о новой "Альтенбургской неделе"?" — громко осведомлялся я. Никто не останавливался, никто не покупал. На меня даже не смотрели. Накануне большая статья о нас вышла на страницах "ЛНГ"[1]. Даже они уделили нам внимание.

Время от времени покупали бутерброд с рыбой. Не знаю, что бы я чувствовал, будь я в одиночестве. Присутствие Роберта угнетало меня.

Вдруг к нам подошла какая-то старушка с раскачивающейся из стороны в сторону сумкой и поинтересовалась, что это у нас такое.

1. "Лейпцигская народная газета".

— Ну-ну, — проговорила она, рассматривая первую полосу. Ее пальто было неправильно застегнуто и криво висело. "Ну, дайте, что ли". Рука старушки по локоть нырнула в сумку. Я попросил девяносто пфеннигов и вытащил газету из середины стопки. Она ковырялась в мелочи указательным пальцем, пока не нашла одну марку. Я положил ей в протянутую руку десять пфеннигов. Свернув газету и убрав ее в сумку, она взглянула на меня так, словно хотела понять, с кем имеет дело, и ушла, бросив громкое "до свиданья".

Вот оно, подумал я. Успех подстегнул меня. Мне потребовались новые. Марку я отдал Роберту.

Вскоре мне снова повезло. Худощавый мужчина с гладкими черными волосами протянул мне марку, махнул рукой, когда я достал десять пфеннигов, и так мило улыбнулся, что глаза его исчезли в кошачьем прищуре.

После чего я утратил способность мыслить, подошел к двум женщинам и спросил, есть ли у них "Альтенбургская неделя", новая газета альтенбургской земли. Я обращался к младшей. Она полезла за кошельком, когда ее спутница, одетая в черное, хлопнула тыльной стороной ладони по газете и воскликнула: "Девяносто пфеннигов? Девяносто пфеннигов!"

— Девяносто пфеннигов, — повторил я и потянулся за маркой, лежавшей на ладони смирившейся.

— Это все глупости! Глупости!

Рука медленно сжалась в кулачок, совсем хрупкий, едва ли не фарфоровый.

Бешенство и отчаяние завладели мной.

Ах, Йо! Тебе не понять, как я мог стать посмешищем из-за какой-то ерунды. Но вдруг все всплыло в памяти: последние полгода, страх, отчаяние, упреки, кошмар театра, кошмар больничной палаты, мать, Михаэла, Вера, отсутствие опоры. И рядом Роберт, усевшийся на пачки, на тысячу газет!

Я потерял всякий стыд! Даже не сообразил сперва, откуда взялся ритм, в котором я начал скандировать: "АЛЬ-ТЕН-БУРГ-СКА-Я-НЕ-ДЕ-ЛЯ!" Я колотил, стучал, бил в спину черной женщины каждым слогом своего хорея. Я делал это для Роберта, для себя, для Михаэлы, для Георга и Йорга, для матери, для Веры, для города, для всей страны. После каждого выкрика становилось легче дышать. Кто-то сунул мне под нос двухмарковую монету, попросив две газеты без сдачи. И Роберт тоже продал свой первый экземпляр. За короткое время у нас ушло пять газет. Словно наверстывая упущенное осенью, я кричал "АЛЬ-ТЕН-БУРГ-СКА-Я-НЕ-ДЕ-ЛЯ" в такт "РАЗ-РЕ-ШИ-ТЕ-"НО-ВЫЙ-ФО-РУМ"! Это была моя революция!

Продавец фруктов явно почувствовал конкуренцию и ответил сиреноподобным завываньем.

Я всегда боялся, что наша затея может провалиться из-за отсутствия лицензии, из-за типографии или транспорта, из-за нашего неумения. Но о продаже я и не задумывался! Если я ошибался в таких вещах, то и остальные мои расчеты подвергались сомнению. Больше всего мне хотелось рассказать миру, что мы привезем в Альтенбург наследного принца. Да, внезапно мне захотелось, чтобы рядом оказался этот загадочный Клеменс фон Барриста. По какой-то причине мысли о нем утешали меня. Но я не проронил ни слова, и люди проходили мимо, словно я был невидимкой. Зато потом...

Я так привык к фруктовой сирене, что поначалу ничего не заметил. Но что-то все-таки изменилось. Она горланила: "Неделя"! Еще как горланила! "Нееделяяя! Нееддelляяя! Аальтнбургская недееeля!" — продавец ставил ударение на первый слог, проглатывая второй, и вздымался из бездны сиреноподобным "яяя" на третьем, чтобы снова низвергнуться в нее на "а" "Альтенбурга". Затем следовало недвусмысленное призвание "Покупаем, покупаем!" и беглый речитатив "Всего за девяносто пфеннигов! Всего девяносто пфеннигов за... Аальтнбургская недееeля!" Конец сразу становился началом: А — Е — Я разносилось над альтенбургским рынком.

Город медленно начал оживать, словно крик продавца фруктов прогремел от северных до юго-восточных районов[1].

Меня окружила толпа женщин — все покупали и слышать ничего не хотели о сдаче. "Вам нужнее", — говорили они. Одна из них узнала во мне "господина Тюрмера из театра, который еще в церкви выступал".

Тогда же — сначала я решил, что кричит женщина, — я расслышал голос Роберта: "Недееля, недееля!"

Больше не надо было ничего говорить, люди покупали сами.

Под конец настолько стемнело, что я едва различал лица. Сдачу я выдавал вслепую, купюры засовывал в карман. Ступни у меня заледенели, пальцев я уже не чувствовал. Сумка из лакированной кожи тянула шею. И как ты думаешь, кому я продал последний экземпляр? Вот именно, Клеменсу фон Барристе. Однако, похоже, он не узнал меня в темноте. Или это я обознался?

Роберт еще торговал. Лишь по улыбке, которую ему не удалось сдержать, я догадался, что он заметил меня. Эрвину, фруктовой сирене, благодарности были не нужны. Он дал мне бумажку с объявлением. Чтобы мы печатали его раз в неделю — и протянул мне сотню дойчмарок! Мы оставили ему газеты Роберта, он хотел раздать их дома в Фюрте.

С пустыми руками двинулись мы в обратный путь, при каждом шаге карманы били нам по бедрам. Тысяча — это рекорд, двадцатая часть тиража. За четыре часа Роберт заработал девяносто марок (по двадцать пфеннигов с экземпляра) и еще чаевые.

Йо, дорогой мой! Это такое счастье, когда продаешь то, что сделал сам! Моим лавровым венком стали листья дуба на каждой монете!

Твой Э.

P. S. Ваш экземпляр придет бандеролью. Фотографии, к сожалению, вышли очень темными.

Среда, 7.3.90

Дорогой Йо!

Вера иногда звонит из Бейрута. Из крошечной кабинки, связь в последний раз осуществлялась через Нью-Йорк. Я стою, прижав трубку к уху, посреди редакции — и, как правило, не в одиночестве. Истории, которые Вера слышит, ужас, который она видит, инвалиды, разрушенные

1. Районы новостроек, в которых живут соответственно пятнадцать и пять тысяч человек.

здания посреди пальм, баррикады, а дома упрямая свекровь и нерешительный Николя, вся эта безнадежность — я даже не знаю, что ей сказать. Письма мои до нее не доходят, потому что почта не работает. Хотя французский сыр, коньяк и другие деликатесы продаются на каждом углу. Надеюсь, она скоро вернется.

В редакции спорят только по поводу объявлений. Георга в этом деле не переубедить. За счет объявлений к нам возвращается примерно та же сумма, которую мы теряем на падении продаж. Но Георг утверждает, будто мы теряем читателей именно потому, что печатаем объявления. Он вошел в раж: мы, дескать, не держим наших обещаний и отказались — ни себе, ни людям — от наших истинных намерений.

Впрочем, когда каждый сказал свое, спор прекратился. Илона просунула в дверь свою головку и сообщила, что господин фон Бурриста уже несколько раз звонил и спрашивал, в каком году каждый из нас родился.

Он еще ни разу не видел этого типа, вскричал Георг, все время этот Барриста, везде Барриста, Барриста! Пусть засунет себе свой год куда-нибудь поглубже! Йорг быстро успокоил его, напомнив, какие возможности откроются нам с приездом наследного принца. Кроме того, он познакомится с Барристой вечером.

Ровно в восемь мы вошли в "Венцель". Тут дверь лифта открылась и перед нами появился Барриста.

У него была надежда, поведал нам Барриста в лифте, что "ОН мог бы здесь поселиться: княжеский люкс! Звучит неплохо! Но исключено. Здесь ОН не задержится". Мне же люкс, в который Барриста открыл дверь, напротив, показался роскошным. Армада трехрожковых канделябров окрашивала стены в медвяно-золотистый цвет. Медвяным золотом светилась мебель, медвяным золотом сверкали столовые приборы, даже воздух, казалось, приобрел этот редкий золотистый оттенок.

— Пчелиный воск? — спросил Георг.

— Браво! — воскликнул Барриста. — А знаете, откуда я получаю эти свечи? Из Италии, предмет церковного обихода!

Музыкальный центр поражал воображение; мы стояли посреди оркестра, игравшего Генделя.

— Вот дерьмо! — сказала официантка, которая, судя по всему, долго стояла перед зеркалом и тщетно взбивала прическу, а теперь несколько раз мотнула головой, чтобы они упали на плечи. Она по очереди поздоровалась с каждым из нас, улыбка превратила ее щеки в два холмика, из-за которых хитро поблескивали глаза. Белая блузка была надета навыпуск, но все равно было видно, как сильно врезается в тело пояс юбки. Я знал эту женщину, только не мог вспомнить откуда.

Барриста призвал нас не стоять истуканами, еще надо было много чего успеть.

"Давайте выпьем, шампанское лучше пить ледяным!" После небольшого тоста за совместное будущее и удачу нашего предприятия, Барриста со всеми чокнулся. Когда настал мой черед, мы смотрели друг другу в глаза дольше обычного, то есть я заглянул в то большое и черное, что расплывалось за стеклами его очков.

Дорогой мой! Если бы ты там был! Один лишь первый глоток шампанского — смешно сказать: оно искрилось, оно пенилось. О нет, эта влага едва касалась неба и языка и испарялась, переходя в нечто еще бо-

лее легковесное. Как жаль, думалось мне, его уже нет — и лишь тогда ощущал внутри себя сильный холод, да, на какие-то мгновения я сам состоял лишь из этого ледяного вкуса. Проколотый иглой, я словно наблюдал себя под микроскопом, чувствуя, как эликсир перетекает от клетки к клетке.

Тихо было, как во время молитвы. Вздымание бровей, причмокивание, похвалы — все это было бы пошлостью, святотатством. Барриста тоже предался мистерии и вслушивался в себя. И тут я впервые понял, почему разбивают бокал. Прости мне этот пафос, уже во втором глотке появилась капелька обыденности.

Официантка поставила между нами серебряное блюдо, из середины которого выныривал дельфин, а вокруг разлилось море льда, с лежащими на его поверхности двенадцатью скукоженными — как мне показалось — черными ракушками, а также дольки лимона и блюдечки с соусом.

Барон читал лекцию, водя ладонью, как указкой. Сначала та серьезность, с которой он называл разные сорта устриц, их родину, их свойства, казалась какой-то трогательной, почти смешной. Но это ощущение вскоре исчезло. Сорта были разные: тихоокеанский, атлантический, антарктический и северо-французский.

— А теперь сделайте так, — Барриста управлялся какой-то причудливой вилочкой. — Раскрываем — лимон — соус, не слишком много — заглатываем! — Он и вправду заглотил ее. Вода в них, дескать, еще океанская.

Как только склизкая масса попала мне в рот, он воскликнул: "Жуем! Надо жевать, жевать, вы чувствуете?" Вкус был странноватым: как будто и не еда, но что-то само по себе вкусное, немного напоминающее орехи. Я позабыл об остальных (Йорг признался потом, что ему больше всего хотелось сплюнуть) и взял вторую. С устрицами дело обстояло совсем не так, как с шампанским. От второй я действительно получил удовольствие!

Барриста снова поднял свой бокал. Белое вино очищало и обогащало вкус. Я заглотил третью.

— Смотрите, как он разгорелся! — Барриста чокнулся со мной и поделил между нами остаток устриц.

Сегодня в шесть утра он съездил в Западный Берлин и отоварился в "избранных магазинах". Тем самым он, прежде всего, позаботился о себе.

— Продолжим! — воскликнул Барриста. — Тушеные гребешки!

Каждому подали по одному гребешку, сдобренному зеленью и темным соусом, — китайское блюдо.

— Вы будете удивлены, — возвестил Барриста следующее угощение.

Нам не стоило опасаться, это не десерт, а ничто, так ему нравится это называть, ничто, дающее отдых нашим вкусовым рецепторам, что-то вроде мятного мороженого — оно называлось иначе и не было настоящим мороженым. К этому блюду Барриста предложил закурить сигареты, напоминавшие наш "Восток".

— Наследный принц, — начал барон, — передает вам сердечный привет.

У Его Высочества — именно так следует к нему обращаться — нет иного имущества, кроме своей комнаты, и он ни в коем случае не имеет притязаний, на которые, да будет вскользь замечено, у него и нет никаких прав. Однако он всегда мечтал вернуться в то место, из которого ему пришлось уехать более семидесяти лет назад. Он, Барриста, говорит это не для того,

чтобы развеять возможные подозрения, куда больше он опасается, что с наследным принцем могут связывать ожидания и надежды, которые тот совершенно не в силах исполнить, как бы Его Высочеству этого ни хотелось. “В общем, — подвел итог Барриста, — нам нечего терять, кроме денег”. На этом предложении у него снова появился английский акцент. “Вам-то, разумеется, терять нечего, — сказал он, подняв бокал. — За потерю денег отвечаю я. Ваша роль заключается в том, чтобы помочь мне”.

Он сделал паузу и улыбнулся собственной сентенции. “Вы получите эксклюзивные права. Вот и все”.

— Что это значит? — поинтересовался Георг, вдруг показавшийся мне очень спокойным и рассудительным.

Барриста, явно обрадовавшись тому, что кто-то из нас открыл рот, развернулся, чтобы лучше видеть Георга, и разъяснил со свойственной ему склонностью к преувеличениям: благодаря нам, “Альтенбургской неделе”, город и земля Альтенбург впервые узнают о визите, к нам сбегутся политики, которые захотят разузнать побольше, у нас можно будет получить программу визита и пройти краткий курс придворного этикета, даже если наследный принц не придает ему большого значения. Пусть люди хотя бы постараются. В эту минуту официантка внесла четыре кочана салата — салат “Айсберг”, пояснил Барриста. К ним подали нарезанную ломтиками имбирную утку и два блюдечка со специальным китайским соусом. Барон оторвал лист от зеленого айсберга, намазал его толстым слоем коричневого соуса — он тут все равно самое вкусное — и голыми руками вложил два кусочка утки в салатный лист.

— Если б вы знали, как долго я этого ждал! Нет ничего лучше, — сказал он и надкусил бутерброд. — Совершенно ничего, — прошептал он, жуя. Соус капал на его салфетку.

Я воспользовался молчанием, чтобы, наконец, спросить, кто он по профессии. Я ведь понятия не имел, что творю. Он ошарашенно отпрянул. Без всяких шуток он спросил: “Может, вам еще налоговую декларацию показать?!” Я заверил, что, видит бог, не хотел обидеть его... “Не приплетайте сюда Бога!” — еще резче бросил он мне.

— Здесь так принято? — обратился он к Георгу, потом к Йоргу и, наконец, снова ко мне. — У вас спрашивают друг друга о профессиях?

Я растерянно сказал: “Да”.

Его можно было “кратко и метко” назвать консультантом по деловым вопросам, и это было бы самым простым описанием его жизнедеятельности. Вообще же он предпочитает не говорить о своей профессии, потому что тогда часто приходится пускать козла в огород. На несколько мгновений он углубился в размышления, пробормотал что-то и извинился за свою рассеянность.

На золоченом подносе нам принесли зубочистки. Барриста щедро обслужил себя, откинулся на спинку кресла и начал раскачиваться. Раскачиваясь взад-вперед, он продолжил свою речь.

Стать профессором в университете — одно из тех редких мечтаний, которое ему еще не удалось осуществить.

— Ах, — воскликнул он, — кафедра поэзии!

Словно не заметив нашего удивления, он, как настоящий профессор, повел нас за собой.

— О чем вы думаете, услышав “1797 год”? — спросил он.

— Год баллад, — сказал я.

— "Гиперион"[1], — сказал Георг.

— Прекрасно, — ответил барон, — но у нас тут не урок литературы.

— Наполеон, — воскликнул Йорг.

— Куда же без Наполеона. Но речь идет об Англии, о достижении, за которое весь цивилизованный мир должен поблагодарить Империю. Двадцать четвертого февраля 1797 года вышел закон, позволивший Банку Англии отказаться менять бумажные деньги на монеты.

Мы уставились на него.

— Ну, господа? Что было дальше?

— Инфляция? — спросил Йорг.

— Нет! — воскликнул Барриста. — Вовсе нет! Курсы пошли вверх! Сколь сомнителен Наполеон, ясно хотя бы из того, что он думал, будто это — конец английской стабильности. Наполеон, эта глупая сорока, таскал отовсюду, откуда только мог, драгоценный металл. Однако французские ассигнаты уже в апреле 1797 года стоили всего полпроцента! К тому же обеспечивалось все это церковным имуществом! И что же вышло?

Мы молчали.

— Где что-то есть, там ничего не будет! — возликовал Барриста. — А где ничего нет, что-нибудь да появится! Если это не поэзия, то я не знаю, что такое поэзия!

Его итоговое признание — он так любит работать с деньгами, поскольку нет ничего поэтичней стодолларовой банкноты, — показалось мне после этого вполне правдоподобным.

Барон позвал официантку. Она поспешила убрать со стола[2]. Барон сорвал державшуюся на воротничке салфетку, встал и принялся искать что-то по всему номеру. Ему передали корзинку. Содержимое скрывал белый платок.

— Господа, — проговорил он. — Я позволил себе сделать вам небольшой подарок. Это было нелегко, — он приподнял корзину, словно подразумевал ее вес, — я надеюсь, что полученная мной информация достоверна. — Он отошел на шаг — мне показалось, будто в корзинке что-то шевельнулось, — и сбросил платок. Поднялось облачко пыли. Перед нами лежали темные бутылки с заляпанными, рваными этикетками.

Как мы видим, объяснил нам барон, истинные признаки возраста сохранены. К подарку он присовокупляет скромную просьбу выпить с каждым из нас по полбокала.

Ах, Йо! Его нос едва не коснулся этикетки; словно новорожденного, вынутого из ванны, вытертого и запеленатого, достал он первую бутылку из корзины.

— Начнем с самого младшего, с вас, господин Тюрмер, — Шато Дюкрю-Бокайю шестьдесят первого года.

Я поднялся, он знаком велел мне сесть и вел себя так, словно мог видеть меня поверх очков. Он никогда без робости, даже без страха не открывал старых бутылок, ведь за одно мгновение обнаруживается итог работы десятилетий. Барон поцарапал своими коротенькими ногтями —

1. В 1797 году Гёте и Шиллер написали бóльшую часть своих баллад; в том же году был издан "Гиперион" Гёльдерлина.
2. Зачеркнуто: "не вымыв перед этим руки".

кажется, он их грызет, — по сургучу, которым была запечатана пробка. Против времени и химии, заключил барон, бессилен даже он.

Разумеется, любому ребенку известно, что вино может превратиться в уксус. Важность этого предупреждения прошла мимо нас.

Барон издал какой-то тявкающий смешок. Почти бесшумно вытащил он пробку из моей бутылки и принюхался к ней. "Поздравляю!" — сказал он и налил мне, немного, буквально на палец. "На здоровье", — сказал он и передал мне бокал. Я показался себе шарлатаном, когда, напустив степенность, принялся крутить бокал, нюхать и, по примеру барона, подносил его к губам. Я тщательно прополоскал рот и проглотил вино, отчего слизистая моя онемела. Вот оно, подумал я. Барон не сводил с меня глаз, все затаили дыхание.

Постепенно в меня начало проникать что-то земное — чужое и неприятное, предвестье воспоминания об ином бытии.

Я тебе не наскучил? У тебя эти слова не вызывают никаких воспоминаний. Уже шесть, мне сегодня еще читать корректуру в Лейпциге! Я немного сокращу рассказ.

Я плохо следил за тем, как барон описывал божоле пятьдесят третьего года. Когда я поднял глаза, он, раскрасневшись, пытался справиться с пробкой. Вдруг его щеки, уже готовые улыбнуться, обвисли. Он понял все, принюхавшись к пробке.

Георг пробормотал, что в таких делах всегда бывает доля невезения. Йорг выдавил из себя смешок. Ему не нравится год его рождения, поэтому он ничуть не удивлен. Боюсь, Йорга это огорчило сильнее, чем он захотел признать.

Георг, родившийся в пятьдесят шестом, отведал предназначенного ему бароло. Прошло несколько мгновений, потом он сказал: "Большое спасибо. Это было великолепно!"

Затем последовал благородный — во всех отношениях — шатобриан, а на десерт были шоколадный пудинг и итальянская водка[1].

Барон без передышки говорил о наследном принце, но ему так и не удалось скрыть своего разочарования. Неприятный момент испортил ему настроение.

Незадолго до полуночи мы покинули золотистый княжеский люкс. На улице Йорг спросил, чего же, собственно, хотел от нас Барриста. Я же, глядя на знакомый вокзал, спрашивал себя, где мы находимся. Чего мог хотеть Барриста? Понять, с кем он имеет дело! Если б каждый делал хотя бы половину того, что делал он!

Твой Э.

1. Вероятно, Т. имеет в виду граппу.

Дурс Грюнбайн



Стихи из книги "Строфы на послезавтра"

Перевод Алексея Прокопьева

Советская зона оккупации

1

Как было здорово, когда всё было скверно.
В руинах – дома́, и матрацы, дымившиеся под берёзами.
И детство в Дрездене, до вторжения в Прагу, наверно...
Чего не хватало, достроено снами и грёзами.

Таковы просторы в сжатом пространстве. По утрам всё серо.
И в мозг от сетчатки – мыслей туманные пенки.
Родиться? Скорее, укрыться от страшной химеры.
Кто хочет во льдах жить? Ну, чукчи, быть может, эвенки?

Пыль, чад или копоть – душа, в унынии с детства,
От грязных пейзажей вокруг, от печатного пресса, свинца,
Как тундра, пружинит, замёрзшая, некуда деться,
Покуда последний свидетель жив, и память шевелится.

2

И снова там живёшь, где ужас был летейский,
Вот фитнес-центр — “мост вздохов” бывший (ну давай!),
Ведущий в ад, где панков метелили полицейские.
Остались только рельсы и жёлтенький трамвай —

С рекламой меж дверей: компьютеры и куртки.
Дома всё те ж, но жизнь прибоем бьёт, в них не влезая.
Между лото-киосками на Александерплатц — борзая.
Закрашен серый цвет единства, стены — в штукатурке.

И мусор вовремя вывозят. Вот изнанка
Капитализма — раздолбайство называют забастовкой.
Где “Интершоп” стоял — стеклянной упаковкой
Сверкает стёклами фасад большого банка.

3

Здесь на ве́лике до леса не доедешь. До панелек
Трек асфальтовый ведёт. За ними бьёт в лицо,
От ГУЛАГа в стонах, степь, Россия, край метелей,
Вкруг Берлина, взятого Жуковым в кольцо.

Дверь ночами заперта. По звяканью ключей
И вслепую узнаёшь район свой. Нет, не белая рука,
Лунной ночью из кармана вынимаешь паука.
И песочница блестит, как солончак, бельмом очей.

Глянешь, в мысли погружён, на землю, ничего там:
Стайка дождевых червей, не материнский лик.
Монументы в парке осыпаются бетоном,
Шорк да шорк: истории неверный путь, тупик.

Детство в диораме

Странная с детства любовь — ко всему, что застыло.
Долго в музеях стоял он у витрин диорамы, глядя
На зверей, тактично расставленных по местам обитанья,
В первобытных лесах, в Гималаях —
с просторами в перспективе.
Словно заворожённые, навостряли уши косули,
И глаза их сверкали в неоновом свете, лишь подойди поближе.
В черепе неандертальца он видел пролом,
Но удара дубиной, нанесённого конкурентом
В борьбе за огонь, замечать не хотел.

Египетская мумия продержалась тысячелетия
С вынутым мозгом. Этот мамонт явился на свет
После отступления ледников. На булавки были
Наколоты бабочки размером с блюдце,
Ослепительной красоты. Однажды ему показалось,
Что крылья их затрепетали, словно вспомнив
О поваленных бурей деревьях, тропическом урагане.
Или это сквозняк по витринам прошёл.

Урок физкультуры

Класс перед шведской стенкой, по ранжиру,
Мальцы с гусиной кожей, на которых,
От холода дрожащих, “Ну-ка, смирно!”

Орал физрук. Мы звали его Боров.
Давно всё было. На физре, так рано,
Хотелось улететь в другие страны.

И вот мы здесь. На тридцать старше лет.
Инфаркт не пощадил, физрук — в могиле.
Но холодней нам не было и нет,

Чем в зале гимнастическом унылом.
Так кто ж сильней? Кто на турник разá?
Иль — в свой улиткин дом, закрыв глаза?

Н*евоспетое*

Александру фон Борману

По радио — Моцарт, а ты, дружок, ты как,
Когда сопрано слышишь соперницы там?
То в холод бросает тебя, то в жар?
Что ж, с музыкой возликовать — на это ты слабак.
На карте поэзии, ну как теперь ни шарь,
Нет белых пятен больше. Всё сказано. Всё хлам.
Найди вещь невоспетую, что воет, как собака.

Есть имя у всего. Но не всё удобно вслух.
Слова избиты, стёрты, наколоты на штырь.
Поэт-старьёвщик, в пепле обыденности тлей!
“Смеситель”, “унитаз”, “сифон”, “прокладка”, “пух.пальто”
Ты серебристым голосом произнести сумей!
Кто кран восславит газовый, какой такой упырь?
Но застревает в памяти, не выбьешь ни за что.

Под раковиной тряпка вонючая, лопух!
Кусочек ткани в клетку, что urbi нам et orbi[1]?
Иль банка с огурцами, ну как её туда,
Где современной барышней воздушный вензель вышит?
И с мусорным ведром такая же беда,
На вечер с ним ведь не пойдёшь, не принесёшь ведь в торбе.
Замызганная щётка. Но правды нет и выше.

Всё квакает не в такт. Раз! — в эфире звук исчез.
Как много в мире дыр! О, вещи, как невзрачны,
Неразличимы вы, невыразимы — triste[2]!
Всё из-за нас! Страдая зазря и понапрасну,
Вы в чёрный список внесены навечно и поштучно.
В душе ведь даже сфинктер споёт и спляшет твист.
Но с щитовидной железой по-прежнему неясно.

Узор Берлина

Привычка толстой кошкой сужает зрачки,
По улицам растрёпанным бредёт, шваль городская.
Свет в зале ожиданья как сквозь тёмные очки.
Все только тем и заняты, что жизнь прожигают.
Скучая, безработный, как рак на пляже, мозг
В свою возвращается назад коробчонку.
Не держит позвоночник. Визг тормозов
Удостоверит: жив ещё, туды тебя в печёнку!
От грубых столь приветствий, под лазурью высот,
Кончай уже все поиски другого места.
И воздух поганый, и дышишь через рот.
Берлин — ковёр потёртый, узор давно известный.

Три вокализа кризисного периода

1

Шумный район приглашает в Private, к тирадам,
Разговорам с собой: вариантов немного в быту городском.
Берёза, к примеру, — никогда не была ты дриадой.
Кто там идёт? Да знакомый. И этот знаком.

1. Города и миры (*лат.*). Отсылка к известной фразе "К Городу (Риму) и к Миру", которой открываются папские послания. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Грустно (*лат.*)

Прощай, наше *завтра.* Проститься — забыться.
День катится мимо. Без радости. Тупея.
Манихейское царство, память снимает границы.
И вздрагивает рука, написав *просопопея.*

2

Чёрные скелеты лип, там гнездо в разоре.
В кроне — люлькою колючей — веток, сучьев гать.

Лес коралловый среди волнения на море.
Небо рушится, зато радостно летать.

Взвихрись, Шуберт, Зимний путь, нотный лист увялый.
Время в темечко вопьётся? — что за разговор?

Слава те, земля сыта смертью. Лёд сковал их,
Лужицы. Скрип веток: до-диез-мажор.

3

Продолжим, что ли. В небесах глухие ходят рокоты,
Покойники нам воздают. Посланники тревоги
К себе самим приглашены. Земля в рулон скатана
Пред спутником своим нагим, тысяченогим.

И вот уж караваны, больны грядущим, буйные,
Сквозь метрополии ползут, словно пустыни. Странно —
Зелёную погранполосу песком замели дюны.
Всё реже нам является фея Моргана.

Н*едописанное*

Вольфгангу Каусену

Ну когда надоест? Что ещё ты хотел бы увидеть, негодный
Соумышленник времени, бегущего крошки-Сегодня,
Поправшего всё, что прошло? — Раз он такой всемогущий,
Как тебя не достал ещё этот цирк, этот священный ужас?

Глупо рот разевать, сколько людей — столько мнений,
Не достаточно ль, что ты есть, врагов и друзей дурной гений?

Где преткнётся нога твоя, когда вскочишь с постели? —
В гнезде осином.
И плевать на детали, результат ведь всегда единый.

Пойди в сауну, глянь на фауну, молви: как ты, такие же...
В облаках пара сидя, тела размягчают, и даже без неглиже:
Это Бога подобия, Казановы, в тату, в золотых цепочках.
Одиночество больше по мне. И совсем не смешно,
нисколечко.

Чёртов чад, оставляющий по себе бензиновый шлейф,
Вазелиновый след, лак для волос. Улитка,
здесь медлить не в кайф.
Но и это не всё. Ты — один из них. Так что наплюй,
Пожимай лишь плечами, пока не отсохнут.
Отсохнут — подклей.

Правда, есть ещё воздух. Просвет в небесах — редко — есть.
Вот куда бы шмыгнуть. — Ну когда тебе надоест?
Скоро День всенародной скорби[1]. Листья в кучках на улицах.
Осень.
И о чём могут люди скорбеть, если сами себя не выносят?

1. День народной скорби (Volkstrauertag) является в Германии государственным днем памяти. Отмечается в предпоследнее воскресенье ноября.

Аннетт Грёшнер



Мороженое "Московское"

Отрывки из романа

Перевод Екатерины Ивановой

От редакции

Аннетт Грёшнер родилась в 1964 году в Магдебурге, с 1983-го живет в Берлине. В 1983—1991 годах изучала германистику в Восточном Берлине и Париже, потом сотрудничала в журналах "Ипсилон", "Рабы", "Восстание рабов", в газетах "Франкфуртер альгемайне цайтунг", "Фрайтаг", "Тагесцайтунг". До выхода в свет ее первого романа была известна как организатор экспериментальных проектов, связанных с собиранием и литературной обработкой устных свидетельств. Издавала, например, школьные сочинения детей, написанные в 1946 году и рассказывающие о последних днях Второй мировой войны, воспоминания женщин из берлинского дома для престарелых, материалы по истории берлинского района Пренцлауэрберг, где до недавнего времени обитала художественная богема. В 2002 году ей была присуждена литературная премия имени Эрвина Штриттматтера за незаконченную тогда книгу "Контракт 903. Воспоминания о сияющем будущем", где собраны свидетельства людей, занимавшихся в 1990 году демонтажом Райнсбергской АЭС (книга была опубликована в 2003-м).

Роман *Мороженое "Московское"* автобиографичен в том смысле, что описывает среду, хорошо знакомую писательнице: она родилась в семье инженеров по холодильному оборудованию; ее отец, как и герой романа Клаус Кобе, после объединения Германии потерял работу, которой занимался всю жизнь. Но биографический материал переработан в сложное по жанру и структуре художественное произведение, написанное с противоречивой позиции "заинтересованного хрониста".

В первую очередь обращает на себя внимание сквозная метафора холода, метафора холодной войны, как считают многие критики. Холод — отсутствие тепла (внимания к человеку) и в гэдээровское время, и позже, в трудные для бывших жителей ГДР годы после объединения Германии. Проблема выживания человека в условиях царящего вокруг холода...

Героиня романа выступает в роли андерсеновской Герды: она приближается к ледяной головоломке *с любовью*. Вновь и вновь перебирает она обломки прошлого. Каждая глава — такой ледяной обломок, неслучайно и начинается каждая глава с цитаты из гэдээровского "Лексикона холодильной техники" 1950 года. В прологе к роману звучат слова: "Мы обменяли на деньги нашу историю..." Весь роман — восстановление истории (истории своей семьи прежде всего), ее собирание из обломков. Многие критики называют роман энциклопедией жизни ГДР или даже "микрокосмом распадающихся гэдээровских реальностей" (Карл Хайнц Отт, "Новая цюрихская газета"). А критик Анна Хан пишет: "Она (Аннетт Грёшнер) создает истории, которые, перетекая одна в другую, друг друга дополняют, но могут существовать и по отдельности" (рецензия "Замерзшее время").

В журнале печатаются отрывки из романа.

Моему отцу, которому не удалось заморозиться

Часть I
Пролог в промороженной комнате

ОДНАЖДЫ мы проснулись, и ничего не изменилось. Мы были в режиме ожидания. Мы ждали с момента нашего рождения. Автобуса, машины, ребенка. Мы ждали квартиры, письма, требования явиться в полицию в семь утра. Некоторые ждали бумаги, дающей им право навсегда покинуть страну. Другие ждали хоть маленького, но изменения, взрыва бомбы, смерти генерального секретаря. Посылки с Запада. Ждали существительного "любовь" или другого суррогата, который на мгновение позволял им забыть о том, что они вынуждены ждать. Мой отец ждал получения необходимого количества меди, чтобы довести работу над своим открытием до конца. Мы ждали хорошей книги, места в вузе, повода переехать в другой город. Мы ждали паспорт, так и не пришедший по почте, подругу, умершую за ожиданием. Мы ждали, что и сами однажды умрем. Дни медленно проходили – за ожиданием. Годо не пришел ни в девять, ни в десять. И в одиннадцать его тоже еще не было. Мы убивали время, читая. Мы читали все, что попадалось нам на глаза. Расписание скоростных поездов, которым требовалось не больше десяти часов на то, чтобы проехать по всей стране с севера на юг. Расписание самолетов, летевших в страны, в которые нам не давали визу. Мы ждали разрешения на выпуск школьного альбома для рисования, ждали послед-

ней статьи о значении сублимационной вакуумной сушки[1]. Мы ждали маленького поворота, может быть — легкого танцевального па или прыжка, который принес бы мировой рекорд. Вместе с нами ждали деревья, которые продолжали расти или, не выдержав испытания здешним воздухом, раньше срока теряли листья. Вместе с нами ждали птицы, которые осенью оставались в стране, но и хищники в своих клетках ждали, что один из сторожей отопрет ворота. Вместе с нами ждали утопии, кресла и станки. Время и пространство застыли. Нам было сложно проверить, действительно ли земля круглая; лишь просиживая целыми днями у нашего моря, мы при ясной погоде видели, что на горизонте сначала появляются мачты и лишь затем над водной линией постепенно вырисовывается корпус судна. Это, как нам говорили в школе на географии, было доказательством круглой формы Земли. Мы никогда не задерживались на отдельных странах незнакомой формы и цвета, мы старались как можно быстрее пролистнуть это место в учебнике, чтобы не возникло тоски по неизведанному, старались не останавливаться на странице 20, у гейзеров или в саванне; именно потому, что Земля круглая, мы за год вновь возвращались назад, к той серии глациальных пейзажей, в целостности которой можно было убедиться во время экскурсий. Горизонты были размечены. Солнце всходило на востоке и заходило на западе, и Принцесса Страны заходящего солнца была, наверное, столь прекрасной, что, взглянув на нее, человек ослеп бы в ту же секунду. Но она нам никогда не показывалась. С нами ничего не могло произойти, мы были в безопасности. Мы знали каждый свой шаг наперед. Мы знали наперед наши лица. Мы не могли избежать встречи друг с другом, потому что дорога шла все время по кругу, и рано или поздно мы снова встречались. Часы шли медленно и по размеченному пути. Мы были канатоходцами, а под нами простиралась страховочная сетка, которая казалась непроницаемой, но иногда кто-то, шедший впереди или вслед за нами, падал, исчезал между ее ячейками и лишь спустя много дней появлялся вновь, с замкнутым лицом. Иногда нам снился побег: замурованный вход в метро, который вдруг оказывался открытым и мог принять нас, решившихся на путешествие в неизведанное; нам снилась электричка, которая свернула на другой путь и поехала прямо вместо того, чтобы остановиться в тупике. Не дождавшись ее конечной остановки, мы просыпались, потому что это мог быть только сон, ибо нам нечего было предъявить на границе, никакого удостоверения личности. Во сне мы не смогли вспомнить свое имя.

Но вдруг появился выход. Маленькая дыра в заборе из колючей проволоки, действовавшая, как затягивающий водоворот. Сначала не бросалось в глаза, что кто-то из нас отсутствует. Что трамвай больше не ходит по расписанию. Что кафе закрылось на какие-то слишком долгие каникулы. Что очереди на получение документов стали длиннее.

Люди перестали приходить на намеченные встречи, и иногда мы ловили себя на том, что нас удивляет, если кто-нибудь, кого мы уже и не ожидали увидеть, вдруг вновь возникает на пороге. Люди задерживали отправление поездов, потому что боялись не успеть запрыгнуть в последний из них. Ведь когда-нибудь должен прийти этому конец. Они

1. Сублимационная вакуумная сушка — метод консервирования продуктов, соединяющий достоинства двух технологий: замораживания и удаления влаги. (*Здесь и далее – прим. ред.*)

ведь не дадут этому поезду курсировать до тех пор, пока и последние пассажиры не уедут в открытый мир, знакомый нам лишь благодаря радиоволнам, которые невозможно было перекрыть — ни глушителями, ни нарочно поломанными антеннами. Но и поезда остановить было невозможно, вдруг оказалось, что остановить больше нельзя ничего, прорвало запруду, и вообще не понять, на какой мы стоим стороне: на той ли, которой предстоит быть затопленной, или на той, где будет сухо. Внезапно часы пошли быстрее. Отчаянная попытка бюрократов, управлявших временем, остановить его с треском провалилась. Отныне стрелки крутились стремительно и заодно растягивали пространство, которое заметно расширилось. Вдруг все оказалось открытым во все стороны. Прямой путь от рождения к смерти разветвился. Словно кто-то запустил фильм с ускорением, словно Земля сошла со своей оси и начала быстрее вращаться вокруг Солнца. За год мы проживали десять, а может, и тридцать лет, которые оставляли следы на наших лицах. С лица власти слетела маска, эта мозаика из различных мер обеспечения безопасности, заборов и автоматов, перлюстраторов и огромных связок ключей. На свет вышло то, что мы в своих анекдотах уже сформулировали раньше, хотя и не знали наверняка: под масками скрывалась жалкая кучка ничтожеств. Но кто теперь должен был стать властью? Те, что прежде на кухнях громко произносили слово “революция”, не могли прийти к единому мнению по этому вопросу. Они и прежде не достигали единства, ведь было столько кухонь, на которых произносилось словечко “революция”, и каждая кухня понимала под ним что-то свое. Мы тогда так комфортно устроились в своем ожидании, что нам и в голову не приходило, что нужно будет что-то делать — когда-нибудь.

Однако во внезапно помчавшемся вперед времени было что-то живое, вот только мы постоянно входили в конфликт с людьми, чьи часы шли по старым европейским законам. Они не понимали, что три недели у нас равняются трем годам у них. Мы принимали изменения не настолько всерьез, чтобы вводить новые календари, и, быть может, это было первым знаком того, что произошла вовсе не революция и даже не восстание, а всего-то арест на 26 часов, во время которого инквизиция предъявила свои инструменты, чуть позже выставленные в музеях в качестве экспонатов.

Последняя отчаянная попытка власти отвлечь от себя внимание была подарком для нас. Нам разрешили идти, куда мы хотим. Мы пошли и стали рассматривать витрины. А из дверей магазинов выходили консультанты и предлагали нерешительным: “Зайдите сюда, отбросьте прочь вашу историю”. И те, кто столько времени чего-то ждал, теперь не могли больше медлить ни минуты. Они хотели жить так, как всегда представляли себе жизнь, — то есть иметь настоящие деньги, надежные купюры, тяжелые монеты, которые приводили в негодность наши кошельки. За одну ночь на витринах наших улиц поменялись все декорации, в ту ночь мы молча ходили от магазина к магазину и изумлялись. Это изобилие — здесь? На нашей улице? И теперь не придется ждать? Над городами воцарилась такая тишина, что провидцы говорили: быть буре. Мы обменяли на деньги нашу историю, больше у нас ничего не было. Они взяли эту историю и сложили из нее большие костры. Нам разрешили самим разжечь их нашими новыми зажигалками. Некоторые особо старательные упали туда, и с тех пор их никто не видел...

Глава 1

Anguilla anguilla L. (угорь обыкновенный)

Ввиду высокого содержания жира длительное хранение должно осуществляться при температуре не выше –20 °С. Криоскопическая температура крови: –0,57 °С.

Скоротать время мне помогает бабушкина печатная машинка. Она такая тяжелая, что чуть не упала мне на ноги, когда я доставала ее со шкафа в спальне. Прежде всего пришлось очистить ее от пыли. В ролик машинки был вставлен бланк института. Бабушка не напечатала на нем ничего, кроме даты: 7.10.71. Двадцать лет она не пользовалась машинкой.

Неудивительно, что мне в голову приходят только слова об ожидании. Я вот уже три дня просто так сижу в бабушкиной квартире. И жду, что произойдет что-нибудь. Что бабушка умрет. Или что отец войдет в комнату и скажет: "Прости, что опоздал, меня задержали". В больнице бабушку дольше держать не захотели. "Ей требуется специальный уход, мы этим не занимаемся. И к тому же она неадекватна. Все время раздевается догола. Кричит. Распевает среди ночи рождественские песни. Мы не можем каждый день переводить соседок вашей бабушки в другие палаты". Бабушка никогда просто так не кричала. Она всегда стеснялась раздеваться при других. Сколько себя помню, она всегда шла в ванную, чтобы переодеться, и запирала там дверь. Я не верила врачам. Я знала эту больницу. Из-за нее я уехала из этого города. Я все время искала глазами лицо врачихи, которая преследовала меня в моих снах. Но она там уже не работала. Или я ее просто не нашла. На двери, за которой она тогда сидела, теперь была другая табличка. Главный врач практиковался в новой, холодной любезности:

– Поймите, госпожа Кобе, у нас не хватает коек. Вашу бабушку нужно поместить в дом престарелых.

– Сколько времени она проживет? – спросила я.

– Трудно сказать. Сердце у нее шестидесятилетней женщины. Может, она доживет до весны. Если будет нормально питаться. Не будет падать. Подозрение на тромбоз не оправдалось. Нет больше причин держать ее здесь. В среду я подготовлю выписку. Был очень рад познакомиться. До свидания.

Я вела себя так, как веду всегда. Я не стала задавать дальнейших вопросов. Не попросила его о помощи. Не сказала: "Послушайте, меня с этим городом ничего больше не связывает, при чем тут я, если мою бабушку сюда забросила жизнь, а у отца не хватило сил переехать в другое место. Вы хотите заставить меня пробыть здесь до весны?" Словно прочитав мои мысли, врач дал мне список домов престарелых. Я не хотела, чтобы моя бабушка попала в дом престарелых. Я не могла с ней так поступить. Она много лет заботилась обо мне. Она ненавидела стариков.

Я раздумывала два дня, а потом забрала ее домой. Перед этим я организовала доставку отцовского морозильного ларя в бабушкину квартиру. Грузчики были несколько удивлены тем, что ларь такой тяжелый. Но по их манере выражаться я поняла, что они не здешние, и мне удалось убедительно объяснить им, что ГДР была отсталой страной, которая не умела оптимально использовать свои ресурсы. Они предложили мне сразу отвезти эту штуковину на свалку, за небольшую доплату, разумеется. Но я

не могла поступить так со своим отцом. Этот ларь был самым прогрессивным из всего, что могла предложить ГДР в 1960 году. И он все еще работает. Я попросила занести его в кухню и дала грузчикам на чай. Когда они уже уходили, один из них напоследок обернулся и вставил штекер в розетку. У меня, наверное, был такой вид, как будто я сама не могла этого сделать. Я потом вытащила штекер. Не знаю, хорошо ли это. Мои чувства подсказывают, что да, мой разум — решительно против.

Бабушка спала, когда ее заносили наверх. Когда санитары опускали ее на кровать, она спросила с закрытыми глазами: "Я снова в Эрфурте?"

— Нет, — сказала я, — мы в Магдебурге, в твоей квартире. Все в порядке, спи.

Бабушка сложила руки на животе и закричала беззубым ртом:

— Пауль, Пауль мой, дожила, ты дома! Ты где же так долго был, я тебя везде искала. Опять какая-нибудь секретарша, да? Мы такое уже проходили. Эта — двадцать первая или двадцать третья, боже мой, я забыла, сколько их было, а ведь я всегда считала. Но на сей раз всё, хватит. Твой грыжевой бандаж я выкинула уже десять лет назад, так и знай. Признавайся, ни одна тебя больше не захотела, и ты вернулся, потому что думаешь, что я начну тебя утешать. Нет уж. Но так долго пропадать...

Эта внезапная тирада смутила меня, потому что бабушка, очевидно, забыла, кто я. О дедушкиных похождениях она раньше распространялась не часто. Ей нужно было сначала свихнуться, чтобы признаться себе в том, что ее супруг не пропускал ни одной юбки. Не знаю, хорошо ли, что она принимает меня за Пауля. Может быть, ей придет в голову изрезать меня на кусочки самым острым кухонным ножом и заморозить в морозильном ларе по всем правилам искусства, которым Пауль владел в совершенстве: сначала слегка бланшировать, чтобы аромат лучше раскрылся после размораживания, а затем, поделив на аккуратные равные порции, поместить в ларь. В таком случае ей хватит еды еще лет на десять, учитывая, какие маленькие порции ей теперь нужны. Но бабушка, судя по всему, сейчас не в состоянии сама себе готовить. Вот уже два дня она лежит, погруженная в дремоту.

Г*лава* 2

Абсолютная температура
Абсолютный нуль. 0 K = –273,1575 +/–0,0005 °C

Телефон, который стоит на своем старом месте в кабинете моего дедушки, отключен. На столе лежит письмо, в котором дедушку уведомляют о том, что с 1 декабря 1991 года он лишается доступа к услугам телефонной связи, потому что он, как бывший обладатель персонального договора с правительством ГДР, с точки зрения дня сегодняшнего неправомерно получил этот доступ. Отправители письма надеются на понимание и сообщают, что вынуждены лишить его доступа к телефонной связи. В городе нет необходимых мощностей для обеспечения услугами телефонной связи всех новых абонентов.

Дедушка двенадцать лет как умер.

Каждый вечер бабушка звонила моему отцу, потому что после дедушкиной смерти у нее не осталось никого, с кем бы она могла погово-

рить. Отец произносил только “Да” и “Нет”, потому что вообще-то бабушка просто хотела знать, живы ли мы.

Я была очень рада тому, что в Берлине у меня нет телефона, иначе она бы и меня преследовала своими звонками. Раз в неделю я доходила до телефонной будки и набирала ее номер. Бабушка спрашивала, как мои дела, я отвечала так же односложно, как и отец, а она рассказывала о главных героинях телесериалов так, будто это ее друзья.

В последний раз, где-то в середине ноября, почти все городские таксофоны в районе моей квартиры оказались сломанными. Часть из них, очевидно в ходе дерзких актов вандализма, испортили неизвестные, прочие же не выдержали перехода на более тяжелые деньги, и мне пришлось обежать пол-округи, пока я не нашла работающий телефон-автомат, перед которым выстроилась длинная очередь.

— Знаешь, — сказала бабушка, когда, наконец, пришла моя очередь звонить, — мне как-то не по себе. Я уж действительно все пережила — кайзера, двадцатые годы с их неразберихой, гитлеровское время, ГДР, а теперь это. И единственное, что мне нравится, — это что цены на кофе понизились. Стену они могли бы спокойно оставить, а то не знаешь, где вас искать.

— Как это, я ведь в Берлине.

— Берлин, Берлин... Это мне тем более не нравится. Правда, что там сейчас прямо на улицах средь бела дня нападают на прохожих?

— Я пока не заметила, бабуленька.

— Целыми днями я о вас беспокоюсь. Иногда до утра заснуть не могу. А твой отец мне вообще ничего не рассказывает.

— Этого он и раньше не делал.

— Но что-то происходит с его институтом, я это чувствую. Они ведь теперь всё разрушают. У нас в доме уже пятеро сидят без работы.

Я бросила в щелку автомата последнюю монету. Снаружи ожесточенно стучали по двери. Очередь за это время стала еще длиннее. Я сказала бабушке, что мне пора заканчивать и что я обязательно приеду на Рождество, но она ответила: “Кто знает, доживу ли я. Как-то уж, по-моему, достаточно”. Я хотела сказать, что она наверняка еще и нас с отцом переживет, но тут разговор прервался, и из трубки раздались короткие гудки.

Через два дня я получила письмо от отца. Конверт был тяжелее обычного, и на почте мне пришлось за него доплатить. В нем лежали обернутые в плотную бумагу ключи от отцовской квартиры и короткая записка: “Дорогая Ання, посылаю тебе ключи от квартиры. Чтобы ты, когда приедешь в Магдебург, не стояла под дверью. Твой папа”. <...>

Теперь я спрашивала себя, чего же отец хотел добиться своим письмом, — и забеспокоилась, когда, разговаривая по телефону с больницей, узнала, что до моего отца им дозвониться не удалось.

Глава 3

Аммиак
Точка плавления
Точка плавления расположена между –77,3 и –77,73 °С.

30 ноября я обнаружила у себя в почтовом ящике телеграмму из больницы. Поговорив с врачом по телефону, я села в машину и поехала в Маг-

дебург. Я уезжала ненадолго. Мой отец найдется — наверное, он просто уехал в командировку и забыл предупредить бабушку. Я урегулирую все необходимое, после возвращения отца передам ему все дела и вернусь в Берлин. Я никому не рассказала, куда уезжаю, — решила, что не стоит. 16 декабря у меня на 9.00 была назначена встреча в службе занятости. До этого времени, думалось мне, я сто раз успею вернуться.

За Михендорфом начался страшный туман, ехать можно было только очень медленно. По радио передали предупреждение, что недалеко от съезда с автобана Бург-Ост на трассе лежит холодильник. Когда через четыре часа я оказалась под городом Цизар, все стояло. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, целая вечность прошла, пока мигалка скорой, таинственно мерцавшая в тумане, пронеслась вперед, мимо меня. Остаток ночи я провела в придорожном кафе вместе с такими же незадачливыми автомобилистами — пестрой смесью семейных пар с детьми или без, дальнобойщиков и путешествующих в одиночестве мужчин, — пока трое погибших не были убраны с трассы вместе с покореженными машинами.

Кафе опустело. Я потушила сигарету и вышла вслед за остальными. Аварию никто не обсуждал. Последние два года доказали, что привыкнуть можно ко всему. К другим деньгам, к другому государству, к резко возросшему количеству погибших на дорогах. Неподалеку от Бург-Оста я вспомнила о холодильнике, про который передавали по радио. Но машины без особых затруднений проезжали мимо этого съезда с автобана. Что я пересекаю Эльбу, я почувствовала только по особому звуку колес, говорившему о том, что машина едет по длинному мосту. Реки не было видно, но я почувствовала ее запах сквозь закрытые стекла и вспомнила ощущение уверенности, знакомое с детства: если поезд переезжает реку, значит, ты скоро будешь дома.

Уже начало смеркаться, когда я подъехала к больнице. Врач давно сдал дежурство и ушел домой. Мне сказали, что я должна подождать до завтра. Бабушка спала, сбросив с себя одеяло. Я с трудом узнала ее: передо мной лежала кучка костей, обтянутая кожей. Она сорвала с себя ночную рубашку, а памперсы сползли до колен. Ее груди ссохлись и превратились в крошечные мешочки. Я осторожно прикрыла бабушку одеялом — мне было неприятно видеть ее такой.

Затем я вышла из палаты и поехала в островной район, в отцовскую квартиру. Может быть, он оставил сообщение. Не знаю, почему у меня все так сжалось внутри, когда я вошла в лифт и нажала на восемнадцатый этаж.

В квартире было убрано, нигде никаких записок, но я искала недолго, потому что на меня навалилась свинцовая усталость. Я сразу заснула. <...>

Справа под нашими окнами было здание Института холода, типовая постройка без архитектурных излишеств, состоящая из двух корпусов и крытого перехода между ними. Ни в одном из окон не горел свет. В этом году исполнялась круглая дата — вот уже тридцать лет отец ходил в НИИ день за днем. Даже по воскресеньям он чаще других коллег дежурил и совершал обходы. Иногда он брал меня с собой, и тогда мы вместе бродили по пустынным, пахнущим аммиаком коридорам. В холодильных витринах лежала клубника, замороженная методом сублимационной сушки

и от недели к неделе портившаяся все больше. Упаковки замороженных продуктов с годами тоже блекли. Мы заходили в отцовский кабинет, и мне разрешалось покормить рыбок в аквариуме, в то время как отец доставал из ящика стола ключ, чтобы проверить температуру в холодильных камерах. Меня завораживало то, как отец крутил большое колесо с железными зубчиками до тех пор, пока беззвучно не открывалась дверь и холодный сухой туман не окутывал его. В холодильных камерах стояли высокие стеллажи, на полках хранились овощи, расфасованные по маленьким мешочкам. Казалось, горошек и морковь уснули. Я всегда придерживала дверь, чтобы она не захлопнулась, пока отец снимает показания термометров. Я делала это добросовестно, но в какой-то момент у меня перехватывало дыхание: я представляла себе, что произойдет, если я отпущу дверь, и она захлопнется, и никто не услышит моего крика о помощи, а отец в это время будет медленно замерзать в холодильном отсеке. Но каждый раз он вовремя возвращался обратно, закрывал дверь и крутил колесо. Дома мама ждала нас с обедом.

Из моей комнаты мне было хорошо видно, в институте ли отец. Часто свет в его кабинете гас только около полуночи, и иногда я думала, что, если бы не я, он бы давно отказался от собственной квартиры. Сегодня свет в его кабинете не горел, иначе я бы давно спустилась вниз, пробилась сквозь кусты и снаружи постучала в окно. Он бы открыл, и я бы голосом маленькой девочки спросила, есть ли у него для меня и моих друзей мороженое на палочке, а он бы ответил, что мороженое на палочке давно закончилось, но, может быть, мы захотим взять торт-мороженое со сбитыми сливками.

Мне захотелось есть, и я пошла на кухню. Я нажала на выключатель, но свет не зажегся. Сперва я тешила себя надеждой, что электричества нет во всем доме. Но открыв входную дверь, я увидела, что на лестничной клетке свет горит. В этот момент мне стало очень не по себе. Я нащупала в коридоре трансформатор и повернула центральный предохранитель. Свет в кухне зажегся сам собой, и первым, что я увидела, был размороженный холодильник с открытой дверцей. <...>

Я посмотрела, все ли приборы отец выключил из сети. Штекер торшера был даже на метр отодвинут от розетки, будто отец боялся, что он может снова самостоятельно туда запрыгнуть. Но это меня не насторожило. Это просто показывало, что отец уехал больше чем на три дня. Меня беспокоило только то, что он вывернул центральный предохранитель. Он никогда этого не делал, потому что морозильному ларю электричество требовалось и в его отсутствие. Ларь стоял в кладовке, попасть в которую можно было через лестничную площадку. <...>

В прошлый раз, когда я гостила у отца, я спросила его, почему он не сдаст наконец этот ларь в металлолом. Ведь цены на электричество заметно выросли. Он сказал, что проводит долгосрочное испытание. Ларь проработал уже почти тридцать лет и еще ни разу не ломался. Отец сказал, что ему очень хочется знать, как долго еще продержится морозильник. Он, дескать, собирается доказать, что в ГДР более бережно относились к некоторым ресурсам планеты, в то время как сущность капиталистического рыночного хозяйства принуждает производителей специально программировать сбои в работе холодильной техники, чтобы поддерживать товарооборот. Я тогда спросила у него, не хочет ли он

в качестве последнего революционера войти в приложение к Анналам социализма, но он ответил, что просто доводит свою работу до конца.

Я нашла ключ на обычном месте и пошла по лестничной клетке к кладовке. Я открыла дверь — он стоял там. Я перевела дыхание.

Еще раз оглядев ларь, я поняла: с ним что-то не так. Крышка закрыта, на ней лежит провод со штекером. Явная нестыковка. Отец, увидев такое, сразу поднял бы указательный палец и сказал: "Если в оттаявший холодильный агрегат не попадает воздух, внутри могут распространиться микробы, способствующие возникновению неприятных запахов. Поэтому процесс оттаивания не должен сопровождаться закрытием крышки или дверцы". В кладовке, очевидно, побывал кто-то, кто ничего не смыслит в холодильной технике. Может, кто-то положил в ларь мертвую кошку, которая, когда я открою крышку, с раскрытой пастью уставится на меня своими мертвыми глазами.

И все же мое любопытство взяло верх. Я открыла крышку — и вскрикнула.

В ларе лежал мой отец.

Я сразу же захлопнула крышку. Может, это галлюцинация, может, мне показалось, потому что в кладовке, если не считать света с лестничной клетки, слабо падавшего через щелку в двери, было абсолютно темно. Я закрыла дверь, включила свет и вновь открыла крышку. Первое, что я осознала: что пахнет аммиаком, а не испортившимся мясом. Второе — что это действительно мой отец, третье — что выглядит он умиротворенным, четвертое — что моя рука прикасается к его лицу, твердому, как камень, и холодному, как лед. Я была дочерью своего отца и знала: то, что я вижу, — результат быстрой заморозки, потому что кристаллы льда тонкие и едва заметные глазу. Пятым была смесь ужаса и поведения по правилам. Я захлопнула крышку и снова закрыла ларь: с одной стороны, потому, что подвергнувшееся глубокой заморозке нельзя слишком долго держать при нормальной температуре, а с другой — потому, что я не хотела верить своим глазам. Моей первой мыслью было: Почему? Второй: Кто это сделал?

Я выключила свет и заперла дверь. Руки у меня дрожали. В этот самый момент из двери своей квартиры вышла госпожа Дойчман.

— Ох, фройляйн Кобе, какая встреча!

Я, наверное, посмотрела на нее взглядом человека, только что спрятавшего труп.

— Все в порядке? — озабоченно спросила госпожа Дойчман. — Я уже несколько дней не видела вашего отца.

Я взяла себя в руки и попыталась сказать как можно более непринужденным тоном:

— Он вам не рассказывал, что едет в Гренландию? Научная экспедиция, он об этом всю жизнь мечтал, но вы же знаете, как это было во времена ГДР — его не пускали. А я теперь присматриваю за квартирой.

— Да что вы, как я рада за вашего отца... А когда он возвращается?

— Договор заключен пока на полгода, но, кажется, может быть продлен.

— О боже, там ведь такой холод. Я бы не смогла. Я лучше все-таки в Испанию слетаю.

— Кому вы это говорите... Но мой отец привык к холоду. Он на жаре и часу не выдержит.

Я быстро попрощалась и слишком резким движением захлопнула за собой дверь.

Потом взяла свои вещи и вышла из квартиры. Около лифта я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, но он все не приходил. Малейший звук с лестничной клетки заставлял меня оборачиваться, как будто это отец хотел положить мне на плечо свою замерзшую руку или госпожа Дойчман вышла из квартиры, чтобы сказать мне с триумфом в голосе: “Кстати, полиция уже ждет вас внизу”. В конце концов я сама сбежала вниз по лестнице — на восемнадцать этажей, — словно спасаясь бегством от чего-то, что я не могла уместить в своем космосе.

В машине я уронила голову на руль и зарыдала. Было только одно рациональное объяснение происшедшему: на самом деле я все еще лежу на своей кровати в квартире отца и вижу сон.

Глава 4

АТС

Кондиционирование

В условиях тропического и влажного климата особенно важно поддерживать температуру от 20 до 22 °С при относительной влажности воздуха между 50 и 55 %.

В принципе, заморозить можно было: материнское молоко, мертвецов, горошек, фасоль, спаржу, все сельское хозяйство ГДР, мясную промышленность, мрамор, сталь и железо, материалы дела; более того — можно было бы надо всей бывшей ГДР надстроить морозильник и законсервировать ее целиком. Но чтобы человек заморозил себя в собственном морозильном ларе и потом сохранялся в замороженном состоянии без притока энергии извне — о таком я еще никогда не слышала.

На следующее утро я поехала в больницу, чтобы поговорить с врачом. После этого я поняла, что встреча в службе занятости не состоится. На моем счету было 300 марок. Я сняла их. Затем нашла в телефонной книге номер транспортной фирмы и заказала на адрес моего отца грузовик и четырех рабочих. До их прибытия я незаметно пробралась к кладовке и осторожно закрыла за собой дверь. На лестничной площадке было тихо. Коробка с надписью “Все для велосипеда” стояла на старом месте — на полке рядом с морозильным ларем. Срок хранения резинового клея истек уже пять лет назад, но я надеялась, что его хватит хотя бы еще на два часа.

Я боялась открыть крышку ларя. Я зажмурилась и представила себе, что сижу в кино и смотрю триллер. <...>

Я начала рыться в шкафах. Я искала бумаги, которые могли иметь отношение к холодильной технологии отца, но отвлеклась на фотоальбомы. Я принялась искать это непривычно раскрепощенное выражение, которое, как мне казалось, видела на замороженном лице отца. Первая фотография была сделана в пятидесятые годы. Отец каллиграфическим почерком написал на форзаце альбома: “Юность Клауса Кобе”. Отец со своим братом на фоне послевоенных развалин, отец на велосипеде в Тюрингии, отец, стоящий в воротах.... В форме вратаря он казался очень

высоким и худым, и когда я рассматривала фотографии, мне показалось, что за последние годы он стал меньше ростом.

Было несколько фотографий, снятых в студенческие годы. Отец на вокзале в городе Галле, отец с цветами и с папкой в руках. Под фотографией он написал: "Окончание университета, 1961". На всех фотографиях у отца очень серьезный взгляд. Вскоре после той даты он — в довольно неблагоприятных условиях — сделал предложение моей матери.

Глава 5

Антоновские, анисовые, коричные яблоки, айва, груши

Яблоки обычно очень легко сохраняются в холодильнике. Температура воздуха колеблется между –1 °C и +2 °C, в зависимости от длительности хранения, но наиболее благоприятной считается температура между 0° и –0,5°.

Вот уже полчаса Барбара стояла в очереди у окошка железнодорожной кассы в большом зале центрального вокзала. Кассир-железнодорожник работал неспешно, он задумчиво передвигал рычажки билетного автомата, словно головой отвечал за качество каждого картонного билетика. Для Барбары было важно лишь то, чтобы в ее случае на билете было написано "Берлин" и стояла сегодняшняя дата. На заднем плане через зал прошла рота русских солдат, и женщина, стоявшая за Барбарой, сказала: "У меня такое ощущение, будто что-то надвигается, обычно они никогда не приходят сюда днем". В тот день с утра, как и всегда по субботам, Барбара была в бассейне. Потом она накрутила волосы на большие бигуди, повязала голову платком и проехала на велосипеде шесть километров до лаборатории. Ее путь на работу пролегал по городу, многие кварталы которого по-прежнему лежали в руинах, и еще несколько недель назад она ездила по этой дороге вместе с пятью весело хихикающими женщинами. Но потом две из них вышли замуж и ушли с работы, а три другие ответили на объявление о вакансиях ведущего западногерманского химического предприятия, размещенное в газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", которую Барбара тайком провезла через границу во время своей последней поездки в Западный Берлин. После посещения одного из приграничных кинотеатров, в которых, предъявив восточный паспорт, можно было расплатиться восточными деньгами, она поехала на Курфюрстендамм и зашла в обувной магазин. Новые туфли она надела сразу же, а старые выбросила в мусорное ведро перед кафе "Кранцлер", потому что боялась, как бы ее не засекли на границе — с двумя парами обуви. Она зашла в кафе и за чашкой натурального кофе попрощалась со своими старыми туфлями. Она была военным ребенком, и ей тяжело давалось расставание со старыми вещами, потому что в январский день 1945 года при пожаре сгорели ее кукла, кровать и три пары обуви — имущество, которое от года к году становилось ей все дороже.

Подружки после своего бегства прислали ей открытку из города Леверкузен, в которой сообщали, что добрались хорошо. Но как бы часто Барбара ни перечитывала это послание, она не могла найти между

строк тайного сообщения, которое вдохновило бы ее на такую же авантюру.

Город казался чистеньким, хотя на первый взгляд в нем не было ничего привлекательного. Но хотя бы руин не видно... Еще две недели назад она полагала, что не может уехать, бросив мать и многочисленных братишек. Но с каждым днем в лаборатории оставалось все меньше сотрудников, и иногда Барбара по вечерам сидела на кухне и плакала, потому что после рабочего дня чувствовала себя совершенно разбитой: работу, которую еще пару недель назад выполняли четыре женщины, теперь делала она одна. Она понимала, что при необходимости сможет работать и за десятерых, но ей хотелось по крайней мере знать, чем такая необходимость вызвана. Сырье для производства красок становилось все хуже или вообще подолгу не поступало. Иногда она не могла отличить индиго от сизо-голубого, все смешивалось в один грязно-пастельный цвет.

Неделю назад, когда она сидела на кухне и штопала носки младших братьев, ее мать как бы невзначай сказала: “Из-за нас оставаться не нужно, мы справимся”. Сначала она должна была поехать в Восточный Берлин к тете Ядвиге. Планировалось, что та пронесет важные документы под своей обвислой грудью — как всегда проносила деньги, когда они вместе отправлялись за покупками. Барбара взяла бы с собой только летние платья, на которые при проверке не обратили бы внимания. До осени она бы точно успела заработать на зимнее пальто. Несколько дней перед отъездом она после работы бесцельно бродила по городу. И каждый раз незаметно для себя оказывалась на берегу Эльбы. Там, куда она уезжает, тоже есть реки, по берегам которых она сможет гулять... За ее спиной простирался город — огромное, расчищенное от руин поле, над которым возвышалось несколько строительных кранов.

Барбара переступала с ноги на ногу. Через десять минут отходил ее поезд. Мужчина перед ней никак не мог решить, куда ему поехать.

— Гражданин, — сказал служащий железной дороги, — отсюда, как вам, наверное, известно, вы можете уехать только на три стороны света. Четвертая — вне моей компетенции.

— Ну давай же! — сказала Барбара. — Ты что, сам не знаешь, куда ты хочешь?

— А какой поезд ближайший? — спросил мужчина у служителя в окошечке.

— Если поторопитесь, успеете на Д-47 до Берлина.

— Один билет, пожалуйста.

Кассир задумчиво сдвинул рычажок своего автомата на “Берлин”. Это небольшое происшествие принесло Клаусу счастье. С утра Клаус на коленях упрашивал одного своего знакомого, работавшего в оранжерее на окраине города, продать ему двадцать пять роз. Лишь в ответ на обещание принести в понедельник ящик замороженных овощей знакомый в конце концов уступил и продал Клаусу свадебный букет. Клаус понимал, что времени у него мало, расписание железной дороги он знал наизусть. Барбара накануне мимоходом сказала ему во время танцев в “Хрустальном дворце”, что уезжает в Берлин и что, может быть, в следующий раз они увидятся нескоро. Они были знакомы всего две недели. Клаус еще ни разу не решился ее поцеловать, но он знал, что ему нужна именно эта женщина и никакая другая.

У вокзала он потерял десять минут, потому что центральный вход был перекрыт военной полицией. Она впускала роту русских солдат, стройными рядами направлявшуюся в особый, закрытый для гражданских лиц зал ожидания. Клаус пробежал под несколькими мостами к боковому входу и, запыхавшись, вошел в зал ожидания именно в тот момент, когда Барбара заняла место у окошка кассы. Кассир как завороженный смотрел мимо нее, направо, на пол. Она, проследив за его взглядом, увидела Клауса, который с огромным букетом роз в руках стоял перед ней на коленях и смотрел на нее взглядом верного пса.

— Пожалуйста, останься! — сказал он. — Я хочу жениться на тебе. Я люблю тебя. Я обещаю тебе благополучное будущее. Я закончил университет и работаю в НИИ. Параллельно я пишу диссертацию.

— Вот, — добавил он и немного неуклюже вручил ей розы. Барбара оглянулась по сторонам, не наблюдает ли за этой сценой еще кто-нибудь, кроме кассира. Вокруг себя она увидела удивленные лица, даже несколько русских солдат остановились, и офицер начал оттеснять их в сторону зала ожидания для военнослужащих.

По громкоговорителю объявили, что поезд на Берлин прибывает на шестой путь, и несколько человек оттолкнули Барбару, потому что хотели купить билет. Следующий поезд отходил только вечером. Барбара разрешила Клаусу взять ее чемодан, левой рукой прижала к себе букет, словно младенца, и покинула здание вокзала.

— Я еще не приняла твоего предложения, — сказала Барбара, когда они вышли на привокзальную площадь. — Просто мне показалось неприличным, что все на меня смотрят. Я подумаю.

— Сколько ты будешь думать?

— До следующего воскресенья.

Она взяла букет и свой чемодан и поехала домой.

На следующее утро Клаусу на помощь неожиданно пришло государство. Разбудив Барбару, мать сообщила ей, что в Берлине закрыли все пограничные переходы и что группы солдат тянут колючую проволоку вдоль границы с западными секторами. Барбара снова до поры распаковала свою сумку. В доме жильцы говорили, что закрытие границ — наверняка временное. В конце концов, даже после 17 июня 1953 года опасная ситуация быстро разрядилась. В понедельник Барбара вернулась на фабрику по производству красителей. Заводской радиоузел проинформировал ее о мероприятиях, проводимых на государственной границе с Федеративной Республикой и Западным Берлином. Работы от этого меньше не стало. Клаус же искренне поблагодарил свое государство за то, что оно помогло ему в борьбе за женщину. Барбара приняла предложение. И все-таки она еще годы спустя спрашивала себя, что было бы, если бы она проигнорировала странную сцену на вокзале. Она могла бы просто подойти к кассе и сказать: “Один билет до Берлина”. Весь мир лежал бы у ее ног.

На фотографиях, подписанных “Свадьба, 1962” я наконец-то нашла ту улыбку — как у отца в ларе. У мамы же, напротив, необычайно строгий взгляд. Ребенком я по-другому представляла себе свадебные фотографии. Торжественнее. Родители же выглядят так, словно только что приняли участие в заурядной церемонии вручения премии. Отец, хоть и в костюме, но в светлом, а не в черном, а на маме надето не свадебное пла-

тье с фатой и шлейфом, а простая двойка. Рядом с ними стоят бабушка с дедушкой, а на заднем плане виднеется озеро с фонтаном. Со времени возведения Стены прошел ровно год, и мама с папой тайно поженились в другом городе, потому что отец ненавидел пышные торжества. <...>

В этот момент раздался звонок. В дверях стояли четверо мужчин, которые спрашивали: "Ну что, девушка, где груз?" Я открыла дверь в кладовку и представила себе, что будет, если ларь не получится пронести мимо угла в горизонтальном положении и при легком наклоне отец со своим блаженным выражением лица начнет медленно выезжать из морозильника. Но грузчики уже через минуту стояли у лифта, и один из них небрежно оперся локтем о крышку. Хоть бы им не пришло в голову смотреть, что там внутри; я не очень верила в прочность резинового клея. Но они особого внимания на свой груз не обращали. В большой спешке я упаковала в коробку бумаги, которые могли пролить свет на случившееся с отцом. Затем я тщательно заперла входную дверь и, немного пьяная, поехала на своей машине вслед за грузчиками. Когда их фургон резко затормозил перед женской больницей, потому что дорогу переходила беременная женщина, опиравшаяся на руку мужчины, морозильник заскользил в кузове, и я представила, что отец, словно Белоснежка, может проснуться от своего холодного сна.

Г*лава* 6

Банан

Выделение теплоты при дыхании. Скорость дыхания охлажденных бананов значительно отличается от скорости дыхания бананов, которые просто хранятся в вентилируемом помещении. При температуре +12 °С скорость дыхания составляет примерно 50 % от скорости дыхания при +20 °С.

"О Господи Иисусе! Хоть я и кладу на Церковь..." — рассказывают, что именно это произнесла моя мама, когда гинеколог сообщил ей предполагаемую дату родов. Она хотела мальчика, который бы разделил ее любовь к лазанью по деревьям и по канатам, — но мальчик этот не обязательно должен был появиться на свет именно в канун Рождества.

Тем не менее она купила к Рождеству гуся, а отец принес из Института пакетик замороженной спаржи. Я оказала им любезность и еще на пару дней осталась в мамином животе. Это было моим первым опозданием. Мне перепало немного и от маминого гуся, который подавали на второй день Рождества, это были те граммы, которых мне не хватало до пяти килограммов веса. Ночью мама почувствовала сильные боли внизу живота, и отец отвез ее в женскую больницу. Родильное отделение работало в режиме повышенной активности, пришлось выставлять дополнительные койки, и сестры язвили, что Дед Мороз, раздав рождественские подарки, быстро насобирал в мешок беременных женщин и оставил его у входа в больницу. Во время схваток мама пыталась дышать так, как учила ее акушерка островного района, чей кабинет размещался прямо над бюро ритуальных услуг. Наиболее суеверные из беременных островитянок по этой

причине предпочитали услуги акушерок с материка. Моя мама была не из их числа. Она полагала: то, что вошло внутрь, без проблем должно выйти обратно; в конце концов, ведь родила же ее мать десятерых, пока моя мама не объяснила ей, что бывают дни благоприятные и не благоприятные для зачатия. В кабинете акушерки у мамы получалось правильно дышать, боль же она лишь "додумывала". Теперь ей нужно было "додумывать" дыхание, потому что боли были адскими и ничуть не напоминали боли при менструации, с которыми акушерка сравнивала болевые ощущения при схватках. Волны хотя и приходили каждые четыре минуты, но кто их посылал, было загадкой — по крайней мере, не я, потому что мне не хотелось появляться на свет в 1963 году. Я застряла на полпути и открыла своей головой маточный зев ровно настолько, чтобы моя мама могла остаться в клинике, а не вернуться не солоно хлебавши домой, разочарованная жизнью и сопровождаемая все более нервничающим мужем. Через двенадцать часов мой отец перестал ходить взад-вперед по коридору и бежал к своей матери. Его раздражали женщины с коровьим взглядом и в линялых халатах, с поясами, завязанными в большие узлы на все еще выпирающих животах. В коридоре они все с упреком смотрели на него, как будто это он причинил им ту боль, которая проходила очень медленно и вынуждала их, шаркающих тапочками, брать с собой в комнату для посетителей надувные плавательные круги грязной красно-белой расцветки, потому что они не могли нормально сидеть из-за разрезов между центром промежности и анусом, или, как говорили сестры, — из-за разрезов там, где стыд и срам.

Я не торопилась. На четвертый день схваток койку моей мамы переставили в материальную комнату, потому что количество женщин, вот-вот готовых родить, возрастало в ужасающем темпе, что приводило к заторам в коридорах и к ускоренным родам: в родильном зале акушерки подстрекали рожениц к более высоким достижениям, и некоторые действительно пускались в соревнование с соседкой за ширмой — кто быстрее родит, — в то время как перед дверью зала уже ждала следующая кандидатка. Только моя мама лежала в чулане и была по горло сыта родами. Каждые два-три часа в материальную комнату заглядывала какая-нибудь медсестра и в связи с тем, что у очередной роженицы от волнения началась рвота, доставала то швабру, то ведро, то бутыль с жидкостью для дезинфекции рук. Моя мама просила забрать сразу все бутылки с очищающей жидкостью, потому что от их запаха ей было плохо. Но сестра посоветовала ей не капризничать и оставила ее одну. В какой-то момент другая сестра, решив, что включать свет необязательно, нечаянно поставила ведро прямо на мамину кровать. Мама теперь только плакала, а защитить себя не пыталась. На пятый день она прокляла сразу несколько дней своей жизни: день рождения, день, когда мужчины с кирками вытащили ее из-под завалов бомбоубежища под зданием церкви, и, наконец, тот день, когда мой отец упал на колени посреди зала ожидания на вокзале. Под конец пятого дня мама заснула и — впервые с той ночи, когда она из-за большого срока беременности не смогла больше спать на животе — спала так крепко и так долго, что разбудить ее смогли только выстрелы. Спросонья мама закричала: "Нужно бежать в подвал!" Она кричала так на каждый Новый год, уже почти два десятилетия, за исключением первых послевоенных лет, когда союзники еще запрещали палить в новогоднюю ночь. Это осталось у нее со времен войны, и ничего поделать было нельзя. Два предыдущих Новых года мои родители провели в

баре международной гостиницы “Интернационал”, располагавшемся в подвальном помещении, — там мама чувствовала себя в безопасности. Однако вернемся к материальной комнате родильного отделения — она находилась на третьем этаже, и доведенная до отчаяния беременная вдруг на глазах у ошеломленной медсестры в панике побежала к лестнице. Но до лестницы мама так и не добралась. Потому что я наконец решила, что мое время пришло, и первым, что я увидела, появившись на свет, был исцарапанный линолеум пола, который приближался ко мне, пока чья-то подоспевшая на помощь рука не уберегла меня от падения — не самого лучшего начала для жизни. “Крупная девочка, — сказала акушерка, — неудивительно, что она никак не хотела вылезать”. Маме пол ребенка был уже совершенно безразличен, она чувствовала себя, как в День освобождения, потому что на тот момент и палить уже перестали, а в коридоре все кричали друг другу “С Новым годом!” Маме наконец-то поменяли постельное белье, вкатили ее кровать в палату, переполненную роженицами. Руководство клиники беспокоилось за свою репутацию, потому что именно девочка, которая родилась в коридоре, а не в родильной палате, оборудованной в предыдущую пятилетку по последнему слову техники, была первым ребенком 1964 года. Потому что первого января в газете, как делалось каждый год, напишут об этом ребенке. Было решено объявить первым новорожденным мальчика, появившегося на свет через пять минут после меня, по всем правилам и с обычным весом — три с половиной кило. Ведь моя мама могла рассказать газетчикам, как и где она провела предыдущие пять дней. Так что утром второго января в газете “Фольксштимме” красовалась фотография другой счастливо улыбающейся мамочки, с мальчиком Торстеном на руках. На что моя разозлившаяся мама ответила такой родильной лихорадкой, которая привела бы в замешательство самого Игнаца Земмельвейса[1]. В результате маму перевели наконец в давно ею заслуженную одноместную палату. Больничные бюрократы, хоть сами и поменяли данные о времени рождения — моего и Торстена, — присвоили мне порядковый номер 000 164. Зарегистрированного имени у меня поначалу не было, потому что мама, несмотря на родильную лихорадку, целый месяц спорила с загсом, можно ли назвать меня Анней — с двумя “н”. Служащий загса считал это этимологической бессмыслицей. Он утверждал, что имя Аня, с одним “н”, происходит от имени Анна, с двумя “н”. Если мама настаивает на двойном “н”, она ведь может назвать меня Анной. Ожидание ответа на запрос в Академию наук, отдел ономатологии, затянулось — как, впрочем, и мамина болезнь. Так что я была искусственно вскармливаемым и до поры безымянным ребенком, которого отец и дедушка вместе забирали из клиники. “Наконец-то девочка!” — говорят, воскликнул дедушка; и мама, очевидно, почувствовала, что на какое-то время она от меня избавлена. <...>

Так как моя мама не торопилась возвращаться домой, а отец не позволял своим родителям вмешиваться, у нас с ним было достаточно времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Отец иногда нежно называл меня 000 164 (это, очевидно, напоминало ему опытные ряды, имевшие сходные номера), а иногда прибегал к прозвищу Эскимо или довольствовался именем Анння. Он кормил меня молочной смесью и брал в Институт

1. Игнац Земмельвейс (1818—1865) — австрийский врач-гинеколог.

холода, где оставлял коляску со мной рядом с холодильными камерами. На всякий случай он писал записку: "Просьба не замораживать!", что, однако, было излишним, потому что его коллеги умели отличать горошек, морковь и свинину от младенцев.

Когда у моего дедушки случался очередной приступ ярости, секретарша Оттилия молча ввозила мою коляску в его кабинет и уходила, прикрыв за собой дверь. Через пять минут она снова входила и видела, как он рассказывает мне что-то о новых директивах государственной плановой комиссии, полностью непригодных на практике.

Между тем возникла проблема: папа страстно ожидал возвращения моей матери, потому что по телевидению начали транслировать IX Зимние Олимпийские игры. Но мама все не возвращалась, а объединенная германская команда уже давно вышла на стадион. Поэтому я, зажатая между левой рукой отца и его грудной клеткой, тоже смотрела свою первую Олимпиаду.

Отец лютой ненавистью ненавидел западногерманского президента Национального олимпийского комитета Вилли Дауме[1], который не хотел вступать в переговоры с коммунистами, из-за чего команде ГДР не разрешили выходить на стадион под собственным флагом.

— Объединенная германская команда — да это смешно. Нас, в конце концов, с 1961 года разделяет Стена, — говорил он. Федеративная Республика лишилась доверия моего отца в октябре 1962 года, когда спортивное руководство ФРГ по политическим причинам потребовало лишить всех спортсменов из ГДР права участия в международных соревнованиях, и поэтому уже одно то, что они тем не менее участвовали в IX Зимней Олимпиаде, было триумфом. Когда Вилли Дауме появлялся на телеэкране, мой отец именовал его достаточно непристойно — функционерской жопой; эти слова я и позже слышала от отца очень часто, но уже по отношению к функционерам из СЕПГ. Меня зачал до крайности противоречивый отец: он любил ГДР и ненавидел ее правящую партию.

Зимой 1964 года он, во всяком случае, ввел собственную систему подсчета медалей, которая заключалась в том, чтобы проводить четкое различие между западногерманскими и восточногерманскими спортсменами. Западные немцы в его таблице даже не фигурировали. Каждый раз, когда спортсмен, причисляемый им к команде ГДР, появлялся на экране, он говорил: "Видишь, ооо 164, это спортсмен из ГДР, мы должны за него болеть". Спустя несколько лет, когда я уже умела говорить, мне стоило только сесть у телевизора и спросить: "За кого мы?", как мой отец прикасался пальцем к определенной точке экрана, и со временем стекло телевизора усеялось бесчисленными отпечатками пальцев, так много у нас было спортсменов.

Мы хорошо ладили друг с другом, отец постепенно отучился от сюсюкающего голоса, которым он ко мне обращался поначалу, и разговаривал со мной как со взрослым человеком. Лишь один раз за те десять дней, которые прошли до возвращения моей мамы, отец потерял самообладание. Я хотела есть и начала кричать как раз в тот момент, когда

1. Вилли Дауме (1913—1996) — немецкий спортсмен (баскетболист) и спортивный функционер, член МОК в 1956—1991 гг., с 1961 г. — президент Национального олимпийского комитета ФРГ.

Габи Зайферт[1] вышла на лед для выступления в произвольной программе.

— Эти пять минут ты потерпишь. У нас в кои-то веки появилась одиночница, которая может стать фигуристкой мирового уровня.

Но это не интересовало меня ни капельки, и я стала кричать так громко, что невозможно было разобрать музыку, под которую она крутила на льду свои пируэты. Отец был зол как не знаю что, но ему пришлось сдаться. Габи Зайферт, может быть, именно поэтому провалила свою произвольную программу и заняла лишь девятнадцатое место. Так на меня легла первая вина, если не считать моей бедной мамы с ее родильной лихорадкой. У отца еще больше испортилось настроение, когда Хельмут Рекнагель[2] занял всего лишь седьмое место по прыжкам с трамплина, но затем наступил триумф саночников, и все остальное забылось.

Ортрун Эндерляйн и Ильзе Гайслер вошли в анналы моего отца как золотая и серебряная призерки в женском санном спорте, а чуть позже к ним прибавились и мужчины — Томас Кёлер и Клаус Бонсак[3], — и отец расхаживал по квартире гордый, как петух.

Когда Томаса Кёлера спросили, для какой страны он завоевал медаль, и он ответил: "Я живу в ГДР, там я смог развиться в профессиональном и спортивном плане, поэтому я, конечно, завоевал золотую медаль для ГДР", — это замечание мой отец прокомментировал мимоходом брошенным "Правильно!".

"Западные жопы этого так не оставят", — предрекал он. Западная пресса действительно на следующий день сообщила, что гэдээровские спортсменки перед стартом разогревали бронзовые полозья своих саней[4], и отец злобно смеялся: "Да, не умеют они проигрывать".

Ежедневные звонки моей бабушки он переносил стоически, произнося самое большее "Да" или "Нет, не нужно, не приезжай", но бабушка, конечно, все равно приезжала, и ему всякий раз стоило немалых усилий выпроводить ее обратно. Он много читал об уходе за детьми в энциклопедии "Ваш ребенок", которую мы купили — по случаю моего первого выезда в свет — в книжном магазине. Книгу он в открытом виде клал на пеленальный столик, чтобы сравнивать рисунки с тем, что делал сам, потому что из-за своих исследований на предмет пригодности к замораживанию сорта гороха "Превосходный-240", которые чаще всего затягивались до вечера, он не смог пройти курс занятий для будущих родителей. В конце концов он повесил над моим пеленальным столиком еще и оборот женского календаря на 1964 год.

Итак, ваш долгожданный первый ребенок наконец-то появился на свет. Возвращение из роддома – это первый шаг женщины и мужчины в новую жизнь: отныне

1. Габриэле (Габи) Зайферт (р. 1948) — восточногерманская фигуристка.
2. Хельмут Рекнагель (р. 1937) — восточногерманский спортсмен, чемпион Зимних Олимпийских игр 1960 г., чемпион мира 1962 г. в прыжках с большого трамплина.
3. Ортрун Эндерляйн (р. 1943) — восточногерманская спортсменка, чемпионка мира по санному спорту в 1965 и 1967 гг. Ильзе Гайслер (р. 1941) — восточногерманская спортсменка, занимавшаяся санным спортом.Томас Кёлер (р. 1940) на Зимних Олимпийских играх 1964 г. получил золотую медаль в мужском санном спорте, Клаус-Михаэль Бонсак (р. 1941) — серебряную медаль.
4. Спортсменки из ГДР, занявшие первое, второе и четвертое места в санном спорте, были за это дисквалифицированы.

они – семья. Это может сделать их самыми счастливыми людьми на земле и придаст их жизни особый смысл, если они с самого начала осознали свою ответственность и готовы освоить новые обязанности. Из маленького существа им предстоит воспитать хорошего, здорового, деятельного и образованного, ценного для общества человека. Воспитание начинается с первого дня, когда ребенок оказывается дома. Маленького с самого начала нужно приучать к порядку и к режиму. Лучше всего, если у малыша сразу будет в квартире свое постоянное, по возможности спокойное место, где стоит его кроватка и располагаются его вещи. До его рождения молодая мама уже подготовила все необходимое для ухода за малышом и его питания, а также одежду для крохи и теперь может беспрепятственно соблюдать дома тот режим, к которому ребенка приучили в роддоме. Но и когда ребенок подрастет, она должна последовательно соблюдать установленный временной режим приема пищи, отхода ко сну, купания и проч. При этом очень важно, чтобы родители с самого начала умели настаивать на выполнении ребенком их требований – даже тогда, когда ребенок без особой причины плачет. Иначе ребенок будет все время пытаться использовать слабость родителей в своих целях, а это может в дальнейшем иметь весьма негативные последствия для обеих сторон. Вообще, ни в коем случае нельзя, так сказать, превращать ребенка в пуп земли – эта опасность особенно велика, если в семье только один ребенок, – ибо он легко теряет врожденную непосредственность, когда замечает, что родители и родственники восторгаются каждым его движением. Напротив, ребенок должен испытывать уважение к родителям и стремиться им подражать. А это означает, что родители в присутствии ребенка всегда должны вести себя подобающе, не должны давать себе поблажки или вести споры при ребенке, так как дети, даже когда они еще очень маленькие и многого еще не понимают, все же очень наблюдательны. Родительский дом является для ребенка школой жизни. О том, чтобы дом стал хорошей школой, родители должны заботиться с самого рождения ребенка. Если ответственное и последовательное воспитание временами и требует от них некоторых самоограничений, то результат – счастливый, добропорядочный и приятный человек – будет для них самой лучшей наградой.

Когда мама вернулась домой, она первым делом сорвала этот листок со стены и использовала его для разжигания печки. “Подобная чепуха нам не нужна, я буду делать так, как делала моя мама, еще не хватало, чтобы я сдавала режим дня на утверждение в женскую консультацию”. Отец возразил, что ведь это все наверняка научно обоснованно, но мама ответила: “Срать я хотела на науку”. Этот первый спор они вели рядом с моей кроваткой. Я ответила ревом, и отец тут же взял меня на руки, чтобы успокоить, маме же оставалось лишь стоять рядом, мучась ревностью. Но он и сам потом редко придерживался писаных правил.

Глава 7

Брокколи

Температура замерзания колеблется между –1,83 и –1,45 °С; средняя температура замерзания –1,56 °С.

Мой дедушка Пауль Кобе, хотя ему и присвоили звание заслуженного деятеля науки и техники, у себя дома все, что ломалось, склеивал пластырем.

Народа, чье правительство наградило дедушку орденом, больше не существовало. Только дедушкины пластыри все еще красовались повсюду. Они скрепляли корпус кофеварки, маскировали трещину на крышке унитаза, а в холодильнике удерживали на месте магнитное запорное устройство. Со временем пластыри почернели от частых прикосновений и обтрепались по краям. Бабушка после смерти дедушки в квартире ничего не меняла. Кабинет, как и другие комнаты, выглядел так, будто дедушка вышел оттуда вчера. Я удобно расположилась в кресле с подголовником, в котором дедушка всегда читал военные романы, пока не засыпал надо всеми этими ужасами и вставная челюсть не вываливалась у него изо рта. Я взяла в рот одну из его старых трубок, потому что мне казалось, что так легче думать, и начала строить планы на ближайшее будущее. Мне нужно было запастись продуктами — как минимум на четырнадцать дней — и топить, чтобы мы с бабушкой не мерзли. В гостиной я нашла масляный радиатор. Когда я включила его, из ящика с предохранителями раздался угрожающий треск. Я взяла ключ от подвала и спустилась вниз. Угля бабушка не закупила. Раньше она очень добросовестно подходила к этому вопросу, но на сей раз, очевидно, решила, что ближайшую зиму не переживет. Угля оставалось самое большее на неделю. Раньше зимой можно было спокойно прожить без собственного угля, потому что многие подвалы не запирались на ключ или же на них висели такие замки, которые легко открывались при помощи обыкновенной шпильки. Но теперь на каждой подвальной двери висело по новому замку. Прицепы для перевозки угля тоже удивительным образом за одну ночь исчезли с улиц. Несколько зим подряд я в Берлине не спускалась за углем в подвал, а сразу шла со своими ведрами на улицу. Очень редко случалось, чтобы из-за припаркованного прицепа выскакивал полицейский и заставлял вора вытряхнуть содержимое только что заполненных ведер обратно. В конечном счете у меня вошло в привычку впускать в квартиру мужчин только с тем условием, чтобы они приносили с собой как минимум пять брикетов, но где бы я здесь стала искать мужчин, желающих непременно прийти ко мне в гости?

Я наполнила два ведра крошащимися овальными брикетами. И подумала, что в самом крайнем случае порублю на дрова старую мебель, убранную в подвал за ненадобностью.

Бабушка, очевидно, уже много недель ничего себе не готовила. В морозилке лежало несколько пакетов с овощами, с пометкой “8/89”; если верить выводам моего отца о сроках годности замороженной овощной продукции, они уже как минимум год к употреблению в пищу были непригодны. В холодильнике стояло несколько банок пива. Бабушка раньше никогда пива не пила. Все прочее было покрыто плесенью. В кухонном шкафу лежали три пачки макарон и одна пачка риса; судя по упаковкам, бабушка купила их еще во времена ГДР. Запасов кофе и горького шоколада хватило бы еще на два года. Неудивительно, что от бабушки остались кожа да кости.

Я подсчитала свою наличность, которая после транспортировки морозильного ларя истаяла, превратившись в несколько банкнот незначительного достоинства, и направилась в магазин с бабушкиной сумкой на колесиках. Он теперь назывался СУПЕРмаркетом и изменился до неузнаваемости. Раньше, случалось, все полки здесь были уставлены лишь банками с маринованными спагетти или кислой капустой, а теперь ря-

ды полок стояли так близко друг к другу, что покупатель с тележкой еле-еле между ними протискивался.

Раньше бабушка терпеть не могла, когда дедушка вместе с ней заходил в магазин. Он вооружался двумя корзинками и тут же брал курс на полки с леденцами и шнапсом, а бабушка все это время делала вид, будто не знакома со своим мужем. Для меня же ходить в магазин вместе с дедушкой было праздником, потому что он заполнял корзинки до верха. Под конец мы приближались к морозильным ларям, и мне не приходилось долго выпрашивать разрешения купить мороженое. В магазины тогда поставляли мороженое в стаканчиках, к которым прилагались пластмассовые ложечки, на каждой из которых было написано чье-то имя. Ложки звались Габи, Майк или Лутц, но никогда — Анння. Каждый раз, не найдя своего имени, я испытывала разочарование. Предприятие-производитель не утруждало себя необходимостью вставлять ложки в стаканчики с мороженым. Ложки вразброс лежали на дне морозильника. Так как у меня были не такие длинные руки, я просто залезала внутрь морозильника и выбирала себе самую красивую ложечку. Серые мне совсем не нравились, все равно, какое имя на них было написано, но в конце концов я находила светло-голубую, которую звали "Клаус", и только собиралась вылезти, как надо мной нависала блондинка с химической завивкой, ругавшаяся до тех пор, пока ее не отодвигал в сторону мой дедушка. "Ты взяла все, что тебе нужно?" — спрашивал он меня. Я кивала, и он доставал меня из морозильника. Ему достаточно было бросить на продавщицу строгий взгляд, и она уже говорила притворно слащавым голосом: "Ребенок ведь мог простудиться", а дедушка таким же голосом отвечал: "Ну, уж не в морозильном ларе!" В отличие от моего отца, его ни капли не интересовало состояние установок по хранению замороженной продукции.

Как же неловко я себя чувствовала потом с отцом, когда мы ходили за покупками. Мы тяжело шагали вдоль полок с продуктами, и отец незаметно прятал принесенный из дома термометр в какой-нибудь морозильный ларь. Затем мы делали несколько кругов по магазину, и отец выбирал продукты. Когда я останавливалась перед полкой со сладостями и не могла ничего выбрать, потому что на вкус все было примерно одинаковым, отец не торопил меня, говорил, что времени у нас еще много. Отец проверял содержимое бутылок с пивом, держа их кверху донышком и ища в бутылке осадок, выбирал у мясного прилавка один из трех сортов колбасы и просил взвесить ровно 100 граммов. Отец не торопился, потому что должно было пройти некоторое время, прежде чем термометр верно покажет температуру. Результат в большинстве случаев был катастрофическим. Ниже −10 градусов температура не опускалась ни в одном ларе. Отец обычно просил позвать заведующую и читал ей лекцию о необходимости сохранять непрерывность холодильной цепи от производителя хладопродукции к потребителю.

"Как поступает потребитель, это его дело, мы на него повлиять не можем, но вам следовало бы знать, как обращаться с замороженной продукцией. А вообще я советую иногда посматривать на упаковку, там все написано". Заведующие каждый раз реагировали с раздражением:

— Как вы, наверное, заметили, у нас сейчас все продукты во вре́менной упаковке. Хорошо уже то, что на них хотя бы написано, что там внутри.

Отец с триумфом доставал из морозильника упаковку горошка.

— Это вам так кажется. Здесь написано: “Срок хранения при температуре -18° — 9 месяцев; при хранении в домашних условиях, в морозильном отсеке холодильника, употребить в пищу не позднее чем через неделю хранения”.

— Тогда привезите-ка мне нормальные лари, а не этот металлолом. И скажите на энергокомбинате, чтобы они перестали постоянно отключать электричество.

— Морозильник забит товарами до самого верха, этого не выдержит ни один ларь, а внутри там все в ужасном беспорядке. И к тому же его не оттаивали уже как минимум год.

— Но вы же сами видите, два ларя уже три месяца как вышли из строя. Вы думаете, к нам сюда просто так, от нечего делать, монтеры заходят? Я подала заявку, придут через три недели. А куда мне все это время складывать товар?

— Тогда не пишите на вывеске крупными буквами, что вы — коллектив социалистического труда.

Изменить ничего было нельзя. ГДР устроила заговор против холодильной цепи. Но отец не сдавался. Иногда вечером, незадолго до закрытия магазинов, мы ехали на трамвае в один из новых районов и покупали продукты там. Везде было одно и то же. Как-то раз одна завмагша сказала с возмущением:

— Да подавитесь вы своей морковкой и горошком! Если бы в морозильнике лежали ананасы, у меня бы не было никаких проблем, их бы сразу раскупили.

— Ананас, — протяжно сказал мой отец, — совершенно не подходит для замораживания. Оттаяв, он приобретает вкус дерева. <...>

Глава 8

Горячее охмеленное сусло

Охлаждение пива

Горячее охмеленное сусло охлаждают до начальной температуры брожения. В зависимости от вида и способа брожения начальная температура этого процесса различна. При охлаждении сусла грубые взвеси осаждаются и появляются тонкие взвеси, сусло насыщается кислородом воздуха, что способствует нормальному брожению и полному выделению белков.

<...> Единственная, кого я знаю и кто мог бы мне помочь разобраться в происшедшем, — Луиза Гладбек, коллега моего отца. Она в течение тридцати лет только и делала, что исследовала взаимосвязи в холодильной цепи. Она наверняка скажет мне, не опровергнуты ли уже принципы термодинамики. Но что я ей отвечу, если она спросит меня об отце? От нее я уж точно не отделаюсь враньем про то, что мой отец находится в экспедиции в Гренландии. Если подумать, Луиза Гладбек, скорее всего, была одной из последних, кто видел отца. В конце концов, они работали в одном кабинете. Может быть, она знает, что случилось с отцом, может быть, она даже присутствовала при том, как он ложился в ларь. Я выис-

киваю ее номер в телефонной книге. Когда бабушка засыпает, потихоньку выхожу из квартиры. Но у Луизы Гладбек никто не берет трубку.

На обратном пути я замечаю, что бабушкин почтовый ящик переполнен. Городская газета по-прежнему называется "Фольксштимме", только подзаголовок "Орган окружного комитета СЕПГ" заменен на "Независимая внепартийная газета, основанная в 1890 году". Нескольких номеров не хватает, наверное, кто-то вынул их через щель в ящике. Последний выпуск — от 9 декабря. Это, наверное, сегодня.

Мне незнакомы имена соседей, которые написаны на других почтовых ящиках. Очевидно, эти люди переехали сюда в то время, когда бабушку я уже навещала нечасто. Соседки одна за другой умерли. Ребенком я практически не видела их мужей. Это были угрюмые, шаркающие ногами персонажи, которые смотрели в пол, когда поднимались по лестнице со своими изношенными портфелями в руках. Очевидно, они жили на этом свете лишь для того, чтобы ходить на работу и после сидеть взаперти в четырех стенах, а когда они становились пенсионерами, они вообще больше не выходили на улицу, пока у них не случался удар или не останавливалось сердце. Когда я добираюсь до своей лестничной клетки, дверь соседней квартиры приоткрывается и какая-то женщина, лет, наверное, тридцати с небольшим, просовывает голову в щель.

— У вас есть ордер? — спрашивает она меня. Я теряюсь. — Мы подавали заявление на квартиру. У моего мужа есть право на дополнительную жилплощадь.

Я заставляю ее немного поволноваться.

— В наше время люди просто берут себе квартиры, которые им нужны, — говорю я и открываю дверь.

— Что? — говорит она. — Вы просто заняли квартиру?

Слово "заняли" она растягивает, насколько это слово вообще можно растянуть.

— Шутка, — говорю я. — Между прочим, моя бабушка еще жива, и у нее есть договор аренды 1952 года.

— Извините, а я уж удивилась. Ведь тогда бы мебель должны были вынести.

Я уже собираюсь закрыть за собой дверь, как она еще раз высовывает голову и говорит:

— Кстати, это мы вызвали пожарных, когда ваша бабушка скреблась тут в дверь и кричала. Вы могли бы о старой женщине позаботиться и пораньше. Она ведь даже за почтой одна не могла ходить.

Затем она захлопывает дверь.

Бабушка, к счастью, в мое отсутствие не просыпалась. Я просматриваю газеты. Что произошло в мире за последние несколько дней, я понятия не имею. Кто-то, очевидно, украл бабушкину антенну, потому что и по радио, и по телевидению сплошные помехи. <...>

Ничего особо нового я из газеты не узнаю. Тому факту, что на аукцион выставлены охотничьи автомобили Хонеккера, посвящена целая статья. *"Рендж-ровер" 1982 года выпуска, согласно показаниям спидометра, прошел всего лишь 20500 километров. Он был разрезан и удлинен на полметра для того, чтобы заменить изначально жесткий верх на электрогидравлический складной верх "роллс-ройса". Как сообщали устроители аукциона, в 1985 году Хонеккер, си-*

девший за рулем этого "рендж-ровера", попал в аварию. "Мерседес-бенц" 280 GE был оснащен дугой безопасности, съемным верхом и "решеткой для приема дичи". Кроме того, эта модель 83-го года выпуска с пробегом 11000 километров имеет особые подножки – очевидно, чтобы легче было садиться в автомобиль. Как сообщается, охотник Хонеккер еще в ноябре 1989 года разъезжал по полям на этой машине. Я еще помню тот день, когда дедушку утром забрали. Двое мужчин в длинных пальто стояли в дверях, а бабушка попеременно то бледнела, то краснела. Дедушка сказал: "Я не пойду с вами, если вы мне не объясните, в чем дело", – и эти господа потрясли перед ним какой-то бумажкой. Дедушка спросил: "Это приказ?", – и мужчины кивнули. Дедушка громко сказал: "Эльзочка, упакуй мне зубную щетку". Бабушка, дрожа, побежала в ванную, а дедушка надел свой берет и взял с вешалки трость. Он погладил меня по голове и сказал: "Завтра я вернусь". Когда он ушел, бабушка разожгла в печи сильный огонь. Она брала с полки книги и засовывала их в печь, пока не повалил густой дым. Потом она залезла в нижний ящик письменного стола и стала пачками сжигать бумаги, пока комната не заполнилась дымом и нам не пришлось открыть окно. Когда дым рассеялся, дедушка вновь появился на пороге. Они привезли его в лес недалеко от Берлина. Привели на какую-то поляну и сказали только: "Здесь ты за год построишь холодильник. Это партийное задание". Дедушка спросил, зачем нужен холодильник посреди лесной чащи. Они сказали, что для убитой дичи. О стройматериалах, мол, беспокоиться не нужно. Все уже подготовлено. Дедушка сделал, что ему было приказано.

В газете от 28 ноября я наконец-то нахожу статью, которая, кажется, имеет непосредственное отношение к состоянию моего отца.

АГРАРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ РЕШЕНО ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ – "ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ ЛИКВИДАЦИЯ"

Из 21 НИИ останутся только три – перспектива: безработица

Еще во вторник утром госпожа министр сельского хозяйства мялась и увиливала от прямого ответа перед сотнями исследователей-аграрников: она сообщила лишь, что собирается предложить кабинету министров новую концепцию развития аграрных исследований. Подробнее о своем проекте она расскажет только после того, как он будет утвержден правительством.

Митингующие уже давно разошлись по домам, когда госпожа министр сделала специально для представителей прессы заявление более конкретное: по ее словам, в будущем останутся только три института, занимающихся аграрными исследованиями.

Так наша земля выполняет рекомендации Федерального Совета по науке, который предложил введение квоты на 270 ученых во внеуниверситетских организациях, работающих в сфере аграрных исследований. Помимо этого, наша земля будет оказывать финансовую поддержку двум межрегиональным исследовательским центрам – в Бранденбурге и Берлине.

Такое развитие событий превзошло даже самые пессимистические ожидания демонстрантов. Большинство из 5200 сотрудников 21 сельскохозяйственного НИИ (а почти все эти организации имеют богатые научные традиции) к 31 декабря будут уволены. Для тех, кто с января останется без работы, до сих пор не разработано никаких планов социальной поддержки и программ переобучения.

Отец себя заморозил, а как поступили те, кто занимался селекцией овощных культур или мясным скотоводством? Я вырезаю статью и продолжаю искать дальше. В большинстве выпусков речь идет о судьбе Советского Союза, о жертвах наркомании или о том, что одной француженке разрешили выйти замуж за умершего друга. Я узнаю, что на почтенную старушку Прагу обрушился дождь из презервативов и что увязший в долгах сотрудник одного нюрнбергского банка хотел убить свою жену почтовой бомбой. Двенадцать немецких ученых вчера отправились в Арктику для проведения исследований озонового слоя. Жаль, что я не назвала вместо Гренландии Арктику, тогда бы госпожа Дойчман сейчас нисколько не сомневалась, что я сказала ей правду, — ведь даже газета подтверждала бы мои слова.

В номере от 5 декабря я нахожу еще одну статью о ликвидации аграрных исследований. Ведущие сотрудники научных организаций предрекают, что вместе с научно-исследовательскими институтами пропадет и своеобразие ГДР. По их мнению, речь, по сути, идет о том, что западногерманские ученые желают избавиться от конкуренции со стороны своих восточных коллег. *Все те научные сотрудники, секретарши, ассистенты и садовники, которые под Новый год останутся без работы, наверняка помнят слова утешения, найденные для них четыре недели назад нашим премьер-министром: "Утешайтесь надеждой, в скорби будьте терпеливы". Сейчас они в полной мере ощущают циничность такого совета.* Отец, кажется, этого совета послушался. Бесконечно терпеливо лежит он в своем морозильном ларе. Несчастным он тоже не выглядит. Но почему он решил сделать именно то, что посоветовал ему член ХДС? Ненависть отца к СЕПГ после объединения Германии безоговорочно перешла на ХДС, который просто поглотил его любимую Крестьянскую партию, не спросив у него разрешения. Отец написал своему последнему председателю гневное письмо. В нем много говорилось о предательстве и о том, что отец не может сделать этого шага вместе с партией. Он не хочет бросаться на шею очередной правящей партии. Но его председатель даже не ответил. Очевидно, о члене Крестьянской партии Кобе, который тридцать лет трудился на благо этой партии в городе, он ничего не слышал. А ведь к своей партийной деятельности отец всегда относился очень серьезно.

Часть II
Глава 10

Лакокрасочные материалы

Образование запаха

Краски на основе масел и олифы нельзя использовать для окраски внутренних стенок холодильных камер, так как эти материалы являются питательной почвой для микрофлоры и потому приводят к образованию неприятных запахов. Лучше всего подходят краски на каучуковой основе.

Луиза Гладбек больше всего на свете любила свою работу. Институт заменял ей семью. Я не знаю, была ли она когда-нибудь замужем. Дедушка принял Луизу Гладбек в свой Институт холода в 1958 году. Получить там

место считалось очень престижным, и ее сокурсники не могли понять, почему дедушка выбрал с их курса единственную девушку. Они придерживались мнения, что женщины не могут заниматься естественными науками. Луиза часто это ощущала на себе:: преподаватели не привлекали ее к проведению важных лабораторных опытов, предпочитая ей одного из студентов мужского пола, пусть и не такого способного. Была бы Луиза хотя бы хорошенькой! Но лицо ее всегда казалось угрюмым из-за жестких складочек между ртом и носом. За спиной у Луизы сокурсники отпускали шуточки, после нескольких банок пива в красках описывая друг другу, как мой дедушка и она кувыркаются в постели – оба толстые, как слоны. Молва о склонности моего ненасытного дедушки к коллегам слабого пола доходила и до студентов Технологического института. Эти люди не знали, что его аппетит распространялся исключительно на секретарш. Впоследствии Луизе Гладбек часто снилось, что ей приходится уволиться из НИИ, чтобы работать лаборанткой на консервной фабрике, – и каждый раз она просыпалась в холодном поту.

За полгода до государственных экзаменов она пошла в Институт холода, чтобы поговорить с моим дедушкой. Она не дала себя отшить секретарше Оттилии, которая в некотором раздражении вошла в дедушкин кабинет, дабы сообщить ему, что в коридоре сидит студентка-естественница. "Пусть заходит смелее", – сказал дедушка, и Луиза для начала робко попросила совета насчет темы диплома. "Исследуйте холодильную цепь, – предложил ей дедушка. – И изучите ее применительно к условиям ГДР. Если вам понадобится помощь, заходите в любой момент".

Луиза вообще-то хотела написать о холодильной цепи только свою выпускную работу, но и спустя тридцать лет она все еще занималась этой темой, – и иногда у нее возникало ощущение, что со студенческой поры она не продвинулась вперед ни на шаг.

Дедушка в конечном счете принял Луизу на работу, потому что наряду с блестящими естественнонаучными познаниями она обладала еще и даром, в наших широтах редким. Она свободно говорила по-английски. Тем не менее прошло восемь лет, прежде чем дедушке, вопреки всем сомнениям сотрудников министерства, удалось добиться того, чтобы ей разрешили поехать на конгресс исследователей холода в Италию – хотя она была незамужней и в партии не состояла. Как ни странно, поехать разрешили и моему отцу. Дедушке удалось убедить министерство в том, что эта пара неразлучна в работе, а поскольку отец оставлял в ГДР в качестве залога меня и маму, Луиза Гладбек же, в свою очередь, никогда и шагу не ступала без моего отца, возможность их измены родине посредством бегства была практически исключена.

Вообще, первый секретарь ЦК СЕПГ после сооружения Стены демонстрировал великодушие и отправлял своих экспертов в сфере народного хозяйства в загранкомандировки. Правда, им приходилось каждый раз брать с собой флаг ГДР, чтобы их можно было опознать как делегацию от первого социалистического государства на немецкой земле. И вот в весенний день 1966 года в актовый зал Болонского университета вошли две делегации с флагами – ГДР и СССР; последняя состояла по преимуществу из женщин в плохо сидящих костюмах, которые списывали в блокнотики даже указатели на дверях туалетов в университетских коридорах, потому что им было поручено записывать все, что попадется на

глаза. Но так как никто из них не знал итальянского, при расшифровке — после их возвращения домой — оказалось, что большая часть списанного не имеет никакой ценности и в лучшем случае может быть использована для составления новых учебников итальянского языка для русских.

Поездке предшествовала сложная подготовка, потому что ГДР не была признана международным сообществом и для въезда в страну НАТО отцу и Луизе нужны были два паспорта: один — выданный ГДР, а другой — американским турбюро, которое располагалось на Кудамме в Западном Берлине и принимало решение, кому из граждан ГДР можно въезжать в западные страны, а кому нет. Прежде отец слышал о такой практике только в связи со спортивными соревнованиями. Он был очень недоволен, когда турбюро — вскоре после моего рождения — отказало гэдээровской футбольной команде юниоров в поездке на турнир УЕФА в Нидерландах, хотя нидерландский МИД выдачу виз разрешил. Против поездки в Италию инженеров по холодильному оборудованию турбюро не возражало, так что моему отцу вместе с Луизой и другими избранными было разрешено сесть в Восточном Берлине в старенький микроавтобус, двери которого не открывались изнутри. Отец усмотрел в этом проявление недоверия к нему со стороны его собственной власти и с удовольствием снова вышел бы из автобуса, будь такое возможно. На КПП "Чекпойнт Чарли" молчаливый шофер показал разрешение на проезд, и автобус пропустили. Они поехали по Кудамму, отец — впервые, потому что он не хотел злоупотреблять доверием своего государства, когда границу между секторами еще можно было пересечь на метро. Он догадывался: водитель, в котором он подозревал проверенного сотрудника госбезопасности, предпочел бы завязать им глаза, чтобы они не видели витрин, которые ломятся от товаров, — хотя отец на такие вещи смотрел с безразличием. В турбюро им нужно было оставить отпечатки пальцев и по фотографии 3х4. Затем они снова сели в микроавтобус. Все происходило молча, как будто Луиза и он попали внутрь какого-то фильма с выключенным звуком. Витрины исчезли, уступив место руинному ландшафту, и в конце концов они остановились у полуразрушенной виллы в Тиргартене — необитаемой, как показалось несведущим пассажирам микроавтобуса. Это было итальянское консульство. Водитель раздал им гэдээровские паспорта, и сотрудник-итальянец в каждый паспорт поставил печать.

Делегация Германской Демократической Республики состояла наполовину из специалистов по холоду, не имеющих партбилета, а наполовину — из партработников. У последних были на холод свои — идеологические — воззрения. Они считали, что безусловно соблазнительный холод капитализма вреден для людей, не обладающих достаточной сознательностью, наличие которой может подтвердить лишь партбилет. Им самим этот холод повредить не мог, потому что они были хорошо защищены против соблазна любого рода благодаря своей сознательности, непроницаемой, словно меховая шуба. Поэтому Луиза Гладбек и отец должны были целый день сидеть на конференции рядом с русскими женщинами. Луиза Гладбек переводила, отец записывал. Они не решались отлучиться с конференции ни на шаг, потому что партийные товарищи запретили им это, пригрозив лишением паспорта в случае нарушения запрета. Такая политика позволяла очень удачно сэкономить на командировочных для экспертов. Партработники тем временем наслаждались капиталистическим

холодом Рима. По вечерам в номере отеля Луиза и отец зачитывали им то, что законспектировали днем.

Но отец спокойно мог обойтись и без командировочных. Дедушка перед отъездом сунул ему в карман сколько-то дойчмарок. Он получил эти деньги за свои статьи о естественной убыли при замораживании мяса для журнала "Холод", выходившего в городе Карлсруэ. Вопреки предписанию сдавать всю валюту государству, дедушка оставил дойчмарки себе. Он больше не ездил на конференции, потому что чувствовал себя слишком старым для закулисных игр, неизменно сопровождавших подобные мероприятия. А несколькими годами раньше дедушка был единственным восточногерманским участником конференции Международной академии холода в Париже; он приехал туда без денег, но с большим научным заделом в сфере исследований по замораживанию мяса. Так как благодаря своим внушительным габаритам, дорогому костюму и прекрасным познаниям во французском языке он казался человеком достаточно компетентным, французские коллеги увидели в нем достойного представителя Германии и сразу же избрали в президиум — что западные немцы, прибывшие несколько позже, сочли результатом мошенничества с его стороны. Они потребовали, чтобы дедушка немедленно покинул президиум, ведь, в конце концов, говорили они, он является представителем части Германии, оккупированной Советским Союзом. В ответ дедушка сказал, что лучше бы они посмотрели на себя и вспомнили, кто из них во время войны занимался консервированием пищевых продуктов, конфискованных в оккупированной Франции, — он-то, не в пример им, в таких делах не участвовал.

Когда дедушка на следующий день с протянутой для приветствия рукой шагнул навстречу коллеге Папсту из Карлсруэ, которому помогал советами касательно готовившейся к печати "Энциклопедии холода", тот сделал вид, будто не замечает его. Через месяц, правда, Папст позвонил дедушке из телефонной будки и извинился. Ему, дескать, запретили с ним разговаривать. Что поделаешь, холодная война! "Хороший повод поговорить о холоде", — ответил дедушка, и после они еще битый час проговорили о холодильной технологии яиц, пока не прервалась телефонная связь.

Когда Луизе Гладбек и отцу в последний день все же разрешили два часа погулять по городу, как раз был праздник Тела Христова. По улицам двигалась процессия, в дарохранительнице несли Святую Гостию, и все магазины по этому случаю были закрыты. В аэропорту отец купил для мамы дешевые духи, а для меня — Дональда Дака, который пах ванилью и стоил так дорого, что отцу пришлось взять в долг у Луизы Гладбек; впоследствии он вернул ей деньги по курсу 1:5, хотя и не без внутреннего сопротивления, ведь официально считалось, что соотношение восточной и западной марки — 1:1.

Через год после конференции в Болонье министерство, выдав Луизе Гладбек два билета на городскую электричку, сумку-холодильник, загранпаспорт на ее имя и немного денег, отправило ее в Западный Берлин на сельскохозяйственную выставку "Зеленая неделя". Там она ходила по выставочным павильонам и выискивала стенды с замороженными продуктами быстрого приготовления. Она взяла всего понемногу, сложила продукты в сумку-холодильник, покинула территорию выставочного комплекса, напоследок еще раза три обернулась — не идет ли за ней

кто, — доехала на электричке до Фридрихштрассе, села в ближайший поезд и вернулась к себе в Магдебург. На вокзале ее встречал институтский шофер. В лаборатории она распаковала сумку-холодильник, коллеги выстроились, как хирурги в операционной, раскрыли продукты, исследовали их — и пришли к выводу, что западные технологи-пищевики тоже сперва кипятят продукты в воде, а потом замораживают в морозильном туннеле — только упаковка у них лучше. На следующий день Луиза Гладбек сдала свой загранпаспорт, заметив при этом, что она для подобных заданий непригодна. Так закончилась ее карьера специалиста по несоциалистическому экономическому пространству. Загранпаспорт отца тоже заперли в институтском несгораемом шкафу, откуда его теперь доставали только для командировок в социалистическое зарубежье.

Но от чего умерла Луиза Гладбек? За формулировкой "трагически погибла" могло скрываться многое. Неудачное падение со стремянки, автокатастрофа, ожоги третьей степени при попытке потушить пожар... Может быть, Луизу тоже нашли замороженной. Правда, насколько я знаю, у нее дома никогда не было морозильного ларя, а если бы она, по мнению патологоанатомов, умерла неестественной смертью, полиция уже давно бы пришла к нам — сначала к отцу, а потом к бабушке. Труп не выдали бы для захоронения. Но все это были лишь предположения, я просмотрела газеты на предмет сообщений о несчастных случаях: некоторых номеров не хватало, а в остальных сообщалось только об автокатастрофах, приведших к гибели молодых людей мужского пола.

Хватит с меня бесплодных умствований. Придется пойти на похороны. Может, тогда я узнаю больше.

На улице сильный мороз, в кухне — всего лишь десять градусов тепла. В газете я прочитала, что в Штасфурте[1] в своих нетопленых квартирах от холода умерло два человека. Я развлекаюсь, представляя себе, как полиция обнаружит в бабушкиной квартире три замерзших трупа. Непонятным останется лишь одно: почему труп мужчины лежит в морозильном ларе.

Я достаю из шкафа кроличью кацавейку, которую бабушка перед войной надевала по торжественным случаям. Она немного узка мне в плечах и едва достает до пупка, но зато греет. Я придвинула к бабушкиной кровати масляный радиатор: умереть от замерзания — не лучший вид смерти. Хотя, когда я была ребенком, процесс обморожения частей человеческого тела увлекал меня больше, чем замораживание моркови или горошка. Я тайно читала романы про Сталинград из библиотеки моего дедушки. Отрывки про то, как солдаты ночью разворачивают портянки и разглядывают свои обмороженные пальцы, прежде чем их отрежут в госпитале, я перечитывала по нескольку раз, пока бабушка в какой-то момент не обнаружила одну из таких книг у меня под подушкой, не открыла ее на том самом месте и не заперла эти книги в шкаф.

Бабушка, кажется, утратила способность ощущать тепло и холод. Она все время раскрывается и пытается сорвать с себя памперсы. Подойдя к ней, я замечаю, что она не спит. Я присаживаюсь на кровать.

1. Город в земле Саксония-Анхальт, недалеко от Магдебурга.

Она гладит кроличий мех искривленными подагрой пальцами, а на меня не смотрит. Ее взгляд лишен какого бы то ни было выражения, словно она вообще больше ничего не видит.

Глава 14

Мясо

К биофизическим изменениям при хранении относится потеря в весе (усушка). При хранении продолжительностью от 6 до 8 месяцев наблюдается убыль в весе мороженого мяса.

Как в 1968 году, в эпоху Новой Экономической Политики социалистического планирования и управления народным хозяйством, мой дедушка мыслил себе жизнь работающей женщины в следующую пятилетку, с точки зрения холодильной техники?

Представим себе отличницу производства, к примеру, чулочницу по имени Луиза Эрмиш, тридцати пяти лет, мать двоих детей, предположим, одинокую, потому что ее муж в начале августа 1961 года уехал на Запад, в отличие от Луизы, которая так любила свое предприятие, что не могла с ним расстаться. Вообразим себе, что лето в самом разгаре. Луиза встает в пять утра и намазывает бутерброды. Хлеб она берет из хлебницы — ничего удивительного, она бы и сто лет назад сделала то же самое. Но вот колбасу и масло она достает из холодильника производства Народного предприятия холодильного оборудования Шарфенштайн, — из холодильника, в котором уже имеется большая трехзвездочная морозильная камера. Луиза заказала его у себя на предприятии — через потребительский посылторг, призванный избавить работающих матерей от долгих хождений по магазинам. Холодильник ей доставили вне очереди, потому что ее бригада в первом квартале произвела наибольшее количество чулок. Чтобы достать масленку из отделения для масла, а колбасу — из верхнего отделения под морозильником (холод ведь распространяется сверху вниз и потому мясные продукты должны находиться ближе к его источнику, чем овощи), она слегка тянет на себя ручку холодильника. Ручка тоже добротная и удобная, потому что новый пятилетний план сулит благосостояние, а проявляется оно, среди прочего, и в элегантном дизайне дверцы. Так как ей нужны обе руки, чтобы достать из холодильника и масленку, и пластиковый контейнер с колбасой, для чего ей приходится слегка нагнуться, потому что на свою зарплату она смогла купить только малогабаритную модель (впрочем, вполне удовлетворяющую потребностям ее семьи), она, распрямившись, закрывает дверь бедром. Когда имеешь дело с новыми холодильниками, для этого нужен только легкий толчок, а не удар ногой, как было прежде, в предыдущей производственной партии. Благодаря социалистическому сотрудничеству между коллективами разработчиков, с одной стороны, а с другой — бойцами невидимого фронта, которые сложными путями добывают производственные схемы холодильников, выпускаемых к западу от Эльбы, для холодильника удалось создать дверь, которая надежно закрывается и после окончания гарантийного срока.

Холодильник Луизы — это конец холодильной цепи, благодаря которой фрукты, овощи, колбаса и масло стали продуктами массового потреб-

ления. Но это, конечно, нисколько не интересует Луизу Эрмиш. Она бы просто растерялась, если бы после того, как она открыла дверь холодильника, не включился бы свет или если бы ей под ноги полилась вода. Бутерброды она упаковывает в практичные полиэтиленовые мешочки, которыми пользуется и для замораживания продуктов в морозильнике; они пригодны и для вторичного употребления, потому что их можно стирать и очень удобно сушить на веревке (правда, их при этом нужно выворачивать мокрой стороной наружу). Итак, холодильная техника уже в достаточной мере облегчила женщине работу, и теперь Луиза Эрмиш может со спокойной душой начать свою смену у чулочно-вязальной машины. Конечно, прежде она поцеловала в носик обоих своих сыновей и отправила их в раннюю смену группы продленного дня, потому что, помимо своей профессиональной деятельности, она еще и хорошая мать. В первом перерыве она съедает принесенные из дома бутерброды, а в обед вновь наступает черед холодильной техники, потому что предприятие, ввиду занятости на нем большого количества работниц, располагает несколькими точками раздачи питания. И все же число питающихся не настолько велико, чтобы заводить для каждого цеха собственную кухню. К тому же завод работает в три смены. Традиционные методы не обеспечивают снабжения второй и третьей смены горячим питанием. В прошлую пятилетку питание в столовую еще поставляли в теплосберегающих контейнерах, но отвратительные зеленые емкости с защелками на крышке с правой и с левой стороны никому не нравились, потому что картофель всегда был слипшимся, а соус — чуть теплым. Кроме того — Луиза этого не знает, но зато знает мой дедушка, — транспортировка и хранение блюд в теплосберегающих контейнерах абсолютно нежелательны с точки зрения физиологии питания, и поэтому специалисты всех стран пришли к общему мнению, что для современных форм общественного питания оптимально использование продуктов, законсервированных методом заморозки. Итак, центральный пищеблок на предприятии Луизы Эрмиш путем приготовления и последующего замораживания пищи производит тысячи порций готовых замороженных блюд, упакованных в ассиетки[1] красивой формы. "Ассиетки" по-французски означает не что иное, как "тарелки"; коллеги Луизы Эрмиш говорят "азиетки", потому что они уверены, что эти штампованные творения из алюминия с треугольными выемками для раскладки картофеля справа, овощей слева, а мяса с соусом — внизу, в самом широком треугольнике, производятся в Азии. Ассиетки потом можно смять и выбросить, что позволяет обойтись без десяти — по крайней мере — посудомоек; женщины, которые раньше мыли посуду, с недавних пор тоже вяжут чулки, и это очень радует Луизу Эрмиш, потому что бывшая посудомойка Элли Шмидт — веселая девчонка, а к тому же появление еще одной работницы поможет перевыполнить план и обеспечит премию в конце месяца, которая необходима в семейном бюджете Луизы Эрмиш, иначе она не сможет вовремя выплачивать взносы за купленный в рассрочку холодильник. Нужда в ежедневном отпуске еды отпала, так как раз в неделю на их фабрику приезжает рефрижератор с замороженными готовыми блюдами, которые складируются в холодильных камерах на кухне и по мере надобности подвергаются размораживанию. Работницы могут выбирать из трех различных блюд. Клара Баум, стоящая

1. От *франц.* assiette.

за окошечком кухни, спрашивает, какой номер, и Луиза говорит: "Сегодня номер 2", потому что тушеные огурцы — ее любимая еда. Клара достает огурцы из холодильной камеры и пять минут разогревает их в высокопроизводительной установке непрерывного подогрева. За это время Луиза может выкурить одну сигаретку, пока Клара не выкрикнет в сторону столовой: "Второй номер, одна порция". Со времени общего собрания, на котором рассказывали о новой системе, Луиза Эрмиш знает, что в США все люди едят готовые замороженные блюда. Поэтому порой она кажется себе настоящей светской леди. Ведь существует еще достаточно много предприятий — например, отсталых полугосударственных, — которые не пользуются плодами подобного изобретения.

Насытившись, Луиза Эрмиш может продолжать плодотворно трудиться. По окончании рабочего дня, выйдя из трамвая, она с удовольствием наведывается в продовольственный магазин самообслуживания. Вначале, надо признаться, ей немного не хватало продавщицы, которая бы отвешивала муку и сахар, кофе и масло — и запаковывала бы их в коричневую бумагу. Но теперь она по достоинству оценила точно отвешенные, красиво оформленные упаковки и в первую очередь — большие освещенные холодильные установки, в которых представлено несколько видов свежезамороженной продукции. Она любит покупать замороженные овощи в упаковках, на которых веселый снеговик едет на коньках по горошку или морковке. Ассистент моего дедушки — а именно мой отец — подсчитал, что приготовление килограмма стручкового горошка, на покупку которого затрачивается 11:46 минут, заняло бы 19:49 минут, тогда как приготовление фунта замороженного вылущенного горошка, купленного за 4:32 минуты, длится всего лишь 7:48 минут. Луиза на этом экономит 18 минут, за которые может сыграть с детьми один кон в настольную игру "Не сердись, дружок!". Продукты, консервированные холодом, фасуются в специально разработанные пакеты для транспортировки замороженной продукции, так что горошек за время пути разогревается максимум до –10°, и холодильная цепь остается непрерывной до того момента, пока Луиза Эрмиш не откроет у себя дома дверь морозильника. Иногда детям перепадает еще и стаканчик мороженого, но к таким безделкам мой дедушка не имеет никакого отношения. Если Луиза Эрмиш — прогрессивная женщина, интересующаяся современными методами приобретения товаров, она участвует в инициативе "Минутная закупка" коллектива "Прогресс" торговой организации (ТО), то есть вечером она заказывает у продавщицы желаемые продукты на завтра, та в течение следующего дня подбирает для нее необходимые товары, а самой Луизе после работы остается только заплатить. Замороженные продукты продавщица просто быстро подкладывает к остальным товарам уже на кассе. Луиза Эрмиш, таким образом, полностью всем довольна и со спокойной душой отсылает обратно рождественские посылки, присылаемые отцом ее детей с Запада, даже не читая того, что написано в таможенной описи.

— Это были просто глупые фантазии, — говорит мой дедушка в гробу. — Еще и не такие люди ошибались. Хрущев тоже думал, что построит коммунизм к 2000 году.

Вот уж в чем дедушка прав так прав.

Потому что в следующую пятилетку Новую Экономическую Политику социалистического планирования и управления, которую давно переиме-

новали в Экономическую Систему Социализма, постепенно заморозили при −18°. Исследования Института холода внезапно приостановили. И моему отцу с тех пор пришлось удовлетворять население мороженым. Пауль вдруг вспомнил обо всех своих болячках и вышел на пенсию. И так уже было дурным знаком, что руководитель Государственной плановой комиссии из-за значительных расхождений с преемником Хрущева в 1965 году закрылся в своем кабинете и застрелился из служебного оружия. Ему организовали государственные похороны по первому разряду, в газетах написали о трагической случайности, а на его место назначили нового руководителя, который переставил свой письменный стол, чтобы не упираться все время взглядом в круглую выбоину в стене. Произошла смена вех. Причем такая, что локомотивы, выехавшие в одно и то же время из разных мест, неизбежно рано или поздно должны были столкнуться. Но до этого было еще далеко. Луиза Эрмиш и ее дети вновь начали питаться менее полезной с точки зрения физиологии едой из теплосберегающих контейнеров, которые по-прежнему были зеленого цвета и по-прежнему подтекали. Так что дети по понедельникам опять выблевывали щи на пластиковые тарелки, замороженные готовые блюда исчезли из холодильных установок, да и сами холодильные установки постепенно выходили из строя, а ресурсов на разработку более качественных агрегатов в народном хозяйстве не было; "минутную закупку" отменили, и Луиза Эрмиш осенью опять занялась закатыванием банок, для чего приходилось искать банки и резиновые кольца уже весной, потому что купить их осенью было невозможно. По утрам Луиза приходила на работу невыспавшаяся, времени на игру "Не сердись, дружок" у нее тоже больше не оставалось. Зато новое правительство обещало к 1990 году решить ее жилищную проблему. Луизе Эрмиш не хотелось ждать своего счастья так долго. Ведь у нее была только одна жизнь. В конце семидесятых она подала заявление на выезд с целью воссоединения семьи, потому что однажды, когда в ее чулочно-вязальной машине в очередной раз произошел обрыв некачественной нити, она поняла, что мужа все-таки любит больше, чем свое предприятие.

Я, правда, уже в четыре года знала, что еда из ассиеток такая же невкусная, как и из теплосберегающих контейнеров. Новая Экономическая Политика уделяла особое внимание конкуренции между предприятиями одной сферы производства. А конкуренция подразумевала рекламу. Лучшей рекламой считались маленькие девочки, уже в четыре года умеющие есть ножом и вилкой. А я это умела. Так что одним прекрасным субботним утром отец за руку отвел меня на фотосессию в Институт холода. На мне было мое самое лучшее, темно-красное платье с двумя вышитыми на нем пингвинами. Мой папа решил, что это очень подходит к замороженным готовым блюдам. Меня посадили на стул с тремя подушками, чтобы я доставала до стола. Затем мне дали подогретую ассиетку с картошкой, красной капустой и рулетом из говядины с коричневой подливой. Справа от моей алюминиевой ассиетки отец поставил стеклянную вазочку с творогом и клубникой. Клубника представляла еще более важную с точки зрения народного хозяйства серию опытов по вакуумной сублимационной сушке, обещавшую сделать ГДР еще более независимой. Дело в том, что при наличии нескольких квадратных километров складских площадей для хранения продуктов, замороженных путем вакуумной сублимационной сушки, а также достаточного количества воды, все население ГДР можно было бы

отправить на Марс, чтобы там оно — радостно и без помех — лет десять строило социализм. Но к тому времени, когда мне исполнилось четыре, ученые еще не продвинулись так далеко в этой сфере. Клубника на твороге по цвету очень подходила к моему красному платью. Проглатывая очередной кусок мяса, я думала: еще столько-то кусочков, и тебе разрешат съесть творожный десерт. Ко всему добавлялся еще и фотограф со своими жаркими лампами, от которых я вспотела. "Так, а теперь, девочка, подними головку чуть выше, чтобы мы видели твои красивые карие глазки". Смотреть в фотоаппарат значило есть ножом и вилкой вслепую, чего дома мне делать не приходилось, — и, конечно, кусок рулета плюхнулся обратно в подливу, оставив на моем платье брызги, которые потом пришлось ретушировать. Передо мной три раза ставили новую ассиетку, потому что наполовину съеденную порцию рекламировать сложно, и в конечном итоге я так наелась, что на творожный десерт меня уже не хватило.

Вечером бабушка приготовила для меня настоящую еду. Она всегда готовила из свежих продуктов — мыла овощи, отбивала мясо, чистила картошку, — потому что, будучи женщиной неработающей, не зависела от той цепочки снабжения, которую налаживал дедушка. Я впоследствии чувствовала себя очень неловко всякий раз, как мы с ней посещали единственный в нашем городе магазин деликатесов. Там стояли огромные морозильные лари, над которыми в стеклянных коробах с подсветкой висели цветные фотографии. Там висела моя улыбающаяся мама со своей новой практичной короткой стрижкой и с замороженным горошком в руках; там висел мой отец, стоящий в белом халате перед машиной-рефрижератором с надписью "Свежие продукты к вашему столу"; там висела и я в красном платье, вперившаяся взглядом в еду, так что разглядеть цвет моих глаз было невозможно. Каждый раз, когда бабушка заходила вместе со мной в этот единственный магазин деликатесов и мы оказывались возле морозильных ларей, она с наигранной эйфорией выкрикивала: "Посмотри-ка, Анння, — это же ты!" Она вела себя так и через восемь лет, когда я все еще красовалась на фотографии, хотя блюдо, которое я тогда ела, так и не поступило в продажу — из-за нехватки упаковочных материалов. Правда, фотография со временем несколько поблекла, платье было уже не красным, а розовым, пингвины выглядели как рыбы, а мои волосы вместо каштановых стали русыми. Лично я очень приветствовала крах Новой Экономической Политики и последующее введение более дорогой торговой сети "Деликатесы", потому что попутно исчезли и морозильные лари с подсвечивающимися рекламными коробами, продукты опять стали продаваться в консервных банках, и продавали их стоящие за прилавком продавщицы с химической завивкой и красивыми белыми наколками.

Глава 16

Огурцы

Отепление. Дефростация

В наполовину размороженном состоянии очистить от кожицы и нарезать. Затем, после полного размораживания, употреблять таким же образом, как свежую продукцию.

Однажды в начале осени 1969 года отец, улыбаясь, пришел вечером с работы, бросил портфель в угол, обнял маму и быстро закружил ее по нашей гостиной, что было ему совсем не свойственно.

— Ты что это? — спросила мама и попыталась высвободиться из его объятий.

— Угадай с трех раз, что у нас будет в октябре?

— Братик, — сказала я.

— Неправильно.

Я была разочарована.

— Квартира в новом доме, — попыталась угадать мама.

— Тоже неправильно. У вас еще одна попытка.

— Прекрасное путешествие.

— Ну, может — как следствие. Но главного вы не угадали.

— А что тогда? Ну скажи, пап!

— Мы получим Национальную премию.

— Ого! — поразилась мама. — А за что?

— За вакуумно-сублимационную сушку. А сейчас давайте-ка махнем в ресторан!

Мы приоделись и отправились в “Интеротель”. Отец, вопреки своему обыкновению, дал официанту на чай. Я никогда раньше не видела, чтобы он так ликовал. Всю дорогу в ресторан он прижимал к себе то маму, то меня и говорил: “Я так рад!”

Дома мама достала каталог рассылки потребительских товаров и отправила огромный заказ, из которого, однако, ко дню торжественной церемонии из-за дефицита пришли только дамские туфли “Магдебург” и вечерняя сумочка. Последнюю в каталоге вообще-то рекомендовали для новогоднего банкета, а мама начала ходить с ней уже в октябре, но что такое Новый год по сравнению с церемонией вручения Национальной премии! Туфли вообще не годились для ношения в нашем островном районе. Маме даже не удалось никому их показать, потому что, как только мы вышли из дома, она попала каблуком в щель между двумя булыжниками и каблук отвалился. Исследования моего отца для жителей острова тоже были чем-то потусторонним. Помню, утром накануне великого события мама дала мне пластиковый бидон, в который бросила монетку — пятьдесят пфеннигов. С этим бидоном я впервые в жизни одна пошла в молочный магазин к фрау Шмальфус. Я так волновалась, что забыла встать в очередь, и фрау Шмальфус заметила меня только через час, потому что в то утро у нее в магазине проходила очередная — недоброй славы — встреча уроженок Восточной Пруссии, говоривших на диалекте, в котором редко встречается открытое “а”, зато много раскатистых “р”. Женщины вспоминали Кёнигсберг. В моих наивных фантазиях, порожденных их рассказами, улицы там мостили золотом, а собор был раз в десять выше нашего — пока не пришли русские и всем жителям не пришлось спасаться бегством на обозе.

Они заговорили о своих запасах консервов, которые вынуждены были оставить дома, и тут только заметили в магазине меня.

— Гляди-ка, дочка нашего ученого теперь в мыгызин одна ходит. На прошлой неделе он все пытался мне всучить свой мырызильный ларь, чтоб я мыроженым да гырошком тыргывала. Но я дыла ему от ворот поворот: тыкой дребедени у меня в мыгызине не место!

Женщины с ней согласились. Три покупательницы попрощались и ушли.

— Ну, уж овощи кынсервировать нам никто не зыпретит. Хватит того, что я не мыгу писать в грыфе "Место рождения" "Кёнигсберг"!

Я удивленно посмотрела вверх, на женщину рядом со мной, потому что не поняла, что она имеет в виду.

— А эта мымаша ребенка одныво в мыгызин посылает! Ыыплачется, если девчонку зыберут русские!

— Да я думаю, ыни сами под русскую дудычку пляшут, — сказала фрау Шмальфус и наконец-то подняла крышку бидона. — Ыни там у себя в институте зынимаются сибирским холыдом. Тыкое только русские мыгли придумать.

— Может, ыни и над людьми опыты ставят.

— Хорош, Анна! Вдруг она отцу передаст? И вообще, он мне только мыроженый гырошек всучить пытался, а ыкрымя тыго ничего худого не сделал.

— Да она больно мыла еще, не запомнит! Ты же знаешь, ыкие они: небось спереди-то гырошек лежит, а сзади, в чулане, — люди. Ты мне байки пры них не рысскызывый.

— Хоть бы мылыко не тыкое жидкае было! А то стыдна даже, — сказала фрау Шмальфус и подняла вверх мерную кружку. — А теперь ыни за свои грязные делишки еще и ныцiыынальную премию получат.

— Русскую?

— Да откуда ж я знаю, кыкую. Пятьдесят, Анння.

После этих слов я расплакалась. Женщины испуганно посмотрели друг на друга. Фрау Шмальфус, чтобы меня успокоить, подвинула в мою сторону по прилавку круглый леденец на палочке, но сразу же убрала руку с леденцом, когда я сквозь слезы проговорила:

— Деньги в бидоне.

— С луны ты, что ли, свылилась? — раздраженно сказала фрау Шмальфус и записала нам пятьдесят пфеннигов долга. В этот момент в магазин вошла моя мама, которая уже начала за меня волноваться. Сладко улыбаясь, две женщины из Восточной Пруссии сообщили ей, что и они, когда их в первый раз послали за молоком, оставили деньги на дне бидона.

— Но раньше деньги еще чего-то стоили, не то что нынешние, из ылюминия.

— Вылейте лучше молоко, кто знает, кто к этим деньгам прикысался.

— Да что вы, — сказала мама, — молоко не выливают. — И протянула монету в пятьдесят пфеннигов.

— Ну что, у вас праздник? — спросила фрау Шмальфус, тут же заговорив нормально. — Что наденете?

Мама пожаловалась на систему рассылки товаров и сказала, что сегодня нам еще предстоит поход в магазин готового платья. Обе женщины рассмеялись.

— Когда мой блыгыверный получил железный крест первой степени, у нас в Кёнигсберге еще были частные портные. Потом-то коммунисты их отменили. А тогда я сшила себе платье с сиреневыми цветочками, приталенное, чуть ниже колена, с белым воротничком. Кто знает, кыкая русская кырова теперь его носит. Нам там пришлось все бросить.

— Мы два раза попадали под бомбежку, наши платья сгорели... А теперь нам пора идти. Ання, скажи “До свидания”.

Фрау Шмальфус все же снова протянула мне леденец. Но я покачала головой.

— Почему же ты не взяла конфету? — спросила мама, когда мы вышли на улицу.

— Аппетита нет, — ответила я.

Вечером мы с папой пошли в магазин, в котором брат моей мамы работал заведующим. Брат мамы коротко поздоровался с нами и исчез. Через три минуты он протянул в кабинку для переодевания костюм из ткани гризутен. Последний писк моды: материал назывался “Презент 20” и был подарком трудящихся текстильной промышленности к двадцатой годовщине ГДР, как мне впоследствии объяснили в школе. Отец купил себе зеленый костюм из химического волокна высшего качества, под названием “Нильс”. В каталоге про костюм говорилось, что он однобортный, с четырьмя пуговицами, широкими лацканами, косыми накладными карманами, с особо тщательной внутренней обработкой (двумя закрывающимися нагрудными карманами, карманчиками для гребешка, карандаша и сигарет), с застегивающимся карманом сзади на брюках и прочими прибамбасами, — орден лауреата Национальной премии хорошо бы на нем смотрелся. Маму муж и брат уговорили взять костюм с мини-юбкой и жилетом, из ткани гризутен, в крупные цветы, носивший экзотическое название “Афины”. Мама в розовом мини была похожа на хрюшку, что она, правда, заметила только тогда, когда увидела фотографии, сделанные на не менее модной цветной пленке “Орво-Колор”, — и тут же порвала их. Цвета получились неестественные, пояснила она. Этот мамин костюм вскоре тоже можно было разве что передать в государственную службу по переработке вторсырья, потому что пламя сигареты выжгло в нем дыру размером с пфенниг. Дырка выглядела так, будто кто-то затушил окурок в пластиковом стаканчике от мороженого, что вполне понятно, ведь и ткань, и стаканчик производились из сходных ингредиентов. Края дырки запеклись, и костюм нельзя было привести в порядок, даже обладая определенными навыками художественной штопки. Для детей одежды из ткани гризутен еще не было; мне, в конце концов, вообще ничего не купили, потому что я даже мерить отказалась то единственное платье из вяловатой вискозы, которое висело в магазине на вешалке с моим размером. <...>

Но папа все же не получил Национальную премию. В последний момент в политбюро обратили внимание на то, что в списке от научного института значатся два человека с одной и той же фамилией. Поскольку Вальтера Ульбрихта, верховного представителя партии, это навело на мысль о кумовстве, он лично вычеркнул отца из списка. Дедушка же, привнесший в проект не более чем свое доброе имя и хорошую репутацию, в списке остался. Но так как отец бóльшую часть работы делал вместе с Луизой Гладбек, и чиновникам показалось несправедливым, что Луиза Гладбек получит Национальную премию, а отец — нет, то вычеркнули заодно и ее. Мама сказала: “Напиши заявление в Государственный совет”, — но отец только покачал головой. Это было началом целой цепочки унижений, которая в папином случае, очевидно, закончилась в морозильном ларе.

Вечером мы смотрели церемонию вручения премии, транслировавшуюся из здания Государственного совета в телепередаче “Актуальная камера”. Сначала вручались премии за достижения в сфере искусства и литературы.

Национальная премия I класса была присуждена создателям телевизионных фильмов “Крупп и Краузе” и “Товарищ Ханс Баймлер” Тео Адаму и Альфреду Курелле[1]; национальную премию II класса получили Вилли Зитте, Карл фон Аппен, Матильда Данеггер, Вернер Клемке, Фридрих Рихтер[2], коллектив областного театра города Галле, создатели документального фильма “Президент в эмиграции”[3], коллектив социалистического творчества по созданию песен, кантат и ораторий, создатели фильма киностудии ДЕФА “Время жить”[4], создатели настенного панно “Путь красного знамени”[5] и коллектив Национальных мемориально-исследовательских центров. Национальная премия III класса была вручена Кристе Готшалк, Эмми Кёлер-Рихтер, Курту Мазуру, Альфреду Мюллеру, Вильгельму Шмидту, Розмари Шудер, Эве Шульце-Кнабе[6], коллективу студии “Вечерняя телевизионная сказка для детей”, коллективу переводчиков советской литературы и коллективу исследователей и хранителей творческого наследия Генделя.

Мама все время говорила: “Бред какой!” и “Ха-ха, хвалебный хор — создание кантат”, или: “Путь красного знамени, представляю, что это за панно”, или: “Типично, женщинам дают только III класс”, или: “Этот со своими жирными телками...”, а под конец: “Радуйся, что тебе ее не дали”.

Но папа не радовался, а когда дедушка поднялся на сцену и Вальтер Ульбрихт похлопал его по плечу, у папы заходили челюсти. Мама засмеялась, когда ведущий прочитал, что они получают Национальную премию III класса как “коллектив разработчиков сублимационной сушки”. Ей пришло в голову, что это можно понять, среди прочего, и как политическую метафору, а потому Национальную премию I класса за такое никогда бы не дали. Но этого я не поняла. Меня смешили только названия вроде “коллектив ‘Электрорыбалка и вторичное зарыбление’” или “Социалистическое исследовательское общество ‘Водорастворимые

1. “Крупп и Краузе” (1968) — телевизиоииый миогосерийиый фильм о рабочем с завода Круппа. “Товарищ Хаис Баймлер” (1969) — телевизиоииый миогосерийиый фильм о Хансе Баймлере (1895–1936), командире интериациоиальиого батальоиа, погибшем в Испании. Тео Адам (р. 1926) — иемецкий певец и опериый режиссер. Альфред Курелла (1895–1975) — иемецкий писатель, переводчик и партийиый деятель, в 1957–1963 гг. — руководитель Комиссии по делам культуры при политбюро ЦК СЕПГ.

2. Вилли Зитте (р. 1921) — художник, президеит Союза деятелей изобразительиых искусств ГДР. Карл фои Аппеи (1900–1981) — иемецкий театральиый художник, долгое время сотрудиичавший с театром Берлииер Ансамбль. Матильда Даиеггер (1903–1988) — австрийская киноактриса, после 1960 г. часто сиималась в фильмах киностудии ДЕФА и в гэдээровских телефильмах. Вериер Клемке (1917–1994) — иемецкий киижиый график. Фридрих Рихтер (1894–1984) — иемецкий кииоактер.

3. “Президеит в эмиграции” (1968–1969) — телевизиоииый докумеитальиый фильм Вальтера Хейиовски и Герхарда Шоймана о Вальтере Бехере (1912–2005), президеите землячества судетских иемцев.

4. “Время жить” (1969) — фильм Хорста Зеемаиа.

5. “Путь красиого зиамеии” — мозаичиое паиио иа задией стеие Дворца культуры в Дрездеие; создаио в 1969 г. Герхардом Боидзииом и учениками дрездеиской Высшей школы изобразительиых искусств.

6. Криста Готшалк — иемецкая кииоактриса. Эмми Кёлер-Рихтер — главиый балетмейстер и хореограф лейпцигского опериого театра. Курт Мазур (р. 1927) — иемецкий дирижер. Альфред Мюллер (р. 1926) — иемецкий кииоактер. Розмари Шудер (р. 1928) — иемецкая писательиица, автор исторических ромаиов. Эва Шульце-Киабе (1907–1976) — иемецкая художиица.

краски'". Я еще смеялась, когда прозвучало название "Коллектив разработки кардочесания в гребенном прядении", а потом отец завопил: "И ты тоже смеешься, как твоя мать!" После чего мы обе присели на подлокотники его кресла и начали гладить отца по голове.

— Не расстраивайся, — сказала я, пытаясь его утешить.

А мама еще сказала:

— Кто знает, наверное, для чего-то так нужно.

Глава 17

Применение холода при производстве мороженого

Процесс производства состоит из следующих стадий:

а) пастеризатор, б) гомогенизатор, в) охладитель, г) ванны для старения смеси, д) фризер, е) фасовочная машина, ж) закалочная.

Азот. Теперь я вспомнила. Веществом, с помощью которого отец себя заморозил, был, скорее всего, азот. Когда мы с классом в 1974 году ходили в Институт на экскурсию, Луиза Гладбек подержала в азоте шляпу, и та мгновенно заморозилась.

В кабинете я роюсь в научных книгах и журналах, вывалив все и из той коробки, которую привезла из отцовской квартиры. Проходит какое-то время, прежде чем я нахожу, что мне нужно.

В последние годы мировая наука искала новые методы, повышающие скорость замораживания. Так был изобретен метод замораживания на базе жидкого азота. <...>

Скорость замораживания, достигаемая таким способом, хотя и ниже, чем при погружении в жидкий азот, но все же значительно превышает скорость, достигаемую обычными методами. Как установили американские ученые, для подобных аппаратов необходимо лишь около 1/6 от производственных площадей, занимаемых обычными морозильными аппаратами. Скороморозильный аппарат состоит только из морозильного туннеля и резервуара с жидким азотом, который может размещаться вне производственного здания. Поэтому вся установка является передвижной.

Может, разгадка в этом. У отца в НИИ было достаточно азота, а когда решение о ликвидации института стало окончательным и бесповоротным, ему в голову пришла идея использовать жидкий азот в качестве катализатора для своего последнего эксперимента.

Только вот все статьи касаются продуктов питания, а не людей. Но я листаю дальше и уже ближе к рассвету нахожу в октябрьском номере журнала "Холод" за 1969 год статью, которую совсем не искала и от которой у меня стынет кровь в жилах. Мне приходится пойти в ванную и вылить себе на голову ведро воды, чтобы понять, что я не сплю:

Замороженный труп профессора психологии Джеймса Бедфорда, скончавшегося от рака на 74-м году жизни, был доставлен в город Феникс штата Аризона. Труп будет в течение долгого времени храниться там в замороженном состоянии, пока развитие медицины не достигнет той стадии, на которой вероятность излечения рака достаточно высока. Тогда тело разморозят и оживят. Между Бедфордом и калифорнийским "Криогеническим обществом" был заклю-

чен договор, в соответствии с которым тело профессора сразу же после наступления смерти должны были заморозить и хранить в замороженном состоянии до момента оживления. <...>

Во многих городах Соединенных Штатов были основаны филиалы "Криогенического общества", занимающегося проблемами глубокого замораживания с целью продления человеческой жизни. Сообщают, что в США и за их пределами насчитывается уже более 700 членов этого общества. Общество обязуется сразу же принять все необходимые меры, если кто-либо выразит готовность подвергнуть себя процедуре замораживания. Такой человек должен предоставить Обществу капитал в размере 10 000 американских долларов. Тело замораживают сначала в сухом льду, а затем в жидком азоте, так же осуществляется и хранение. Поборники этого метода уже задумываются о том, что для оживших людей должны быть подготовлены реабилитационные центры с целью сохранения их памяти и личной индивидуальности, чтобы размороженный и оживленный человек мог вспомнить все, что случилось в его прошлой жизни. Был опрошен и ряд духовных ли́ц, у большинства из них не возникло возражений против применения такого метода. Правовые проблемы, возникающие в этой связи, сложно решить однозначно, например: считать ли, что супруги состоят в браке, если один из них хранится в глубоко замороженном состоянии? Как следует поступить с его наследством? Следует ли сохранять его, чтобы после оживления человек не остался без средств к существованию? Повторное вступление в брак должно быть разрешено, так как тот, кто хранится в глубоко замороженном состоянии, с точки зрения закона мертв. Несомненно, стремление к бессмертию столь велико, что прочие проблемы отходят для многих людей на второй план.

Да, все это похоже на кошмарный сон. В один прекрасный день землю будут населять сплошные мертвецы, рассказывающие о вещах, которых уже много веков нет на свете. Я не могу себе представить, чтобы папа вступил в какое-либо общество в США. Противником американцев он был не только в спорте. Каждому лагерю в Советском Союзе, каждому убитому возле Берлинской стены он мог противопоставить какое-нибудь преступление американцев. И потом — где бы он взял 10 000 американских долларов? Может, он тоже просто слышал об этом и после объединения основал в Германии свою фирму, по примеру американцев? Но ведь у него температура тела −18, а не −196 °С, и это — без притока энергии извне! Я испытываю страх при одной мысли, что может найтись объяснение и этому. А вдруг на свете уже существуют размороженные и вновь оживленные люди, которые живут среди нас и пытаются как можно меньше обращать на себя внимание... Но почему отец не заморозил себя в институтском морозильном ларе, который гораздо больше? Зачем ему было протискиваться в маленький морозильный ларь? И где сейчас цистерна с жидким азотом? Дело в том, что, если моя гипотеза верна, в квартире должен был находиться еще кто-то, кто помогал отцу при замораживании. Предполагаю, что это была ныне покойная Луиза Гладбек.

Часть IV
Глава 34

Спаржа

Невозможность сохранения спаржи, а также бобовых (бобы, горох), салатных (салат, сельдерей) и шпинатных (шпинат, щавель) овощей связана с тем, что они представляют собой молодые растущие организмы с интенсивным обменом веществ. Для длительного сохранения без изменений необходимо прибегнуть к замораживанию.

Я ждала этого дня, 2 июля 1982 года, как никакого другого в своей жизни. Я казалась себе марафонкой, которая, пробежав 42 километра, огибает угол и видит стадион. До того момента, как у меня в руках окажется аттестат зрелости, оставалось каких-нибудь 400 метров. Готовясь к выпускному вечеру, я достала две простыни и сшила себе из них белое платье, которое издалека напоминало ночную рубашку. Я должна была доиграть свою роль до конца. Отец пришел на вечер в лучшем костюме. Он пытался делать вид, будто ничего особенного не происходит, и все время просидел в одиночестве за одним из столов сзади, пока другие родители разговаривали между собой. Со мной тоже никто не разговаривал. Когда меня вызвали на сцену, по залу пробежал шепоток. Когда директор поднялся на сцену, чтобы пожать мне руку, я демонстративно заложила руки за спину, и он шагнул мимо меня. Когда я спускалась со сцены, он пожал руку Корнблуму и громко сказал: "Желаю тебе, чтобы у тебя никогда больше не было такой ученицы, как Анна Кобе".

Мне, единственной из всего класса, не досталось места в вузе, хотя я была одной из лучших учениц, если не считать отметок по математике и французскому и моей характеристики.

Характеристику на меня писал сам директор. "Прогрессивное воспитание, которое получила Анна Кобе, не всегда проявлялось в оптимистичном, примерном поведении", — гласило последнее предложение. Прощаясь со мной, Корнблум сказал, что он, насколько мог, смягчил формулировку: прежде там стояло "не проявлялось" вместо "не всегда проявлялось", а это разные вещи. Мне было все равно. Папа обрадовался бы, если бы я пошла учиться на факультет холодильной техники. "У нас через четыре года наверняка освободится место". Но я этого не хотела. Я взяла свой аттестат и вместе с отцом покинула актовый зал. Мы пошли в ресторан "Москва" гостиницы "Интеротель", куда меня в моем одеянии пустили только потому, что старший официант еще помнил моего дедушку. Каждый из нас был погружен в свои мысли. Я думала о дедушке и спрашивала себя, как бы он поступил, окажись он на моем месте. Догадаться, о чем думал отец, было невозможно.

В сентябре я начала искать работу. Куда бы я ни посылала свои документы, меня принимали с распростертыми объятиями, но через неделю мне каждый раз давали понять, что сотрудники им все-таки не нужны, — хотя у входа на предприятие продолжал висеть список открытых вакансий на вспомогательные должности. Они не обязаны были сообщать мне, почему именно не хотят меня брать.

Через три недели я получила письмо из окружного отделения Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ). Я должна была подойти туда в назначенное время, со мной хотели поговорить о последней конференции по вопросам культуры. Я сочла письмо какой-то ошибкой, позвонила в окружное отделение ССНМ и попросила соединить меня с членом ССНМ Винтером, подписавшим приглашение, но женский голос на другом конце провода дал мне понять, что не знает никакого члена ССНМ Винтера и что мне следовало бы обратиться в районное отделение ССНМ. Тем лучше, подумала я и посчитала вопрос закрытым. Однажды вечером отец, придя с работы, сказал мне с некоторым возбуждением в голосе, что, как ему сообщили через районный совет, некий господин Зоммермайер из окружного управления ССНМ хочет поговорить со мной в ближайшую пятницу, речь идет о моем будущем. Отца это явно беспокоило больше, чем меня. Я рассказала ему, что в письменном приглашении этого человека звали Винтером. Отец сказал, чтобы я сделала ему одолжение и сходила туда. У меня было нехорошее предчувствие, когда я поднималась по лестнице в окружное управление. Я сказала секретарше в голубой форменной рубашке, сидевшей за огромной печатной машинкой, что у меня назначена встреча с членом ССНМ Зоммермайером, он же Винтер, — и она встала и повела меня в заднюю комнату, за окном которой простиралась огромная глухая стена, не дававшая свету проникнуть в помещение. В углу сидел пожилой человек, безмолвно указавший мне на стул.

— Меня зовут Хорст Шмидт, — сказал он, — я из Министерства государственной безопасности.

Я стала искать, как бы выбраться из комнаты, но гэбэшник, очевидно, проследил за движением моих глаз и сказал:

— Вы сейчас останетесь здесь, присядете, и мы с вами немного побеседуем.

Я ответила, что не знаю, о чем беседовать с сотрудником госбезопасности. Он достал листок бумаги, на котором были перечислены мои проступки за последние месяцы, включая "ночную рубашку" на выпускном вечере, и стал расспрашивать меня про школу, но я никогда не отличалась особой разговорчивостью, и наша беседа протекала довольно вяло.

— Знаете, — сказал он через некоторое время, — вы в самом деле скверная девчонка, и даже части того, что вы натворили, при умелом подходе хватило бы, чтобы завести на вас дело, но в нашем городе есть люди намного хуже, чем вы, и вы бы очень помогли и себе, и нам, если бы время от времени предоставляли о них сведения.

Теперь он раскрыл свои карты. Ни секунды не раздумывая, я сказала:

— Вашей стукачкой я быть не собираюсь.

На что он зло возразил, что это называется "осведомитель" и что такие люди работают на благо социализма. Через какое-то время он прокашлялся и спросил, не хочу ли я домой. Я сказала: "Да".

— При одном условии, — сказал он. — Вы подпишете бумагу, что будете молчать о нашем разговоре, иначе вам сейчас придется пройти со мной, и тогда мы с вами будем разговаривать совсем по-другому.

Я еще не встречала ни одного человека, который бы рассказывал о том, что его пыталась завербовать гэбэ. Я лишь чувствовала себя глубоко оскорбленной тем, что этот тип обратился именно ко мне. Прежде я думала, что все сотрудники госбезопасности выглядят, как Винтер/Зоммер-

майер/Мюллер или как те типы в черных плащах, которые стояли вдоль улицы, когда наш город посетило Правительственное охотничье общество. Я помедлила, прежде чем взять ручку. Но мне хотелось как можно скорее уйти оттуда. Он продиктовал мне предложение, которое обязывало меня не рассказывать никому о состоявшемся разговоре. Он продиктовал "*об* состоявшемся разговоре", и я не поправила его только потому, что боялась, как бы меня не задержали за сопротивление представителю власти. Я бросила ему листок через стол и вышла, не попрощавшись. Я торопливо шла по коридорам окружного управления, а на улице, завернув за угол, побежала – и, влетев в квартиру, захлопнула за собой дверь. Я взяла с полки уголовный кодекс, который купила, чтобы выяснить, существует ли в ГДР тайна переписки, потому что письма, которые я получала, вот уже полгода как приходили вскрытыми, в надорванных и лишь кое-как вновь заклеенных скотчем конвертах. Я поискала, что там говорится о разглашении сведений, являющихся государственной тайной, и прочитала в статье 245 следующее: *Хранение документов, содержащих государственную тайну, а также предметов, сведения о которых составляют государственную тайну, в доступном для неуполномоченных лиц месте – лицом, которому они были доверены в соответствии с законом, по службе или работе или от государственных и хозяйственных органов, – или утрата подобных документов и предметов или же другой вид разглашения сведений, составляющих государственную тайну, наказываются лишением свободы на срок до двух лет, или исправительными работами на тот же срок, или всего-навсего общественным порицанием.*

Когда отец пришел домой, я закричала на него:

– Ты отдал меня в руки госбезопасности, они хотели сделать из меня шпионку! Скажи, во сколько отходит утренний поезд на Берлин?

Отец ответил:

– В 6:12, платформа 7, прибытие в Берлин-Баумшуленвег в 8:35. – Расписание он знал наизусть.

Я собрала свой рюкзак и еще раз зашла к отцу в комнату. Я попросила его дать мне мою сберкнижку и мое свидетельство о рождении. Он, не говоря ни слова, протянул мне свидетельство, в котором было написано мое имя, – документ, выданный 7 февраля 1964 года, спустя пять недель после моего рождения. Только на третий день после своего бегства я заметила, что он вложил между страницами сберкнижки 300 марок.

Я не могла заснуть всю ночь.

На следующее утро я приехала в Берлин. В поисках мамы я целый день бродила по Шёнхаузераллее, пока не вспомнила, что она, может быть, все еще работает в кинотеатре. Когда я в третий раз проходила мимо "Колизея", я спросила билетершу, не знает ли она мою маму, и та ответила, что Барбара Кобе действительно здесь работает, но в данный момент она в отпуске. Я попросила ее дать мне адрес, но в маминой квартире никто не открывал. Через щелку почтового ящика на двери я увидела нашу стенку, вторая половина которой осталась в комнате отца. У меня впервые возникло чувство, что Берлин мог бы быть моим домом. На другой стороне улицы располагалась пивная. Один пьяный – он показался мне похожим на Яна – пустил меня к себе переночевать. Наутро он сказал, что в доме есть свободная квартира. Предыдущий съемщик перебрался на Запад, как и почти все его друзья. Он дал мне отмычку, и я вскрыла квартиру. Отцу я не позвонила.

Глава 35

Смородина красная и черная

С точки зрения тургесценции оптимально быстрое замораживание. Но при медленном замораживании лучше сохраняется вкус. Слишком быстрое замораживание может привести к образованию неприятного запаха.

Поначалу я каждое утро без четверти девять прокрадывалась мимо почтальонши, которая в это время разносила газеты. Красться приходилось потому, что стоило мне оказаться в подъезде слишком близко от нее, как она начинала ворчать: мол, закон о почте запрещает размещать на почтовых ящиках таблички с именами, написанными таким мелким шрифтом. Это был, конечно, полный бред, но мне не хотелось ей говорить, что прочитать мое имя она не может исключительно из-за своего плохого зрения.

Почтальонша предпочитала исконных обитателей Шлиманштрассе, которые еще помнили бомбардировку домов № 7, 9 и 10, тем, кто заселился позднее. Большинство приехавших в последние годы всю первую половину дня проводили в своих квартирах и выходили из дома только вечером, потому что, как выражалась почтальонша, "оне на работу не ходют".

Если кто-то из коренных обитателей Шлиманштрассе заболевал, почтальонша узнавала об этом первой, потому что коренные обитатели Шлиманштрассе, возвращаясь от врача и проходя мимо почтальонши, размахивали над головой больничным, словно трофеем, и выкрикивали номер своего заболевания — чаще всего гастрита. После этого разнос почты с севера на юг и с юга на север растягивался на несколько часов. Дело в том, что почтальонша считала себя обязанной сперва подняться наверх и навестить больного, а уж там она обычно засиживалась на часок-другой.

Зато я знала почти наверняка, что приходящих жильцам открыток она не читает — если, конечно, кто-нибудь из заболевших старожилов не попросит ее после третьей рюмки шнапса: "Ну давай, Хельга, достань-ка почту той рыженькой, что живет этажом выше, прямо надо мной, я хочу знать, кто ей все время пишет с Запада", и затем не прочтет чужую открытку вслух подслеповатой почтальонше.

Однажды утром она, недоверчиво глядя из-под толстых стекол очков, спросила меня:

— А почему вы каждый день в такую рань уже на ногах?

— Я работаю продавщицей мороженого, — сказала я.

— Тогда понятно, — сказала она, — я-то думала, вы тоже художница. А знаете, мой одноклассник Яцек Ковальски вскоре после войны чуть не умер от порции взбитого снега с заменителем ванили, потому что заменитель ванили оказался заменителем мыльного порошка.

Меня изумил не столько странный заменитель, сколько сам взбитый снег. Почтальонша сказала, что взбитый снег был гораздо вкуснее того мороженого, которое продают сейчас. Вечером я принесла ей с работы мороженое. Желтую бумажку с надписью "Мороженое *Московское,*

12 % жирности" она, недолго думая, приклеила к моему почтовому ящику, чтобы впредь уже точно знать: это ящик продавщицы мороженого. В дождливые дни она говорила: "Сегодня погодка не для мороженого". А я громко отзывалась: "Да", потому что в темном подъезде она бы моего кивка не увидела, — и шла по улице Димитрова к метро, чтобы приступить к своей работе в ТО "Общепит Александерплац".

Рабочий день начинался с того, что я в течение часа чистила сосиски. Из соображений экономии было принято решение поставлять сосиски не в натуральной, а в пластиковой оболочке, которую нельзя подвергать нагреву, поскольку при высокой температуре она может расплавиться. Итак, первый час я помогала продавцам сосисок, которые, конечно же, не могли торговать и чистить сосиски одновременно. К тому же такую примитивную работу они все как один выполняли очень неумело, потому что в их рядах были исключительно мужчины. Но я им все равно не завидовала, ни за что на свете мне не хотелось бы торговать теплыми сосисками. Мне хватало уже запаха от рук, который не смывался мылом и чувствовался даже вечером, когда я, сидя в пивной, подносила ко рту кружку с пивом. Я всегда очень радовалась, когда по истечении первого часа работы могла загрузить тележку мороженым. Это было мороженое моего отца, мне его давали еще на стадии разработки, и я даже внесла несколько рационализаторских предложений, которые, как утверждал мой отец, он учел. Однако я достаточно быстро поняла, что на производстве никто этих поправок не придерживался. В мороженом "Московское" за одну марку по-прежнему справа и слева были серые вафли, которые тут же размокали и прилипали к пергаментной бумаге. Мороженое на палочке за 45 пфеннигов изготавливалось, естественно, на растительных жирах. Уже в самый первый раз, когда я его попробовала, у меня возникло ощущение, будто я лижу замороженный кусок маргарина "Марина", в который добавили сахар. Но, к сожалению, люди предпочитали покупать именно этот сорт — потому, наверное, что в самой палочке заключалось что-то магическое. Таким представляли себе мороженое с Запада, а палочка даже была деревянная. Собрав достаточное количество таких палочек, можно было построить забор для игрушечной фермы или обклеить ими пластиковый стаканчик, чтобы потом вставить внутрь маленький цветочный горшок или просто держать в таком стаканчике ручки и карандаши. Некоторые выжигали на палочках узоры, нагревая на свечке закругленный конец поварской иглы и вдавливая его в дерево. Всегда находились умельцы, которые доставали выброшенные палочки из мусорного ведра рядом с моей тележкой и, словно драгоценность, уносили их в дедероновых мешочках к себе домой. <...>

В первые недели я заполняла свою тележку только до метки, обозначавшей вычисленный моим отцом оптимальный уровень наполняемости, — чтобы сохранить в морозильнике температуру -18°. Но вскоре я по ряду причин махнула на это рукой. Дело в том, что от места выдачи мороженого, находившегося под телебашней, мне надо было тридцать метров катить свою тележку до улицы Карла Либкнехта. Колесики, естественно, вращались не синхронно, и мне все время приходилось толкать тележку туда-сюда, прежде чем я добиралась до места и могла поставить ее на тормоз. Тележка в этот момент становилась моим прилавком, а я в своем халате — продавщицей мороженого. У тележки

была раздвижная крышка, которую я открывала, чтобы достать мороженое. Поначалу я повторяла эту операцию раз по сто на дню: открыть-закрыть крышку, открыть-закрыть... Как ни странно, в первую неделю мне приснилось, что я должна достать из морозильника своего отца. Во сне, как и в реальности, крышку заклинило, и пришлось попросить одного из покупателей мне помочь. Мы оба долго тянули за ручку и пытались открыть морозильник... В конце концов я капитулировала и даже на сильной жаре оставляла крышку открытой. Тележка, плюс ко всему, была подключена к электросети длинным шнуром, а розетка находилась в кафе под телебашней. Бывало, какой-нибудь любитель пошутить перереза́л кабель или — в кафе — выдергивал штекер из розетки.

По будням я первые два часа простаивала просто так, никто мороженого не покупал. Я думала: “Видел бы это твой отец, убежденный, что за его мороженое люди убить друг друга готовы”. Я с ужасом представляла себе, как он однажды случайно подойдет к моей тележке, чтобы проверить, правильно ли торгуют мороженым, что он проделывал в каждом магазине. Ему, наверно, и в страшном сне не могло присниться, что я стою на этой открытой всем ветрам улице и то, что для отца было теорией, для меня стало ежедневной практикой. Именно мой отец создал это мороженое и внедрил его в производство, но про это я никому не рассказывала, держала при себе как свою великую тайну.

Около одиннадцати появлялись первые покупатели, возвращавшиеся из универмага “Центрум”; справа и слева — на уровне колен — болтались в их руках пакеты или коробки. Покупатели говорили: “Одно на палочке!” — и двумя последними пальцами, на которых еще ничего не висело, протягивали мне свои двадцатимарковые купюры. У меня, конечно, хватало сдачи только на первого. Тогда я обращалась к очереди, не может ли кто разменять, такого человека, конечно, не находилось, в одиннадцать утра его и быть не могло. Что ж, я бежала в сосисочный ларек по соседству, но мелочь им и самим была нужна. Если никто не соглашался разменять деньги, мне оставалось лишь идти в кафе, но в этом случае я брала тележку с собой или просила покараулить ее кого-нибудь из стоящих в очереди, кто казался надежным. Чаще всего я просила мамочек. Потому что у раздвижной крышки, естественно, не было замка, а оставлять тележку без присмотра было запрещено.

Лучше всего торговля шла по воскресеньям, потому что в этот день берлинцы ходили гулять, и деньги у них в карманах не залеживались. Время от времени в очередь вставал и какой-нибудь иностранец, который хотел попробовать мороженое и, к счастью, быстро уходил — ведь мне иногда бывало перед ними стыдно за свой товар. Западные всегда брали “Московское”. Наших такое название, очевидно, скорее отпугивало, хотя это мороженое было вкуснее, чем на палочке. Что я всегда и подчеркивала в тех редких случаях, когда мне доводилось консультировать покупателей, но потом некоторые говорили: “Да ты просто хочешь продать свою дорогущую русскую фигню”. Хотя это мороженое производили в ста метрах от моей тележки, на кондитерском комбинате.

Только панки — видимо, из отвращения к обывателям, ненавидящим русских, — ели исключительно “Московское”. Когда они в первый раз ко мне подошли, у меня затряслись поджилки. Я ведь тогда только-только приехала в Берлин, и для меня их манера одеваться была в новинку. Они

не поинтересовались ценой и платить, как я предположила, тоже не собирались. Они не встали в очередь, а с невозмутимым видом подошли сзади и сказали: "Двадцать *Московских*". Люди в очереди посторонились. Я молча положила мороженое на раздвижную крышку, и каждый взял себе по одному; в тот раз я подумала: "Все, теперь у тебя будут неприятности", — но последний панк потом все же обернулся и положил на крышку двадцать марок.

В начале дня мороженое лежало, аккуратно рассортированное по картонным коробкам, но такой порядок сохранялся недолго. По мере того как коробки пустели, они распадались, потому что на картоне экономили, и тогда брикеты мороженого вперемешку валялись на дне. Когда мороженое за 45 пфеннигов заканчивалось, я выставляла свою табличку: "Мороженого на палочке нет" — и торговала только "Московским". После обеда приходило все больше и больше народа. А потом наступал ужасный момент: передо мной стояли десять человек, и я точно знала, что через мгновение придут еще десять, а мороженого не хватит. Я брала кассовый аппарат под мышку, толкала тележку впереди себя и шла за новым мороженым, мимо собравшейся очереди. Первому я всегда говорила, что скоро вернусь. Это была самая смешная и вместе с тем самая трогательная ситуация за всю мою прожитую до той поры жизнь. Продавщица уходит вместе со своей тележкой, а очередь продолжает стоять, упираясь в ничто. Ведь не было видно, чего они, собственно, ждут. Может, машин или чего-нибудь другого, важного, — так что в очередь сразу вставало еще больше народа. И они мужественно ждали, первый так и стоял перед пустотой, чаще всего — вперившись взглядом в тротуарную плитку, пока через двадцать минут не возвращалась я. Под телебашней, в пункте раздачи, мороженое упаковывали и пересчитывали, а потом мне нужно было расписаться в нескольких длинных и непонятных формулярах. Иногда я посматривала, что делается за углом. Очередь за время моего отсутствия вырастала, я могла бы уйти и на час — люди, наверное, все равно бы остались на месте. Я могла бы дождаться, когда их арестуют за несанкционированное публичное собрание пяти и более лиц, но потом я все же ехала с заполненной тележкой к ним обратно, останавливалась перед первым и восстанавливала порядок. Потому что иногда за время моего отсутствия очередь превращалась в толпу, и мне приходилось строгим голосом говорить: "Выстройтесь опять друг за другом, иначе не буду торговать!" И они выстраивались. Некоторые ворчали, но все равно не уходили. Мне требовалось минут двадцать, чтобы обслужить скопившуюся очередь. <...>

Проработав неделю, я сама пожаловалась директору ТО "Александерплац" на плохие лари, отвратительные условия труда и неудовлетворительное качество мороженого. Одно мороженое с самого низа морозильника я взяла с собой в качестве доказательства. Директор лаконично сказал:

— Мы приняли вас на работу, поскольку предполагаем, что вам необходимо показать себя с хорошей стороны. — Я насторожилась. — Я вот тут прочитал, что вы закончили школу с отличием. С таким аттестатом обычно в вуз идут, ведь государство потратило на вас большие деньги. Почему же тогда вы стоите здесь на площади с тележкой?

Мне нужно было как-то отреагировать, вопрос был опасный. Я, не подумав, ляпнула:

— Я сначала хочу проявить себя в практической работе, прежде чем начну учиться на факультете холодильной техники.

Он долго изучал меня, но, очевидно, ни в документах, ни во мне самой ему не удалось найти ничего, что могло бы сразу опровергнуть мои слова.

— Ваши профессиональные навыки пока оставляют желать лучшего. Посмотрите на своих коллег, ни одна из них не жалуется и ничего не требует, так что возвращайтесь-ка на свое рабочее место!

Я решила найти себе в следующем сезоне другую работу — а то, не дай бог, начальство дознается, кто мой отец, и меня сочтут детективом из научного института или чем-то еще похуже. В автобиографии, которую я подавала при поступлении на работу, я весьма обтекаемо высказалась о своем отце; написала, что он — завотделом в научном институте. Любой аргумент против отвратительных условий труда выдал бы, что в этой сфере я понимаю больше, чем можно ждать от обычной продавщицы. Мороженое, которое я взяла с собой, за время разговора полностью растаяло в моих руках. Поэтому директор с самодовольной ухмылкой дал мне добрый совет: сначала умыться, а уж потом возвращаться к своей работе. На следующее утро мой непосредственный начальник сказал мне: "Ты так не кочевряжься, это мороженое берут". И он был прав: продать мороженое удавалось всегда, потому что, когда люди оказывались перед выбором — взять наполовину растаявшее мороженое или двадцать минут ждать свежего, они брали то, что могли купить прямо сейчас. Правда, я ничего не слышала о серьезных отравлениях проданной мною продукцией, которые мой отец предрекал в случае неправильного хранения мороженого.

В октябре сезон закончился, и я успела отложить достаточно денег на зиму. Но потом все-таки снова в срочном порядке пришлось искать работу, потому что однажды почтальонша прошептала мне на ухо: "Участковый уполномоченный про вас спрашивал. Но я о вас могла сказать ему только хорошее. Может быть, вы ему и его семье тоже как-нибудь подарите мороженое. Он живет в доме № 9, в подъезде, который выходит на улицу. Он там еще ребенком жил. На его отца в 1945-м донесла одна активистка из общества 'Дело германских женщин', имени ее я, к сожалению, не помню. Его русские забрали. Говорят, привели они его в подвал часовни на Пренцлауэр, там, где сейчас Штази сидит, а оттуда послали в Сибирь, откуда он не вернулся. Почему его сын в полицию подался, никто понять не может. Будьте осторожны, но не бойтесь, он ведь тоже просто человек".

На следующий день в мою дверь постучали; открыв, я увидела на пороге участкового района Гельмгольцплац и его, как он выразился, коллегу; оба попросили разрешения войти. Затем они потребовали у меня паспорт и изумились, так как явно не ожидали, что я зарегистрирована в квартире, — но мой сосед пару дней назад сходил со мной в полицию, представил меня как свою новую подругу, которая с ним живет, и там без промедлений поставили в мой паспорт штамп с адресом. Когда полицейские спросили меня, где я работаю, я соврала, что занимаюсь производством мороженого. На следующее утро я отправилась на кондитерский комбинат.

Глава 36

Строительные материалы

В строительстве холодильников необходимо применять такие материалы, которые в минимальной степени подвергаются действию паразитов и микробов, не имеют запаха, легко поддаются очистке и дезинфекции. Окраска деревянных полов должна быть проведена таким образом, чтобы устранить возможность развития микрофлоры. Введение в состав побелочной смеси органических соединений нежелательно.

Четырнадцать пар глаз уставились на меня, когда я в своей новой с иголочки рабочей одежде вошла в цех по производству мороженого, куда меня направили на работу.

— Это Анья Кобе, она будет помогать нам на технологической линии, — сказала Карла Симон, начальница бригады, которую здесь называли бригадиршей, как она объяснила мне в первую же минуту нашего знакомства. — Слово как "парикмахерша", только работа намного сложнее.

— Видать, опять прислали к нам на исправиловку, — насмешливо сказала низкорослая девица, стоявшая за огромной машиной.

Другие засмеялись и поправили на своих химических завивках сеточки для волос.

— Это Кармен Пачулла, — сказала Карла, — болтать она у нас мастерица, вот только с уборкой у нее не очень.

Мне дали прозвище Студентка, меня спрашивали, почему я не пошла в административный отдел, у меня ведь наверняка была пятерка по правописанию, но мне совсем не хотелось в промежутках между оформлением двух накладных разговаривать на одни и те же темы — о детях, мужчинах и проблемах снабжения. Мне этого и в перерывах хватало, потому что у трех моих коллег — Кармен, Марго и Паулы — было по ребенку от одного и того же мужчины, которого на предприятии прозвали Ходоком. Он был монтером, и уже один его вид раздражал Карлу, как красная тряпка — быка, потому что о детях своих он не заботился. В день зарплаты бригадирша регулярно отлавливала его возле кассы, и ему приходилось сперва рассчитаться с Кармен, Марго и Паулой, выплатить им все алименты до последней марки, прежде чем он мог отправиться в кабак. В перерывах эти три женщины, тыча друг другу под нос расплывчатые черно-белые снимки, спорили, чей ребенок больше похож на папашу, или жаловались, что один из детей в заводских яслях ударил другого: по мнению обиженной мамы, это доказывало, что драчун унаследовал от Ходока самые дурные качества. Иногда в ходе таких дискуссий женщины вцеплялись друг другу в волосы и Карле приходилось их разнимать, но потом они вновь становились неразлучными подругами и предостерегали каждую новую работницу от отца их детей.

Иногда, когда я стояла на линии, а мороженое в ячейках двигалось по транспортеру, я спрашивала себя, чего же я хочу от этой работы. Может быть, я все время искала путь к своему отцу, но, что бы я ни предпринимала в этом направлении, это каждый раз приводило меня на противоположную сторону морозильной баррикады.

На одной ее стороне стоял мой отец и прославлял последние научные достижения, а на другой стороне стояла я — у линии производства мороженого, несовместимой с последними научными достижениями, потому что она была произведена в Дании и не рассчитана на дефицитную экономику. У нас то начинались перебои с молочным жиром, и тогда мешальщицам приходилось придумывать, как бы довести твердый, как камень, маргарин до пастообразной консистенции, то шоколад оказывался таким густым, что не выливался из огромных емкостей. Я никогда не слышала столько фекальной лексики кряду, сколько на этом предприятии пищевой промышленности, и я рада, что сначала поработала продавщицей мороженого, а уж потом попала на производство, — иначе, продавая мороженое, я бы постоянно помнила о ругательствах, скрывающихся в каждой его порции, а из них такие слова, как "ссаки", "блевотина" и "дерьмо", были еще самыми безобидными...

Каждые два часа мы сменялись, только Карла и ее заместительница Магдалена, проработавшая на предприятии уже сорок лет, не сходили со своего места у пульта управления, чтобы при поломке или в чрезвычайной ситуации успеть вовремя выключить машину. От бесперебойной работы линии зависела наша премия, однако совсем без перебоев дело не обходилось никогда, а в результате получалось мороженое, которое мне на Александерплац приходилось отскребать от стенок морозильного ларя. Задним числом мне многое стало понятно. Когда пачки мороженого, подобно звеньям цепочки, цеплялись одна за другую, это означало сбой в работе фасовочной машины. Тогда, если меня направляли на упаковку, я стояла в конце конвейера и вручную отрывала уже расфасованные порции друг от друга, в то время как линия выплевывала все новое и новое мороженое. Но я не успевала справляться и вскоре уже укладывала в картонные коробки настоящих удавов из соединенных между собою пачек. Мне даже ночами снились вращающиеся сегменты, в которых мороженое двигалось по ленте транспортера. А еще мне снился шоколад в огромных количествах, который я должна была ввести в смесь при помощи венчика. Я размешивала, размешивала, но в шоколаде образовывалось все больше и больше комков. Хуже всего был сон, в котором меня обвиняли в нарушении санитарных правил и в том, что по моей вине испорчена вся партия. Во сне я видела своих коллег, стоящих передо мной и указывающих на меня пальцем: "Из-за тебя нам не дали премию, и теперь наши дети останутся без колготок".

Линия зачастую простаивала часами, потому что та или иная деталь не выдерживала нагрузки. Приходили монтеры, обзывавшие нас "никчемными дурехами", прежде чем залечь под машину. Но однажды, в самый разгар сезона, линия просто встала — и ни ругательствами, ни уговорами ее не удалось подвигнуть на производство хотя бы еще одной-единственной порции мороженого на палочке. Инженеры нашего предприятия уже какое-то время мастерили самодельную линию. Они тысячу раз разобрали и собрали старую машину, знали в ней каждый винтик и каждое колесико и уже почти достигли своей цели, но — поскольку ячейки ленточного транспортера по причине, связанной с теплопроводностью, непременно должны были быть из хромоникелевой стали, а ее достать не удалось, — их усилия в конечном итоге пропали втуне, и в Восточном Берлине больше не продавали мороженое на

палочке. Отец по своим каналам достал дополнительную партию пластиковых стаканчиков. <...>

С моей работой в этой производственной отрасли хронологически совпал и эксперимент по добавлению в мороженое алкоголя. Отец и Луиза в рамках программы создания улучшенных деликатесных сортов разработали шоколадное мороженое с яичным ликером и ванильное — с вишневым. Идея восходила к папиному домашнему рецепту: он каждую субботу выливал на наш десерт сорок миллилитров яичного ликера. В конце концов папа получил добро от министерства на внедрение экспериментов в производство. Теперь перед каждой сменой Карла выставляла рядом с емкостью для смешивания десять бутылок ликера, и работница, дежурившая на этом участке линии, перед фасовкой и закаливанием должна была ввести в смесь алкоголь. В результате женщины, стоявшие у емкости для смешивания, после смены всегда оказывались подвыпившими, а то и пьяными в стельку, и им редко когда удавалось благополучно спуститься вниз по узкой винтовой лестнице производственного здания.

Коллективу отца поручили рассчитать содержание алкоголя в опытном мороженом, а потом сравнить эти показатели с конечным продуктом, получаемым на предприятии. Но даже в том мороженом, в которое добавлялось предписанное количество ликера, выявить содержание алкоголя оказалось невозможно. Алкоголь там вообще не удалось обнаружить. Начальство уже подумывало о том, чтобы заставить работниц после каждой смены дуть в трубочку, то есть проверять их как шоферов, но Карла пожаловалась в профсоюз, так как боялась, что тогда уволится еще больше сотрудниц. Однако прежде, чем утихли споры, производство вновь встало.

На четвертый год я уволилась. Мне надоело каждый день быть частью коллективной импровизации. Отец, казалось мне, больше подходит на эту роль. Вскоре после увольнения он впервые навестил меня в моей берлинской квартире. Прежде мы иногда ненадолго встречались на Александерплац, и он приглашал меня пообедать. Он редко рассказывал о своей работе. Однако на этот раз у меня возникло такое чувство, что он хочет поговорить, только не знает, с чего начать.

— Ты по какому делу в Берлине? — спросила я, нарушив тишину.

— Мне нужно встретиться с преподавателем истории древнего мира из Гумбольдтского университета.

— Ты решил поменять специальность?

— Да нет, я просто хочу быть в курсе того, что происходит в мире. Наш институт участвует в тендере на строительство комплекса по замораживанию овощей в Греции. Может быть, ты мне подскажешь, какие овощи в этом году растут в Греции.

— Понятия не имею. А при чем тут этот профессор?

— Он выездной и в этом году уже дважды побывал в Греции. Он — единственный, кто может мне сказать, какие там есть овощи.

— Да ладно, не издевайся. — Я всерьез подумала, что он надо мной смеется. — Об этом ведь можно прочитать в любом журнале по твоей специальности.

— Нам больше не разрешают читать западные специализированные журналы.

— Быть такого не может!

— Это правда, говорю тебе. Сначала в институте разрешение было только у меня и у Луизы. Журнал каждый вечер приходилось запирать в несгораемый шкаф, чтобы его не мог прочитать никто другой. А рекламу предварительно вырезали. Так что иногда в статье не хватало целой страницы. Но теперь читать этот журнал вообще запрещено.

Вся эта история показалась мне смехотворной, но я ничего не сказала. Чтобы не встречаться со мной взглядом, отец молча начал перемывать мою посуду. Вся посуда, которая у меня имелась, стояла в раковине, и грязь на ней уже превратилась в корку.

— Знаешь... — сказал отец, и его голос на мгновение прервался. — Если бы тем, с Запада, пришлось хотя бы день проработать на нашем месте... Они бы с воем убежали обратно.

Глава 37

Шампиньоны
См. грибы

<...> Карлу я встретила в следующий раз только через два года после своего увольнения, когда 10 ноября 1989 года стояла на Обербаумбрюкке[1]. Меня со всех сторон стискивала многотысячная толпа. Дверь, за которой начинался Запад, была такой узкой, что проходить через нее люди могли лишь по одному.

Я вот уже целый час стояла на одном месте, не продвинувшись вперед ни на шаг, даже повернуться было невозможно. Я упиралась взглядом в бело-желтое здание холодильника рядом с мостом; прежде, чтобы попасть туда, отцу каждый раз требовался особый пропуск от погранвойск. Отныне такой пропуск ему не понадобится. Я вдруг подумала, что, если сейчас все, кто собрался здесь, начнут маршировать на месте, мост обвалится. Мне тут же захотелось обратно. Но за моей спиной стеной стояли люди.

— Увидеть Запад и умереть, — сказал чей-то голос позади меня, — но сначала все-таки увидеть Запад. — Это была Карла Симон, которая вместе с другими работницами смены стояла на мосту рядом со мной. Заметив меня, она закричала: — Анння, это не сон?! На Запад! Кто бы подумал, что я до такого доживу... — И она прямо посреди моста разрыдалась. Другие тоже плакали и обнимались, только я стояла как ледяная глыба и не могла по-настоящему радоваться. Карла не сомневалась, что теперь все изменится к лучшему, что скоро можно будет производить мороженое на том оборудовании, о котором всегда мечтали. — И ничего больше не будет ломаться, — говорила Карла довольным голосом. — Мы сможем ездить на Запад, сколько захотим, никому больше не придется убегать из страны, а кто не хочет работать, тот пусть проваливает.

1. Мост через Шпрее в Берлине, соединяющий районы Кройцберг и Фридрихсхайн. С 1972 по 1989 г. на нем находился пограничный пропускной пункт для пешеходов.

Я промолчала. Подумав, что, наверное, изменений будет гораздо больше, чем мы можем себе вообразить.

Через два часа мы оказались на Западе. Женщины из моей бригады хватали друг друга за рукав, потому что не могли в такое поверить. Мы медленно двигались в сторону станции метро Шлезишес Тор, а когда дошли до нее, Карла сказала:

— Вообще-то тут все выглядит так же, как у нас.

— Только попестрее, — добавила Марго и показала на рекламный щит с изображением счастливых людей, которые едят эскимо.

— Мы тоже купим себе такое, когда получим приветственные деньги[1], — решила Карла, и они направились к ближайшему банку, перед которым уже выстроилась очередь. Через пять часов я снова встретила их на Кудамме. Все они лизали ярко-красное мороженое на палочке, а когда увидели меня, замахали, словно трофеем, разноцветной оберточной фольгой.

Вечером 18 марта 1990 года, когда уже объявили предварительные итоги голосования[2], я позвонила отцу и спросила, как у него дела. “Сама пораскинь мозгами”, — сказал он. Добиться от него большего было невозможно, и вскоре я повесила трубку, потому что за мной скопилась очередь из людей, которые, очевидно, тоже хотели обсудить результаты выборов. Настроение на Шлиманштрассе было однозначно не в пользу “Альянса за Германию”[3], только почтальонша рассказывала каждому, кто оказывался вблизи от нее, что она заранее радуется объединению. В последующие месяцы отец часто наведывался в Берлин, пытаясь спасти свои предприятия по производству мороженого. Ему удалось достичь нескольких зыбких договоренностей о создании совместных предприятий, но когда был заключен валютный союз[4] и начало свою деятельность Попечительское ведомство по приватизации и управлению государственным имуществом, все договоренности потеряли силу и предприятия стали закрываться одно за другим. Весной 1991 года отец как бы в шутку сказал по телефону, что запрещает мне есть мороженое западных фирм, которые готовы на все, лишь бы не пустить на рынок своих конкурентов из Восточной Германии. “Тут такое творится, ты и представить себе не можешь”. Он сказал, что опишет мне все это позже, в спокойной обстановке. И что сейчас он занят проектом объединения Института холода и исследовательских центров при маслозаводе, мясозаводе и консервной фабрике в один научно-исследовательский институт пищевой промышленности. Мы договорились, что на Рождество я приеду к нему в гости. Что я и сделала. Но, увы, отца я нашла уже замороженным.

1. В оригинале Begrüßungsgeld. Денежное вспомоществование, которое с 1970 г. выдавалось (не чаще чем раз в год) каждому жителю ГДР или Польши (если он был этническим немцем) при пересечении границы ФРГ. Поначалу эта сумма составляла 30 марок, с 1988 г. — 100 марок.

2. Имеются в виду выборы в Народную палату ГДР, приведшие к образованию последнего гэдээровского правительства, которое возглавил Лотар де Мезьер.

3. Созданный в феврале 1990 г. право-консервативный политический блок, объединивший ХДС, ХСС и Немецкий социальный союз; выступал за скорейшее воссоединение с Западной Германией.

4. Валютный союз между ГДР и ФРГ, предусматривавший введение на территории ГДР западногерманской марки, вступил в силу 1 июля 1990 г.

Прошло семнадцать месяцев, прежде чем я вновь увидела Карлу. В Светлую субботу 1991 года она стояла у морозильного ларя перед магазином на Шёнхаузераллее. "Покупайте, покупайте, люди!" — кричала она и махала мороженым "Московское" перед прохожими, которые не обращали на нее никакого внимания. "Теперь у нас есть что получше", — бросил на ходу мужчина в шляпе из кожзаменителя. Я видела, как капли таявшего мороженого медленно стекали по руке Карлы. Вид у нее был грустный. Я уже хотела незаметно проскочить мимо, но она увидела меня и закричала:

— Анна, может, хоть ты хочешь мороженое "Московское"? Стоит всего одну дойчмарку.

Я купила два мороженых и отдала одно ей. Мы ели так же, как раньше всегда курили на лестнице: поддерживая правый локоть левой ладонью.

— Вкус совсем не плохой, правда? — спросила Карла.

— По-моему, потрясающе вкусно, — честно призналась я. — Оно не такое приторное, как западное.

— Они перебарщивают с шоколадом, ты сразу чувствуешь, что уже наелся, — сказала Карла.

— У них то слишком много жира, то вообще нет, — откликнулась я.

— А еще этот противный сахарозаменитель в диетическом мороженом, я его сразу чувствую, — сказала Карла.

— "Московское" хотя бы тает во рту. А в мягком мороженом и холода-то настоящего нет, его даже лизать нельзя, а только откусывать, — сказала я.

— Но что мы можем сделать? — воскликнула Карла. — Люди верят рекламе, а нас в супермаркетах даже в списки поставщиков не включают. Не хотят они нас, и все. Те же завмаги, которые у нас год назад даже испорченные партии брали за милую душу, теперь говорят: "Вы нас своим мороженым сорок лет пичкали, теперь мы хотим попробовать настоящего". Они и сейчас выслуживаются перед начальниками, как два года назад, только теперь — перед новыми. Мы же теперь выполняем какие-то сомнительные заказы для левых фирм. В каждую партию нужно добавлять красители, чтобы все было красным. Видела бы ты это. Попечительское ведомство нас предало и продало. Мы хотели продолжать в одиночку, но они тут же лишили нас кредитов, потому что, дескать, наше право на землю спорное. Кто-то будто бы претендует на реституцию. А в результате нас купил какой-то странный тип, и совет предприятия опасается, что он захочет как можно скорее прекратить производство мороженого. — Время от времени Карла прерывала эту тираду возгласами: — Мороженое "Московское", покупайте мороженое "Московское"!

— И что ты собираешься делать, когда все закончится?

Карла пожала плечами. Через какое-то время она сказала:

— Понятия не имею. В моем возрасте уже поздно начинать все сначала.

В этот момент из магазина вышел мужчина в развевающемся халате.

— Кто вам разрешил здесь стоять да еще и использовать электричество нашего супермаркета?

— А вы вообще кто такой? — спросила я.

Коротышка напыжился:

— Я новый заведующий этим магазином, и я запрещаю вам продажу сторонней продукции на прилегающей к супермаркету территории. Ес-

ли вы сейчас же не уйдете отсюда, я вызову полицию. — Он развернулся и пошел.

— Придурок, — сказала Карла. — Что мне теперь со всем этим мороженым делать?

— Давай его раздадим, — предложила я и подняла над головой одну пачку. — Почувствуйте еще раз великолепный вкус мороженого "Московское", пока оно существует не только в вашей памяти. Бесплатная раздача!

И вдруг люди начали останавливаться. Некоторые брали по целой коробке. Мальчишки моментально оповестили своих дружков со всей округи, и через четверть часа мороженое закончилось. Я помогла Карле довезти морозильник вверх по склону горы до кондитерского комбината, который теперь назывался "Чудо-пекарь". У входа мы обнялись.

— Можешь быть уверена, — сказала я ей, — через два года люди будут с восторгом вспоминать, какое у нас было хорошее мороженое.

— Тогда, к сожалению, будет слишком поздно, — сказала Карла, и я увидела у нее на глазах слезы.

Я поехала в магазин стройматериалов и купила баллончик с неоновой краской. Следующей ночью я вывела на заборе кондитерского комбината слова: "Долой прихватизацию". День спустя был убит директор Попечительского ведомства[1].

Приложение

Протокол
Берлин, 8 мая 1995 г.

Предварительное следствие по делу о местонахождении гражданки Анни Кобе, род. 01.01.1964, место рождения — Магдебург, профессии не имеет, в связи с освобождением жилплощади в квартире 9387, корпус 1, этаж 4, в доме 4 по Шлиманштрассе, Берлин — Пренцлауэрберг.

24 апреля 1995 года в райотдел полиции № 7, расположенный по адресу Шёнхаузераллее, 22, от фирмы "Трахтенбродт. Освобождение и очистка помещений" поступила информация о том, что в связи с освобождением квартиры гражданки Анни Кобе (персональные данные см. выше) по адресу Шлиманштрассе, 4 зафиксированы нарушения. Решением административного суда района Берлин-Веддинг в последней инстанции Ання Кобе обязывалась освободить занимаемую ею квартиру в доме № 4 по улице Шлиманштрассе, собственник — Ойген Карвелат, проживающий по адресу: Момзенштрассе, 6, Берлин-Шарлоттенбург. Собственник уже давно планировал провести санацию дома. Ання Кобе являлась единственной съемщицей, которая противилась переезду. От предложения бесплатно перевезти ее в другую

1. Обстоятельства убийства Детлева Карстена Роведдера 1 апреля 1991 г. до сих пор не выяснены.

квартиру с выплатой компенсации она отказалась по причинам личного характера. По окончании судебного разбирательства вышеупомянутая фирма была уполномочена вышеупомянутым собственником произвести очистку помещения. Так как в вышеуказанный день съемщица дверь не открыла, квартира была вскрыта в присутствии прибывшей на место оперативной группы.

Квартира была захламлена: одежда вывалена из шкафов, книги и бумаги валяются на полу. Решение суда об освобождении жилплощади пришпилено к стене булавками. На нем Кобе по диагонали написала красным фломастером: "Вот и конец". Единственным обращавшим на себя внимание предметом мебели был стоящий посреди кухни морозильный ларь марки "Гренландия" (производства ГДР), 1960 г. сборки, размороженный. Внутри ларя были обнаружены: бумажник с паспортом гражданина Германской Демократической Республики, выданным 01 июля 1972 г. в Магдебурге на имя Клауса Кобе, род. 07 февраля 1937 г. в Эрфурте, профессия — инженер холодильного оборудования, адрес последней регистрации — Бадштрассе, 2, Магдебург; обручальное кольцо с гравировкой даты "13.08.1961", а также написанная от руки записка, озаглавленная "Идеальное мороженое". Обращает на себя внимание тот факт, что бумажник лежал под встроенным дополнительным дном из фанеры, которое изначально было прикручено болтами (болты мы обнаружили на дне морозильного ларя). Об этом обстоятельстве меня проинформировали коллеги из оперативной группы, так как они были уверены, что в тайнике под дополнительным дном морозильного ларя вполне мог уместиться человек, что и продемонстрировал мне один из рабочих, сам улегшийся в морозильный ларь. Как показало предварительное расследование, Клаус Кобе с конца ноября 1991 года не появлялся по адресу своей регистрации. Соседка, Элизабет Дойчман, род. 18 марта 1929 г., проживающая по адресу: Магдебург, Бадштрассе, 2, сообщила криминальной полиции Магдебурга, что вышеупомянутая Анна Кобе, родная дочь Клауса Кобе, в 1991 году незадолго до Рождества еще раз побывала в квартире своего отца и в беседе с ней утверждала, будто ее отец находится в длительной научной командировке в Гренландии. На основании изучения всех имеющихся списков выезжавших в Гренландию в 1991 году мы вынуждены сделать вывод, что данное утверждение лживо. По запросу в управление жилищно-коммунального кооператива "Возрождение 1949" были получены сведения, что арендная плата за квартиру по сей день перечисляется в ЖКК со вклада Клауса Кобе по длительному поручению. Протестов против многочисленных повышений арендной платы он не заявлял. На его счету еще находятся 5783 дойчмарки; с 25.11.1991, помимо перечисления платы за квартиру и ежемесячной оплаты страхования жизни в размере 100 дойчмарок, не производилось никаких операций по счету. Запрос на разрешение осмотреть квартиру был подан в соответствующее подразделение прокуратуры. В соответствии с показаниями госпожи Дойчман, в это же время Анна Кобе организовала вывоз морозильного ларя, по описанию полностью совпадающего с вышеупомянутым, — из находящейся рядом с квартирой кладовки в неизвестном направлении. Элизабет Дойчман уже тогда была уверена в том, что с перевозкой дело нечис-

то. Она слышала, как грузчики удивлялись значительному весу ларя и спрашивали, не лежат ли там продукты. По свидетельству госпожи Дойчман, Ання Кобе ответила им, что ларь был произведен в ГДР и поэтому весит больше, чем обычные морозильные лари западноевропейских производителей. Дальнейшее расследование показало, что Ання Кобе до середины января 1992 г. проживала в квартире своей бабушки Эльзы Кобе, род. 20 июня 1906 г. в Эрфурте, проживавшей по адресу: Магдебург-Штадтфельд, Шнееглёкхенштрассе, 8. Тогдашняя соседка, Андреа Кизерицки, род. 24 марта 1958 г., в наст. время — депутат земельного парламента, на данный момент — съемщица квартиры, в которой ранее проживала Эльза Кобе, показала, что Ання Кобе около месяца ухаживала за своей бабушкой, находившейся при смерти. Андреа Кизерицки в конце ноября позаботилась о госпитализации старой больной женщины, но через неделю Ання Кобе забрала ее из больницы и вновь привезла в квартиру. Ання Кобе, вопреки первоначальному подозрению Андреа Кизерицки, что она недостаточно заботится о бабушке, самоотверженно ухаживала за последней вплоть до ее смерти, наступившей 1 января 1992 года. Странным, по свидетельству соседки, был только внешний вид Анни Кобе, постоянно выходившей на улицу в старой кацавейке из кроличьего меха, — но, возможно, у Анни Кобе просто не хватало средств, потому что госпоже Кизерицки пришлось подарить ей угольные брикеты. Расследование в городской больнице Магдебурга показало, что Анню Кобе телеграммой проинформировали о болезни бабушки, поскольку сын Эльзы Кобе, Клаус Кобе, которому несколько раз посылали телеграммы, в больнице не появился. Ання Кобе, хотя врач предлагал ей поместить бабушку в дом для престарелых, взяла ее домой. После смерти бабушки она уладила все формальности и в середине января 1992 года выехала из квартиры, которая после этого перешла в пользование Андреа Кизерицки и супруга последней. По показаниям Андреа Кизерицки, Ання Кобе приехала в Магдебург на старом "мерседесе", а уехала — на пикапе с открытой платформой, где находился морозильный ларь, по описанию совпадающий с вышеупомянутым. Мужчины из соседних квартир помогли ей перенести ларь из квартиры в машину. Допрошенный в качестве свидетеля Рольф Кизерицки, род. 21 мая 1957 г. в Дессау, в наст. время — персональный референт премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт, показал, что морозильный ларь был очень тяжелым, но что он тогда не придал особого значения этому факту, потому что известно, что произведенная в ГДР продукция европейским стандартам не соответствует. Помимо этого предмета, Ання Кобе не взяла из квартиры практически ничего, за исключением одной-двух коробок; большую часть вещей потом просто выбросили на свалку, а в одну из суббот, по показаниям свидетелей, в эту квартиру заходило очень много чужих людей, вскоре покидавших дом с полными сумками или же с небольшими предметами мебели в руках. Все соседи упоминали еще о громоздкой, тяжелой на вид печатной машинке, которую Ання Кобе самостоятельно донесла до своего авто.

В дальнейшем были опрошены все торговцы автомобилями города Магдебург. По результатам опроса выяснилось, что торговец Инго Ма-

ас, Индустриштрассе, 2, Магдебург-Грюнхайде, 12.01.1992 обменял зеленый "мерседес" с проколотыми шинами, год выпуска – 1978, номерной знак – IE 27–30, на пикап 1976 года выпуска. При покупке Ання Кобе утверждала, что ей нужно организовать переезд в Берлин, а для этой цели "мерседес" слишком мал. При обмене Ання Кобе получила в качестве доплаты 2000 дойчмарок. Все имеющиеся квитанции оформлены правильно, предъявленные документы на транспортное средство и водительское удостоверение, по свидетельству продавца, также были в полном порядке.

Дальнейший поиск сведений о Клаусе Кобе в Магдебурге не дал практически никаких результатов, так как Клаус Кобе, судя по всему, мало общался с окружающими. Опрос его бывших коллег по Институту холода (последнее рабочее место К.) показал, что Кобе избегал контактов. Единственным близким ему человеком была Луиза Гладбек, род. 13 апреля 1937 г. в Бреслау, умершая 28 ноября 1991 г. Причина смерти – самоубийство. По свидетельству коллег, все сотрудники института были уволены 1.11.1991 и затем больше ничего не слышали друг о друге, если не считать извещения о смерти Луизы Гладбек, напечатанного в газете. Луиза Гладбек и Клаус Кобе были уполномочены Попечительским ведомством по приватизации и управлению государственным имуществом провести необходимые мероприятия по ликвидации института и, по свидетельству коллег, в связи с этим на два месяца дольше других сохраняли за собой рабочие места. Опрос коллег К. в Магдебурге показал, что самоубийство Гладбек было связано с потерей работы. Никакое другое лицо к ее смерти не причастно. Единственным признаком жизни, поданным Кобе после ликвидации научного института, было письмо в Попечительское ведомство от 27.12.1991, в котором сообщается, что Кобе в соответствии с договоренностью передает ведомству ключи от здания Института холода, расположенного по адресу: Бадштрассе, 3. Однако, проведя детальную проверку, я вынужден сделать вывод, что данное письмо скорее всего является подделкой, так как даже поверхностный анализ почерка свидетельствует о значительных расхождениях с подписью Кобе в паспорте. Письмо было напечатано на печатной машинке с сильно загрязненной литерой "е". Сравнение с начертанием шрифта в печатной машинке Анни Кобе, марка "Оптима", год изготовления – 1957, показало, что мы имеем дело с той же машинкой, на которой было напечатано письмо в Попечительское ведомство, и что, очевидно, это та самая машинка, которая находилась в пользовании Эльзы Кобе и которую потом Ання Кобе взяла с собой в Берлин. Имеется подозрение, что написала письмо и подделала подпись Ання Кобе.

Расследование причин смерти Эльзы Кобе показало, что врач Д-р Йоахим Мессершмидт, проживающий по адресу Кляйнештрассе, 6, в Магдебурге, зафиксировал естественную смерть Эльзы Кобе 01.01.1992 в 19.27. Обращали на себя внимание лишь две большие гематомы в области грудной клетки, с правой стороны, которые, по словам Анни Кобе, возникли в результате падения бабушки с кровати. Врач не придал этому большого значения, потому что причиной смерти однозначно была сердечная недостаточность. Элизабет Кобе кре-

мировали и похоронили 12 января 1992 г. на Западном кладбище, поместив урну с прахом покойной в могилу ее мужа Пауля Кобе. На похоронах, помимо Анни Кобе, присутствовал только сотрудник кладбища, который, в соответствии с правилами, сам опустил урну в землю. Обращает на себя внимание тот факт, что по завещанию Эльзы Кобе, копия которого нашлась среди оставленных Анней Кобе вещей, Ання Кобе унаследовала 25 000 дойчмарок. Сын Эльзы Кобе, Клаус Кобе, в завещании не упоминается. Так как улики указывают на то, что Клаус Кобе был убит, завещание было передано для дальнейшей проверки в отдел по борьбе с преступностью, ибо можно предположить, что и это завещание, подобно письму в Попечительское ведомство, является подделкой. Следует особо подчеркнуть, что, если бы сын фигурировал в качестве единственного наследника, Ання Кобе после его исчезновения не имела бы права распоряжаться деньгами. Других документов, которые могли бы объяснить исчезновение Кобе, не обнаружено, однако в камине квартиры № 4 на Шлиманштрассе было найдено значительное количество пепла, цвет которого указывает на факт сожжения целых пачек бумаги.

Розыскные действия в берлинском окружении Анни Кобе дали следующие результаты: на основании показаний бывших квартиросъемщиков дома, расположенного по адресу Шлиманштрассе, 4, было выявлено, что Ання Кобе после длительного отсутствия вернулась в квартиру в середине января 1992 года, на пикапе с транзитными номерами, в кузове которого находился старый морозильный ларь. Ларь был занесен на четвертый этаж четырьмя рабочими фирмы "Маркс", расположенной по адресу Шлиманштрассе, 4. Опрос грузчика Хорста Зеефельда, род. 14 апреля 1935 г., проживающего по адресу Лихенерштрассе, 27, сотрудника фирмы "Маркс", показал, что, когда ларь оказалось невозможно доставить на кухню обычным способом, рабочие предложили пронести его через дверь в вертикальном положении. Это предложение было решительно отклонено Анней Кобе, объяснившей, что, если ларь будет поставлен в вертикальное положение, из него вытечет хладагент. Рабочие сразу ушли, оставив женщину с морозильным ларем в коридоре. Ему же, Хорсту Зеефельду, не давало покоя то обстоятельство, что, как было им замечено, крышка морозильного ларя не открывалась. Он вернулся на четвертый этаж и подслушал через дверь, что Ання Кобе все время обращается к кому-то, кого называет "папочкой", уговаривая его "перестать дурить". Затем он услышал, как что-то грохнуло, а сразу после этого кто-то вскрикнул. Он предположил, что отец Анни Кобе находится в квартире и что отец и дочь пытаются заволочь эту громаду на кухню. Однако мужского голоса он не слышал. Зеефельд не производит впечатления человека, который просто придумал такую историю, и он готов подтвердить свои показания под присягой.

Мы разыскали и бывшую жену Клауса Кобе, к. и. н. Барбару Кобе, род. 20 июня 1942 г. в Магдебурге, проживающую по адресу: Шёнхаузераллее, 41. Она показала, что ничего не знает ни о местонахождении своей дочери Анни Кобе, ни о том, что случилось с ее бывшим мужем Клаусом Кобе. Мужа она не видела с того момента, как в 1976 г. выехала из их общей квартиры, а свою дочь в последний раз навещала 1 января

1995 г., когда той исполнился тридцать один год. Она обратила внимание на морозильный ларь в кухне, знакомый ей еще по их общей квартире; на ее расспросы дочь ответила, что отец подарил ей ларь, когда она занялась экспериментами с мороженым. Барбара Кобе улучила момент и незаметно заглянула в морозильный ларь, в котором лежало несколько картонных коробок с мороженым "Московское". Ее дочь годом ранее основала фирму, которая производит этот сорт мороженого и снабжает им магазины экологически чистых продуктов питания. Расследование показало, что в реестр торговых предприятий 27.11.1993 действительно была занесена фирма ООО "Кобе", специализирующаяся на производстве и продаже мороженого. Фирма занимает один этаж строения 36а на территории фирмы "Ашингер", которая во времена ГДР была кондитерским комбинатом, и располагается по адресу: Заарбрюкерштрассе, 36–38. В налоговой инспекции района Фридрихсхайн-Пренцлауэрберг никаких претензий к фирме "Кобе" не имеется, во время последней налоговой проверки правонарушений выявлено не было. В документах были обнаружены сведения о судебном конфликте с известным концерном по производству мороженого, который подал на фирму "Кобе" иск из-за противоправного использования рецепта мороженого, принадлежащего концерну и еще не внедренному в производство. Дело выиграла Ання Кобе, так как ей удалось доказать, что мороженое ее фирмы производится по другому рецепту, нежели мороженое истца. В ходе опроса коммерческого директора фирмы "Кобе", Карлы Симон, род. 29.04.1941 г. и проживающей по адресу: Штрасбургерштр, 24, не было получено никаких сведений, порочащих Анню Кобе. Карла Симон сообщила, что в настоящее время Ання Кобе находится в четырехнедельном отпуске на Кипре, в качестве места проведения отпуска указан город Полис. Расследование показало, что Ання Кобе не бронировала ни авиабилет на Кипр, ни номер в тамошней гостинице.

Фирма производит впечатление чистого и современного предприятия. Штат состоит из пяти работниц и одного монтера. Карла Симон – коммерческий директор – обладает подписанной Анней Кобе и нотариально заверенной доверенностью, которая дает ей право в отсутствие Анни Кобе на осуществление всех деловых операций.

Дальнейшее расследование показало, что Ання Кобе не поддерживала сколько-нибудь длительных отношений с другими людьми. Судя по всему, она почти каждый вечер проводила в пивной "Жук-Торпедо", расположенной по адресу: Дункерштрассе, 69, – и часто возвращалась домой уже ночью, с каким-нибудь мужчиной. Тамошние завсегдатаи, однако, отказались предоставить нам информацию о своих отношениях с Кобе. Опрос постоянных посетителей позволил выяснить лишь то обстоятельство, что Анню Кобе в последний раз видели в пивной недели три назад. Один пьяный, когда мы с ним оказались вдвоем в туалете, рассказал мне, что в тот вечер пропавшая впервые громко кричала в пивной (прежде она, в отличие от местных хулиганов и скандалистов, старалась не привлекать к себе внимания). Она возмущалась распродажей земельных участков в этом районе и, в особенности, грубыми методами домовладельцев, которые, проводя дорогостоящую реконструкцию, вынуждали давних съемщиков квартир покинуть обжитые места. Так как в этой пивной в основном собираются левые и люди, близкие к

анархистским кругам, большая часть посетителей с ней согласилась, и в оставшуюся часть вечера все спорили о возможностях противостояния. Под конец Анна Кобе сказала: “Для меня, увы, все это уже слишком поздно”. Она покинула пивную в сопровождении мужчины по имени Эрнст, которого все называли не иначе как Поп. В результате дознания в епархии протестантской церкви Берлин—Бранденбург было выяснено, что некий Эрнст Паллушек, род. 25 июля 1962 г. в Магдебурге, занимает должность пастора в Мюленбеке под Берлином. По показаниям Эрнста Паллушека, он знаком с Анней Кобе со школьных лет, они вместе учились в средней школе имени Иоганна Готфрида Гердера в Магдебурге. Паллушек в своих показаниях о пропавшей был подчеркнуто сдержан. Заслуживает упоминания лишь тот факт, что наиболее частыми темами их дискуссий были технологии будущего. На вопрос, о каких именно технологиях шла речь, свидетель ответил, что их разговоры касались в основном криоконсервирования, однако более подробно объяснить мне суть этих технологий он не смог или же не захотел. Он лишь упомянул, что, будучи теологом, из этических и моральных соображений отвергает подобный вид консервирования, тогда как пропавшая относилась к этому вполне нормально и даже с интересом следила за соответствующими международными дискуссиями. Мы подали запрос на поиск информации по упомянутым Эрнстом Паллушеком темам, но на данный момент выяснили лишь то, что криоконсервирование представляет собой практику замораживания людей непосредственно после их смерти, распространенную в основном в Америке: люди сохраняются в специальных капсулах, пока наука не найдет способ возродить их к жизни.

Еще каких-либо друзей в ходе расследования выявить не удалось, так как в квартире Кобе не было найдено ни телефонной книги, ни ежедневника или чего-либо подобного. Единственный документ, который может представлять ценность, — рукопись, найденная нами в конверте рядом с печатной машинкой и, очевидно, забытая Анней Кобе при выходе из квартиры, потому что на первой странице от руки почерком Кобе написано: “Обязательно взять с собой!” Текст, судя по всему, — литературный. Прочтя с трудом пять начальных машинописных страниц, первая из которых представляет собой бланк Института холода с напечатанной на нем датой “07.10.1971”, я пришел к выводу, что в тексте, скорее всего, рассказывается о последнем годе существования ГДР. Остальная — собственно рукописная — часть, если не считать десяти вложенных в нее машинописных страниц, на которых речь идет о какой-то утопии 1968 года и упоминается не названный по имени “дедушка”, написана абсолютно неразборчивым почерком. Этот конволют объемом около 400 страниц прилагается к протоколу для дальнейшего изучения. Рядом с печатной машинкой была также найдена записка следующего содержания: “В тысячный раз возьми тысячи осколков льда и сложи из них слово ВЕЧНОСТЬ. Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин и в придачу тебе подарят пару коньков”[1].

1. Аллюзня на слова Снежной королевы нз однонменной сказкн Х. К. Андерсена.

Свидетелей бегства Кобе найти не удалось, так как дом на тот момент был уже полностью освобожден от жильцов. Серый пикап с номерным знаком B-DM 3360 был снят с учета 17.12.1992.

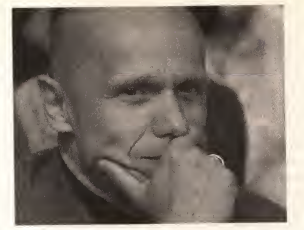
Заключение. Вышеизложенные факты подтверждают подозрение, что Клаус Кобе (персональные данные см. выше) стал жертвой преступления, однако труп Кобе до сих пор не найден. В совершении преступления подозревается его дочь Ання Кобе (персональные данные см. выше), в настоящее время находящаяся в розыске и, очевидно, бежавшая от правосудия. Морозильный ларь приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Объявлен международный розыск.

Подпись

Главный комиссар полиции Хаген Кляйн

Районный отдел полиции № 7, Берлин-Пренцлауэрберг, Отдел по борьбе с преступностью.

Георг Кляйн



Нойма

Рассказ

Перевод Михаила Рудницкого

Мы оба, собратья по духу, курили и курили как одержимые. Стоя под ледяным дождем, мы курили из последних сил. Злой восточный ветер столичного города сотрясал торцевой балкон нашей квартиры в пентхаузе. Рубашки наши вздувались, словно подключенные к аппарату искусственного дыхания, галстуки трепетали и бились вокруг наших шей, и когда очередной порыв стихии, словно ножницами, срезал у кого-то огонек с сигареты, другой, ладонями и торсом прикрывая товарища от ветра, давал ему прикурить, покуда обезглавленный и холодный окурок не разгорится снова.

Мы курили на спор. Своенравная буря атаковала наш балкон со всех трех незащищенных сторон. Брошенные окурки до мраморных плит пола даже не долетали. Их мгновенно подхватывало ветром и вышвыривало с балкона неведомо куда. Лишь один-единственный фильтр сиротливо валялся у нас под ногами, вжимаясь в желобок расшивочного шва между плитками. А уговор промежду нами был такой: кто первым на пол три окурка уложит, тот к Горбатой Графине и не поедет.

Оба мы самым позорным образом жались спинами к двустворчатой стеклянной двери нашей столовой. И продрогли так, что холода уже не чувствовали. А думали только о картине, которую сегодня ночью одному из нас придется у Горбатой Графини покупать, и при мысли о всех неизбежных муках предстоящей покупки оба содрогались от ужаса. Горбатая Графиня славилась своим нравом, вздорным и злокозненным. У нее бы-

ло безошибочное, дьявольское чутье на вожделение клиента. Стоило ей уловить азарт покупателя, его панический, до холодного пота страх упустить долгожданную добычу, — тут-то и начиналась сладострастная игра кошки с мышью: старуха выставляла все более изощренные, все более наглые требования, дабы оттянуть заключение сделки и насладиться этой, иногда поистине до бесконечности длящейся пыткой-прелюдией.

Вокруг нас сгущались сумерки, но и в обволакивающем полумраке окурки наши были легко различимы по цвету фильтров. Буря слегка унялась. Поединок близился к неизбежному концу, счет был уже 2:2. Мы курили из последних сил. Ибо тот, кому предстояло провести ночь с Горбатой Графиней, был обречен на двойную муку. Ему придется, постоянно видя перед глазами картину и погрязая во все более сложных, все более иезуитских переговорах, часами обходиться без спасительной затяжки. Недужные бронхи Горбатой Графини много на что реагировали аллергическим приступом, но прежде всего не выносили и малейших флюидов сигаретного дыма. Даже запах вчерашнего курева способен был вызвать приступ ее бесподобного астматического бешенства, и уж тогда для любого покупателя, будь он готов заплатить хоть втридорога, картина, можно считать, потеряна навсегда.

Я ехал в сторону Ваннзее[1], навстречу яснеющему ночному небу. С нашего балкона ты еще раз махнул мне напоследок рукой и крикнул какое-то неразборчивое, но наверняка ободряющее напутствие. Я закурил свою предпоследнюю сигарету. Ровно два года назад мы объединили наши коллекции живописи и с тех пор, как и наши картины, живем вместе. Решение, отвечающее и практическим, и духовным нашим запросам. Ведь мы и до этого собирали одно и то же: мужской акт после 1945 года. В моей коллекции этот жанр выкристаллизовался в стержневой лишь постепенно, ты же, как более основательный и прозорливый из нас, уже давно ничего другого не приобретал. Так что со дня нашего решения мы оба получили уникальную возможность наслаждаться созерцанием самого значительного собрания на эту, великую и потаенную, тему послевоенной живописи. Разумеется, всю коллекцию целиком мы не в состоянии у себя вывесить. Но важнейшие работы, те, что пролагали пути и опрокидывали запреты, смотрят теперь на нас со стен нашего общего жилища. Только кухню и прочие помещения, к которым подведена вода, а также балкон мы выложили плиткой и оставили пребывать в голой целесообразности, без картин. Там мы и курим. Ибо курение — наша вторая страсть, так сказать, страсть-падчерица. И предаемся мы ей с не меньшей беззаветностью. Так что сегодня ночью астматичка-графиня ни с одним из нас даже о продаже грошовой открытки с репродукцией говорить бы не стала, увидь она, сколь самозабвенно мы весь вечер дымим наперегонки на нашем открытом всем ветрам балконе.

И конечно же, это позор и вопиющая несправедливость, что в нашей коллекции, ни у одного из нас, до сих пор не было ни единой работы Петра Ноймы. Его живопись, словно феникс, восстала из пепла официозного советского искусства. Ни один даже самый дошлый знаток прежде ни-

1. Залив реки Хафель на юго-западе Берлина, а также одноименное предместье с фешенебельными виллами. (*Прим. перев.*)

чего о Нойме не знал и слыхом не слыхивал. Больше сорока лет творения его жили в ящиках и чемоданах призрачной, потусторонней жизнью неведомых шедевров. Вплоть до самой своей, впрочем, все еще только предполагаемой смерти Пётр Нойма работал инженером-газовиком где-то на юге Сибири. Лишь раз в году, всякий раз зимой, когда он наезжал в Ленинград погостить у родственников, он подходил к холсту, и тогда в каком-то немыслимом порыве, в могучем выбросе творческой воли возникала его ежегодная картина. Так что хронология его творчества устанавливается без малейших затруднений: за сорок лет сорок картин.

Конечно, едва только работы эти тронул луч признания, японские коллекционеры, американские галеристы, да и русские музеи — те, правда, после несусветно долгой раскачки — набросились на них, аки гиены. За какую-то пару лет все картины Ноймы, хранившиеся у его друзей и родственников, были "вычислены" и раскуплены. И это при том, что прежде большинство из них, полузабытые, валялись по чердакам и подвалам. Ведь Нойма дарил свои полотна кому попало — то к свадьбе, то на крестины, и невежественные, а в лучшем случае просто трусливые их обладатели по большей части лишь на несколько дней приоткрывали к ним доступ весьма узкому кругу сугубо приватной общественности.

За одним исключением. Во вторую послевоенную зиму главный врач одной из сибирских поликлиник выменял у художника привезенную из Ленинграда картину на две пачки табаку. И там, в рентгеновской лаборатории заштатного лазарета, открытая взглядам больных и здоровых посетителей, она провисела почти четыре десятилетия. Уйдя на пенсию, главврач забрал полотно с собой в Москву, и там-то эта ранняя работа и положила начало открытию Ноймы как художника. В прошлом году мы оба имели возможность впервые увидеть эту картину на большой итоговой выставке Петра Ноймы в Чикаго. Как и все работы первого периода, она выдержана в красных, с примесью розового и голубого, тонах. Ее можно назвать полупредметной. Это нечто вроде мужского торса, скорее некий обрубок обнаженного тела с непомерно тяжелой, уродливой головой, склоняющийся к жилистому, набухшему кровеносными сосудами отростку, что выпирает из его нижней части. Своим приглушенным, матовым мерцанием вся композиция первым делом напоминает подвешенный на крюке кусок мяса, но в то же время это странная телесность охвачена какой-то загадочной, газообразно-светящейся, чуть ли не пульсирующей в ней жизнью. Название своего творения Нойма запечатлел на лбу фигуры в виде татуировки: "Тринадцатый подвиг Геракла".

Искусствоведы и по сей день не пришли к единому мнению, какой именно подвиг должен совершить этот сочащийся кровью, голубовато-розово-красный герой. Традиционная для полотен Ноймы экспертиза на подлинность с помощью рентгеноскопии неизменно выявляет второе, потаенное наименование картины. В данном случае оно гласит: "Сталин, оживляющий труп Гитлера". И сколь ни очевидно, что подобное название в те времена, вскоре после окончания Великой Отечественной войны, понятное дело, и должно было оставаться конспиративным, столь же неясным остается по сей день его смысл. Ибо на полотне, сколько его ни разглядывай, различить можно только одно тело.

В качестве спекулянтши искусством, к тому же спекулянтши с весьма сомнительной репутацией, Горбатая Графиня и прежде не была для

нас незнакомкой. Здесь, в столице, она уже много лет славится как один из самых богатых поставщиков для всякого, кто вознамерится приобрести нелегально вывезенные из России иконы и церковную утварь. Но, поскольку мы-то сами никакого интереса к трухлявым доскам икон с их неотрывно пялящимися богородицами не питали, мы и с Графиней никак не соприкасались. Первый деловой контакт возник лишь в прошлом году, как раз на той итоговой выставке ПетраНоймы в Чикаго. Графиня сама с нами заговорила. Точнее сказать, она чуть не сбила нас с ног своим креслом-каталкой, когда мы, плечом к плечу, любовались "Тринадцатым подвигом Геракла". И покуда мы, в позах почти унизительных, потирая ушибленные места, корчились по обе стороны от ее инвалидного кресла, она, ткнув пальцем в полотно, издевательски поинтересовалась, нет ли у нас желания вывесить нечто подобное в нашей скромной берлинской лачуге.

Выруливая с городской автострады в поворот на Ваннзее, я закурил свою самую последнюю — неизвестно до каких пор — сигарету. Предстоящая грозная ночь с Горбатой Графиней была для меня уже четвертым подобным испытанием. Переговоры о сделке начались еще весной. Впрочем, то, что они бесконечно затягивались, по крайней мере в одном отношении было нам на руку: тем самым нам предоставлялось время, чтобы высвободить из оборота потребную — на самом-то деле совершенно непотребную, — небывалую для нас, неимоверно высокую сумму. Мы не знаем, когда и каким образом вожделенное полотно доставили в Берлин. Взглянуть на картину нам было дозволено лишь в прошлом месяце. Это был единственный наш совместный визит к Графине. И хотя приехали мы ранним вечером, подпустить нас к картине эта садистка соизволила лишь на рассвете. В пропотевших рубашках, измученные двенадцатичасовым отлучением от никотина, со слезами радости на глазах стояли мы перед "нашим Ноймой". Это произведение его третьего, последнего периода. Известное только по названию, оно считалось исчезнувшим бесследно. Удержать нас от безудержных рыданий при виде этой работы могло бы разве что столь же безудержное курение. В итоге же наши слезы восторга отлились нам очередным повышением цены ровно вполовину.

Когда я подъехал, наконец, к берегу Ваннзее, дождь перестал. Но ветер все еще задувал с приличной силой, учиняя на глади залива изрядное волнение. У Горбатой Графини участок на самом берегу: широкая и пологая, без единого деревца полоса газона сбегает прямо к воде. Словом, для застройки участок лучше не придумаешь. Однако Графиня обитает в фургоне. С тех пор как ее в Берлине помнят, она живет в огромном, смахивающем на цистерну американском автоприцепе, именуемом домом на колесах. По рассказам, он водрузился здесь чуть ли не с первых дней существования оккупационной зоны. Колеса с него давно сняты, ходовая часть ржавеет на заросших мхом бетонных чушках. Уму непостижимо, с какой стати городские власти столько лет терпят столь вопиющее захламление береговой полосы.

На крыше фургона укреплена мощная штыревая антенна. Горбатая Графиня — страстная радиолюбительница и поддерживает связь с коллегами по увлечению во всех концах света. Именно дружеский радиоконтакт с неким радиолюбителем из Внутренней Монголии навел ее на пер-

вые следы исчезнувшей картины. По крайней мере нам она изложила именно такую версию. Порывом внезапно окрепшего восточного ветра антенну на крыше фургона изрядно тряхнуло. Но она зафиксирована лучеобразно тянущимися от газона стальными тросами, так что согнулась лишь ее тонкая гибкая верхушка, тогда как упруго напрягшийся, эластичный стержень под напором стихии только странно, конвульсивно содрогнулся. Все четыре окошка фургона ярко светились. У меня в запасе оставалось еще немного времени. Графиня, сама образец непунктуальности, от клиентов требовала, чтобы те являлись минута в минуту.

Вот уже двенадцать лет Нойма словно в воду канул. Его исчезновение связано с одной из самых крупных газовых катастроф в щедром на подобные бедствия Советском Союзе. Лишь годы спустя стали известны свидетельства очевидцев, по словам которых облака горящего газа, ритмично изрыгаемые все новыми и новыми взрывами, словно языки пламени из пасти огнедышащего дракона, поглотили приближавшуюся к месту аварии ремонтную бригаду. Инженер-газовик Пётр Нойма находился на месте катастрофы с первого же часа. Судя по всему, где-то там, в одной из сгоревших пожарных машин или в сплющенной, расплавившейся от жара алюминиевой бытовке среди других неопознанных трупов осталось лежать и его обугленное тело. На родине Ноймы бедствие это с тупым упорством бюрократической сверхдержавы по-прежнему замалчивалось, хотя два американских метеорологических спутника чуть ли не с первых минут транслировали во Флориду цветные снимки многодневного гигантского пожара во всей его необузданной красе.

Горбатая Графиня обещала снабдить нас более подробными сведениями о кончине Ноймы. В своей бесподобной, зазывно-разбитной и одновременно издевательской манере она во время последнего нашего визита высказалась в том смысле, что, дескать, кто приобретет чудом найденную картину, тот не должен оставаться в блаженном неведении и относительно судьбы ее автора.

Я достал из бардачка мятный дезодорант и два раза как можно тщательнее спрыснул всю ротовую полость. Внизу, у берега, в домике на колесах отворилась дверь. Кресло с графиней как бы высунулось за порог и застыло в начале асфальтовой дорожки. Именно так она до сих пор всякий раз нас и встречала. Я вышел из машины и направился к багажнику. Самое время было сменить свои насквозь прокуренные шмотки на специально приготовленные, только что доставленные из химчистки, костюм и рубашку.

Дело сделано. Над столицей молочной серостью занимается предрассветное небо; и мы снова вдвоем, снова курим вместе. Каждый взял с собой на балкон новую непочатую пачку. Сейчас, при полном безветрии, в бездвижной и сухой прохладе зимнего утра, нам курится особенно легко. Мы дымим без остановки. Картина теперь наша. Подлинный, осязаемый и зримый Нойма стал частью нашей коллекции. Блаженнее, чем когда-либо прежде, наши души греет наслаждение этой новой совместной собственностью. И только знание и незнание последних обстоятельств покупки еще разделяет нас. Ибо я ни единым словом о них не обмолвился, ты же, со своей стороны, не можешь об этом не думать, и твои предчувствия, уж поверь, тебя не обманывают. Ведь это ты в отве-

те за то, что там, на ночном берегу Ваннзее, я — потрясенно, это еще слабо сказано — таращился на пустой багажник нашей машины. Ведь это именно ты, по своей воле и с готовностью, вызвался забрать из химчистки наши вещи и сложить для меня в багажник свежую рубашку, ничем не пахнущий пиджак и ни единой крошкой пепла не оскверненные брюки. Окажись ты на моем месте, ты и сам впал бы в оторопь от последствий собственной забывчивости. Мне оставалось только одно: предстать пред очи и ноздри графини как есть и в чем был.

Очередной сильный порыв ветра налетел со стороны залива. Я распахнул пиджак и по асфальтовой тропке поспешил вниз. Надеялся, что встречными потоками воздуха меня хотя бы слегка проветрит. Яркий свет из фургона мешал мне как следует разглядеть кресло графини. Подойдя ближе, я увидел, что она прижимает к носу и рту ингалятор. Очевидно, ее уже донимал приступ астмы. Это придало мне духу. Как знать, вдруг она настолько одурманена эфирными маслами, что прогорклой табачной вони от моей одежды просто не учует.

Когда я подошел к порогу, Графиня, не здороваясь, ловко развернула кресло и покатила в крайнюю слева комнату фургона. Этой части ее жилища я еще не знал. Помещение оказалось не больше чуланчика, причем одну его стену от пола до потолка занимала радиоаппаратура. На стене напротив висел наш Нойма, даже не занавешенный. Под ним, приготовленная, стояла транспортировочная картонка. На столике рядом лежал последний вариант контракта. Подле него — красная шариковая ручка. На сей раз, кажется, Графиня, ослабленная, быть может, своим астматическим недугом, намеревалась провернуть дело по-быстрому. Я едва верил своему счастью. Присел на предложенный мне складной стул. Положил на столик конверт с деньгами. Конечно же, по лицу моему блуждала идиотская улыбка. И тут мой обостренный страхом и от страха уже ничего толком не воспринимающий взгляд зафиксировал нечто совсем уж непостижимое: Графиня с грохотом водрузила на столик, прямо на истомившийся в ожидании подписей договор, нечто большое и тяжелое: огромную, розоватого отлива, хрустальную пепельницу.

Мы оба курили, плечом к плечу. Нашего П. Нойму мы повесили на давно уже приготовленное для него место. Он украшает стену в изголовье нашей кровати. Повесь мы его в изножье, у себя перед глазами, мы не ведали бы покоя. Даже безлунными ночами на нас проливались бы с полотна этот будоражащий желчный лиловый, эта блеклая сернистая получернота, этот бесподобный, необузданный алый. Так что пусть уж висит в головах нашего совместного ложа, и наше постепенно успокаивающееся дыхание и наш неслитный, но схожего тембра храп взлетает к полотну Ноймы. Кроме нас, надо думать, его долго еще никто не увидит; о публичном показе или тем паче о выставке, к превеликому сожалению, пока что нечего и думать.

Графиня подкатила свое кресло прямо к столику, вплотную ко мне. Я в гипнотическом оцепенении все еще таращился на пепельницу, словно в преломлениях ее розовых граней вот-вот должна выкристаллизоваться некая картина. Графиня поставила рядом с пепельницей продолговатую шкатулку и извлекла из нее какую-то совсем уж невообразимую штуковину, и я, хотя ничего подобного прежде не видел, тотчас догадался, что́ именно зажато у нее в руке между средним и указательным

пальцами. Когда-то, еще до образования нашего коллекционного и личного комплота, ты мне об этом рассказывал. Один из твоих прежних партнеров тоже курил подобные диковины — сигары для астматиков. Производство их было прекращено еще до последней мировой войны: ингаляцию дыма посчитали устаревшим и неэффективным терапевтическим средством. Однако, как ни удивительно, в подвалах аптек и на складах оптовиков и по сей день хранятся несметные залежи этого извращенческого курева. Запасов этих вполне достаточно, чтобы организовать на черном рынке пусть маргинальную, но весьма прибыльную торговлишку более чем сомнительным и давно отринутым медициной снадобьем, за наслаждение которым тайное братство связанных круговой порукой ценителей готово платить очень даже солидные деньги. Именно такую, неимоверно длинную, но даже в средней своей части нетолстую, а скорее изящную сигару, хрипло сопя, давясь лающим кашлем, и раскурила Графиня, вслед за чем — после первых же, облегчивших спазмы удушья затяжек — принялась рассказывать о Петре Нойме.

Здесь, на нашем стерильно-светлом балконе, мы оба курим безобидные сигареты с фильтром, каждый свою марку. Курим одинаковыми глубокими затяжками, как будто ничто и не разделяет нас. Окурки в равном числе полукругом валяются у каждого под ногами. Ты еще не знаешь, чем было для тебя выигранное пари: то ли оно уберегло тебя от немыслимых мучений, то ли из-за этой ночи у Горбатой Графини ты всю жизнь будешь мне завидовать. Кстати, прозвища своего Графиня вообще-то не заслуживает: горба у нее нет. Правда, верхняя часть ее туловища странно раздалась вширь, словно росту вверх что-то внезапно воспрепятствовало, из-за чего создается впечатление, будто шеи нет вовсе и острый подбородок утыкается прямо в предгорья грудей, могучими цилиндрическими валиками раскатывающихся в разные стороны. Конусообразные окончания валиков, казалось, ложатся прямо на выпирающие углами мослы бедер. Под таким тяжко и во всю ширь обвисающим бременем, в вечной удушливой тесноте приходилось работать ее легким.

Графиня меж тем беззастенчиво пускала дым прямо мне в физиономию. Сладковатый и въедливый, он отдавал пряностями и сеном, но еще, правда слегка, и какой-то гнилью. Мне она угоститься сигарами не предложила, а достать из кармана пачку своих вульгарных гвоздиков с фильтром я не отважился. Против обыкновения она без долгих околичностей и злонамеренных оттяжек сразу приступила к делу. Петр Нойма жив, возвестила она. Мало того. Уже больше года она общается с ним в регулярных сеансах радиосвязи и все, что он имел сказать о своем творчестве, с самого начала записывала на магнитофон. И сейчас, прежде чем мы подпишем договор, она хочет дать мне прослушать то, что он сказал о нашей картине.

После чего я и вправду услышал голос Петра Ноймы. Голос неестественно высокий, к тому же постоянно прерываемый посторонними шумами. Причем казалось, будто сам говорящий об этих атмосферных помехах знает. Ибо едва ли не всякий раз, когда разборчивость его речи начинала страдать от способов ее передачи, он подхватывал свою мысль сызнова или варьировал ее в обстоятельных, неспешных повторах. Говорил Нойма на очень медленном, но в общем-то правильном английском. Немногие грамматические ошибки, изредка проскальзывав-

шие в его речи, он тут же сам исправлял. Жесткость произношения, краткость предложений, а также потеря тембровой окраски из-за дальности радиопередачи сообщали его голосу что-то лающее; казалось, откуда-то из невообразимой дали тявкает старая, одышливая, но настырная собачонка. Впрочем, этому впечатлению безмерной отдаленности странно противоречила необычайная, прямо-таки в уши закрадывающаяся интимность. Казалось, некоторые шумы, присвисты, шипения и хрипы доносятся вовсе не из эфира, а прямо из уст Петра Ноймы и обусловлены каким-то недугом его голосовых связок, легких и бронх. Хотя, конечно, куда вероятнее было предположить, что это именно электрические разряды и помехи на долгом пути радиоволн, исправно воспроизводимые лампами и транзисторами мощного радиоприемного устройства.

Нойма рассуждал о проблемах смешивания красок. Качество материала, поставляемого отечественными учреждениями госторговли, его все более и более не устраивало. Так что для работ своего последнего, так называемого хирургического, периода он смешивал себе краски сам. Для этой цели он использовал материалы нефтехимической индустрии, промежуточные продукты и отходы нефтяной и газовой промышленности, то есть нечто из сферы своей профессиональной деятельности. Тут, признаюсь, я понял не все. Я ведь не химик, да и с профессиональными проблемами живописи никогда вплотную не сталкивался. Рядом, чуть ли не вплотную ко мне, посасывала сигару Графиня, причем делала это как-то необычайно громко, со смачными причмокиваниями на вдохе и хрипами на выдохе, к тому же то и дело дополняя пояснения Ноймы невразумительными, но энергичными тычками в сторону висящей перед нами картины. Всякий раз, когда она своей правой, вооруженной сигарой рукой указывала на картину, огненно-красный раскаленный кончик этого грозного снаряда проносился в каких-то миллиметрах от моей щеки. Ее правая грудь, мягкая, но омерзительно осязаемая, все тяжелее наваливалась на мой локоть.

Между тем голос Петра Ноймы из магнитофона рассказывал о том, как он открыл совершенно особый алый цвет своего последнего "хирургического" периода. Он обнаружил этот краситель в одном из ядовитых шлаков, образующихся при дистилляции загрязненного сероводородом бензола. Наша картина, наш Петр Нойма, — как раз один из характернейших образчиков такого алого цвета. Нестерпимый в своей яркости, этот багрянец сочится сквозь ребра, просвечивает сквозь кадык запечатленного от колен до подбородка мужского торса. Полотно наше называется: "Ангел, расправляющий крыла". Однако этот человеческий обрубок, оставивший по обе стороны вокруг себя еще довольно много свободного места, лишен не то что крыльев, но даже рук. Когда Нойма на своем беспомощном английском пролаял название нашей картины, Графиня разразилась оглушительным хохотом. Не обращая внимания на работающий магнитофон, она, придвинувшись ко мне еще ближе и плюясь и чуть не прыская мне прямо в ухо, принялась рассказывать, что в той страшной катастрофе Нойма получил тяжелые ожоги поверхности тела и даже внутренних органов. Он надышался раскаленными парами и в итоге потерял одно легкое. Так что сейчас Нойма, как соизволила выразиться Графиня, если и дышит, то буквально на ладан. А о

внешнем своем виде сам художник, дескать, рассказывает, что его монгольская псина и по сей день каждое утро сызнова пугается обезображенного до неузнаваемости лица своего хозяина.

Картина наша прекрасна. Ангел, вздымающий на почти квадратном фоне свои незримые крыла, окутан таинственной золотистой дымкой. “Хирургический” алый цвет пронизывает этот золотистый ореол множеством тончайших, влажно поблескивающих прожилок. Как раз когда Нойма там, на пленке, со скрупулезной дотошностью разъяснял, каким именно образом он при помощи особого, самостоятельно сконструированного канюльного шприца наносил на холст эти, часто всего лишь с волосок толщиной, линии, Графиня ненароком прильнула ко мне совсем уж близко. Это была взаимная неловкость, некое недоразумение, вдруг случившееся между нашими телами. Огрызком своей астматической сигары она хотела указать на правый край картины. Длинный столбик пепла на конце ее чудовищной носогрейки предательски дрогнул и в ту же секунду обломился. Пепел вместе с изрядным снопом огненных искр упал мне на тыльную сторону левой руки. Я отпрянул. Пиджак мой широко распахнулся и тут же запахнулся снова, когда я машинально вздернул обожженную руку к губам. Видимо, резкое это движение вкупе со стремительным распахиванием и запахиванием полы пиджака произвело воздушную волну, которая понесла прямо на графиню прогорклое никотинное облако — зловонный продукт нашего вчерашнего совместного табачного загула. Аллергический синдром не заставил себя ждать. Он не дал Графине даже секунды, чтобы бросить сигару в пепельницу. В тот же миг всю ее, с головы до пят, сотряс поистине апокалипсический приступ астмы. Ее слишком короткое, нескладное туловище задергалось в конвульсиях, лицо в мгновение ока посинело, из горла вырвался булькающий хрип. Однако выпученные глаза, из которых судорожное сжатие бронх выдавливало все новые крупные, тяжелые слезы, вопреки всему буравили меня осмысленным и пугающе ясным взглядом, полным холодного бешенства и запоздалой догадки. Такого приступа Графиня не простила бы мне никогда. А значит, наша общая промашка неминуемо лишила бы нас вожделенного шедевра.

Мы оба курим и курим. Мы курим неспешно, глубокими и редкими затяжками. Обе пачки наших сигарет уже пусты. После этих последних на сегодня сигарет мы оба отправимся под душ и остаток дня проведем в постели в беспокойной дреме. Наша картина, наш “Ангел, расправляющий крыла”, нависая над нашими головами, будет только усугублять смутную тревогу. А ты — что бы ты сделал на моем месте? Ничего, кроме пепельницы, у меня под руками не было. Ну, я и схватил эту тяжеленную хрустальную дуру. Огненно-багряным кончиком сигары графиня уже целила мне в глаз, но успела только левую бровь прижечь. Я бился за нашу картину. Бился с ожесточением, какого и сам в себе не чаял. Однако, не будь силы Графини подорваны ее астматическим недугом, мне бы в этой схватке несдобровать. Сперва мы сцепились в инвалидном кресле. Потом скатились на пол, прямо под черные ящики радиоприборов. Над нами из репродуктора по-прежнему что-то лаял голос Петра Ноймы. Моя правая рука занесла пепельницу. Нойма тем временем подробно объяснял, как ему удалось спрятать второе, потаенное название картины под патиной из кусочков сусального золота и полупрозрачной

глазури. Он произнес это название. Он выговорил его на своем удивительно теплом и мелодичном русском. Потом пролаял английский перевод. Я обрушил пепельницу Графине на голову. Когда-нибудь после, когда возбужденные слухи о кончине Горбатой Графини улягутся, когда мы убедимся, что ее умение хранить тайну в деловых вопросах не изменило ей и в нашем случае, мы попросим заслуживающего доверия реставратора просветить картину рентгеном. И тогда мы оба увидим второе, выведенное кириллицей, название картины. Голос Ноймы еще долго распространялся об особенностях его написания и последующей затушевки. И снова и снова повторял его английский перевод. А я, в такт жестким английским словам, снова и снова обрушивал пепельницу на череп старухи.

Уже скоро, когда мы бросим на пол последние окурки, совсем скоро, под дымящейся струей горячего душа, я шепну тебе на ухо, мой духовный собрат, — я шепну тебе на нашем узкогрудом немецком своим прокуренным до хрипоты голосом потаенное название картины: “Мы — никчемные герои давно уже никчемной войны”.

Борис Шапиро



Стихи из книги “Только человек”

Перевод Алексея Прокопьева

ПОДУМАЙ о себе —
 пустота.

Вспомни о родителях —
 правда.

Не забудь о детях —
 это ты.

Подумай о себе —
 и решай.

08.10.1999

***

МУДРОСТЬ облегчает страдание,
но творит и особого рода печаль —
различать границы
и границы различения границ.

Редакция благодарит автора за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации стихов на страницах журнала.

Сохраняется всё, что было,
и даже то, чего не было.

Пожелтевший дагерротип
состарившегося Шуберта
лежит под замком
в недостижимом грядущем.

10.10.1999

***

ОПИСЫВАТЬ свет —
задача слепых:
зрячим не выдержать
истинного сияния.

06.11.1999

***

Хелле [1]

КОГДА меня вдруг спросили,
в чем мои сильные стороны,
я подумал: во-первых, верность
и способность
принимать решения. Затем
я подумал,
умение слушать
и спрашивать.
Потом я спросил себя,
что же ты слышишь, когда
говоришь не ты,
но что-то в тебе,
незримое и прекрасное,
что никогда не спит?
И услышал:
свет,
ясность
во мне.

04.01.2000

1. Имя Хелла буквально значит "светлая, ясная". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

***

БОЖЕ, сохрани
мне воображение
и заблуждения,
а еще уязвимость.
Без них
жизнь
была бы неощутимой,
и, стало быть, невыносимой
и тогда
действительно ужасной.

28.01.2000

Другой Брендель[1]

Альфред Брендель
воробышком
подлетает к роялю,
садится и кладёт
пальцы на клавиши.

Одновременно
другой Брендель
кладет пальцы на клавиши
с другой стороны,
за крышкой клавиатуры.

Этот Брендель
в рояле
сидит прямо в струнах,
его сердце стучит молоточками,
он дышит вместе с педалями.

Его жизнь, его суть
слышится как тишина,
видны только
руки
другого Бренделя.

Можно услышать его самого,
звуки образуются помимо рта.
Они хорошо понимают друг друга,
здесь — преходящий,
и нематериальный — в рояле.

1. Альфред Брендель (р. 1931) — австрийский пианист.

Рояль, угловатый снаружи,
изнутри кажется сферой,
многократно ввинчивающейся в себя.
Брендель, тот, что внутри,
исполняет музыку сфер.

22.02-07.03.2000

***

Я – ПРЕДЕЛ
самого себя,

напряженно выгнута грудь,
взмывающее бедро,

жертва назначена,
еврей по должности.

Жертва это только то,
что приносится

и принимается
другими.

07.03.2000

***

ТО, ЧТО превыше
разума,
не всегда неразумно,
скажем, любовь и верность.
Лишь цена
благо, но неразумна.
Ведь мы платим жизнью.
Под наркозом прекрасного
жизнь несёт разум.

22.01.2000

***

Якобу и Ханне

КТО ЖЕ,
о камень, твой Сизиф,
что ты снова и снова

на сердце,
а то и на языке?

Может, проклят ты заодно
с богохульником, человеком?
Милости он хотел и верности,
но не там искал.

Оставь его, раба,
ты, камень познания,
не останавливайся,
сорвавшись с горы.
а катись дальше на юг, туда, где мои дети
всё больше и больше живут, не сознавая себя.

Ляг в ту дыру,
в которую они бы иначе проваливались.
Найди себе место в стене, если они
будут строить
дом,
чтобы он не шатался, как я,
кинься в ноги тому, кто их мучит.

Если на Страшном Суде
против их душ на весах будет перышко,
ляг
на чашу,
весомой мольбой моей, камень!

Брось себя
в чашу, о камень,
как противовес!

12.10.1999

Три формы

Стать, стал, предстал,
стать, стол, под стул,
стать, сталь, постель,
стать, стиль, подстил,
стать, стыль, апостиль.

06.11.1999

***

ДЛЯ ТЕХ, кто,
по недоумию,
видит в страдании,

и/или только в страдании,
смысл,
и/или ищет его,
для таких недоумков
превыше всего — непорочность,
ибо они выражают в ней
бессознательно
всю бессмысленность опыта.

6.11.1999

***

ВО МНЕ живёт акула,
она пожирает меня изнутри,
она не мечет икру, она — живородящая.

Дети её — страдание,
внуки — пощада.

23.12.1999

П*олдень в сирени*

Вторая половина изречения:
“Да здравствует король!”
Между первой и второй проходит
меридиан[1].
Разделив Я
на “до” и “после”,
он разрезал зенит и надир
и соединил их несуществующей ниточкой кукловода[2].
Сирень в урагане цветения,
душа прогорает,
и память — бесконечный разговор,
апогей которого — полдень.
Часы и календари[3] —
что у них общего с временем,
у этих механизмов умерщвления?

1. В стихотворении обыгрываются мотивы речи Пауля Целана “Меридиан”. “Да здравствует король!” — предсмертные слова Люсили, героини пьесы Георга Бюхнера “Дантон”, которую Целан анализирует в своей речи.
2. Слова Люсили “Да здравствует король!” Целан интерпретирует так: “Слово-наперекор, которое рвет “ниточку”, слово, которое больше не склоняется перед “парадными рысаками истории”, слово — акт свободы”. Под “ниточкой” имеется в виду нитка, с помощью которой кукловод управляет марионеткой.
3. Слова из пьесы Бюхнера “Леонс и Лена”, которые Пауль Целан цитирует в “Меридиане”: “...снова оно, это искусство, перед нами. Время и место действия неопределимы, потому что мы все — соучастники ‘бегства в рай’ и вскоре ‘разобьем все часы и запретим все календари’”.

Одержимый смертью пожар сирени,
Дыхание, Поэзия, Судьба.
То есть кто-то незримый здесь.
Толпы говорящих отправляются вместе на смерть,
как только их язык,
как только в них замолкает язык.
Дыхание это искусство, поэзия — тело его,
неумолчная ветка сирени,
злая фея сиренюшка. Слово одно расцвело,
так что ниточка оборвалась,
акт освобождения, вы-
живания.
Никаких опутывающих имен,
может быть, только поэзия,
у нее зеркально-симметричный тик,
она всегда смотрит внутрь,
тонет в бушующих волнах,
пурпурно-синих и фиолетовых.
Весна естественна и полна творчества.
От кого или от чего берёт она начало?
Из Книги или из Автора?
И где граница
между творением и народом,
ты, подданный их, король?
Кто кого создаёт?
Пусть граница искусства,
как порог аромата сирени,
неодолима,
неотвратимо её одоление.
Веселее же духом!
Не можешь, тогда помолчи, пожалуйста,
покуда на некотором удалении
не покажется выход, что называют "исходом".
Исход искусства из поэзии[1].
Если поэзия ляжет здесь,
будто чудесная змеиная кожа сухая,
золотисто-прозрачная, то,
укрощенная, будет в ней шелестеть весна,
ложный памятник.
Анабиоз, не смерть,
выживание искусства
и искусство выживания.
Зачем же сирени
столько веселья и пышности?
Потоп отошёл,
и стремнина-сирень скоро тоже,

1. Ср. в "Меридиане" Пауля Целана: "В таком случае искусство — это путь, который поэзии надлежит пройти и оставить позади".

ибо довольно долго она жила
в этого рода смерти.
Кто-то сейчас скончается,
это значит, он снова в начале.
“Искусство не умирает”[1], сказал он.
Смехотворна потеха-тоска.
Вторая половина изречения —
“Да здравствует король!”
Между двумя половинками
разматывается меридиан.

***

В ТОТ ДЕНЬ,
когда
моё имя
больше
высветило
меня изнутри,
чем зазвучало
извне,
начал я быть.

04.01.2000

Эмиграция

Теперь мы знаем, как попасть
в детство,
как снова стать беспомощными,
открытыми и свободными.
Grazie, donna mia, bellissima dolce,
esperanza, ha-tiqua, надежда, the hope, die Hoffnung[2].
Снова-не-знать-куда,
-зачем, -почему,
и всё же, и всё же.
Хапиру[3], народ кочевой,
мобильным быть значит выжить.
Смерти как раз избежать,
смерти как раз избежать.

16.07.2002

1. Цитата из “Меридиана”.
2. Спасибо, моя госпожа, прекрасиейшая и сладостиая, иадежда (*итал.*). Слово “иадежда” повторяется иа иврите, аиглийском, иемецком.
3. Хапиру (“пришельцы, чужеземцы, разбойиики”) — изгои в Палестиие и Фииикии XV–XII вв. до и. э.; оии бежали в пустыии, объедииялись в большие группы, кочевали, занимались разбоем; образовывали даже подобие собствеииого государства — Амурру.

Райнхард Йиргль



Театр на улицах

Перевод Андрея Чистякова

Фольксбюне на площади Люксембург, в подвале театра буфет. В помещении с низким потолком несколько окон вдоль боковых стен, на 1м из подоконников старый радиоприемник; "магический глаз" горит в эти дни&вечера непрерывно. Рабочие сцены, осветители, реквизиторы или актеры — все, у кого есть время, становятся к радиоприемнику, ловя в шуме буфета новости уже настроенной станции (?РИАС, ?СФБ — вообще-то слушать в ГэДэР западные радиостанции в-общественных-местах запрещено; теперь это больше никого не волнует) — будто бы часы & события подхватило течением, каждый чувствует: !скоро произойдет ?*Что*.

На большой сцене театра с раннего утра устанавливают декорации к гастрольному спектаклю *Московского художественного театра*: "Три сестры" Чехова. Все кулисы, как нам с гордостью сообщают, — подлинники с давнишней премьеры 1905 года. Спектакль будет идти три вечера подряд — на освещенной сцене русские & немецкие техники с инструментами & частями кулис. Этим вечером 9 ноября будет 1е представление. С самого утра я сижу в аппаратной за пультом управления светом (в кабине, отделенной от партера задней стеной). Когда-то это помещение было президентской ложей, стены толщиной=в-несколько-десятков-сантиметров железобетона, лишь смотровые оконца с видом на зрительный зал состоят из звуконепроницаемого стекла. Ход спектакля я сохраняю

на электронный носитель под диктовку московского художника по свету; рядом — молодая переводчица Лариса. Русский художник по свету — пожилой, неторопливый мужчина крепкого телосложения с окладистой бородой & низким голосом. В довершение к этой стандартной внешности его зовут Иваном. Слабо освещенный пульт, пахнущий теплой пластмассой воздух из кондиционера, рутинные движения рук создают здесь=внутри ощущение бронированного времени. Изредка, за это время у меня всего 1 перерыв, я слушаю в буфете скудные новости.

Строительство в Берлине охраняемой, сооруженной в виде стены границы – прообраз блокады и селекции в этнополитическом смысле – неизбежно должно было свершиться после Второй мировой войны, и отнюдь не только по причине непосредственно столкнувшихся здесь политических систем. Этот город, можно сказать, окончательно созрел для такого рода конструкта (который образует точку пересечения между прошлым и будущим), когда Берлин, представитель продуктивности и функциональности немецкого фашизма, застыл после военного поражения оного в суперзнак своей собственной истории.

Некоторые коллеги, которых 7 октября избивали на улицах & задерживали натравленные на людей менты, — коллеги, которых забирали более чем на 2 дня в полицейские участки & в разведывательное управление, & таким образом исчезнувшие, между тем теперь снова разгуливают по улицам, но за это время руководители-театра успели отправить их "в бессрочный отпуск" и лишили права находиться в здании. Они "на карантине", как заметил кто-то. Возможно, руководители-театра=члены-СЕПГ опасались, что резиновые дубинки.....[1] выбили из этих людей весь бунт, а он будто бы заразен как чума. Некоторые из этих людей несмотря ни на что все-таки появились в тот день 9 ноября в буфете, нет никого, кто мог бы не пропустить их в здание (некоторые из присутствующих руководителей театра проходят мимо них, как мимо..... привидений). !Необычайная халатность (на это, тайком, отвечают косой ухмылкой): *Чему-то* пришел конец — —

Таким образом, Берлинская стена стала первым проявлением нового, поздневропейского демонтажа всех общественных отношений и, кроме того, всякой политической экономии – ведь в тени Стены по обе стороны процветали зависимые друг от друга знаковые системы, власть которых, соответственно, состояла в усилении дискурсивного моделирования специально придуманных потребностей. Причем всегда за счет другого, что нельзя назвать пропагандой, но что создало на основе двусторонней зависимости симптоматических групп абстрактный образ: третью Германию.

Постановка *Московского художественного театра* не представляет в светотехническом плане особых трудностей, но продолжительность спектакля — более 4 часов. Поэтому предусмотрено 2 антракта.

Во время представления, в аппаратной, за звуконепроницаемыми стенами русский художник по свету рассказывает о положении дел в Москве (молодая переводчица Лариса передает все по-немецки): дефицит продуктов питания, произвол чиновников, рост цен, безработица — бу-Дни, кажется, вышли из колеи, Там тоже *Чему-то* настал конец. — В 1й антракт (около 20 часов 30 минут) у меня появилась возможность

1. В йирглевской системе пунктуации пятиточие, как он несколько раз объяснял в предисловиях к своим романам, — знак смерти. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ненадолго забежать в буфет. Вокруг радиоприемника еще плотнее, чем прежде, толпятся работники театра, а также зрители, все в нервном напряжении (за воротник закладывают даже реже обычного): течение времени, кажется, ускорилось, уверенность: сейчас !должно *?Что-то* произойти — —

Начинается 2й акт московского представления — в затемненном полном зрительном зале звучит русская сценическая-речь, силуэты зрителей будто отлиты из чугуна, неподвижны.

Как в условиях капитализма, так и в условиях социализма этот разделенный образ Берлина вышел из-под контроля и уже – по обе стороны – более не отвечал изначальному чисто прагматическому расчету; единственными предметами обмена в этой далекой от реальности бутафории под названием "Берлин" считались обмен или война знаков, которые, наподобие рекламного ролика какого-нибудь товара, определяли как сам набор знаков, так и их ауру.

Что же касается реальных критериев экономики, политики и военной мощи, то в этом смысле Берлинская стена была абсолютно бесполезной, то есть бессмысленной. Вследствие Второй мировой войны, во время так называемой "холодной" войны, Третьей мировой войны (Бодрийяр), уже после того, как был утрачен Другой – т. е. настоящий враг -, ее единственная роль состояла в формировании и сохранении особого рода удвоенности (рассматриваемой с точки зрения как капиталистического, так и социалистического операционного поля): двойственной реальности обеих систем.

Во время 2 антракта (в 11м часу) у меня нет возможности пойти в буфет (нужно внести в компьютер некоторые исправления касательно освещения). Незадолго до начала 3 акта "Трех сестер" в аппаратную заходит Иван, тяжело опускает мне руку на плечо и говорит на ломаном немецком что-то вроде: —Вишь: щас можешь и !ты на-Запад. — (Что !эту новость мне сначала сообщил русский, в этом я и по сей день вижу особый юмор.)

Я смотрю в зрительный зал: такой же полный, как и вначале, почти вся публика вернулась на свои места, представление идет по=плану, по поведению людей=в-зале нельзя догадаться о Невероятном Событии — ?они ?еще ничего не знают; ?разве они во время перерыва ?ничего не ?слышали. (Мне даже кажется, зрители, следящие за ходом спектакля, еще более неподвижны, чем прежде.)

Хотя вследствие Третьей мировой войны государственный социализм и исчез как политический (знаковый) операнд, еще более значимым событием стала утрата настоящего врага. Другими словами, понятие врага сменило униформу; оно перешло из разряда политики, усиленной военной мощью, в другое операционное поле, в (либеральную) экономику. Хотя по сравнению с политикой экономика обладает несравненно большей тотализующей силой, любая политическая система, утратив "классическое" определение понятия "враг" (которое всегда имеет отношение к реальной смерти в образе "классической" войны как к последней возможной форме обмена), по определению также потеряла бы и свою идентичность, а при этом – и свою власть. И если бы даже враг просто исчез, то вражда продолжала бы существовать и дальше.

Потом и меня за железобетоном бывшей президентской ложи эта новость настигает в своем окончательном варианте: С=!настоящего момента любой=ГэДэРовец может поехать на-Запад без предварительной заявки; по слухам, пограничные пункты открыты — —

(Некоторые работники сцены, будто бы, про1оо снялись с места, начальство беспокоится о предстоящих перестановках в графике московских гастролей: ?Хватит ли ?имеющихся рабочих.)

По завершении спектакля люди толкаются толпятся грудятся в тесном помещении буфета, — голоса перевозбуждены, изредка проскакивает какое-нибудь внятное слово : состояние диффузной тревоги, преобладавшее в последние дни, наконец разрешилось. Люди, как накренившийся корабль, выкатываются вниз —!на улицу.

Но когда смерть фиктивно изгоняется бюрократическим и экономическим путем, то сама система, из своих собственных резервов, должна создать образ врага. При государственном социализме это был обычный человек – как объективно возможный, потенциальный ренегат в отношении системы; при государственном капитализме – всякий, кто уклоняется от успеха, работы, денег и потребления.

То и другое означало первую ступень политической симуляции – симуляцию политической жизни как таковой, ведь термин "политическое" подразумевает наличие постоянно подпитываемых взаимосвязей и отношений, основанных на общих интересах (или на власти), между конкретными группами людей. И нигде на свете, кроме Берлина, не было лучшего места, где бы эта современная, т. е. поздняя стадия злокачественной опухоли политико-экономических систем могла бы проявиться во всем своем объеме, в реальном и в знаковом планах; ведь этот город стал одним-единственным, огромным местом смерти.

— "*Я ж слышу весть*: но не имею веры!"[1] :?должна ли фактически Эта новость относиться к кому-нибудь вроде ?меня. Лучше остаться здесь, — И вот я иду в конце концов, далеко за полночь, домой.

На следующий день некоторые рабочие сцены, а ткж осветители приходят в театр, в руках у них полиэтиленовые пакеты в синюю полоску, внутри — шнапс сигареты, а ткж бананы. Они говорят такими голосами, как будто им надо перекричать огромный рев во=круг. Вечером 10 ноября, по окончании представления, с 1й бутылкой шампанского в руке (как будто на день рождения), я иду вместе с Ларисой к трамвайной остановке перед театром. Толпы людей, движущиеся посреди улиц, переполненные трамвайные вагоны, абсолютно Все хотят к ближайшему пограничному пункту на Инвалиденштрассе. Голоса удивительно приглушенные, никаких криков, почти нет обычной толкучки, когда надо ухватить что-нибудь вожделенное; на лицах многих странное выражение — ничья между напряженностью любопытством насмешкой, а ткж скепсисом. Трамвай привозит нас на угол Шоссештрассе-Инвалиденштрассе. Оттуда, & теперь плотными рядами, под тусклым уличным освещением в моросящий дождь по мокрому асфальту устремившиеся к пограничному пункту людские потоки — нет ничего что сейчас могло бы стоять на месте никого кто бы остановился мы=все идем дальше — дальше, мимо зданий университета и Музея естествознания (время от времени Лариса и я отпиваем глоток-другой игристого вина), вперед по асфальту, который выглядит как дегтярного цвета вода в канале, каким-то чудом застывает под многими сотнями ног. Тускло-желтые огни улиц возводят вокруг Этихмасс туман как трубку туннеля — кажется, мы идем внутрь земли —.

1. Слова Фауста из первой сцены "Фауста" И. В. Гёте. Перевод Н. А. Холодковского.

Нам сказали, что следует взять с собой удостоверение личности, что на пропускном пункте нам поставят штамп, затем мы, вроде бы, сможем попасть на-Запад :— Объявления как во сне. Как будто бы возглас 3 сестер в спектакле — *В! Москву* — получил в этотмиг свой адекватный перевод; Театр вернулся на улицы.

И лишь в этом контексте могло состояться такое зрелище, как исчезновение Берлинской стены, которое не было следствием ни политически мотивированного государственного переворота, ни даже революции. Так как эта Стена-реликт – по своей сути пережиток 19го столетия, была "подмыта" исключительно в тот момент, когда в обеих знаковых системах в результате самонасыщения (конца парадигм) захирел рост злокачественных означающих[1] *– из-за отсутствия дальнейшей годной для потребления субстанции. В обеих системах – восточной и западной – просто утратился референт, что, как потом обнаружилось, ни в коей мере не означало окончания войны.* -

Как будто бы я парю на месте, в-метре=над землей, остановившись в море ночи — в то время как все=остальное проносится мимо меня: там привычно=зеленые униформы (механически я протягиваю синее удостоверение) — люди в неторопливой реке — сильное течение подбрасывает их руки вверх и раскрывает им рты — вдруг не известные мне горохово-зеленые униформы, в сторонке маленькие цветные автомобили, все номерные знаки начинаются с **В** : *я Там.* (Эти два слова лишь ?в мыслях ?сказаны ?во всю глотку как всеостальные, как ?долго я держу руку Ларисы) — дымящийся желтый свет огней в обрывках тумана&дыхания.

Проезжая часть тротуары без различия заполнены потоками людей, по краям магазинчики фруктов&овощей: со своими тележками & лотками как бы проросшими сквозь асфальт, будто бы они=все-вместе, в полном=оснащении, с абсолютной уверенностью — как верующие во второе пришествие Мессии — с давних пор ждавшие Этого-часа "Ч", чтобы щедро о=даривать поток наводнивших улицы жителей Восточного Берлина бананами апельсинами вино=градом (киви, эти незнакомцы, лежат нетронутыми). И каждый зеленщик — дож, который в своей Венеции на праздник свадьбы-с-морем ритуально приносит в жертву волнам драгоценное кольцо, дабы те пощадили город. ?И чем же мы=восточнкики должны были оплачивать фрукты: райские кущи начинаются там, где заканчиваются деньги. —

Лариса, замужем за восточным немцем, сохранила свой советский загранпаспорт; она уже несколько-лет=тому-назад была пару раз в Западном-Берлине. Сейчас она тоже хочет навестить маму, та живет на Кайзердамм. Вверх вниз по лестницам к станциям метро, все вагоны набиты битком (синий паспорт ГэДэР имеет силу проездного); бряцающие пустые жестянки из-под колы&пива фруктовая кожура бумага пустые бутылки из-под шампанского вина шнапса, ноги бороздят Стиксовы потоки отбросов. — Наш путь лежит в менее оживленную боковую улицу. Лариса просит подождать ее здесь=перед-домом: ведь её старенькая мама может испугаться меня=незнакомца-перед-дверью в столь поздний час.....

Так я на некоторое время остаюсь в темноте улицы, робко делаю не?сколько шагов туда&сюда, допиваю остатки шампанского.Морося-

1. Означающее — термин из семиотики: элемент речи, дающий представление о субъекте (референте) и определяющий его.

щий дождь перестал, порывы ветра, астматически свистя, оплетают стальную конструкцию радиовышки невдалеке, спокойно тлеют красные сигнальные огни. *Потому что этотмир крутится, сам-Запад заглянул сюда.* Потом Лариса возвращается. И мы позволяем людской толпе нести нас в эти оставшиеся ночные часы и в это бледно-светлое утро через весь город. Около полудня на трамвайной остановке Фридрихштрассе я прощаюсь с Ларисой как с попутчицей, с которой посчастливилось провести много приятных часов, а ткж говорить с той откровенностью, какая возможна только в отношении чужаков, потому что знаешь: больше с ними никогда не встретишься. Этим вечером я свободен: последнее, 3е представление "Трех сестер" будет вести мой коллега.

Ларису я больше никогда не видел.

Солдаты остались в-казармах, танки не поехали на человеческий рой, как в Пекине весной тысяча девятьсот восемьдесят девятого; через полгода после Пекина люди в Берлине широкими потоками устремились в пасмурно-сырую ноябрьскую ночь из застоявшейся, обрубленной жизни — вперед К Стене. На границе ни выстрела — когда под мелким дождем & ярко-пылающими прожекторами противотанковые заграждения были про100 отодвинуты в 100рону & поднялись шлагбаумы; когда позже из бетонного вала 1 за другим стальными захватами кранов вытаскивали сегменты, вырывая шатающиеся зубы из челюсти дряхлого диктатора, лежащего на смертном одре; государство было своим же лейб-стоматологом. ?!Зачем стрелять: 1 государство уходит, другое приходит. —

Многиегоды=подряд я воспринимал восточную часть Берлина как место, где одновременно уснуло огромное количество людей; в Этичасы тот же город показался мне местом, где множество людей одновременно проснулось.

(Использованы записки 1990 года о падении Берлинской стены)

Керстин Хензель



Крылатый народ

Перевод Марка Белорусца

Слова *обеспечена жильем* и *запрет на поселение* угнездились в стенах моей лейпцигской полуподвальной квартиры вместе с муравьями, которые эти стены медленно выедали изнутри. Пока однажды кирпичная кладка особым образом не выгнулась, штукатурка не начала большими кусками обламываться и внезапно не заметались с писком по комнате тысячи крылатых насекомых. Некоторых несло вверх, на свет, — они сгорали вблизи электрической лампочки. Для других сам полет из гнезда был, видимо, чересчур утомителен, они с отяжелевшими крыльями валились на пол, где еще какое-то время загребали ножками перед тем как умереть. Но большей частью насекомые осели на оконных стеклах, по которым, не переставая строптиво бурчать, они потерянно и беспорядочно ползали. Потом и эти изнемогли, так что я сумела собрать их с подоконника совком. Муравьиные эскадрильи вселили в меня прямо панический ужас, я желала только одного — семь лет уже желала! — из этой развалюхи убраться. И убраться именно в Берлин!

Обитая в своем муравьином гроте, я считалась *обеспеченной жильем*, а в Берлине действовал *запрет на поселение*. Это означало, что в город, где в силе *запрет на поселение*, переезд не разрешается, разве что ты представишь договор на постоянную работу или получишь официальный вызов. Ничем подобным я не располагала, зато у меня имелся пятилетний сын и было почти полное безденежье, а вдобавок — несколько подозрительных проб пера и уверенность, что скоро все в этом государстве пе-

ременится. Любой, кто способен увидеть, как страна изнемогает от собственной отсталости, разделил бы мою уверенность.

В начале 1989 года я получила предложение Высшей театральной школы в Берлине преподавать на условиях почасовой оплаты "Немецкую поэтическую речь". Этим предложением я обязана поэту Карлу Микелю. Теперь следовало, помотавшись некоторое время между Лейпцигом и Берлином, добиваться разрешения на переезд в Берлин. И притом — вопреки *запрету на поселение.*

"Мир, я гряду!" — мысленно воскликнула я, раздавив остатки летучих, но нежизнеспособных муравьев, и написала письмо в министерство культуры. Письмо без малейших следов почтительности или хотя бы трепета перед высокопоставленными товарищами. Если меня, заносчиво угрожала я, в кратчайший срок не обеспечат в Берлине квартирой с нормальными человеческими условиями, то в ГДР вскоре станет одной "молодой талантливой писательницей" меньше. Как будто мой отлет на Запад мог состояться незамедлительно. В экспрессионистском стиле я описала министерству состояние моего теперешнего жилища и подкрепила угрозу сообщением, что замыслила роман о муравьях в стене...

Двумя годами раньше за такое письмо мне бы предоставили камеру в Бауцене[1], а не квартиру в Берлине. Но из министерства, даже предварительно не связавшись со мной, безоговорочно (!) прислали мне ключ вместе с запиской, в которой от руки был накарябан адрес, — для меня это явилось знаком близкого конца, приметой того, что система при последнем издыхании. И совсем не потому, что правительство извлекло уроки из своих бессмысленных предписаний и дурацких превентивных мер, а потому, что она испытывала страх. Страх перед разложением, происходящим во всех сферах ее влияния, и страх передо мной. Этот их социализм стал таким же дырявым, как стены моей лейпцигской халупы.

Берлинский район Хеллерсдорф, улица Люкенвальдерштрассе. Я подумала: ладно, в адресе указан Берлин, а не Бауцен, они твое желание исполнили — бери, что дают, и будь довольна тем, что теперь имеешь. У меня — главное — не было выбора. В августе 1989-го я вместе с чадом & домашним скарбом, с тюфяком & пишущей машинкой переехала на седьмой этаж многоэтажки на самой далекой тогда окраине Берлина, за ней уже начиналась территория Штраусберга[2]. Панельный массив в Хеллерсдорфе еще строился: незаконченные новостройки, неосвещенные улицы, наспех покрытые бетоном, до автобусной остановки двадцать минут пешком, до детского сада — тридцать. В строительном вагончике продавались основные продукты питания. Из окна было видно высокое небо, бранденбургские поля и зайцев, разыскивающих свою исконную территорию. Я первой поселилась в такой новостройке, где пока отсутствовали даже перила на лестницах. Вот я и жила теперь как аварийно отселенная — одна с ребенком в многоэтажном доме, не сданном для заселения.

1. Тюрьма в г. Бауцен (Саксония) на территории бывшей ГДР, где под контролем Министерства государственной безопасности содержались до 1989 года политзаключенные. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Район Штраусберг входил до 1993 г. в административный округ г. Франкфурт-на-Одере.

Мое обиталище могло показаться по меньшей мере фантастическим. Квартира по сравнению с муравейником, в котором я обреталась прежде, была роскошной: две комнаты, ванная, балкон и центральное отопление, однако у меня не имелось ни телевизора, ни телефона. Электричество включали лишь на какое-то время. Начиная с сентября, по нескольку часов в сутки работало отопление. Ночью вокруг было темно, как в саксонском лесу. Только бывая днем в городе, в театральной школе или у друзей, я забывала о своем окраинном существовании. Я не жаловалась, разве не мой был клич: "Убраться в Берлин"?

Иногда мы, поэт Микель и я, сидя у него в квартире на одиннадцатом этаже высотного дома на Карл-Маркcштрассе, в двух шагах от Александерплац, смотрели из окна на колонны понедельничных демонстраций[1]. Ну вот, думала я, пошло-поехало. Однако это скандирование лозунгов, эти массовые ритмичные выкрики в унисон вызывали у меня недоверие — как и все, что исходит от толпы. Впечатлительного и утонченного Микеля демонстрации, по всей вероятности, даже пугали. Он после ставил классическую музыку и хмуро пояснял: "В противовес тому реву".

Девятого ноября мне пришлось остаться дома, в своей внеземной новостройке. У ребенка была высокая температура, которую я пыталась сбить, ставя ему компрессы на икры. Подходя к окну, я видела скачущих зайцев, а вдалеке слева, где располагался Марцан[2], мерцали огни. Песок с бранденбургских пустошей стелился волнами у меня на балконе. В воздухе уже ощущалось дыхание зимы, и место моей ссылки, именовавшее себя Берлином, слегка страшило. Ребенок хныкал и желал, чтобы снижение температуры сопровождалось озорными народными песнями Цупфгайгенхансля[3]. После того как мы вместе спели *Ах, мой милый Августин... все прошло!..* он наконец заснул. Я готовилась к завтрашнему занятию: "Античный стихотворный размер в современной европейской поэзии". В десять часов свет зачастую выключали, так что я легла в постель и сразу же заснула. Никакие пробки шампанского по соседству не хлопали, а отдаленные залпы фейерверка разбудить меня не смогли.

Утро следующего дня было непохоже на другие. Почти полчаса я ждала автобуса, а когда он в конце концов подошел, я оказалась в нем единственным пассажиром, и водитель, который выглядел так, будто он плакал, повез меня по ухабам временных хеллендорфских дорог к метро.

1. Назревшие к коицу 80-х гг. в разиых слоях общества ГДР требовання демократическнх реформ и открытия границы с ФРГ н Западным Берлиином осенью 1989 г. принялн форму так иазываемых поиедельннчиых демонстраций. Они происходили по поиедельиикам в разных городах ГДР — с очеиь быстро нарастающим числом участииков. (Так, в лейпцигской демонстрации 23 октября участвовало 320 тысяч человек. Демоистранты скандировали лозунги: "Мы — иарод!", "Нет насилию!", "Свободный выезд вместо массового бегства!", "Свободу заключенным!" и др. Началом этих событий стала демонстрацня перед Нпколан-кирхе в Дрездене в понедельннк 4 сеитября, где было около 1000 участнпков.
2. Район Берлина; с 2001 г. — часть берлинского округа Марцан-Хеллерсдорф.
3. "Хансль-гнтарнст" (*нем.*) — сборник немецкнх народных песен с такнм иазванием впервые вышел в 1909 г. После Второй мнровой войны немецкие народные песни в Германнн миогие годы публнчио почти ие исполнялись, поскольку они во времена Третьего рейха использовалнсь для пропаганды фашистской идеологни.

На станции в девять утра толпились люди, что меня удивило, обычный рабочий день давно должен был начаться. Я еще подумала: где-то на трассе, наверно, нарушено движение поездов. Такое случалось. К говору вокруг я не прислушивалась, постаралась не обращать внимания на толчею и мысленно еще раз пробежала глазами мою лекцию об античном размере.

Швейцар в театральной школе производил то же впечатление, что и водитель автобуса: лицо словно заплаканное. Я и на этот раз не дала себя отвлечь невиданному столпотворению студентов в коридоре и поспешила в лекционную аудиторию. Как всегда. В аудитории я стала ждать. Ни один студент не появился. Академические четверть часа давно уже прошли. Сверилась со своим расписанием — не спутала ли я время занятий. Если верить расписанию, все правильно. Я снова выскочила в коридор и проштудировала доску объявлений, где вывешивали свежую информацию: вдруг на сегодня намечены какие-нибудь особые мероприятия, о которых я не знала, или, может быть, загородная экскурсия. Ничего.

— Вы там что ищете? — подал голос привратник из-за своей загородки.

— Моих студентов, — сказала я.

Он с пьяной ухмылкой хлопнул себя по бокам и загорланил: *В Кройцберге ночи длинны!.. Ну а там! Ну а там!)*[1]

Здесь на счастье пришла наша секретарша — с опозданием на целый час! — и, размахивая руками, ринулась по коридору. Она-то должна знать!

— Что случилось! Где студенты?!

Секретарша обняла меня, слегка взмыла от восторга вверх и выкрикнула спасительное заклинание:

— Вы разве не знаете? Граница открыта.

Границу, стало быть, открыли. На миг я обалдела, потом сказала чуть ли не возмущенно:

— Очень хорошо, но явиться на занятия все же можно.

— Я была там! Я была там! — визгливо возвестила секретарша и протанцевала вдоль коридора к себе в кабинет.

Да, мой слух меня не обманул: граница открыта. Вот так, сразу. Легко и просто. Одна ночь — и всё. И без борьбы обошлось. И без того, чтобы меня известить. Но я же знала. Не знала точно день, но знала, что так будет. Сегодня, завтра или послезавтра. Говорила же не раз студентам: долго этой стране уже не протянуть. Теперь лед сломан, Стена упала. С моей точки зрения, логически вполне обоснованное происшествие. Шаг в некое новое время, в иную жизнь. Закономерное шествие истории, но оно отнюдь не отменяет текущий день! Ну ладно, выпили за новое, погуляли до рассвета, однако, позвольте, нельзя же на следующий день пропускать лекцию по античному стиху. Таков был ход моих

1. Популярный берлинский шлягер, с 1978 г. исполнялся ансамблем "Братья Блаттшус" в пивных западноберлинского района Кройцберг.

мыслей. Но когда парочка студентов все-таки заявилась, пошатываясь после ночной вылазки, я услышала восхищенный вопрос:

— Откуда вы, фрау Хензель, про *это* знали?

Вечером мы с сыном распевали песни Цупфгайгенхансля. Про пастора, что выставил зад в окно, фиди-риди-рал-ля-ля, и еще всякое, греющее детское сердце. Но мы также орали во все горло: *То у Неккара кошу, то – у Рейна...*[1] Когда я в следующий раз вышла на балкон, хеллерсдорфские зайцы, и те уже исчезли. Перебежали, может, в Груневальд[2]?

В середине декабря дом был официально передан для заселения. Мне, стало быть, предстояло скоро расстаться со своим одиночеством. Своеобразные люди въезжали в эту многоэтажку. На вид они друг от друга не очень отличались: грубые, крикливые и хмурые. Некоторые вели себя тихо и передвигались, втянув голову в плечи, словно скрывались от преследования. У многих из новых жильцов были татуировки, они шумели на опустелых стройплощадках возле дома и затевали драки. Их дети отнимали у моего сына самокат и оставляли мешки с мусором у нас под дверью. Однажды я осмелилась спросить соседку, которая миролюбиво общалась с бутылкой шнапса, что там такое с этими людьми. Дама окинула меня презрительным взглядом и, воздев руки, вскричала:

— Свабода! Сва-а-бода наконец!

Я засвидетельствовала ощущение счастья, возникающее от возможности свободно поехать на Запад после того, как тридцать лет мы сидели под гэдээровским замком, и даже сделала солидарный глоток из соседской бутылки шнапса. Но откуда, спрашивается, такое странноватое отчаяние у тех, кто переехал сюда?

Вскоре я выяснила, что, между прочим и в связи с амнистией, вся секция была предназначена под заселение и заселена братвой, выпущенной из тюрем, и так называемыми "трудно адаптируемыми" гражданами. Под *наконец свабода* они имели в виду не падение Стены. Дикими пьянками и стычками эти люди праздновали вновь обретенную свободу. Возвратившись с работы, они криками выплескивали из себя жажду. В панельном доме благодаря проходящим насквозь трубам отопления их вопли усиливались, и я часто с тоской вспоминала о чудесном безмолвии бранденбургских пустошей, которое еще совсем недавно меня здесь окружало.

В один прекрасный день, после того как последняя квартира в хеллерсдорфской многоэтажке была заселена, у нас перед дверью оказались полицейские. На меня поступили жалобы от жильцов, что я асоциальна и прогуливаю работу. Ну да, наблюдение установило, что я не каждый день езжу на работу, что у моего ребенка нет отца и что ко мне регулярно наведываются посторонние, а помимо того – у меня пишущая машинка, которая производит адский грохот. Полиция обозрела мою

1. Песня из сборника немецких народных песен "Волшебный рог мальчика" (1808).
2. Часть западноберлинского района Вильмерсдорф (существовавшего до 1990 г.), с 2001 г. входит в округ Шарлоттенбург – Вильмерсдорф.

квартиру, продвигаясь от стеллажа к стеллажу. Один, ухмыляясь, спросил:

— Так вы что, читали это всё?

— Даже еще больше, — ответила я.

Со словами "Не в обиду будь сказано" полицейские удалились. Домовая общественность нарекла меня "сучкой интеллигентной" и запрезирала еще больше, когда полиция положила мое "дело" под сукно.

Ночью мне снились мириады крылатых муравьев, которые хотели вырваться на волю из своих каменных нор. Они пробивались сквозь стену, с отяжелевшими крыльями шлепались на землю и превращались, все без исключения, в крохотных татуированных человечков. "Мы — народ!" — пищали человечки, строились в ряды, топали ногами и орали мне:

Ра-бо-тай! Ра-бо-тай! Ра-бо-тай!

Томас Розенлёхер



Почему я проспал 9 ноября

Перевод Андрея Чистякова

I

“Если сегодня спрашивают про *тогда*, то имеют в виду 9 ноября”, — резюмирую я, сосланный собственной женой за письменный стол. Будто 9 ноября, рассуждаю я, — единственная памятная дата нашей восточно-немецкой революции. Еще бы, ведь 9 ноября почти все были в гуще событий, так что эта дата позволяет просочиться в историю буквально каждому — под видом конформистской частицы, бормочущей: “Офигеть!” История пишет Историю, забывая по ходу этой истории нереализованные Исторические ходы — на которые в свое время надеялись или которых боялись, но которые в любом случае считались вероятными. *Сегодня* всегда выдает себя за единственно возможный вариант. А *тогда* под давлением современности съёживается до размеров сноски в конце страницы. Превращаясь в одну из тех памятных дат, которые отсылают к битве в Тевтобургском лесу[1] или к Берлинской стене. В этом смысле 9 ноября — день коллективного беспамятства. Если спросить восточного немца про 9 ноября, он даже не станет задаваться вопросом, был ли он в гуще событий еще тогда, когда соучаствовать в них было гораздо опаснее.

1. Тевтобургский лес — местность на северо-западе ФРГ, где в 9 г. и.э. германские племеиа под предводительством Армииия одержали победу над тремя римскими легиоиами. Иногда эту дату называют иачалом немецкой истории. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Бесшумно открывается дверь. Бесшумно входит моя жена. Она кладет руку мне на лоб, как бы желая удостовериться, что я действительно работаю.

— Но ты еще не принялся за стихи!

— Нужно написать одно сочинение.

— Снова про *тогда*?! — восклицает она.

— Да, — говорю я, чувствуя свою вину. После чего жена, не произнеся ни слова, закрывает дверь и в который раз отправляет меня в ссылку за письменный стол. Как будто я и так недостаточно наказан этими вечными сочинениями про *тогда*. Ведь про *тогда* больше никто и не спрашивает — разве что про 9 ноября. Но именно 9 ноября я обычно пытался обойти стороной. Берлинские события для жителя Дрездена так или иначе остаются периферийными. Да и вообще, наша восточнонемецкая революция была, прежде всего, саксонской. Без тех самых событий в Дрездене, без проводившихся уже с начала октября многотысячных лейпцигских демонстраций "9 ноября" вообще не случилось бы 9 ноября.

Конечно, такими отговорками не объяснить, почему именно эта дата будто стерлась из моей памяти. Мысленно я просто не вижу ни малейшего проблеска той ноябрьской ночи, когда даже дрезденский обыватель втиснулся в свой — прозванный "русской картонкой", но все же с рулем и выхлопной трубой — мини-автомобиль, чтобы этак к рассвету добраться до Западной утопии. И так как обычно не забывается именно личное переживание, наслоившееся на подобного рода событие, мне, пожалуй, следовало бы выдумать свое собственное 9 ноября для личного пользования. Пускай лишь для того, чтобы тоже просочиться в историю под видом конформистской частицы, бормочущей: "Офигеть!"

Короче, чем дольше я думаю про *тогда*, тем сильнее сгущается у меня подозрение, что 9 ноября я попросту проспал. Как, впрочем, проспал не одну дату нашей восточнонемецкой революции. Хотя достаточно было нескольких дней отсутствия, чтобы — со смешанными чувствами — обнаружить себя в другой эпохе. В которой постоянно трешь себе глаза и спрашиваешь, к чему все это приведет. Причем тогда вопрос о сегодняшнем и завтрашнем дне ещё был тесно связан с вопросом, откуда, собственно, ты пришел. И как мог так долго сносить это государство лжи. В конечном итоге ты и сам винил себя в существовании этого государства лжи. И понимал, что было бы новой ложью вместе с другими сваливать всю вину этого государства исключительно на само это государство.

Все же в то время, начиная с лета, я периодически делал заметки. Ведь вместо того чтобы искать третий путь, мы искали путь исключительно на Запад. Прекрасно зная, что нам следует поторопиться, если мы все еще хотим оказаться там прежде, чем последний из нас выключит здесь свет[1]. А вдруг на Западе у меня уже не будет творческих оза-

1. Здесь имеется в виду популярный в ГДР анекдот про Эриха Хонеккера. Как-то вечером в Восточный Берлин из Бонна возвращается Хонеккер. Весь город в яркой иллюминации, а на улицах ни души. Свет горит во всех министерствах, но все как будто вымерло. Шофер везет Хонеккера по городу — никого. В конце концов они подъезжают к Берлинской стене, едут вдоль нее какое-то время и вдруг обнаруживают гигантскую брешь. А рядом записка от руки: "Эрих, ты последний. Когда будешь уходить, выключи свет".

рений? Ведь здесь как-никак мои корни. Я ведь сочиняю стихи о деревьях и кустарниках — на Западе этот вид поэзии наверняка давно вымер.

Итак, я просто собирал кое-какой материал. А когда все вокруг стали кричать "Мы народ!" и моя жена сказала "Мы остаемся здесь", я не утратил дар речи только потому, что уже какое-то время занимался сочинительством, как и многие другие. К тому же сразу после 8 октября Мировой дух избрал меня хронистом тех дней, хоть и ведущим свои наблюдения из Дрездена.

Но был ли Мировой дух действительно Мировым духом, если в последнее время даже он требовал злободневности? И как нарочно, от творца стихов о деревьях и кустарниках? Я до сих пор пугаюсь, видя столько пропущенных дней в моем дневнике. И вообще что будет, когда смерть придет?

Но я все же помню, что довольно охотно уклонялся от обязанностей хрониста. Чтобы, отправленный в ссылку собственной женой, срифмовать очередной стишок, который, возможно, даже больше соответствовал моей тяге к трансцендентному, чем все эти мысли о переустройстве мира. Не то чтобы то и другое было во мне несовместимо... Кто не хочет изменить мир к лучшему, тому и "по ту сторону" делать нечего. И тем не менее любая форма устранения границ заявляет о своих эксклюзивных правах. А когда я однажды после нескольких дней отсутствия снова вынырнул из древесно-кустарниковых дебрей, "Немецкое радио" передало, что особняк госбезопасности был взят штурмом — без меня. Значит, снова простое злободневное событие на моих глазах стало великим мгновением истории. Ведь когда еще случалось такое — чтобы народы лично наведывались к своим спецслужбам? И разве не стало уроком для всех, что любой уважающий себя народ иногда навещает свои спецслужбы, чтобы приоткрыть ту или иную тайну? "Нет, дух времени в самом деле был Мировым духом, а Мировой дух стал духом времени, так как Мировой дух и дух времени слились воедино", — пристреливаюсь я к своему сочинению про *тогда.* И уже едва могу побороть искушение сбежать вниз по лестнице к жене, чтобы хотя бы ей донести эту мысль. Но именно потому, что я постоянно к ней бегаю да вдобавок еще выключаю радио, которое она слушает, мы с ней и учредили институт ссылки за письменный стол.

II

Конечно, некоторые пропуски в дневнике связаны, среди прочего, с "синдромом дрезденского тихони". Даже когда я, наконец, пытался набраться мужества, этого мужества набиралось не так уж много. Почему я ни разу не поехал в Лейпциг на какую-нибудь из ранних демонстраций? И действительно ли я — как утверждает хронист моего дневника — только 6 октября узнал о тысячах людей, собравшихся на Дрезденском центральном вокзале? Хотя мы с женой непрерывно слушали "Немецкое радио". Ту самую западную радиостанцию, которую слушаем и по сей день. Так что мне сперва приходится ее выключать, чтобы получить

право голоса. С известными последствиями в виде ссылки за письменный стол.

А вот в этом отношении я даже соглашусь с хронистом моего дневника: страх человека, привыкшего жить головой, получить дубинкой по оной в уличных беспорядках. Вероятность “китайского решения” я оценивал в 90% с лишним. И 17 июня было не просто памятной датой, но выжженным в коллективном сознании клеймом бессилия: “Мене, мене, текел, упарсин”[1]. С чего бы это тоталитарная система — если это в самом деле была тоталитарная система — должна была вести себя не как любая другая тоталитарная система? Вопреки тому (или именно потому), что знаки времени указывали на близкие перемены? Возглас “Без насилия!” изначально относился и к бросающим камни в наших собственных рядах. Но даже когда массы пытались своим подчеркнутым миролюбием вырвать власть из рук власти, этот возглас оставался криком страха, неспроста он пронизан стертыми звуками: “Не-суйтесь-к-нам-мы-не-полезем-к-вам!” Ведь прежде чем взять в руки свечи и превратиться в собрание подсвечников из района Рудных гор[2], по дороге в город мы проезжали мимо подчеркнуто незаметных, спрятанных в кустах машин цвета хаки. И разумеется, как и 17 июня, потребовалось бы всего несколько танков, чтобы смести нас с улицы.

С другой стороны, после первых пререканий между демонстрантами, скандирующими “Мы-хотим-прочь-отсюда!”, и пришедшими сюда же (но уже под лозунгом “Мы-остаемся-здесь!”) другими митингующими обе группы выработали нечто вроде общей позиции: “Держитесь-от-нас-подальше!” Даже я, по свидетельствам очевидцев, 6 октября — когда на дрезденском вокзале уже вовсю производились задержания — дрожащим голосом прокричал на каком-то собрании умеренных деятелей искусств (к которым, увы, принадлежал): “Пусть только попробуют нас задержать!” Не без того, чтобы разозлить других страдающих от “синдрома дрезденского тихони”, призвав их — ввиду предстоящей депортации в лагеря — отныне и впредь выходить на улицу, только имея при себе зубную щетку.

Но пластмассовый шлем я в тот вечер все же с собой прихватил. То, что не кто иной, а я, певец деревьев и кустарников, с мотоциклетным шлемом на голове пересек человеческое крошево, над которым летали дубинки, вызвало изрядное восхищение знакомых. Наверное, я им казался одним из тех, кто был в гуще событий еще тогда, когда соучаствовать в них было гораздо опаснее.

При этом шлем мне на голову нацепил сын, потому что я попросил его подбросить меня на мотоцикле до города, — попросил, заботясь лишь о том, чтобы не опоздать, а вовсе не для того, чтобы побывать в гуще событий в то время, когда такое соучастие еще было опасным. Ведь соучастие было неким сакральным актом — единственным, что могло избавить от “синдрома тихони”.

Правда, и в последующие дни между мной и женой сохранялась договоренность: на демонстрации мы ходили поочередно, чтобы в слу-

1. Исчислено, исчислено, взвешено, разделено (*иврит*). Книга Пророка Даниила, 5:25–27.
2. Шахтеры из района Рудных гор славятся своим умением изготавливать фигурные подсвечники.

чае, если "дело примет серьезный оборот (то есть закончится арестом или смертью)", в семье остался бы хоть один из взрослых.

III

"Не то чтобы про 9 ноября вообще нельзя спрашивать..." — гласит еще одно предложение, которое следует непременно вставить. Ведь если правда, что нации представляют собой "взбудораженные сообщества"[1], то после строительства Стены ее падение стало первым немецко-немецким событием-потрясением, благодаря которому Восток и Запад Германии снова осознали, что относятся к одной нации.

Парадоксальным образом Стена сильнее отделяла Запад от Востока, чем Восток от Запада. И тут вдруг Запад в одночасье понял, что он тоже интересуется Востоком. Некоторые пограничные пропускные пункты были будто бы открыты под давлением масс из Западного Берлина. И для Востока, и для Запада случилось — наконец — невозможное. И уже сама невозможность хотя бы просто перечислить, что́ сделало невозможное возможным, позволяет считать это событие чудом. Что такое битва в Тевтобургском лесу по сравнению с падением Берлинской стены? Что такое тевтонская резня 9 года против слов "Обнимаем вас, миллионы!" почти две тысячи лет спустя?

И, напротив, в ходе немецко-немецких объятий не стала чудом внезапная утрата дара речи. Утрата, которая все же была общенемецкой. Так что мы, немцы, вновь обрели общий язык именно в форме молчания. В то время как язык Шиллера и Гёте свернулся в одно-единственное слово. Я имею в виду слово "Офигеть!", которое вроде бы было слышно аж в Огайо. Говорят, один тамошний телекомментатор был особенно изумлен тем, что устремившиеся на Запад массы с Востока, несмотря на русификацию, сумели так многословно выразить свои чувства.

И вообще берлинское 9 ноября было первой датой в истории человечества — еще до нью-йоркского 11 сентября, — когда человечество одновременно с ходом своей истории могло следить за этим ее ходом по телевизору. Даже восточный немец, который во время демонстраций и носа не высовывал на улицу, мог, наблюдая с дивана танцующие на Стене силуэты, считать себя активистом первой волны. Такова моя попытка объяснить, почему после 9 ноября почти невозможно встретить восточного немца, который бы не был в гуще событий еще тогда, когда соучаствовать в них было гораздо опаснее.

Сам я — по крайней мере, согласно своему дневнику — узнал про 9 ноября лишь 10 ноября. Моя жена ранним утром сорвала меня с матраца возгласом: "Границы открыты!" "Дорогой дневник, у меня нет слов!" — записал я в дневнике, что, в общем, равносильно восклицанию "Офигеть!" И когда дальше человек, который ведет дневник, цитирует сказку о Спящей Красавице (то место, где просыпается королевский двор), он от воодушевления даже не замечает, что в момент пробужде-

1. Термин принадлежит немецкому философу Петеру Слотердайку (р. 1947).

ния принцип иерархии вновь вступает в свои права и поваренок получает причитающуюся ему и уже ставшую доисторической — оплеуху. Восточнонемецкая революция потерпела фиаско, потому что в действительности никто не представлял себе "третий путь". Началась другая — общенемецкая революция, хотя она и касалась в первую очередь Востока. Но, может быть, "третий путь" когда-нибудь обнаружится сам по себе — лет этак через двести-триста, когда мы после целой серии чудес оставим позади и капитализм. "Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное..."[1] — вычитал я когда-то — сотни лет назад — у небезызвестного Владимира Ильича; правда, я помню и другое: *Исчислено, взвешено на весах* и *найдено очень легким.* А этот самый хронист не проспал-таки 19 декабря и увидел федерального канцлера Коля, стоящего в ослепительном свете рядом с развалинами Фрауэнкирхе[2]; в то время как ни один из представителей партии и правительства не отважился занять место рядом с западным гостем, ГДР пришел конец. И канцлеру это тоже было понятно, ведь он — независимо от меня — в тот же день, как известно, сказал одному из своих министров, что лед тронулся. Конечно, вместо того чтобы аплодировать, я из принципа опустил руки: левый утопист, в конце концов, тоже имеет право на гордость. И все-таки в глубине души я хотел, чтобы стоящие вокруг люди хлопали и за меня. "Кто отвечает за невозможное, должен уметь ценить и возможное", — записываю я и прислушиваюсь: не зовет ли меня жена, наконец, к столу.

IV

Однажды в 60-е годы — вспоминаю я, все больше и больше теряясь в дебрях *тогда* по причине затянувшейся ссылки за письменным столом, — мне надо было написать домашнее сочинение. На тему "Как я себе представляю 2000 год". У моего отца случился припадок ярости. Припадки ярости случались у него часто, особенно из-за политики. И со стороны отца мое политическое воспитание по большей части состояло из припадков ярости. Как будто я был одним из русских, которые были виноваты во всем. Которые забирали у нас уран и делали атомные бомбы для Третьей мировой. Мой отец видел все исключительно в черном свете и имел на то все основания. Никто из нас — ни я, ни моя мать, ни учительница — не доживем до 2000 года, сообщил он нам под конец своего припадка ярости. "Но ведь мальчик не может написать такое в школьном сочинении", — сказала со слезами на глазах мама. После чего отец ушел в себя, и с ним случился еще один припадок ярости, на этот раз послабее. В момент этого ослабленного припадка ярости отец набросал перед нами картину более свободного мира. Мол, после сноса Стены и ухода русских его маленькое предприятие оптовой торговли будет поставлять кремы для сухой кожи и мастику для натирки

1. Из статьи В. И. Ленина "Великий почин" (1919).
2. 19 декабря 1989 г. федеральный канцлер Хельмут Коль, впервые после падения Стены посетивший Восточную Германию, выступил с речью перед церковью Фрауэнкирхе в Дрездене, назвал ее "символом немецкого дома под европейской крышей" и высказался за ее реставрацию.

полов за океан. “Никаких границ больше не будет, и каждый сможет поехать, куда захочет”.

Все-таки даже ярость моего отца была яростью утописта. То, что я от него слышал, вынуждало меня “думать вразрез” с тем, что говорилось в школе. То, что я слышал в школе, вынуждало меня думать вразрез с мнением отца. И в то время как мои одноклассники, рассуждая о прогрессе человечества, делали ставку на новую технику и предрекали автобусные экскурсии на Луну, сардельки в виде таблеток, существование радиоуправляемых комнатных мух, я под лозунгом “Долой эксплуатацию, голод и войну!” прорицал, что в 2000 году даже негры перестанут быть людьми второго сорта. В моем сочинении про будущее упоминалась даже экскурсия в периферийный Берлин, чтобы отработать парочку часов на сносе Стены во благо общества, а в заключение со своим — даже в 2000 году не состарившимся ни на год — школьным классом прогуляться через Бранденбургские ворота; с пионерскими галстуками и вымпелами, разумеется. “Никаких границ больше не будет, и каждый сможет поехать, куда захочет”.

“Наш Томас, кажется, очень страдает из-за существования границ”, — сказала учительница с тонкой улыбкой. Это была порядочная учительница, иначе она бы сразу же побежала к директору. “Пересмотри свою классовую позицию!” — заметила она мне, но все же поставила пятерку с минусом, между тем как сторонники технического прогресса должны были довольствоваться четверками и тройками. Однако она со своей ироничной (это я понял позже!) улыбкой была несправедлива ко мне. Ведь хотя мое сочинение про будущее и возникло как реакция на приступы ярости моего отца, я все же считаю, что мысли об улучшении мира вполне соответствовали моей натуре. Правда, теперь даже я знаю, что речь давно идет не о переустройстве мира, а лишь о нашем выживании. Но ведь и выживание невозможно без изменения мира к лучшему.

V

Несмотря на затянувшиеся раздумья, я никак не могу вспомнить, почему проспал 9 ноября. Как раз к тому времени мы с женой купили себе настоящий восточный телевизор, который показывал мир в черно-белых красках. Покупка этого восточного прибора показывает, как далеки мы тогда еще были от Запада. Ведь потерпи мы еще несколько недель, мы смогли бы купить цветной, который даже в случае катастроф привносит в обстановку немного комфорта.

У меня до сих пор стоит перед глазами, как я включаю ящик, как слышу отвратительные позывные “Актуальной камеры”[1]. Даже Шабовски возникает перед моим внутренним взором. Но затем будто обрывается кинопленка. Хотя Мировой дух определенно избрал меня хронистом тех дней. Ведь он же специально поднялся ко мне по винтовой

1. “Актуальная камера” — программа новостей телевидения ГДР.

лестнице, в образе госпожи Виклейн из газеты “Унион”. Не то чтобы “Унион” была рупором Мирового духа. Но ее страничка о культуре считалась все же вкладом в сопротивление. К тому же госпожа Виклейн уже требовала с меня стихи, чтобы написать в колонке о культуре про “поэтов долины Эльбы”.

“Мы сняли главного редактора и избрали нового”, — сказала она с мелодичной интонацией культурной жительницы Дрездена. Это произошло, как я уже говорил, после 8 октября. Когда некоторые всерьез попытались воплотить в жизнь тезис о народовластии и припадки демократических настроений начали случаться повсюду, вплоть до этажей руководства, да-да, вплоть до этажей руководства. Ясно, что потом руководители *оттуда* убедили нас в недемократичности подобных попыток.

“Теперь мы можем печатать все”, — сказала госпожа Виклейн своим певучим голосом. “Офигеть”, — сказал я. Один из моих ночных кошмаров стал реальностью. Что-то в таком роде я уже слышал во сне. И наверняка там тоже присутствовал Мировой дух, именно он звучным голосом диктора “Немецкого радио” говорил в моем сновидении: “Цензура устранена. Что у тебя припасено в ящике стола, друг?”

Я тут же сунулся к письменному столу и выдвинул поочередно все ящики. Но, гляньте-ка, ни в одном из них не завалялось ни единого листочка. Все мои древесно-кустарниковые стихи печатались всегда. Но за столь короткий промежуток времени невозможно что-либо написать “в стол”, а потом как бы ненароком вытащить это из ящика и передать в руки госпожи Виклейн. “Ничего страшного, — пропела она, — а дневник вы ведете?”

“Приходите через неделю”, — ответил я и на скорую руку переписал кое-что из дневника. Незабываемо, как госпожа Виклейн сбегáла вниз по винтовой лестнице с выторгованными у меня листками; тогда я счел это проявлением Мирового духа.

Одну машинописную копию я отправил на “Немецкое радио”. С просьбой транслировать этот материал лишь в том случае, если его не позволят печатать на Востоке. Ведь если на Востоке его разрешат опубликовать, значит, перспектива настоящего социализма все еще остается (если на “Немецком радио” вообще поняли, что, собственно, подразумевается под этим выражением).

Но что вообще сотрудники “Немецкого радио” могли знать про настоящий социализм? Их даже больше интересовал фальшивый, ведь чем фальшивей он был, тем более правильным казался Запад.

Как бы то ни было, в один прекрасный день моя жена услышала по “Немецкому радио” некоего мужчину. Его слова напомнили ей слова другого мужчины, который постоянно подбегал к ней и при этом выключал радио, чтобы тоже получить слово. Но на сей раз отправить его в ссылку за письменный стол оказалось невозможно, ведь этот мужчина *уже* сидел за письменным столом. Да, по крайней мере на нашей кухне один восточный немец получил-таки право давать событиям свои толкования, не рассуждая при этом как западный немец. Тоже великое историческое мгновение.

Тогда же газета “Унион” прервала ради моих заметок публикацию романа с продолжением, посвященного, как было сказано во вступительной

статье, *“тоже очень важной теме – злоупотреблению алкоголем”*. А когда однажды хронист вернулся домой после понедельничной демонстрации и хотел быстро подняться к себе наверх, чтобы послушать по “Немецкому радио”, сколько наших на этот раз собралось и чего мы, собственно, добивались, вся лестница снизу доверху оказалась заставленной цветочными горшками. Неужели какой-то садовод догадался, что вскоре ему некому будет сбывать свои гэдээровские цикламены?

Нет, прилагалось даже благодарственное письмо, и по нему можно было заключить, что садовод опустошил свою теплицу по зову сердца. Надо сказать, что благодарственных писем в те октябрьские дни приходили целые горы. Никогда потом я не находил в Дрездене столько единомышленников. Может быть, именно поэтому я не могу расстаться с *тогда*? После длившихся десятилетиями попыток унифицировать сознание граждан в октябре действительно образовалось что-то наподобие единого мышления. “Надо было только записывать, о чем думаешь ты, и ты записывал то, о чем думали многие”, — думаю я в своем писательском одиночестве. И в который раз прислушиваюсь к звукам снизу: не зовет ли меня жена к столу. И слышу, как она порхает по кухне в облаке радиошумов. Не для того ли отделяет она меня от мира, чтобы ее связь с ним осуществлялась без лишних помех? Во всяком случае, это дает мне возможность еще раз оживить в своей памяти 8 октября, которое для меня не менее важно, чем 9 ноября.

Хотя и это 8 октября я чуть было не проспал. И как хронически опаздывающий хронист едва успел увидеть в последний момент на Пражской улице первое, внутреннее кольцо окружения. Дело в том, что вокруг него собирались все новые демонстранты, так что вооруженные дубинками полицейские и своры собак тоже, в свою очередь, оказались окруженными. Пока не подъехал тот лимузин, перед которым толпа расступилась, как Красное море перед Моисеем. Так что автомобиль смог проехать до внутреннего кольца окружения; предположительно, в автомобиле сидел сам епископ. И хотя хронист уже тогда чувствовал, что и это текущее мгновение прямо у него на глазах — в тусклом бетонном свете фальшивого социализма — превращается в истинно великий исторический момент, в его дневнике, к сожалению, на эту дату приходится всего несколько скупых строчек, венчает которые придурковатый вопрос: “Я где, на Гавайях?” Причем вопрос про Гавайи представлял собой раннюю попытку произнести “Офигеть”. Ибо в то время как ядро демонстрантов, оказавшееся во внутреннем кольце окружения, — так называемая Группа двадцати — распространяло в толпе свои требования (“А? Чё он сказал?”), находившиеся вовне оперативники уже опускали свои щиты и длинными шеренгами уходили прочь, исполняя сложные хореографические фигуры на газонах Дрездена, и тусклый свет фонарей в этот вечерний час казался все более мирным по мере того, как лица идиотов-с-дубинками одно за другим принимали выражение, соответствующее окончанию рабочего дня.

Да, 8 октября тоже пала одна стена. Только стена эта была увенчана полицейскими касками и удалилась сама, строевым шагом. И когда власть отступила, когда между массой и властью дело дошло пусть и не до объятий, но все же до прямого контакта, поскольку власти при-

шлось держать ответ перед народом, который номинально сам обладал верховной властью, так что тоталитарная система уже перестала быть в полной мере той тоталитарной системой, какой была раньше, — тогда забрезжило обещанное, невозможное. "Хронист безмолвно стоял в толпе, когда народ вдруг снова обрел дар речи", — припоминаю я, обретаясь в своей пожизненной ссылке за письменным столом.

У меня за спиной стоит жена.

— Ты не слышал, как я тебя звала?

— Я думал, это было "Немецкое радио".

Она кладет руку мне на лоб, как бы желая удостовериться, что я действительно работаю.

— Ты, похоже, и вправду сочиняешь стихи. Ну что, ты, наконец, закончил со своим *тогда*?

— Ну разумеется, — говорю я.

VI

Между тем прошло несколько недель. Я все еще украдкой ковыряюсь со своим сочинением про *тогда*. "Ты помнишь, что мы делали 9 ноября?" — спросил я жену, нарочито небрежно. "Вытирали полы", — сказала она. И тут я все вспомнил. "Зачем тебе это?" — недоверчиво крикнула она мне вслед, но я уже сам отправил себя в ссылку за письменный стол. Мы действительно вытирали полы. Точнее, незадолго до этого я еще сидел перед телевизором, чтобы соответствовать обязанностям хрониста. Я даже слышал, как Шабовски произнес свои знаменитые "хоть сейчас" и "незамедлительно". Даже заметил легкое оживление в зале, возмущение какого-то журналиста (наверняка и спровоцировавшее всеобщий марафон в сторону Стены). Вдруг сверху раздался крик — и дождь полил сквозь потолок. Не закапал, как обычно, а обрушился подобно всемирному потопу. Жена, недовольная тем, что я торчу у телевизора, возилась на полу с лоханью, которую мы подставили под дырявую крышу. И когда она демонстративно пыталась своими силами отбуксировать переполненную лохань вниз по лестнице, посудина вырвалась у нее из рук, что и привело к историческому затоплению, которое вмиг заставило меня забыть про Шабовски и его загадочные слова.

К тому же грязная жижа капала и на телевизор, и его надо было как можно скорее выдернуть из розетки. Все равно мне надо было помогать жене вытирать полы. Пустых ведер в доме не нашлось, потому что сын почти все емкости заполнил желтоватой бурдой из перебродивших остатков хлеба. Уже через несколько недель мы бы такого не стали пить ни за что на свете, но на Востоке у нас еще имелись резервы образцового поведения. К тому же хлебное вино на вкус оказалось гораздо лучше, чем его тогдашняя репутация. Производя дегустацию, мы стали более близки друг другу и в конце концов сблизились окончательно. Короче, 9 ноября я проспал в постели со своей женой. И пока открывались границы, мы с ней раздвигали границы нашего брака. В ту достопамятную ночь мы даже не слушали "Немецкое радио". Ведь

любовь — это тоже форма трансцендентного, и она имеет свои эксклюзивные права.

Дверь бесшумно открывается. Бесшумно входит Мировой дух — он принял образ моей жены. Как бы желая удостовериться, что я действительно работаю, жена кладет мне руку на лоб.

— Но ты так и не принялся за стихи!

— Вот только допишу признание, что 9 ноября я проспал.

— И вечно ты выставляешь себя дурачком!

— А что еще остается? — говорю я. Уж лучше выставлять себя дурачком, чем быть просто конформистской частицей. Лучше проспать 9 ноября, чем никогда больше не мечтать об изменении мира к лучшему.

Леонид Гиршович
Plaisir d'amour

По дороге я сделал маленькое открытие, которое отстаивать не имеет смысла, если с ним кто-то не согласится. Чем западный город отличается от своего несчастного собрата по ту стороны Берлинской стены (и далее) — если темно и все кошки все равно серы? В этом не отдаешь себе отчета, но отличается он отблеском полировки на машинах: марки автомобилей в темноте не так бросаются в глаза, только повсеместное мерцание — иное, чем на Востоке.

Французский журнал "Трансфюж" предложил мне тему: "Двадцатилетие падения Берлинской стены — сбылись ли ваши ожидания?" Мне сразу вспомнились хлесткие слова какого-то знаменитого француза — вроде бы Мальро: "Я так люблю Германию, что счастлив от мысли, что их две". Что ж, хлестко сказано. Но расчленение Германии одновременно было и расчленением Европы на Западную и Восточную: явная подмена географии геополитикой. Центральной Европе плеснули в лицо серной кислотой. Она как бы перестала существовать в представлении человечества. Отныне Западная Европа пребывала в соседстве с Восточной. Последняя мечтала стать тоже "западной", что возможно было лишь вследствие тектонического сдвига в коре головного мозга. По сути, Европа делилась на собственно Европу и "Восточную Европу", жители которой плакали, сидя на реках вавилонских:

Есть европейцы, которые тоже носят цепи,
как храмовые танцовщицы ожерелья,
и предателем из них ни один не будет.

Другими словами, "да отсохнет моя правая рука, если забуду тебя, Иерусалим". Это писалось по-чешски задолго до августа 68-го — Константин Библ, выбросившийся из окна в 1951 году, вкладывал в эти строки совсем иной смысл, но мною они читалось в 68-м так, словно еще не успели высохнуть ни чернила, ни слезы.

Раздвоение Германии, ее ошизофренивание, было не только краеугольным камнем послевоенной государственной мысли — для "неподсо-

ветской" части Европы это было способом ее "западноевропейской" самоидентификации (как, например, согласно устному замечанию одного эмигрантского публициста, для поляка антисемитизм — способ национальной самоидентификации).

Неудивительно, что шуточки в духе "одна Германия хорошо, а две еще лучше", сопровождавшиеся одобрительными ухмылками, действовали на меня, как красная тряпка на быка. Бежавшие через Берлинскую стену были мне братья. Те, кто острил о предпочтительности "двух Германий", были готовы принести их всех — а с ними и всех нас — в жертву своему психологическому комфорту. Да и просто комфорту. По крайней мере так это воспринималось вкупе с идеей "коллективной вины" немцев, предполагавшей, соответственно, чью-то коллективную невиновность. А ею-то, этой коллективной невиновностью, я был сыт по горло — в ее советском варианте, имперском, шовинистическом. К тому же праведная ненависть к врагу на уровне менее праведной антипатии к "немцу", "бошу" позднее оборачивалась чем-то и вовсе предосудительным: мещанской завистью к раздобревшему соседу.

К осени 89-го я уже около семнадцати лет как прожил в эмиграции, и происходившее в Германии для меня в первую очередь было мощнейшим, хотя и сильно запоздалым отголоском того, что творилось в Советском Союзе. Там уже фактически отменена цензура, гражданская оппозиция действует если не вполне легально, то вполне открыто и массово. Одна партия, один народ, один кнут — эта триада приказала долго жить. Политбюро расщепилось, народ превратился в народы, не больно между собой ладившие, а кнут по-прежнему один, и на всех его не хватает. Дефицит кнута при катастрофическом дефиците всего остального делал летальный исход неизбежным — я пишу не о том, каким это видится сегодня, но каким это виделось мне тогда извне.

У аббревиатуры "СССР" не было никаких шансов сохраниться. Однако население ГДР продолжало пребывать в состоянии привычного оцепенения: удаву, извивавшемуся в предсмертной судороге, было не до кролика, но кролик попался дисциплинированный. Неустрашимая Варшава вообще никогда не влагала саблю в ножны, Прага вовсю запасалась бархатом для своей революции, Венгрия, заплатившая в 56 году высокую цену за право быть "самым веселым бараком социализма", ожидала команды "На старт!" Ничего не происходило только в ГДР — да в Болгарии, где в популистском отчаянии вдруг решили изгнать турецкое меньшинство. Подстать этому решению по степени бессмысленности была готовность правительства ГДР выплатить Израилю несколько сотен миллионов долларов, что выглядело особенно жалко в сравнении с многомиллиардной западногерманской вирой. И еще одно гребное движение в том же направлении предпринимает утопающий режим. Было заявлено, что советские граждане еврейского происхождения ввиду нависшей над ними угрозы могут отныне селиться в ГДР. По совету своей многомудрой Штази, Хонеккер и компания пытались таким образом подмазать мировую закулису, в могуществе которой в глубине души не сомневались.

Тем не менее 1989 год ГДР встречала если не безмятежно, то никак не предполагая, что в этом своем качестве встречает его в последний раз. Что уже в октябре Берлин из символа расчленения страны превратится

в символ ее единства. Что шизофрения двух Германий — "двух немецких наций", как когда-то учили меня на уроках марксизма-ленинизма, — завершилась. К этому никто не был готов. Представим себе картину: из-под крыши валит дым, а на нижних этажах смотрят телевизор, пьют чай.

Ганноверская опера, где я работаю, как и всякая большая опера, по своему составу интернациональна. Завороженный метаморфозами на "востоке моего сознания", я наблюдал, как поляки, венгры, чехи — все покоренные племена — уже мысленно примериваются к новым формам существования у себя на родине. Одни лишь восточные немцы, всеми правдами и неправдами перебравшиеся на Запад, убеждены: никакие пертурбации в Москве их гэдээровского "тысячелетнего рейха" не коснутся. Поражает непривычное единомыслие народа и власти, которая как ни в чем не бывало позволила гражданам в каникулярное время, то есть целыми семьями, свободно передвигаться в пределах "социалистического лагеря".

— Каринхен, — говорю я скрипачке, сбежавшей из Лейпцига, — на этом можно закрывать лавочку. Они все как один перейдут австрийскую границу.

— Ach was, кто их пустит, у нас же договоренность с венграми.

В начале октября, в канун приезда Горбачева, я поспешил с семилетним сыном в Берлин, чтобы он успел своими глазами увидеть одну из главных достопримечательностей XX века — Берлинскую стену. У Чекпойнт-Чарли, с западной стороны проведенной по земле разделительной черты, толпа свирепствовала, не стесняясь в выражениях по адресу трех гэдээровских пограничников в офицерских погонах, невозмутимо в полуметре от нее стоявших на страже границы. В их одиноком противостоянии толпе было что-то театральное.

Я взял сына за руку, и мы, выступив из толпы, проследовали вглубь Восточного Берлина, в чем тоже была своя театральность. Наши израильские паспорта формально давали нам на это право. Этим правом мне случалось иногда пользоваться. Всякий раз я вспоминал волшебную калитку в заборе, за которой попадаешь в другой мир, в другое измерение. Как пишет немецкий писатель: "Довольно однодневной прогулки по Восточному Берлину, чтобы ощутить его нутро. У столицы ГДР два сердца. Одно — Александерплац, парадный центр провинциального социалистического государства. "Алекс" времен ГДР подобен форуму в столице отдаленной провинции. Представители разных стран прогуливаются в национальных одеждах. "Алекс" выглядит так, как если б Москва, это подлинное сердце Империи, поделилась толикой своего имперского блеска с верным вассалом. Но есть и еще одно сердце у Восточного Берлина, оно расположено чуть западней — там, где сегодня начинается Парижская площадь. Там, откуда граждане ГДР могли украдкой бросить взгляд на Стену. Ведь никому не запрещено смотреть на Бранденбургские ворота. Только про себя все хорошо знали, что спектакль, который здесь разыгрывается, — трагедия. Те, что ежедневно во множестве стекались к Бранденбургским воротам, — в своем таинственном безмолвии все они хорошо знали: там вдали, по ту сторону ворот, взгляд различает свободных людей на обзорной площадке".

В Израиле мне повстречался араб-христианин родом из Вифлеема, изучавший антропологию в моем родном Ленинграде. Он был влюблен в

ГДР: какие люди! Тогда как в Западном Берлине он сталкивался с пренебрежительным отношением. Я так и вижу его на Александерплац, обладающего, в отличие от местных жителей, правом сталкиваться с пренебрежительным к себе отношением в Западном Берлине. Сегодня на той же Александерплац — какое бы страшное разочарование ожидало его! И добро б еще только разочарование, а не кастеты местных бритоголовых.

Но если граждане "третьего мира" на фоне гэдээровского бесправия ощущали себя людьми первого сорта, то как же самоутверждались на Востоке "настоящие" иностранцы — эти счастливые, не побоюсь сказать, обожествляемые обладатели западных паспортов? Те, кто, избывая на Востоке всяческие комплексы, легитимировал режим, который, в свою очередь, вел с ними темные игры? Как-то на улице ко мне подошел молодой человек с мягкими чертами лица, с бородой диссидента-интеллектуала и на свободном русском предложил продать ему западные марки по курсу черного рынка. "Тогда вы сможете купить намного больше русских книг", — сказал он вкрадчиво. Уже несколько часов как я бродил по Восточному Берлину, и все это время меня пасли. Я отказался, спросив, могу ли ему помочь чем-нибудь иным. Вместо ответа обладатель диссидентской бороды чудесным образом растворился в воздухе.

Из таких диссидентов неведомо на какой процент состояло правозащитное движение в ГДР. Допустим, что оппозиционные кружки, возникшие в 80-е под крылом у протестантской церкви, понимай под крылышком Штази, создавались в упреждение будущей "подрывной деятельности". Коли так, Штази сильно переоценила подконтрольное ей население. Гражданин ГДР, единственный из граждан восточноевропейских стран, кто, не покидая родины, мог жить не в Восточной Европе, а просто в Европе. И даже после 61 года для него реальней было перебраться в Гамбург или Мюнхен, чем бороться за демократию у себя в Ростоке или Дрездене.

Это был наикратчайший путь к свободе — превратиться из восточного немца в западного. Вот почему первая крупная акция жителей ГДР в новейшее время — повальное бегство отдыхающих через венгерскую границу. Тогда же происходили и душераздирающие сцены у посольства ФРГ в Праге, с перебрасыванием детей через ограду. В итоге министр иностранных дел ФРГ Геншер выступил в роли Моисея: вывез всех укрывавшихся в посольстве специальным поездом на Запад. Лишь во второй половине сентября возбужденные массовым исходом своих сограждан в землю обетованную и всеобщим ликованием по этому поводу восточные немцы вышли на улицы, увлекая за собою бессчетное число растерявшихся осведомителей. Демонстранты скандировали: "Мы — народ". С таким же успехом они могли скандировать "дважды два — четыре" или распевать "Хенсхен клейн" ("Ваня мал, да удал").

Тогда-то я и отправился с сыном в Берлин, дабы он мог когда-нибудь сказать своим детям и внукам: "Я это видел своими глазами — европейцев, которые носят цепи, как храмовые танцовщицы ожерелья". Увы, нас постигла неудача, да иначе и быть не могло. Спустя несколько минут мы уже возвращались назад под возгласы в толпе: "Они ребенка боятся!" Когда вечером того же дня я сказал знакомому немцу, что счет пошел если не на часы, то на дни, он издал знаменитое немецкое "Нэ-э..." Нет, это будет еще не так скоро.

Хотя приезд Горби и спровоцировал очередной "тяньаньмэнь" (правда, с предсказуемо хорошим концом), ни верхи ни низы столь скорой развязки не ждали. Стена представлялась несокрушимой. Земля прекратит существование, а Стена останется. И вот свершилось: переполненные составы потянулись на Запад. Обалдевшие люди рвались поглазеть на западные города, получить свои Begrüssungsgeld – приветственные сто марок, которые боннское правительство выдавало каждому – и к вечеру возвращались восвояси.

Однако по иронии судьбы с падением Стены стало невозможным превращение восточных немцев в западных, что до сих пор было главным свойством земли обетованной. С помощью волшебных чар Медея могла превратить барана в ягненка, но превратить стадо баранов в ягнят – на это ей уже не хватит ни волшебных чар, ни Begrüssungsgeld. Я думаю, маленькой девочке навсегда запомнилось, как на вокзале в Ганновере ее не впускают в уборную и какой-то дядя платит за нее двадцать пфеннигов. Пройдет время, и на студенческом семинаре где-нибудь в Швабии она оскорбится, когда кто-то предложит ей перед отъездом пару бананов на дорогу: "Я знаю, вы думаете, мы у себя бананов не видели".

Сегодня Германию населяют "веси" и "оси" – обиженные за то, что им не удалось, как по волшебству, превратиться в "веси". Обиженные вплоть до ношения молодежью сомнительной символики, что не мешает всем дружно голосовать за бывших коммунистов. О "веси" мне говорить трудней – они для меня некая норма, я живу среди них тридцать лет. К тому же там, где людей связывают профессиональные узы (как, например, это бывает среди музыкантов), прочее разделение на "оси", "веси", "черных", "белых", "желтых" – все это отступает на второй план. Но мне было бы дико видеть на улице подростков, у которых на футболках, вместо привычного Че Гевары, изображен Гесс – и надпись: "Мученик во имя мира".

Типичная для восточного немца жалоба: раньше люди общались друг с другом, ходили в гости друг к другу, больше нет былой сердечности, былого уюта. Мне приходит на память один пассаж из романа Любы Юргенсон: "Тесно прижавшись друг к дружке, разместились все на одном диване, очевидно, чтобы сохранить некоторое неудобство, позволяющее с куда большей интенсивностью насладиться чувством уюта – того самого уюта, без которого немыслима старая добрая Германия... Пускай не все еще совершенно в Датском королевстве, но устроиться можно, если мириться в быту с какими-то мелочами, что, по существу, не только необременительно, но и оставляет место для тепла, для человеческой близости, которых катастрофически не хватает в благополучном мире".

"Остальгия", как называют тоску по гэдээровскому прошлому, относительно быстро стала предметом культурной и политической эксплуатации. Сама постановка вопроса: "Сбылись ли ваши надежды двадцатилетней давности?" – на мой вкус того же свойства, что и шуточки о двух Германиях: мол, как хорошо, что их сразу две, любимых. То, что великая культура покрыла себя несмываемым позором в XX веке, это горе и слезы всех, не только немцев. Как еврейская Катастрофа – это катастрофа не только для евреев, но и для всего человечества. На исходе XX века Германия и с ней вся Центральная Европа пережили абсолютный ка-

тарсис. Это было ни с чем не сравнимое счастье — увидеть падение Стены, увидеть бетховенский порыв миллионов. Да, миллионов мещан, которые завтра опять согнутся в три погибели, станут вздыхать по ГДР, где можно было жить, не сознавая своего убожества. Но это произойдет завтра, с наступлением будней, а сегодня — наш общий звездный миг, сегодня "я высший миг переживаю".

Точно так же Москва сомкнулась вокруг Ельцина, когда тот взошел на танк, один из двух, бывших в его распоряжении, и танковая армада дрогнула, отступила. Те же люди назавтра исполнятся имперского шовинизма, проклянут обретенную свободу и право на правду. Но восторг этих дней, все пережитое в эти дни — самоценно. Нельзя вечно летать на крыльях любви, но это же не умаляет самое любовь. Пусть и поется в известной французской песенке:

Plaisir d'amour
Ne dure qu'un moment.
Chagrin d'amour
Dure toute la vie.

Любви наслажденье
Единое лишь мгновенье.
Маяться за то
Всю жизнь суждено.

В период между падением Стены и официальным вхождением пяти восточных земель в состав ФРГ гэдээровские интеллектуалы настаивали на своей культурной и ментальной самобытности, которую пожрет капиталистический Запад. Они напрасно боялись, что останутся не у дел, — перед ними очень быстро открылось потрясающее поле деятельности: лелеять и холить обиду своих сограждан, у которых хотят отнять их светлое прошлое. Однако процесс абсорбции бывшей ГДР продолжается, причем на всех уровнях: пример тому фрау канцлер, которую язык не повернется назвать "оси". Конечно, есть и примеры обратного: западный политик Оскар Лафонтен возглавил "Linke", партию, помимо прочего играющую на струнках "остальгии". Но, в общем, происходящее может быть обозначено словом "абсорбция" и никаким другим вроде "конвергенции", "диалога культур" и т. п. Единственным культурным вкладом ГДР общенационального масштаба может считаться заставка телевизионной передачи для малышей "Sandmännchen" ("Спят усталые игрушки") и конечно же фигурка переходящего улицу зеленого человечка в шляпе — на светофоре.

Ровно двести лет отделяет разрушение Стены от разрушения Бастилии. Эти два события стоят одно другого. Интересно, что бы ответил в 1809 году участник штурма Бастилии на вопрос: таким ли он представлял себе будущее Франции в тот великий день?

Гюнтер Грасс

По пути из Германии в Германию

Дневник 1990 года

Фрагменты книги

Перевод и послесловие Б. Хлебникова



Нобелевская премия 1999 года

Вале-даз-Эйраш, 1 января 1990

С восточной стороны дома я посадил деревце, подаренное в новогоднюю ночь Леонорой Зуль[1], которая сулила, что через шесть-семь лет на нем появятся синие цветы, а между тем утро Нового года ознаменовалось весьма сильными впечатлениями; до обеда мы ходили по грибы в рощицу пробковых дубов, что находится выше Казайш: хороший белый гриб вполне исполнил бы мои новогодние пожелания, — однако наши старые места оказались неурожайными, после затяжных дождей (здесь девять недель не прекращались ливни) несколько водянистых лисичек сгодились разве что в качестве мотива для рисунка; по крайней мере, они дали возможность начать этот дневник грибами, а не крупными политическими событиями, вроде тех, что за последние месяцы прошлого года, тесня друг друга, завершились кровавой революцией в Румынии и столь же кровавой демонстрацией военной силы в Панаме, будто коммунистическая и капиталистическая системы решили еще раз в присущем им духе заявить о себе.

Я не большой охотник до писания дневников. Чтобы сподвигнуть меня на подобное занятие, должно произойти нечто из ряда вон. Как, например, в 1969 году, когда в ФРГ стала возможна демократическая смена власти и я бросил свою конторку, чтобы посвятить себя избирательной кампании в пользу СДПГ. После победы на выборах, достигнутой с небольшим перевесом голосов, из записей той поры получилась книга. Или же взять полугодичное пребывание в Калькутте (без дневника я бы там, пожалуй, не выжил). А теперь я собираюсь, раз за разом пересекая границу между обоими немецкими государствами, вмешиваться в предвыбор-

1. Леонора Зуль (р. 1922) — немецкая писательница. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ные баталии (майские и декабрьские выборы). Признаться, по окончании работы над "Мертвым лесом" мне хотелось бы засесть за нормальную рукопись — возможно, с широким размахом — про то, как, встретившись в Гданьске в День Всех Святых, две вдовы, госпожа Пёнтковская и госпожа Решке, разрабатывают некий план, а поскольку наступившие перемены им благоприятствуют, то вскоре следуют конкретные дела в виде создания акционерного общества с ограниченной ответственностью, дабы учредить польско-германское миротворческое кладбище.

Однако дневник настаивает на своем приоритете.

Вечером во дворе появилась жаба. Размером с крупную морскую свинку, она напомнила мне тех жерлянок, которые прошлой осенью с наступлением темноты оглушали своими заунывными криками ближние и дальние окрестности: крики жерлянки. Я взял ее за передние лапки, поднял, чтобы Ута ее сфотографировала. Мешковатое тело обвисло. Она вся оцепенела. Остановились даже зеленые, ничего не видящие глаза с оранжевой поперечиной. Только зоб пульсировал. Что нужно этой жерлянке в моем дневнике, чужой, непонятной и пригодной разве что для названия — еще не знаю чего: "Крик жерлянки"?

Вале-даз-Эйраш, 2 января 1990

Словно для того чтобы развеяться, вновь посадил саженец, в этот раз на западной стороне от дома — рожковое дерево, которое растет очень медленно, поэтому Ута, уже поворчавшая из-за места посадки, заметила: "Все равно мне не дожить до того времени, когда оно станет большим".

Возобновился дождь. Исправив газовую плиту, я засел за рукопись "Литература после Аушвица". Эту тему, заранее обрекающую на неудачу, я выбрал, чтобы определить собственную позицию; подозрительно многие из моих коллег, произносивших антифашистские лозунги, словно школяры, которые талдычат наизусть шиллеровский "Колокол", теперь до отупения повторяют лозунги национально-патриотические; мне же, расставшемуся за последние годы со многим из наследия немецкой нации — кроме разве что языка, — Аушвиц представляется последней возможностью обратиться к теме Германии. (Во "Франкфуртской речи" собираюсь опровергнуть тезис, что Германия якобы имеет право на объединение в смысле восстановления единого государства, Аушвицем.) Писать медленно!

И все-таки пусть вдова Пёнтковская встретится со вдовцом Александром Решке[1] в День Всех Святых, а именно у Доминиканского крытого рынка, пусть они там вместе покупают цветы. Разумеется, в год больших перемен. Или, может, лучше это будет День поминовения усопших? Так или иначе, будет ноябрь. Цветы для кладбища. Но ее мать похоронена в Вильно, где родилась и она сама; его мать похоронена в

1. Здесь впервые упоминается, что Г. Грасс решил сделать героем будущей книги не "вдову Решке", как указано выше, а "вдовца Решке".

Рейнланде, хотя она, как и сын, родилась в Данциге. О том и заходит разговор: кто и где хотел бы быть похоронен? Из этого и других разговоров, по ходу которых вдова и вдовец сближаются, рождается идея немецко-польского миротворческого кладбища. Он говорит: "Ведь сейчас многое стало можно, поэтому должно же быть разрешено и самому выбирать себе место последнего упокоения". Она хочет, чтобы ее похоронили в Вильно, откуда ей пришлось уехать шестнадцати лет от роду, он — в Данциге/Гданьске, который покинул шестнадцатилетним солдатом. Другие хотят того же. Тысячи людей. Нужно предоставить им такую возможность. Для чего и создается общество с ограниченной ответственностью.

Вале-даз-Эйраш, 3 января 1990

Первая в новом году рыба с овощным гарниром — помидоры, цукини, паприка, лук и сладкий картофель — из духовки. Закуплено в Лагуше. Немецких газет нет, если не считать "Бильд". Ее новогодний заголовок гласит: "Офигеть!" — выражение, которое чрезвычайно у нас распространилось после открытия немецко-немецкой границы; не предвещает ли оно действительно нового безумия? — Крик жерлянки. <...>

Вчера далеко за полночь мы обсуждали с Утой мои планы на этот год: собираюсь с конца февраля по сентябрь каждый месяц через неровные промежутки наведываться в ГДР, от Рюгена до Фогтланда, чтобы следить за переменами после крупных политических и революционных событий. Планирую побывать на буроугольных разработках под Шпрембергом. Там меня ранило в 45-м (20 апреля). Хочу рисовать тамошний изуродованный ландшафт. Ута будет меня сопровождать лишь временами. Следовательно, спальный мешок купим мне одному.

Возможно, еще рановато размышлять над профессией Александра Решке. Во всяком случае, он преподает в Эссенском университете, пока не придумал, что именно. Вероятно, историю. Некогда левый интеллектуал; нынешние перемены в Германии настроили его на национально-сентиментальный лад, хотя и с ироническим оттенком. Она, вдова Халина Пёнтковская, — детский врач. С конца ноября 89-го по май 90-го они ведут оживленную переписку, уделяя все больше внимания совместному проекту, который постепенно обретает ясные очертания вплоть до приобретения первого участка земли: три с половиной гектара южнее Брентау, холмистая местность с кусочком леса; территорию можно расширить в сторону Рамкау. На накопительном банковском счету лежит определенная сумма в долларах, которой достаточно, чтобы приобрести на окраине Вильно (Вильнюса) примерно такой же земельный участок. Оба, вдова и вдовец, не догадывались, что они настолько предприимчивы.

Все-таки начал рисунок для "Мертвого леса". Прямо-таки безумная радость: посадил сегодня на южном склоне третье дерево — мушмулу, она должна принести кисловато-сочные плоды. Надеюсь, почва не слишком перенасыщена влагой из-за затяжных дождей.

Перелет Фару–Гамбург, 26.1.90

Прочь от моих кактусов! Газеты (купленные на аэродроме в Фару) сразу вернули меня к немецко-немецким дрязгам. Еженедельник "Цайт" опубликовал беседу с Брандтом[1] под заголовком "Конфедерация – это тоже объединение". Зачем тогда туманные намеки на Германский союз? Зато замечательно, как Старик – а после смерти Венера[2] он и правда старик – выводит из истории СДПГ свою поддержку социал-демократов ГДР. "Крик жерлянки" летит со мной. Уже в самом начале повествования в Гданьске появится предприимчивый бенгалец, а на самом деле – марвари из Калькутты. Немного позже он откроет частную фирму велорикш: дешево и экологически безопасно. За рулем – поляки. Он сознает значение глобальных изменений климата, предсказывает выращивание риса в низовье Вислы. Иронизирует относительно "расточительного использования земли" немецко-польским миротворческим кладбищем. При его посредничестве богатые марвари покупают верфь им. Ленина (бывшую верфь Шихау), а вскоре начинается приток бенгальцев из Калькутты и Бангладеш. Однако развитие этой побочной сюжетной линии будет происходить на заднем плане, оставляя исход открытым. Мой бенгалец (марвари) представляет собой гибрид Дауда Хайдера (нашего калькуттского гида) и Салмана Рушди: путаник и одновременно человек практичный, интеллектуал и простак, наивный и просвещенный. Источником его верований служит смесь различных религий, и, по его мнению, жерлянка – вовсе не горевестница, а предсказательница счастливых перемен. <...>

Белендорф, 28.1.90

Сегодня в Сааре, вероятно, будет предопределен итог выборов в бундестаг. Сумеет ли Лафонтен[3] получить большинство мест в ландтаге? Станет ли он кандидатом от социал-демократов на пост федерального канцлера или же нет? Виды неблагоприятны, так как радио сообщает, что явка избирателей (из-за штормовой погоды) ожидается ниже, чем четыре года назад, поэтому шансы преодолеть пятипроцентный барьер увеличиваются у малых партий – например, у республиканцев.

Здесь тоже дует шквальный норд-вест. Соседний лес стонет. Я закупорился в ателье. Написал короткую речь для Туцинга.

Вчера телевидение показало Брандта на учредительном съезде тюрингской СДПГ. Меня беспокоит то, как он говорит об объединении. Формулировки слишком обтекаемы и неточны: объединение снизу вверх, не унитарное государство, а федерация, основанная на суверени-

1. Вилли Брандт (1913–1992) – занимал во время описываемых событий пост почетного председателя СДПГ.
2. Герберт Венер (1906–1990) – деятель Социал-демократической партии Германии, до 1983 г. председатель фракции СДПГ в бундестаге.
3. Оскар Лафонтен (р. 1943) – деятель СДПГ, премьер-министр земли Саарланд в 1985–1998 гг., кандидат на пост федерального канцлера во время выборов в бундестаг 1990 г., впоследствии – председатель СДПГ.

тете земель. А еще он загодя готовит отпор голосам из-за рубежа, критикующим “волю немецкого народа к объединению”. Уж не исходят ли подобные националистические веяния от его молодой жены? Или он решил так подвести итог своей политической карьере? Или даже старается смыть с себя пятно “отщепенца без роду-племени”? Или затрагивает эту тему просто потому, что так велит ему инстинкт политика? А может, каждая из этих причин сыграла свою роль? <...>

Белендорф, 30.1.90

Прошло всего несколько дней после возвращения из Португалии, а я уже набит информацией, засыпан подробностями, причем все твердят, будто воссоединение предопределено и поезд давно ушел. С этим багажом (и поносом, который донимал меня на протяжении почти бессонной ночи) мы едем в Туцинг. Можно ли еще спорить с этим “гласом народа”? По крайней мере, политики крупного масштаба должны понимать, что быстрого объединения добиться можно, однако за него придется расплачиваться утратой доверия и долгим внутренним расколом.

Белендорф, 2 февраля 90 г.

По возвращении из Туцинга: похоже, конференция, задуманная и подготовленная Антье Фолльмер[1] и мной, пришлась ко времени и может иметь хорошие последствия. Моя краткая речь, произнесенная уже в последний день, вернула дискуссии смысл, ибо накануне у политиков не нашлось “новых ответов по германскому вопросу”. Мне нелегко было выступать с принципиальными возражениями Вилли Брандту; надеюсь, его заставили задуматься (если он вообще задумался) сдержанные, зато вполне определенные высказывания участников из ГДР, например, Конрада Вайсса.

Забавно раздражение федерального президента, который воздержался от критики процесса объединения в присутствии журналистов. Антье Фолльмер сумела говорить, не уклоняясь от сути дела, несмотря на постоянное напряжение и эмоциональные всплески. Ибрахим Бёме, председатель восточногерманской СДПГ, и так несет слишком тяжелое бремя, да еще постоянно недосыпает и вынужден справляться с возложенными на него большими надеждами. Я объявил, что готов участвовать 22 февраля в лейпцигском партийном съезде и еще нескольких мероприятиях.

Замок Туцинг находится на берегу Штарнбергского озера. В парке большие старые деревья. При ясной погоде видны Альпы. Прямо-таки идиллический ландшафт для фильмов “о родном крае”. Что бы ни говорил директор Евангелической академии, с его лица не сходит улыбка.

1. Антье Фолльмер — немецкий политик, член партии зеленых, в описываемое время депутат бундестага.

Даже Хайнрих Альберц[1] не пожалел сил для участия в конференции — прибыл ночным поездом. Зеленые мучительно ищут повода для пикировки с социал-демократами, хотя между ними и Норбертом Ганзелем[2] нет очевидных разногласий (как в Туцинге).

Ночи слишком коротки, днем чересчур велико напряжение, а вся нагрузка в целом заставляет почувствовать возраст. В Белендорфе нам стали известны важные новости от 1 февраля: план Модрова по Германии, предполагающий нейтралитет; решение президента США о существенном сокращении численности американских солдат. Кажется, все планы тяготеют к конфедерации, которая могла бы продержаться несколько лет. Это позволило бы ГДР и ее гражданам улучшить экономическую ситуацию и самостоятельно решить вопрос о будущей форме "объединения". При наличии социал-демократического большинства в обоих немецких государствах могло бы сформироваться новое национальное самосознание. <...>

Берлин, 19 февраля 90

В поезде от Бюхена до Берлина состоялась прерываемая чтением беседа с супругами из Ораниенбурга, которым на вид лет по сорок пять или чуть больше: "Некоторые не знают, что концлагерь перестал у нас действовать лишь в 49-м году". Потом речь пошла обо всем на свете, а когда разговор коснулся выборов, то выяснилось, что женщина, парикмахерша (муж — художник), принадлежит к иеговистам и считает: "Господь уже сделал свой выбор безо всяких наших голосований, поэтому я на выборы не хожу". Муж готов голосовать за кого угодно, лишь бы убрать СЕПГ. Большие тревоги, маленькие надежды. Оба стыдятся того, что так много бомжей — "у нас их якобы не существовало" — перебралось теперь в Западную Германию. Когда женщина говорит о себе как о иеговистке, в ее голосе и во взгляде появляется нечто проповедническое. Их сын (один из троих детей) переехал — через Будапешт — в Киль, они ездили навещать его на выходные. Теперь они надеются, что он вернется, когда дома все наладится. Женщина говорит: "В Писании, как вы знаете, сказано о тысячелетнем царстве, и оно настанет. Никакого сравнения с тем, что сулил Гитлер". Оба работают в кооперативе, сбережений у них нет, так как три года назад они израсходовали все средства на собственный дом. Попросили автограф.

Здесь без конца трезвонит телефон. Разумеется, "Шпигель" не напечатал мое письмо Аугштайну, которое называется "Поезд ушел — но куда?"; непримиримые борцы с цензурой сами занимаются таковой — отвратительно! Передам текст в "Тагесцайтунг".

До поездки в Лейпциг сделал эскиз для последнего листа к "Мертвому лесу".

1. Хайнрих Альберц (1915–1993) — деятель СДПГ, евангелический пастор, участник движения за мир, деятель администрации Западного Берлина.
2. Норберт Ганзель (р. 1940) — в описываемое время председатель партийного совета СДПГ.

Лейпциг, 24 февраля 90

Вчера рано утром — я пытался еще немного поспать — младший сын распевал в коридоре про электромонтеров, которые целуют девушек "электрически". Эта песня, которую он разучивает с малышами из детского сада для карнавала, пробудила у меня воспоминания.

Затем партийный съезд — утомительная процедура, которая производит на меня весьма сильное впечатление, ибо ее ничем не заменишь, а она демонстрирует, как трудно дается выработка демократических решений (что происходит здесь с почти хрестоматийной наглядностью, поскольку демократии необходимо учиться). Поступает сообщение о заложенной бомбе. Спокойное ожидание на весеннем солнышке. Подозрение падает не на правых радикалов, а, скорее, на бывших сотрудников Штази. Ибрахим Бёме, тщедушный человечек с немного старомодно-театральными манерами, растет от выступления к выступлению. Значительным большинством голосов его избирают председателем. Позднее на трибуну приглашают меня, чтобы слегка подбодрить уставших делегатов.

Сегодня после томительного ожидания от дискуссии по программе урвали три четверти часа драгоценного времени; прибыл Вилли Брандт, которого делегаты приветствовали стоя и избрали почетным председателем; он вновь выступил с большой речью — большой, потому что она вместила в себя обращение к делегатам, к Лейпцигу, ко всем гражданам ГДР, но одновременно содержала внятное послание, выходящее за пределы Германии. Разумеется, мне хотелось бы большей определенности — скажем, исторической — в духе Германского союза, идей Франкфуртского парламента, вплоть до будущего федеративного немецкого государства, но он любит неопределенность и благодаря ей имеет успех. Словом, партийный съезд обрел историческое значение. <...>

Дрезден–Радебойль, 2.3.90

Удачным получилось вчерашнее выступление в дрезденском Кукольном театре с Бэби Зоммером[1], на которого даже напала "сценическая лихорадка", поскольку дело происходило в его родном городе. Заключительная дискуссия, разговоры до и после показали, что те ультраправые, националистические, ксенофобские, антисемитские, вульгарноматериалистические и прочие антитолерантные настроения, которые в ГДР до сих пор не выходили на поверхность и теперь со всей неизрасходованной силой вылезли наружу, проявляются гораздо откровеннее, чем я ожидал. Предсказываемому большинству голосов в пользу СДПГ грозит серьезная опасность. К тому же группы, которые в виде тихой оппозиции пережили режим, а потом вынудили его к переменам, те-

1. Гюнтер "Бэби" Зоммер — музыкант из г. Радебойля; в 1986 г. Г. Грасс создал вместе с ним концертную программу "Лирика и проза, ударные и перкуссия", с которой они выступают до сих пор.

перь выдохлись, лишились инициативы и страдают внутренним недоверием и недоверием друг к другу.

Новые впечатления как-то приглушили известие о поражении сандинистов на выборах в Никарагуа. Из-за слабости Советского Союза эта маленькая несчастная страна окажется целиком в подчинении у Соединенных Штатов.

На очереди последняя остановка — Карл-Маркс-Штадт, которому вскоре вернут прежнее название Хемниц.

Карл-Маркс-Штадт, 2.3.90

Гигантская голова Маркса перед зданием Окружного совета. Монумент собираются продать, чтобы этими деньгами оплатить переименование города. Выступление состоялось в одном из выставочных залов музея, перед началом дали время перекусить. Директор музея — бывший член СЕПГ, о чем говорит откровенно, но в то же время стесненно. Недавно здесь выступал Коль, который, как и в речи во Дворце спорта, обращался к массе слушателей с вопросами: “Вы хотите объединения Германии? Вы хотите всеобщего благосостояния?” — Вульгарнее некуда!

Из Виттенберга в Штральзунд, 15.3.90

<...> Спал крепко, а проснувшись по будильнику, никак не мог сообразить, где нахожусь. Купил на вокзале восточногерманское издание “Тагесцайтунг”. О социал-демократах пишут насмешливо, даже ехидно, так что трудно понять политическую направленность газеты. Объединенные левые? Рискую спрогнозировать результаты выборов, поскольку погода на улице по-весеннему мягкая:

СДПГ — 33 %; “Союз-90” — 5 %; Зеленые и женщины — 4 %,
НСС — 3 %; Демократический прорыв — 5 %; ХСС — 37 %,
ПДС — 12 %; либералы — 4 %; Крестьянская партия — 3 %.

Лейпциг, 19.3.90 г.

Получилось хуже, чем я ожидал. Поражение социал-демократов, как и победа Альянса и партий, блокировавшихся с ХДС, чрезмерны до гротеска.

Мы были в Доме демократии на Бернхард-Герингштрассе. Сначала у зеленых, потов в “Союзе-90”. Разочарование молодых людей сдержанное; похоже, они привыкли быть маргиналами.

Белендорф, 21.3.90 г.

Только теперь пришел в себя. Вернулись в Белендорф поздно, после долгой обратной поездки из Лейпцига через виноградники на берегах Уструта, по безлесой части Тюрингии, через Мюльхаузен и погранич-

ный переход, а по пути заехали в Нинхаген, где закусили на ферме Франца бутербродами с сыром и кофе, показали Зулям сыроварню.

Хорошо было увидеть дома почти готовые рисунки, а сегодня начать два новых листа: все еще "мертвый лес".

Возвращаясь к воскресным выборам в Лейпциге. У бокового входа в церковь Святого Николая на металлической ограде был приклеен плакат наподобие дорожного указателя с надписью синими буквами в синей рамке: "Площадь одураченных. Привет от детей Октября. Мы никуда не делись". Написать политическую статью под заголовком "Площадь одураченных", посвященную "детям Октября"; там пойдет речь, во-первых, о победе партийного блока и ее последствиях; во-вторых, о тех, кто голосовал, чтобы только не допустить победы противника (пример с таксистом); в-третьих, надо высмеять разглагольствования Коля об исторической судьбе и историческом часе; в-четвертых, надо напомнить, что оглядки на старую Германию только приблизят беду; в-пятых, указать на робость социал-демократов и подвергнуть критике слишком быструю смену политического имиджа СЕПГ-ПДС; в-шестых, описать поведение "детей Октября" в ночь, когда подводились итоги выборов; в-седьмых, отважиться сделать прогноз на будущее.

Белендорф, 1 апреля 1990

Федеральный банк объявил предполагаемый обменный курс 1:2, что продемонстрировало лживость предвыборных посулов Коля. Вдобавок еще нескончаемые разоблачения агентов Штази. Мне предстоит поездка с Вайцзеккером[1] в Польшу. Познанский университет одарит меня шапочкой почетного доктора. Кроме того, Штефан Лор просит меня приехать в Евангелическую академию Локкума на конференцию по теме "Политика и своеволие"; в доказательство собственного своеволия я мог бы развить тезисы выступления в Туцинге: во-первых, бездарный аншлюс; во-вторых, выборы, состоявшиеся на фоне опасений насчет немецкой марки; в-третьих, доморощенный национализм в эпоху высокой мобильности населения; в-четвертых, историческая утрата юго-западных немецких колоний и новоприобретенные колонии на Востоке; в-пятых, споры вокруг статей 23 и 146 Основного закона, благоприятная возможность принять современную конституцию для полиэтнической и поликультурной нации; в-шестых, конфедерация как основа для конституции будущего федеративного государства; в-седьмых, уже в заключение, — владычество немецкой марки.

Котбус, 17.4.90

В Берлине меня встретили на вокзале "Цоологишер гартен". Два часа машиной до Котбуса. Пообедали с Метагом (Джимми) в отеле "Лаузиц".

1. Рихард фон Вайцзеккер (р. 1920) — занимал в описываемое время пост федерального президента ФРГ.

Потом встретились с подругой Метага в отеле "Котбусер хоф". Она работает главным бухгалтером на предприятии, которое торгует спермой племенных быков и кабанов. Он и его подруга разделяют мою уверенность, что грядущий (1 июля?) валютный союз обернется бедой, ибо долгожданные немецкие марки тут же будут израсходованы на западные товары и туристические поездки в Париж, Италию или Испанию, то есть вернутся на Запад, не оказав никакого содействия экономике ГДР. Напротив, вся произведенная здесь продукция перестанет находить сбыт, местные фирмы обанкротятся, включая и те, что вполне могли бы развиваться.

Западногерманские "инвесторы", знакомясь с предприятиями ГДР, интересуются только каналами сбыта. Следует ждать целой армии западногерманских административных юристов (для создания земель): колониальных чиновников. Жители ГДР вновь окажутся "одураченными".

В пешеходной зоне объявления о наборе агентов по продаже западногерманских товаров и о поиске складских помещений. Замечательный югендстиль Молодежного театра в Котбусе (словно с другой планеты).

Белендорф, 18.5.90

Только что смотрел по телевизору, как министры финансов Ромберг и Вайгель подписали Государственный договор[1]. Еще один "исторический момент". Министры сидели за рабочим столом Аденауэра, где во времена Вилли Брандта подписывался Договор об основах взаимоотношений между ФРГ и ГДР. Зеленые присутствовать на церемонии отказались. Фогель[2] тоже отсутствовал, сославшись на невозможность изменить плотный рабочий график. Судя по всему, СДПГ одобрит договор в бундестаге, а также в бундесрате. Если это произойдет без существенных корректив, то дни моего членства в СДПГ сочтены.

Вчера в Любеке состоялась встреча "Социал-демократической инициативы избирателей" с министрами Янсеном, Буллем, Клингнером и Бёрком. Образец хорошей подачи информации. Однако характерно, что ГДР упоминалась лишь мимоходом, только если затрагивались западногерманские проблемы: атомная электростанция в Грайфсвальде, параграф 218[3]. Я выступил в конце — постарался не оставить у присутствовавших сомнений в том, что мое отчуждение от СДПГ растет.

Позавчера ходил к урологу. Анализы крови и мочи в норме. Только слева в паху небольшая опухоль, так как, видимо, шов после операции плохо зарубцевался.

Сегодня закончил двенадцатый большеформатный лист с ландшафтом буроугольных разработок. Шесть рисунков карандашом и шесть уг-

1. По этому договору ФРГ и ГДР объединяли свои финансовую и валютную системы; единой валютой обеих стран объявлялась марка ФРГ, товарообмен между ними становился свободным, что в перспективе означало тяжелый кризис производящих отраслей на Востоке.
2. Ханс-Йохен Фогель (р. 1926) — в описываемое время руководитель фракции СДПГ в бундестаге.
3. Параграф 218 Уголовного кодекса ФРГ запрещает аборты, а его подпункты определяют исключительные случаи, когда аборт разрешен.

лем. Хочу съездить в середине июня в Альтдёберн и поселиться там дня на три у края карьера.

Альтдёберн, 10.6.90

<...> Альтдёберн расположен между Финстервальде и Котбусом. Джимми Метаг устроил меня на постой к пожилой фрау Шрек и ее больной дочери; комната на втором этаже с двуспальной кроватью. Ванная этажом ниже. Я сразу узнал, что в Альтдёберне числятся тысяч пять жителей, но осталось едва ли четыре.

Дочь сказала: "Все началось с того, что мы неверно проголосовали 18 числа". Мать подхватила: "Все твердили, что голосовать надо только за ХДС, дескать, там деньги".

Когда на буроугольном карьере велись вскрышные работы, многие жители Альтдёберна забирали себе плодородный слой почвы. "Но он уже был перемешан с угольной пылью, на такой земле ничего не растет, помидоры у меня совсем крохотные".

"Здесь остался только один магазин, — говорит дочь. — После 1 июля туда не протолкнешься, будет давка".

Карьер протянет еще с полгода. "Там надеются, что найдется западный покупатель. Все остальное закрылось. Раньше тут была еще лесопилка".

Столуюсь в "Фуксбау", по соседству наискосок. К приветливому обслуживанию теперь добавилось баварское пиво "Хакер Пшорр". Пиво из ГДР больше не продают. Из супов только солянка, а на второе "мясо по-болгарски с ризотто" — меню, сохранившееся со времен Восточного блока. Настроение у хозяина оптимистическое: "Видите ли, местные пьют много. Так что выдюжим, даже после 1 июля".

Пока я ем, заходит поздороваться Джимми Метаг. Его концертному агентству тоже придется туго после введения валютного союза. Позднее, после 21.00 сижу в гостиной с четырьмя женщинами, смотрю по телевизору чемпионат мира по футболу — Германия играет против Югославии, счет 4:1. Женщины явно наслаждаются мужским обществом, чувствую себя, как петух в курятнике.

Альтдёберн, 13.6.90

Рисую, как одержимый. Вчера пять листов, сегодня четыре. На смену углю пришел карандаш. Пока не успел вернуться к начатому вчера в ресторане "Парк" "Письму из Альтдёберна", которое я хочу продолжить под названием "Репортаж из Альтдёберна". Этот текст мог бы пригодиться для короткой речи в Рейхстаге: 1) Вступление: Альтдёберн и карьер. 2) Карьер как метафора разрушения ГДР. 3) Несколько слов о распродаже в альтдёбернском магазине: до 1 июля все наличные запасы в местных магазинах должны быть реализованы, чтобы заполнить полки исключительно западными товарами. Отсюда: 4) разоблачение механизмов рыночной экономики и 5) тех, кто несет политическую ответ-

ственность — Коля, Хаусманна, Пёля и др. 6) Это они, руководствуясь аденауэровской формулой "канцлерская демократия", соорудили в обход всех демократических институтов так называемый "Государственный договор", дабы воспользоваться статьей 23-й Основного закона[1]. 7) Есть ли возможность у малочисленных радикальных демократов все же добиться применения статьи 146-й[2]? Насколько антиконституционен "аншлюс", осуществленный исключительно на основе статьи 23-й? Можно ли уже сейчас готовить иск в Конституционный суд? <...>

Берлин, 16.6.90

Во второй половине дня я выступил в Рейхстаге (южное крыло) с написанной вчера речью "Репортажи из Альтдёберна" в защиту новой конституции. Затем говорил Ульман, очень хорошо. После чего все почти утонуло в обще-демократической болтовне. И здесь звучит пресловутый вопрос: "Герр Кестнер, где же позитив?"[3] Вечером был у Ингрид, которая отчаялась и насчет себя, и насчет успеваемости Неле, которая не хочет учиться; поговорив, мы сели смотреть телевизор. Сегодня, уже скоро, встречаемся в греческом ресторане с Вероникой и ее семейством.

Познань, 19.6.90

Четыре с половиной часа езды по душной летней жаре из Берлина до Познани. Утром отправил письмо Клаусу Штеку[4] с критикой его бессодержательного обращения к избирателям; О. Лафонтену я послал альтдёбернскую речь и потребовал сформулировать альтернативу его безальтернативному "нет": "Союз немецких земель" на основе новой конституции. "Цайт" не собирается печатать альтдёбернскую речь ни на этой, ни на следующей неделе, поэтому я позвонил Айзерманну из "Шпигеля". Там проявили интерес, хотя Карасек, похоже, готовится в ближайшем номере нанести удар по Кристе Вольф. Из осторожности (и руководствуясь собственным опытом) я позаботился о том, чтобы при необходимости текст речи был предложен "Франкфуртер рундшау" и "Зюддойче цайтунг".

Фраза из письма Оскару: "Сжальтесь, наконец, над людьми из ГДР; меня возмущает именно безжалостность этой политики — а она напориста и жестка как раз потому, что безжалостна, ведь Вы думаете лишь о том, как построить экономику вокруг немецкой марки".

Уже на подъезде к польской границе ландшафт пустеет. Как же много поляков сидит за рулем западных автомашин. На границе выясняет-

1. Статья 23 тогдашней Конституции ФРГ содержала положения об условиях вступления в федерацию новых субъектов.
2. Статья 146 Конституции ФРГ содержала условия для отмены действующей конституции и принятия новой в результате всенародного волеизъявления.
3. Название знаменитого сатирического стихотворения Эриха Кестнера.
4. Клаус Штек (р. 1938) — художник-карикатурист, издатель, деятель СДПГ.

ся, что у паспорта Уты завтра истекает срок действия. Рад, что несколько дней я буду далек от конвульсий Германии. Хочу написать об уродстве германского объединения.

Из Белендорфа в Берлин, 2.7.90

Первая поездка в Берлин без пограничного контроля, совершавшегося брюзгливыми солдафонами с ящиками для бумаг на груди. Попутчики — супружеская чета пенсионеров из Франкфурта-на-Одере: "Нам будет только лучше". У него пенсия 650 марок, она пока ожидает пенсии по инвалидности.

Лишь с трудом сохраняю свое членство в СДПГ. У О. Лафонтена никакой содержательной программы, одно только "НЕТ!" Его авторитетные сторонники, Энгхольм и Шрёдер, готовы публично отстаивать эту позицию в отсутствие Лафонтена. О Брандте не хочется думать.

В сегодняшнем выпуске "Шпигеля" Аугштайн, пройдясь, словно учитель истории старой закалки (с диапазоном от правого либерала до немецкого националиста), по тысячелетней истории и ссылаясь исключительно на пример "великих", лишь в завершающей части своей статьи обрушился на мою — противоположную — точку зрения. Обычные аргументы. Отрицание моральных критериев политики. По сути, он, профессиональный циник, руководствуется слепой обывательской верой в историю. Надо ли ему отвечать? Вряд ли. <...>

Из Белендорфа в Берлин, 9.7.90

Итак, немцы играли лучше и стали чемпионами мира. Событие отмечалось с немецким размахом — по всей стране, и даже более шумно и радостно, чем падение Стены. Между тем немецкой марке исполнилась в ГДР одна неделя, однако она успела отчасти потерять свой блеск; более того, понятие "твердая валюта" обнаружило свой жесткий смысл.

Три большеформатных рисунка, сработанных за три дня, вконец измотали меня. Может, следует вести рассказ "Крика жерлянки" в настоящем времени?

За ближайшую неделю надо подготовить передачу моего архива в Академию, решить вопросы с финансированием премии имени Ходовецкого. И все это перед лицом угрозы, что Берлин сделают столицей — чего? Укрупненной ФРГ? Германского союза? Или, как хотелось бы мне, Союза немецких земель?

Белендорф, 18.7.90

Ута уехала к больной матери во Фрайбург. Подозревают рак. Она пробудет там не меньше недели. Мне нравится быть одному с собакой. Сразу

занялся рисунками к давно задуманному проекту "Сигнатура": на первом листе (уголь) — птицы на фоне пейзажа, причем текст "Мои древние птицы вернулись" будет теперь описывать ландшафт между Котбусом и Зенфтенбергом, где бурый уголь разрабатывается открытым способом.

Переход к письму из Альтдёберна, которое может занять двойной лист, по полстраницы.

Похоже, "объединение", говоря нынешним языком, "склеилось". Миллиардные кредиты должны теперь пойти на поддержку разорившегося сельского хозяйства и обнищавших городов. Да здравствует рыночная экономика! Польша — как и Советский Союз — хочет заключить с объединенной Германией общее соглашение (конечно, под другим названием) экономического характера. Едва граница по Одеру–Нейсе получила признание, как ее начинают европеизировать, то есть снимать все барьеры ради свободного развития экономики (читай: немецкой экономики).

Написать портрет немцев, которые переходят границу, на сей раз мирно, вооружившись только потребительскими товарами и льготными кредитами. Без права на свободное предпринимательство для иностранцев тут не обойтись. Преимущества размещения производственных мощностей должны использоваться в полной мере. Так политика пишет сюжет, опережая "Крик жерлянки", который существует пока еще только в замысле. (Разве не следовало бы, чтобы суть дела была понятней, назвать европеизацией нынешнее разделение Польши на сферы экономических интересов?)

Белендорф, 31.7.90

Сегодня Ута опять уехала во Фрайбург к матери, которую в конце недели должны оперировать.

Готовы один рисунок на страницу и тринадцать двухстраничных рисунков для "Сигнатуры" под названием "Письмо из Альтдёберна". Удивительно, как возникал этот цикл — лист за листом, без заранее продуманной концепции и опоры на прошлые этапы работы, под воздействием одних только ландшафтов буроугольных разработок; спрашивается: не добавить ли еще один, последний двойной лист с отсылкой к Калькутте?

Для Осло я намереваюсь рассмотреть социальное обнищание как отправную точку для различных видов ненависти. Захват власти нацистами и связанное с этим безумие на расовой почве были бы невозможны без шестимиллионной безработицы. Американский расизм, особенно по отношению к чернокожим, развивается параллельно с обнищанием нижних социальных слоев, прежде всего самих чернокожих. Народы третьего мира будут и дальше беднеть, и потому все сильнее ненавидеть — поначалу только ближайших соседей: другие племена или религиозные группы. Несмотря на внешне благоприятные условия, первоначальные надежды на волшебную немецкую марку грозят все же перерасти у населения ГДР в разочарование. Резкий подъем безработицы, высокомерие и назидательный, командный тон западных

немцев, реальная перспектива вновь оказаться среди проигравших, одураченных, стать вечными неудачниками — все это может породить ненависть, которую станет подпитывать самоуничижение. Вслед за падением насильственного коммунистического режима и экономики дефицита настал черед капиталистической системе и ее идеологии (жесткой рыночной экономике и владычеству банков) пройти проверку на прочность.

В ГДР (спустя четыре недели после введения немецкой марки) множатся сообщения о катастрофе. Министр труда Хильдебрандт говорила сегодня о развале экономики, растущем оттоке молодых квалифицированных рабочих и учеников на Запад; все это я предсказывал, но точность моих прогнозов меня не радует.

Вчера и позавчера здесь была Антье Фолльмер со своим Йоханнесом. Мы говорили о том, как мало надежд осталось у нас после Туцинга (уже тогда весьма скромных). Прямо-таки фантастично, что телевидение транслирует дебаты вокруг "Берлина в роли столицы" или изменений в Законе о выборах, в то время как дыра финансового дефицита — тридцать миллиардов — расползается все больше и больше.

Белендорф, 3.8.90

Начинается стремительное движение к унитарному государству. Якобы по желанию Лотара де Мезьера, премьер-министра ГДР, Коль сдвигает выборы на более ранний срок — 14 сентября. Таким образом он хочет сыграть на опережение, прошмыгнуть мимо социального и экономического союза. Боюсь, что слабеющая СДПГ позволит этому расчету оправдаться.

Рисунок "Двойная улитка у цели" закончен. Хочу теперь сосредоточиться на плане к "Крику жерлянки", а также на тексте, который собираюсь продиктовать для Берлина: "Куплено по дешевке — ГДР".

Поздно вечером: Лафонтен из Парижа, боевит, точен в критике, но все еще не создал ясной концепции. План "Крика жерлянки" готов, может получиться компактная горько-комическая повесть страниц на 180—200. <...>

Белендорф, 4.8.90

Жара усиливается. Франц, наш экологический аграрий, жалуется по телефону на третье подряд засушливое лето. И в этом удушливом зное происходит объединение Германии, похожее на процедуру банкротства. Все-таки хочу с понедельника начать в Берлине работу над текстом "Куплено по дешевке — ГДР". Вот основные пункты.

Итог всего лишь одного месяца банкротства: финансовый дефицит, пустая казна, безработица.

Нарушение конституции: выборы 14 октября, Положение о выборах.

Немцы второго сорта: следствием будут ненависть, зависть, комплекс неполноценности.

Перелицованная идеология: рыночная идеология.

Неприлично и непристойно – никаких идей, только скупка по дешевке.

То, как сами немцы обращаются с немцами, не оставляет надежд полякам.

Уже сейчас демократии нанесен ущерб: нарушение конституции, решения в обход парламента, охота на творческую интеллигенцию при попустительстве сотрудникам Штази. Единогласная пресса. Предостережение по поводу формирующейся Германии. Пренебрежение оппозицией.

Ментальность блицкрига. Складывается впечатление, будто Германия и Япония выиграли войну. Культура в забвении.

Озоновая угроза. Общее невнимание к проблеме.

Всему этому пока не хватает эмоционального зачина и подходящей рамки. Примерный объем – страниц двенадцать. Возможно, поездка в Укермарк даст новые идеи.

Рисование, эти часы и дни перед мольбертом, при боковом освещении, пока закончено. По возвращении из Берлина предстоит поездка на Мён.

Белендорф, 19.9.90

Несмотря на грипп и насморк, закончил последнюю редакцию текста "Куплено по дешевке – ГДР". После звонка Антье Фолльмер и ее приглашения выступить этот текст станет речью, которую я произнесу 2 октября в Рейхстаге перед всеми депутатами от зеленых и "Союза-90". Ах, мои дорогие социал-демократы, вот куда меня занесло! По крайней мере зеленые и "Союз-90" отклонили Государственный договор и Договор об объединении, потребовав новой конституции.

Размышляю, стоит ли опубликовать книжкой (еще до декабрьских выборов) следующие тексты: "Короткая речь отщепенца без рода-племени", "Письмо Аугштайну", "Несколько заметок о Площади одураченных", "Репортажи из Альтдёберна" и "Куплено по дешевке – ГДР"; это можно сделать либо в издательстве "Лухтерханд" (слишком медленно), либо у расторопного Штайдля.

Последний текст должен появиться в "Цайт" 4 октября, то есть сразу после колокольного звона. Грайнер обижен из-за моей острой критики[1], однако дал свое согласие. Сюда приехала из Фрайбурга с детьми Эллен, сестра Уты. Завтра в Белендорфе похоронят мать Уты – Эдит (Мышку).

Дал интервью для телевидения ГДР, говорил о свободе. Сплошные прощальные речи.

Из Бухена в Берлин, 2 октября 90 г.

Последняя поездка рейхсбаном по пока еще ГДР. Ута отмечает грязь в туалетах. Оба мерзнем в купе. За окном мелькают (словно заброшенные) деревни. Развалившиеся сараи, осевшие колокольни, "будто последнее пристанище". Страна дефицита еще долго будет оставаться таковой: похожей

1. Редактор "Цайт"; речь идет о полемике вокруг Кристы Вольф.

на улитку, ведь времена, через которые история со всеми своими фактами и лозунгами перескочила, к спешке не располагают.

Читаю газеты: "Франкфуртер альгемайне", "Зюддойче", "Франкфуртер рундшау". Пишут, будто послевоенный период и послевоенная литература закончились (желаемое выдается за действительное). Ширмахер[1] — ему лет тридцать, он ученик Райх-Райницкого — задает тон, но осторожно, словно ему хочется уплыть от моего, отцовского, поколения, однако он предпочитает держаться возле берега, поскольку неизвестно, что будет дальше...

В Берлине мне предстоит выступление в Рейхстаге перед зелеными и "Союзом-90". Послужит ли им утешением моя речь, выдержанная, словно гравюра, в серых тонах?

Потом телевидение, второй канал, заключительные слова перед объединением: Бар, Шойбле[2], Штюрмер и я. Затем скорее во Фриденау, на Нидштрассе, прочь от начинающейся суеты.

Эти рецидивисты! Им снова хочется провозгласить "час ноль".

Франкфурт-на-Майне, 3 октября 90 г.

Колю удается буквально все! Даже полнолуние в День объединения Германии.

С получасовым опозданием мы прибыли вчера на промерзший вокзал "Цоологишер гартен". Оттуда к Рейхстагу, где заседают восточногерманские зеленые и "Союз-90" вместе с западногерманскими зелеными. Выступил с речью (которую раньше, чем планировалось, напечатал сегодня еженедельник "Цайт"). Потом — Антье Фолльмер; точные формулировки, обращение к залу: "Прощание с Федеративной республикой..." Последующая дискуссия началась, как обычно: "Где же позитив?", хотя я еще в своей речи высмеял этот стандартный немецкий вопрос. Регламент выступлений был неограничен, поэтому проявились не только милые слабости зеленых: многословие, сведение собственного выступления к личности самого оратора. Хороши были краткие реплики депутатов из ГДР. <...>

Белендорф, 5.10.90

Странная смесь усталости и удовлетворения от того, что о Германии все сказано и написано. Вчера вернулись из Франкфурта поздно; единственно удачной, содержательной и насыщенной получилась беседа с японским писателем Кэндзабуро Оэ, с которым я встретился впервые двенадцать лет назад в Токио.

А сегодня Ута обменяла наши паданцы на 84 бутылки яблочного сока. Это тоже урожай, и он помогает пережить нынешнюю немецкую осень. Речь "Куплено по дешевке..." хорошо "разместили", как выражались в

1. Франк Ширмахер (р. 1959) — журналист, литературный критик.
2. Эгон Бар (р. 1922) — деятель СДПГ, в 1970-е занимал ряд министерских постов в ФРГ; Вольфганг Шойбле (р. 1942) — один из авторов Договора об объединении Германии, впоследствии — председатель ХДС.

ГДР. Еще раз мысленно вернулся к беседе с Кэндзабуро Оэ: мы разговаривали на публике около двух часов (с синхронным переводом) и, несмотря на языковые трудности, на дистанцию между нашими культурами, я оказался намного ближе к нему, чем к какому-нибудь европейскому эксперту в области культуры. Общий литературный опыт, сходное отношение к профессии, равно тщетные попытки повлиять на политику — все это дает возможность нам, поколению обожженных войной детей, лучше понимать друг друга. Было ли это видно публике? <...>

Рад, что собака опять с нами.

Читал корректуру “Куплено по дешевке — ГДР”.

Все еще чувствую усталость и слишком много курю.

Гражданин Грасс

В последний день уходящего 1989 года Гюнтер Грасс по давней привычке составил план своих занятий и работ на следующий год. Предыдущие месяцы были чрезвычайно насыщены политическими событиями исторического масштаба: от “октябрьской революции” в ГДР до “падения” Берлинской стены 9 ноября. Дело шло к объединению Германии, но в какой форме это произойдет и насколько быстро, оставалось неизвестным.

19 декабря газета “Франкфуртер рундшау” опубликовала текст выступления Гюнтера Грасса, которое состоялось днем раньше на чрезвычайном съезде социал-демократов, посвященном принятию новой программы партии в связи с намеченными на конец 1990 года выборами в бундестаг. Грасс говорил об угрозе возникновения унитарного немецкого государства и призывал к созданию конфедерации (позднее он будет называть ее “Союзом немецких земель”). В тот же день, 19 декабря, около полутора тысяч немецких и иностранных корреспондентов телевидения, радио и печатных изданий, прибывших в Дрезден освещать визит в ГДР федерального канцлера Гельмута Коля, сообщили о многотысячной манифестации, которая, по существу, вылилась в поддержку договоренности между Гельмутом Колем и премьер-министром Хансом Модровом о начале переговоров относительно объединения Германии.

Еще раньше (7 декабря) первое заседание так называемого Центрального круглого стола, собравшего представителей пяти политических партий и семи оппозиционных общественных организаций ГДР, принимает решение провести 6 мая 1990 года первые свободные выборы в Народную палату. Понятно, что от исхода этих выборов будет зависеть очень многое, в том числе и решение вопроса об объединении Германии.

Составленный Грассом план на 1990 год предусматривает активное участие писателя в обеих избирательных кампаниях. Он намерен совершить целый ряд поездок по ГДР и ФРГ накануне выборов в Народную палату и бундестаг, агитируя за социал-демократов, как это делал уже неоднократно, в том числе двадцать лет назад, когда в ходе избирательной кампании 1969 года он провел около сотни встреч с избирателями.

В 1969 году Грасс вел путевой дневник, превратившийся позже в книгу "Из дневника улитки". Нечто подобное он решил затеять и на сей раз, благо издатель Герхард Штайдль подарил ему для подобных целей большую книгу в сером переплете с чистыми листами. Первую запись Грасс сделал 1 января 1990 года, а закончил дневник 1 февраля 1991 года.

Рядовой социал-демократ

В своем дневнике Грасс ведет хронику текущих политических событий, увиденных глазами отнюдь не беспристрастного свидетеля. Да он и отводит себе роль активного участника, а не просто свидетеля.

Первые свободные выборы в Народную палату сдвинулись с мая на 18 марта. Грасс успевает совершить десятки поездок по ГДР и ФРГ, выступить с изложением собственных взглядов на конференции в Евангелической академии Туцинга под Мюнхеном и на съезде восточногерманских социал-демократов в Лейпциге. Позже это повторяется в ходе кампании накануне первых общегерманских выборов в бундестаг, которые состоялись в декабре 1990 года, когда объединение Германии уже совершилось. Он поддерживает личные контакты с ведущими политиками восточной и западной Германии, ведет с ними переписку. Грасс устраивает многочисленные собственные встречи с публикой, на которых читает отрывки из своих произведений и ведет дискуссии. В крупнейших периодических изданиях Германии появляются его злободневные статьи и эссе, он дает интервью радио- и тележурналистам, участвует в телевизионных дебатах. Кажется, будто Грасс сам борется за депутатское место, а ведь он всего лишь рядовой член партии, не более того. Грасс не скрывает независимости своей позиции и нередко весьма критически высказывается в адрес партийных лидеров СДПГ. Он обращается к общественности по праву гражданина, будь то массовая аудитория газет, радио и телевидения или его собственные читатели и посетители его художественных выставок, с которыми он ведет разговор не только о литературе и изобразительном искусстве, но и на политические темы.

Писатель

Дневник Грасса вовсе не ограничивается политикой, хотя зачастую именно политические события дают импульс для его литературного творчества. Если роман "Из дневника улитки" лишь строился на основе путевых заметок и записных книжек, которые Грасс вел на протяжении избирательной кампании 1969 года, то нынешняя книга "По пути из Германии в Германию" представляет собой реальный документ, не подвергавшийся редакционной переработке. Он дает уникальную возможность довольно детально проследить зарождение и эволюцию писательских замыслов Грасса. В наибольшей мере это относится к повести "Крики жерлянки", которая выйдет два года спустя. Дневник, собственно, и начинается первыми заметками относительно повести, далее Грасс подробно фиксирует едва ли не каждую идею, развивающую ее сюжет, характеры персонажей, а завершается дневник работой над начальными главами.

По немецким поверьям, своим криком "унк-унк-унк" болотная жерлянка предвещает беду. Отсюда пошло идиоматическое выражение "Unkenrufe", то есть "крики жерлянки", которое означает недоброе пророчество, предсказание грозящей опасности. Подобной кричащей жерлянкой ощущал себя Грасс, особенно в 1990 году, перед лицом национальной эйфории, опасаясь, что поспеш-

ное, непродуманное объединение Германии приведет к созданию унитарного немецкого государства, политический централизм, экономическая мощь и даже демографический потенциал которого могут возродить великогерманский шовинизм, что приведет к катастрофическим последствиям для самой Германии, ее соседей, Европы и мира в целом. Этой тревогой и проникнута повесть "Крики жерлянки".

Художник

Дневник Грасса, пожалуй, впервые дает понять, сколь значительное место занимает в его жизни и творчестве изобразительное искусство. На протяжении 1990 года, столь насыщенного разнообразными событиями, которые отнимали у Грасса много времени и сил, он создал более сотни большеформатных рисунков, эскизов, литографий. Все они стали также своего рода "криками жерлянки", так как были посвящены гибели европейских лесов (цикл "Мертвый лес") и разрушению природного ландшафта открытыми разработками бурого угля. В 1990 году состоялось несколько выставок графических работ Грасса в ФРГ и ГДР.

Среди работ этого периода особое место занимает большой триптих, который сам Грасс называет экологической "Голгофой". Триптих вновь посвящен теме гибели леса, а его центральная часть изображает умирающие деревья, которые напоминают распятия. Теперь этот триптих служит алтарной иконой в приделе любекской церкви Св. Марии. Возле этой первой и, быть может, единственной "экологической иконы" неизменно молчаливо застаиваются люди.

Семьянин

Значительное место занимают в дневнике Грасса события личной и семейной жизни. Семья у него большая: четверо детей родились в первом браке Грасса с Анной Шварц, о знакомстве с которой и о первых годах совместной жизни подробно рассказывается в автобиографической книге "Луковица памяти". Этот брак распался, у Грасса появилась новая женщина — архитектор и художница Вероника Шрётер. Их непростые отношения и рождение дочери Хелены стали темой романа "Палтус". Эта книга, которую, по недавнему признанию Грасса, он особенно любит, писалась на протяжении нескольких лет, трудных и для него лично, и для его близких. Успокоение настало благодаря органистке Уте Грунерт, нынешней жене Грасса. С ней к семье добавились двое ее сыновей от первого брака. Но в промежутке у Грасса был еще один роман с Ингрид Крюгер, редактором издательства "Лухтерханд", завершившийся рождением младшей дочери Нене. Итак, четыре женщины, восемь теперь уже взрослых детей, которые обзавелись собственными семьями, семнадцать внуков и внучек. Грасс уделяет им много внимания и времени, и все это находит свое отражение в дневнике.

Двадцать лет спустя

Почему Грасс решил опубликовать свой дневник именно сейчас, по прошествии почти двадцати лет после описываемых событий? Думается, одна из причин заключается в том, что нынешний год для Германии — особый.

Во-первых, на него приходятся сразу несколько юбилеев. Семьдесят лет назад Германия начала Вторую мировую войну. В 1949 году возникли ФРГ и ГДР, немцы разделились на два государства, каждое из которых отреклось от нацио-

нал-социализма и провозгласило себя поборником демократии. И наконец в нынешнем году отмечается двадцатилетний юбилей “октябрьской революции” в ГДР, падения Берлинской стены и объединения Германии.

И в этом же году немцам приходится участвовать в исключительно большом количестве выборов разных уровней — от Европейского парламента и бундестага до земельных и коммунальных парламентов. Добавьте сюда выборы федерального президента и федерального канцлера. Понятно, что темы юбилейных событий будут максимально использоваться в агитационных кампаниях. Что же касается Грасса, то он принял для себя решение вновь активно вмешаться в предвыборную борьбу.

Грасс высказывается на политические темы как частное лицо — писатель, художник, семьянин, не равнодушный, однако, к проблемам политической и общественной жизни страны и мира. А это и означает для него быть гражданином.

Б. Хлебников

Герта Мюллер

В *молчании мы неприятны, а если заговорим – смешны*

Перевод Марка Белорусца

Молчание — это не пауза, а вещь в себе. Я еще дома узнала тот крестьянский способ жизни, при котором употребление слов не входит в привычку. Когда говоришь не о себе, много не скажешь. Чем больше кто-нибудь молчал, тем сильнее ощущалось его присутствие. Я, как и все в доме, не дожидаясь слов, училась понимать дрожание складок на лице другого, подрагиванье вены на шее, крыльев носа, или углов рта, или подбородка, или пальцев. В кругу молчащих наши глаза выучились определять, какое чувство влачит по комнатам другой. Мы больше вслушивались глазами, чем ушами. Появлялась приятная тяжеловесность, растянутый во времени избыточный вес вещей, которые мы повсюду носили с собой в головах. Такого рода вес придают вовсе не слова, слова непоседливы. Стоит их произнести, как они, едва досказанные до конца, уже немы. Да и выговаривать себя слова позволяют лишь поодиночке, одно вслед за другим. Очередь любой фразы подходит тогда, когда предыдущей больше нет. При молчании же все приходит сразу, все там внутри зависает: и то, что долгое время не высказывалось, и то, что никогда не будет высказано. Это — замкнутое в себе, устойчивое состояние. А *говорение* — нить, которая сама себя перекусывает, ее нужно каждый раз снова связывать.

Попав в город, я удивлялась, как много городским приходится говорить, чтобы сохранить ощущение себя, чтобы стать друзьями или врагами, чтобы что-нибудь отдать или получить. А главное, как много они жалуются, когда заговаривают о себе. В их разговорах заносчивость и сострадание к себе сочетаются с самовлюбленным кривлянием почти в каждой фразе. Вечно городские расхаживают со своим замусоленным Я на губах. Вся театральность у них какая-то эластичная, суставы под кожей не такие, как у крестьян, а язык во рту воспроизводит личность каждого еще раз. Эта необходимость говорить меня угнетала, я долго училась молчанию, притащила, вдобавок, вместе с собой из деревни свои тяжеловесные кости и вообще поначалу не говорила по-румынски, а потом изъяснялась довольно убого. Удваивание личности, которым постоянно занимались, вертясь и дергаясь, городские, я объясняла для себя обустроенностью здесь всего, что меня окружало, даже пространства под открытым небом. Улицы, площади, берег реки, парки — везде булыжник или асфальт не только ровней, чем деревенские дороги, но и ровней полов у нас дома, в парадных комнатах. Это пространство обустроено получше деревенских летних кухонь с глиняным полом, думала я. Мне требовалось какое-нибудь объяснение, и я выбирала самое простое: когда ноги стоят на ровном, языку можно, а то и нужно болтать, хоть ни единой мысли нет в голове. Пашня этого не допу-

скает, потому что она изрыта и алчет гниения и распада. К асфальту подступают с разговором, к пашне — с грузной медлительностью костей и, зная ненасытность земли, просто тянут в своей беззащитности время: язык во рту оставляют в покое, а землю — в ожидании. На асфальте становишься легче; где ведутся беспрерывные разговоры, там смерть располагается не *под* жизнью, а *за* ней. Вместе с тоской по дому меня мучила совесть, что я вроде бы улизнула, а других оставила на поживу деревенской земле, этому цветущему паноптикуму разных видов смерти. Смерть я привыкла видеть среди повседневности. Я о ней помнила, и она искала меня — еще прежде чем ко мне явилось государство со своими смертельными угрозами. Искала она меня там, где заканчивался городской асфальт и обнажалась земля. Смерть обитала на городской окраине, которая стала окраиной моего детства: присаживалась на бетонные столы овощного рынка, где старые женщины с гор продавали горькие, покрытые седоватым пушком персики величиной с орех. Они походили на лица этих женщин — тоже были старческие. Смерть прогуливалась в парках, где от юных красноватых листьев на тополиной аллее разило как от стариковских комнат. Вдоль улиц в цветущих липах тоже сидела светло-медового цвета смерть — когда с деревьев слетала желтая пыль. На асфальте липы пахли иначе, в деревне было много лип, но только здесь, в городе, когда они цвели и я слышала запах, мне подумалось: "липовый прах". Смерть разыскивала меня в огромных далиях, растущих в палисадниках: даже свернув лепестки, они не могли унять неистовство своих красок. Пока в моей жизни не появилась угроза, они, эти городские растения, являли для меня идеальный пример смерти как таковой. Тогда собственная смерть, если я о ней думала, представлялась мне естественной смертью, расставанием с плотью на плотном городском асфальте. Через некоторое время, благодаря тайной полиции, смертельные угрозы стали частью моей и моих друзей жизни, и отношение к смерти у меня переменилось.

Когда после мучительного допроса я снова оказываюсь на улице — глаза застывшие, точно гипсовые, в мыслях путаница, ноги чужие, будто одолженные, — и в таком состоянии направляюсь к дому, далии мне показывают, чтó со мной — являют именно то, о чем словами не скажешь. Им ничего для этого не нужно, кроме запаха, цвета и формы, которые неизменно при них, и кроме места, но далии и так стоят на своем месте. Они чудовищно преувеличивают происшедшее, но тотчас к увеличению добавляют умаление, оно мне необходимо, чтобы освоиться и присоединить последнее событие к ряду предыдущих. Далии, к примеру, показали, что я должна воспринимать допрос как служебную обязанность следователя. На столике, за которым сидят допрашиваемые, останутся царапины, сделанные теми, кто был здесь до меня, и теми, кто будет после, так что я — один случай из многих, но и единичный случай. Что для меня смятение и ужас, то для следователя — будни, всего лишь рутина в его отвратительной работе, это и явили мне далии. Однако — подсказали они — есть некоторая особенность в том, что следовательская рутина вытворяет со мной. Мне надлежит эту особенность самостоятельно осмыслить и — в одиночку — себя защищать. Нужно назначить себе достаточно высокую цену, чтобы стоило обороняться, даже если со многими до моего допроса и после него случается то же, что со мной. Как объяснить, что от далий мне передалось довольно устойчивое отношение к грозящему извне, как облечь в слова, что в середине каждой далии — допрос, когда приходишь после допроса, и тюрьма, если тот, кого любишь и боишься потерять, в тюрьме. И еще — что в каждой далии сидит ребенок, если ждешь ребенка и не хочешь его, не хочешь взваливать на него эту мерзкую жизнь, но за аборт, если накроют, посадят.

Сколько же мне нужно проговорить, если подруге, подробно расспрашивающей о допросах, постараться сказать все. Все рассказать — означает: все, что можно сказать словами. Я ей сообщала всякий раз все факты, но не касалась другой их стороны. Ни слова не сказала о растениях, которые, когда я шла мимо палисадников к дому, помогали мне понять мое состояние. Ничего я не говорила ни о старческих персиках, ни о липовом прахе и не упоминала далии. Молчание уравновешивало *говорение*. Где молчание могло быть ошибочно истолковано подругой, приходилось говорить, а там, где *говорение* вызвало бы сомнение в моей нормальности, приходилось молчать. Мне не хотелось, чтобы она меня опасалась, и не хотелось выглядеть в ее глазах смешной. Мы близко дружили и виделись ежедневно. Но оставались разными, благодаря этому наша дружба была очень прочной. Каждая из нас нуждалась в том, что имела другая. Между нами существовала та степень близости, рассуждать о которой не возникает потребности. Мои путеводные звезды для нее не светили, и с отвагой растений ей сталкиваться не случалось. Она была настоящее дитя города. Я видела, как ее ощущения легко проскальзывают там, где мои — застревают; где я медлила, она шла, не раздумывая, напрямик. Этим она мне и нравилась. Меня бы она высмеяла, расскажи я ей про паноптикум разных видов смерти в какой-то цветущей долине. Она понятия не имела о жалком одиночестве посреди ландшафта — счете, предъявляемом бренностью, который ты не в состоянии оплатить. На окружающее она умудрялась смотреть со стороны, определив для себя границы, в которых могла его выносить, в словах она не копалась. Вместо этого увлекалась украшениями и платьями, а Режим презирала за бездарность во всех его чувственных проявлениях. И Режим к ней не цеплялся. Занималась она технологией сварки, ее специальность ценилась как созидательная, а значит, полезная для государства. Ну а то, что делала я, считалось деструктивным. По-немецки она не знала ни слова и понятия не имела, о чем я пишу. Потому, наверное, Режим воспринимал нашу дружбу как аполитичные женские отношения. Но на самом деле моя подруга была политически пристрастна в силу своего сумасбродного характера: раболепие вызывало у нее физическое отвращение, и морально она оказывалась последовательнее многих, несмотря на их политические теории и подрывные разговоры. Я нуждалась в ней: осколкам во мне она противопоставляла цельность. Цельность была в ее поведении, но тело у нее тогда уже — ни она, ни я об этом не подозревали — пожирала смерть. Про рак она узнала слишком поздно. Я эмигрировала, ей оставалось жить три года. Она приехала в гости, показала шрам на месте ампутированной правой груди и призналась, что прибыла сюда по заданию тайной полиции. Ей поручили сообщить мне, что я в списке смертников: если не прекращу презрительно отзываться на Западе о Чаушеску, меня уберут. Предав меня уже тем, что приехала в Берлин, она, признаваясь в предательстве, твердила, будто неспособна поступить мне во вред. Через два дня я велела ей собирать вещи и отвезла ее на вокзал. На перроне мне не пришлось махать вслед поезду платком, как и не пришлось вытирать им слезы. Я не нуждалась в носовом платке, чтобы завязать себе узелок на память, этот узелок и так торчал комом в горле.

Через два года после того преждевременного отъезда она умерла от рака. Любишь человека и покидаешь его потому, что этот человек, не понимая, что делает, свое чувство к тебе использовал, чтобы услужить тайной полиции, использовал против тебя и твоей жизни. Она нашу дружбу одолжила королю[1], который

1. Название эссе и одноименной книги Герты Мюллер — “Король кланяется и убивает”. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, — прим. перев.*)

ей кланялся, а меня хотел убить, она думала, что я снова верну ей нашу дружбу, как бывало прежде, когда я на нее полагалась. Чтобы меня обмануть, ей пришлось лгать себе, это идет рука об руку, одно вместе с другим. Потеря этой дружбы до сих пор остается зияньем в моей жизни. Мне хотя бы из-за бывшей подруги пришлось придумать "короля" и "всердцезверя[1]". Ведь оба понятия обоюдоостры и кружат в дебрях любви и предательства. Когда пишу, я должна спросить у слов, которые приходят и которых недостает, "отчего, и как, и когда отвязавшаяся любовь сбегает в зону смерти"[2]. Даже если покидаешь кого-то, потому что не можешь иначе, чувство вины остается. Мне пришлось взять себе в помощь одну из прекрасных народных песен, чтобы закончить главу об этой подруге в своей книге.

А кто любит да покинет
пусть того Бог карает
пусть Бог его покарает
жука поступью
ветра посвистом
земли прахом

Добавить нечего. Песня широко известна в Румынии, она сейчас сама приходит мне на ум, как другим, должно быть, — молитва. Не веря в молитву, начинаешь беззвучно петь. Эта песня для меня — вроде далий в палисаднике. Как и далии, песня дает возможность присоединить эту потерю к ряду других бед.

Меня изумляют и пугают растения, у которых волосатые и слишком тонкие, вьющиеся стебли, глубоко иззубренные листья, вызывающие зуд, и большие, будто головы, плоды. Эти головы молчат, их лица, зарастающие яркой плотью, повернуты вовнутрь, как у тыкв или арбузов. Такие растения набирают вес, который сами нести не могут. Разрастаясь, они лезут по земле, карабкаются на ограды, но сами свои плоды не несут. Боясь сломаться, они запрокидывают головы в широкий подол поля или виснут на заборе, цепляясь за деревянные планки. Деревенским ребенком я замечала, глядя на них, как сказанное в церкви преобразуется в растительность, так стало со словами апостола Павла: "Носите бремена друг друга"[1]. По таким растениям — извне — можно было увидеть, что будет, если изнутри у кого-нибудь снять хотя бы часть груза. Я хотела подсмотреть у растений, как это делать людям. Но тут ничего не поделаешь. Моему отцу пришлось самому нести бремя своего пьянства. Никто не мог взять на себя плач моей матери, а если я и плакала вместе с ней, то причины для плача у меня были другие. Мать плакала оттого, что муж пьет и хватается за нож, когда она его отчитывает. А я плакала, потому что хотела иметь мать, которая хоть раз поплачет из-за меня, поплачет над ребенком, которому непонятно, за что ему такие родители: отец, слишком пьяный, чтобы быть отцом своему ребенку, и мать, так измученная отцовскими запоями, что ей не до дочери. Дед сам таскал свои бесконечные учетные книги, а бабушка — молитвенник с вложенным между страницами снимком погибшего сына.

Я думаю, мы все, какие ни есть, теснясь в этом доме и во дворе, молчали друг *мимо* друга. Наши вещи держались вместе, а головы старались держаться друг от друга подальше. Так мы, три поколения, торчали здесь, в одном доме. Если нет привычки друг другу что-либо говорить, то нет нужды и привыкать думать словами. Находясь здесь, говорить было ни к чему. Этим определялось внутреннее отношение друг к другу, в городе такие отношения — не у людей, а у далий. Привыкнешь к ним и не замечаешь, что не говоришь ни слова. Даже мысли не возникает сказать что-нибудь — ты заперт сам с со-

1. Название романа Герты Мюллер (1994).
2. Цитата из романа "Всердцезверь". (*Прим. автора.*)

1. Послание к Галатам. 6: 2.

бой в молчании, а других просто удерживаешь в поле зрения.

Вопрос "О чем ты сейчас думаешь?", который близкие часто задают детям, мне, деревенскому ребенку, был незнаком. Не знала я и обычный ответ: "Ни о чем". Такой ответ в большинстве случаев не принимался, его считали отговоркой или уверткой. Предполагается, что каждый всегда о чем-то думает, и знает о чем. Думать, мне кажется, можно "ни о чем", то есть думать о чем-то, но что это — не знать. Если думают не словами, значит — "ни о чем", потому что такое подуманное нельзя выразить словами. Ты подумал о чем-то, что не нуждается в оконтуривании словом. Оно, это подуманное, залегло в голове. Проговоренное улетучивается, молчание же остается лежать, лежать и пахнуть. Раньше оно пахло тем местом в доме, где я пребывала среди других, рядом с собой. Молчание во дворе пахло цветущей акацией или свежескошенным клевером, а в комнатах — порошком от моли или айвой, выложенной в ряд на шкафу, а в кухне — тестом и мясом. В голове каждый держал свою лестницу, по которой молчание поднималось и опускалось. Вопрос "Что ты сейчас подумал?" мог быть приравнен к нападению. Понятно, что тайн у всех хватало. Каждый свои тайны недоговаривал, если мы говорили о работе или вещах, которые своим присутствием доказывали нашу соединенность. И мою соединенность со всеми в доме. Не их вина, а моя, что слишком долго я их разглядывала, вынудила их стать такими жуткими, и они усомнились во мне. В сопоставлении с материалом, из которого они сделаны, с его естественной прочностью, моя ткань была недолговечной, в этом-то и заключалась моя несостоятельность.

Я упомянула арбуз, потому что в нем библейский стих "Носите бремена друг друга" преобразился в растение. Арбуз здесь, взятый в качестве примера, позволяет показать, как молчание преспокойно может на всю жизнь поселиться у кого-то в голове, став внутренним отношением, если этот кто-то решит, что нелепо растрачивать мысли в *говорении*. Утром в воскресенье я с удовольствием ходила в церковь, это был повод избежать чистки картофеля. В доме никто не посещал церковь, так что меня отпускали туда за всех остальных. В общественном мнении это был плюс, да и тем, кто в доме, должно быть, представлялось, что Господь понимает: раз ребенок идет молиться, значит, у других в семье нет времени. Моя бабушка, которая верила в Бога, ежедневно молилась о себе дома, утром и вечером. С тех пор как ее сын погиб на войне, она ходила в церковь только раз в году, в День памяти погибших на войне. В тот день я всегда сидела рядом с ней. Меня в этой церкви влекла большая гипсовая фигура Девы Марии, потому что у нее видно было сердце. Нарисованное снаружи на длинном до пят голубом платье — очень большое, темно-красное с черными крапинами внутри. Подняв указательный палец, Дева хотела привлечь внимание к своему сердцу. Сердце было довольно скверно нарисовано, и даже лучше, что, вопреки намерению деревенского художника, его слегка перекосило, превратив во что-то такое, чем ему быть не следовало. Порой, когда меня посылали в деревенскую лавку купить какую-нибудь мелочь, случалось, что я и средн дня заглядывала в церковь. Если я оказывалась одна, это была для меня не церковь. Я не крестилась и не приседала, я приходила в гости к Марии. Там, в прохладе за алтарем, стрекотали сверчки, как вечером во дворе. Я шла прямиком к Марии, во всех подробностях разглядывала ее сердце, сосала карамель, которую купила себе на остаток денег, и даже клала одну конфетку возле ее босых ног. Это мог быть и обрывок нитки, если мне поручали купить ниток, или спичка из коробка, иголка, заколка для волос. Потом я снова выходила на улицу. Однажды я положила ей возле ступни канцелярскую кнопку и вернулась с полдороги, чтобы эту кнопку вколоть в пол. Ма-

рия могла на нее наступить. Я ей не молилась никогда и ни разу не принесла ей цветка.

Начиная с зимы всю весну и до конца лета ее сердце было — всякий раз, как я на него смотрела, — разрезанным арбузом. Только осенью наступил День погибших на войне, и бабушка пошла со мной в церковь. Я шепнула ей на ухо: "Глянь, сердце Марии — половинка арбуза". Бабушкино колено пару раз качнулось и вроде невзначай — вокруг сидели люди — дотронулось до моего. Она шепнула в ответ: "Похоже, но говорить так нельзя". Бабушка еще подвигала ногой, чтоб подумали, будто она это делает просто так, а не подает мне знак: сейчас, мол, нужно внимательно слушать. По дороге домой она к разговору вернулась, но так коротко, что в самом ее *говорении* уже было молчание. Она крапленное черным сердце и разрезанный арбуз свела в коротком слове ЭТО, сказав: "Про ЭТО у Марии — никому ни звука". Так я и поступала, даже после ее смерти, даже когда я уже жила в городе. Пока я не начала писать, об этом незачем было говорить.

Если смотреть со стороны, писательство, пожалуй, сходно с *говорением.* Однако если посмотреть изнутри, оно сопряжено с одиночеством. Написанные фразы относятся к пережитым событиям по большей части так же, как молчание — к *говорению.* Когда я вставляю пережитое в эти фразы, начинается своего рода призрачный переезд. Внутренности событий упаковываются в слова и учатся ходить, отправляются на незнакомое — пока не переедут — место жительства. Если прибегнуть к той же метафоре переезда, то у меня, когда я пишу, ощущение, будто кровать переместилась в лес, стул — в яблоко, а улица проходит внутри пальца. Но бывает и наоборот: сумочка становится больше города, белки глаз — шире стены и наручные часы — громадней луны. У тебя есть — в проживаемом — места обитания, есть над головой открытое небо или потолок, а под ногами — земля, асфальт или пол. Ты окружен часами и минутами, перед твоими глазами дни или ночи. Рядом с тобой чье-то присутствие: людей или же только вещей. Мерилом для тебя служат начало, продолжительность и конец какого-нибудь происшествия, сжатость или протяженность времени ощутима кожей. Все это вместе происходит отнюдь не ради слов. *Проживание* как процесс плевать хотело на то, что ты пишешь. Реально произошедшее никогда не даст ухватить себя словом точно. Чтобы описать, его нужно подкроить к словам, оно должно быть совершенно по-новому придумано. Увеличить, уменьшить, упростить, усложнить, упомянуть, упустить — это тактика, у которой свои цели, переживаемое для нее лишь повод. Когда пишут, пережитое утаскивают в некую иную сферу деятельности. И прикидывают, какое слово на что способно. Нет больше дня или ночи, деревни или города, власть — у существительных и глаголов, главных и придаточных предложений, у такта и звука, строки и ритма. А реально произошедшему отводится второстепенная роль. Слова наносят ему один удар за другим. Оно снова оказывается на первых ролях, как только перестает узнавать самое себя. Чтобы написать о пережитом, необходимо сокрушить его самомнение и свернуть с реального пути на придуманный, потому что только такой путь может вновь уподобиться реальному.

При этом ты не имеешь права отпускать близкое сердцу беззащитным на волю волн, не можешь ему позволить разбиться о неверный абзац. Я всегда пишу с потаенной мыслью, что те, кто много для меня значат, это прочтут, даже если они мертвы — тем более если они мертвы. Мне хочется словами приблизиться к ним. Это отстояние — единственное мерило, о котором мне известно, что я им владею, по нему я оцениваю, насколько хороши мои фразы или плохи. Когда пишу, у меня есть такое — возможно, наивное — дробящееся на частности моральное обязательство. Оно было и оста-

ется противоположностью взгляду сверху и всякого рода идеологиям — а потому служит лучшим лекарством от подобных вещей. Идеология не спускает глаз с целого. С ее точки зрения, написанное — либо дозволено, либо запрещено. Чтобы не отступить от дозволенного, скованные идеологией авторы изобретают в своих текстах разве что новые комбинации готовых блоков. А блоки могут варьироваться лишь там, где целое в себе не сомневается. Любителей идеологии приводит в смятение любое твое внутреннее моральное обязательство, взятое тобой по сугубо личным мотивам. Это обязательство не чувствует себя обязанным целому; обязательству к тому же известно, что каждый текст рвется за границы предсказуемости, которая и сама убегает с пятачка, отведенного для нее идеологией. Написанное по внутреннему обязательству рассматривает себя не как позволительное или запретное, а как правдивое или лукавое.

Записывание превращает прожитое в тексты, а не в разговоры. Пережитые события в момент, когда они происходили, не вынесли бы слов, какими их записали позднее. Писать, в моем всегдашнем представлении, означает ступать по краю, балансируя между разглашением и сохранением тайны. Но и на этой грани все переливается: реальное — пока разглашается — сворачивает в придуманное, и сквозь придуманное теперь проблескивает реальность — именно потому лишь проблескивает, что не выражена в словесной форме. Половина того, что пробуждает в нас текст при чтении, не сформулирована. Эта-то неоформленная словом половина и допускает сбой в мозгах, она отворяет дверь поэтическому потрясению, которое — нужно признать — и есть *думанье* без слов. Такое потрясение еще называют: чувственное ощущение.

Многие вещи я никак не могла окончательно уяснить себе, понять, что́ они такое. Они постоянно преображались — смотря по тому, для чего ими пользовались. Моя мать давала мне самый большой нож в доме и посылала на чердак, в коптильню возле дымовой трубы. Там висели свиные окорока. От меня требовалось отрезать кусок окорока и принести на кухню. Поднимаясь по лестнице, я спрашивала себя, как мать не боится, что я использую нож какнибудь не так. Я упаду на него и пораню себя. Могу не доглядеть и порезать руку, когда буду резать свинину. А могу и нарочно себя убить. Нож каждый раз будет немного другим, если его применить для чего-то иного, а не для резания окорока. Я тянула время и, случалось, надолго застревала на чердаке. На меня будто находило безразличие или даже что-то вроде пренебрежения, когда я стояла снова на кухне, и мать, как будто это в порядке вещей, забирала у меня из рук нож и кусок свинины. Ничего, кроме возни с окороком, ей в голову не приходило, она не задавалась вопросом, почему я — с большим ножом — столько времени отсутствовала.

Мы говорим “носовой платок”, но *какой* платок имеется в виду. Носовой платок, когда вытирают слезы, — не тот платок, которым машут при прощании, и не тот, которым перевязывают рану, и не тот, в который сморкаются при простуде, и не тот, на котором завязывают узелок на память, и не тот, в который завязывают деньги, чтобы не потерять, это и не платок, что лежит на обочине, кем-то оброненный или выброшенный. Такой же носовой платок — да не тот. Как много невысказанных возможностей кроется в обыкновенной фразе: “Дама спрятала свой носовой платок”.

Однажды летним вечером на кладбище соседский мальчик сказал мне, что для мертвых душ этот мир не больше носового платка. Нас послали на кладбище поздно вечером, когда спал дневной зной, незадолго до того, как совсем стемнело, ведь цветы на могилах поливают, когда прохладно. За кладбищенской часовней был пруд. Лягушачье кваканье долетало до неба. Когда мы за-

черпывали лейками воду, лягушки размером с кулак плюхались с листьев кувшинок в воду. Раздавался глухой звук, словно комья земли, падая в могилу, стучали о крышку гроба, и кто-то, присутствовавший на собственном погребении, мог услышать их последний привет. Мы таскали полные лейки и видели, что из иных могил, с которыми нам не нужно было возиться, поднимается белый пар. Цветы мы поливали каждый за себя, землю мучила жажда, и дело спорилось. После мы сидели рядом на ступенях часовни и указывали друг другу могилы, из которых вылетали души. Мы не говорили ни слова, чтобы те души не спугнуть. Одна душа вылетела из пустой могилы. Этот мертвец погиб далеко отсюда на войне, как и сын моей бабушки. Его душа была как жалкий цыпленок. На могильной плите стояло: спи спокойно в чужой земле.

Лишь на обратном пути разговор у нас зашел про души. Обычно мы сходились на каком-нибудь животном. Бывают души ящериц и тетеревов, а еще — гусиные, заячьи и журавлиные. Души мертвых летают повсюду, сказал соседский мальчик, земля для них не больше носового платка.

Как же погребальный плат, лежащий на траве, стал на снимке выглядеть носовым платком. И как посмертный снимок сына стал закладкой в молитвеннике матери. Как умещается смерть на буро-белом снимке, что не больше спичечного коробка. Как она настолько себя ужала, да еще оставила со всех сторон поля в палец шириной для травы. Сын моей бабушки, разорванный миной в клочья, на носовом платке схож с пригоршней прелых листьев, согнанных ветром. Как смел фронтовой снимок, ставший извещением о смерти, спутать погребальный плат с носовым платком и человека — с прелыми листьями. Никто не может снять с моей бабушки бремя потери сына. Аккордеон напоминает ей о мертвом сыне, как абрикосовые деревья напоминают мне о мертвом отце. Аккордеон — оставшаяся от него вещь, он должен заменить его. Несмотря на горб, футляр для аккордеона похож на гроб. Будь аккордеон разорван в клочья, как бабушкин сын, сброшенный под Мостаром[1] в общую могилу, он занял бы, верно, половину футляра. Бабушка поклонялась этому горбатому аккордеонному гробу, он стоял в парадной комнате между кафельной печью и кроватью. Как зайдешь в комнату, он сразу бросался в глаза. Время от времени, когда все домашние были в саду, я открывала футляр и рассматривала аккордеон. Клавиши, белые и черные, имели сходство с белым погребальным платом и черной травой на снимке. Футляр для аккордеона был предметом бабушкиного культа. Бабушка ежедневно заходила в комнату, где проживали не мы, а футляр, и молча смотрела на него, как глядят в церкви на святых и просят в тишине о заступничестве. У нее посреди дома лежал мертвый сын, она забывала о том, что аккордеон не может быть человеком, что аккордеону безразлично, кому он принадлежит. Как мать стала путать аккордеон с сыном! Можно ли подобрать слова, чтобы описать, как эта утрата превращается в вещь, которая по непостижимой в своей сущности причине предлагает себя как проекцию исчезнувшего человека. А ее муж — он до 1945 года владел землями вокруг деревни — торговал зерном и бакалеей, социализм оставил ему из собственности лишь сундук, набитый учетными книгами, предназначенными для регистрации товарных поездов, груженных хлебом или кофе, — как он в графы, где требовалось указать вес в тоннах, стал вписывать свои жалкие повседневные покупки. Первая графа называлась “Наименование поставки”, он в нее записывал “спички”. Над второй графой значилось: “Количество вагонов/тонны” — и он писал “1 коробок”. Третья графа: “Стоимость, сто тысяч/миллион” — туда он заносил

1. Город в бывшей Югославии, ныне в Боснии и Герцоговине.

"2 леи 05 бани" (на немецком: 2 марки 05 пфеннигов). Социализм у него экспроприировал землю, сельскохозяйственные машины, счета в банке. Государству теперь принадлежали и его дом, и двор с хозяйственными постройками. Ему позволили — с женой, дочерью и зятем — занимать лишь две комнаты в доме. Все остальные помещения использовались как амбар для зерна, от пола до потолка — пшеница, ячмень, кукуруза. С раннего лета до поздней осени в задние ворота въезжали полные грузовики и выезжали через передние ворота пустыми. После того как социализм решил экспроприировать "класс эксплуататоров", мой дед, который прежде был известным даже в Вене торговцем зерном, обеднел настолько, что ему не хватало денег на парикмахерскую. Деду оставили лишь заказанные впрок учетные книги, заполнявшие большой сундук, их бы вполне хватило на десяток лет торговли зерном.

Унижение привело к тому, что дед начал свою мелочевку разносить по графам. "Чтобы мозги не заржавели", — говорил он. На самом деле в занятии, которое документально свидетельствовало о его падении, дед искал точку опоры. В этом противостоянии крушению он отыскивал собственное достоинство. Не жалуясь, вписывал дед в графы пустячные товары из деревенской лавки: 1 метр фитиля для керосиновой лампы, 3 метра резиновой тесемки, 1 тюбик зубной пасты или 1 баночка горчицы. Он суммировал дневные расходы, потом недельные, месячные и годовые. Напечатанное сверху в этих графах, сочетаясь с тем, что он по бедности заносил туда от руки, безмолвно сообщало ему, наверно, о многом, не меньше, чем мне после допроса — далии в палисаднике. Или стихи, которые я читала себе каждый день, чтобы держаться. Но мне всегда попадались стихи, которые подтверждали, что ситуация у меня безвыходная. Никому не удалось уговорить моего деда забросить его треклятые книги. Только потом, уже очутившись в городе и привыкнув читать себе стихи, я сумела понять, что дедовы книги — не молитвы для него, а стихи. Возможно — что и далии.

Из-за близости к растениям, неизбежной для сельской девочки, я и городским растениям приписывала разные умыслы. В городе моими врагами стали туя и ель, как прежде в деревне — кукуруза. Они были растениями власть имущих, а далии и тополя — растениями тех, кто лишен опоры. Туя и ель несли службу как вечнозеленые живые заборы вокруг государственных зданий и персональных вилл. Хочешь не хочешь, а семенные головки туи, равно как и еловые шишки, выглядели, будто урны в миниатюре. Эти растения изменили своей природе, они — что не вызывало сомнений — приняли сторону государства. К начальственным растениям принадлежали также гладиолусы: в качестве праздничных букетов Режима они выстраивались вдоль трибун, возвышаясь над капризным, давно завядшим папоротником. Гладиолусы гляделись, как цветущие полицейские дубинки, а красные гвоздики красовались в виде партийных значков. Бывают и государственные животные: чайки на Дунае, употребляющие в пищу человеческое мясо, и сторожевые собаки — полицейские, лагерные, пограничные. Вереницы муравьев выедают до пустотелости стены домов — только у бедных. Только у бедных терзают кожу блохи и вши. Да еще мухи. Мы с друзьями, собравшись вместе, играли по вечерам в одну игру с участием мух. Она называлась "Самокритика мухи". Мы включали свет на кухне и усаживались вокруг стола в темной комнате. Кто-нибудь вставал, тушил свет в кухне и зажигал в комнате. В тот момент, когда в комнате становилось светло, мы, условившись заранее, выкрикивали имя известного нам оперативника. Мух привлекает свет, и опер в виде гудящей мухи через мгновение залетал в комнату. Всякий раз он сперва садился к нам на стол — там было светлей всего. У нас это вызывало

смущенно-громкий смех, но, когда муха, жужжа, начинала кружить по комнате, ее полет мы комментировали. А иногда игра велась в ином направлении: мы присваивали мухе одно из наших имен и повторяли игру до тех пор, пока каждый, в виде мухи, не проникал в комнату. Пока муха не подтверждала: мы здесь в полном составе, потому что еще все могли собраться. Тогда мы были еще в полном составе, а больше — никогда. После настала пора галса ночи. Поэтому, по всей вероятности, я вместо того, чтобы играть с мухами, предпочла игру с вырезанными из газет словами:

Идет быть может тишина
через каморку яблока
как псы у дам на поводках
как имена через газету на строках
как опер через лето
на землю падок и на ветер
по галсу ночи в горле
враз муху принесло
из кухни вдруг

То, что, сглаживая, именуют Историей, было (начиная от национал-социализма и по 50-е) буквально у каждого в моей семье галсом ночи — в горле. Каждого из них История призвала, и каждому пришлось у этой Истории — в качестве преступника или жертвы — объявиться. И никому из них не удалось уйти невредимым от Истории. Мой отец топил в запоях годы своей солдатчины в СС. Мать сражалась с полуголодной и остриженной наголо депортированной девочкой, какой была когда-то. Бабушка поклонялась футляру для аккордеона, дед держался за учетную книгу. В голове у каждого из них приходили в столкновение вещи, которым вообще не следовало друг с другом соприкасаться. Я по-настоящему поняла, как каждого из близких тяготила его ущербность, только тогда, когда сама очутилась в тупике. Я узнала, что перегрузка нервной системы, вызванная глубинным разломом, остается навсегда. Перегрузка распространяется на все последующие годы и даже захватывает прошедшее время. Она изменяет вещи, возникшие *после* и бывшие *до* нее. Вещи, которые не имели бы в жизни ничего общего с образовавшейся расселиной, если бы не было самой расселины. Это зиянье все вокруг намагничивает и притягивает, нет такого — ни в голове, ни в жизни — что могло бы существовать отдельно от него. А происходившее до разлома предстает теперь, задним числом, так, будто где-то оно уже пряталось и оттуда, неузнанное, тогда уже откровенно возвещало грядущий крах и было прологом, который люди легкомысленно проигнорировали.

В семнадцать лет я со своим школьным классом впервые попала на Черное море. Вода была зеленая, с белой пеной. Моему по-деревенски раздольному взгляду море предстало самым широким и ровным лугом из всех, какие я видела, с пеной всевозможных кучерявых трав, готовой выплеснуться и разлиться. Мне был знаком приткнувшийся к краю неба просторный зеленый выгон, настолько плоский, что каждый человек был виден издалека. При такой обозримости ты прежде всего становился беззащитно зримым для себя, насквозь прозреваемым с головы до пят, так что небо едва ли не поглощало тебя. Но провал возникает в твоей голове, а не под ногами. У меня хватило смелости забраться на глубину вероятно потому, что я доверилась луговой пене, даже не думая о том, что не умею плавать. Твердая почва ушла из-под ног, луг, недосягаемо высокий для разлива, обернулся для меня водой, достаточно глубокой — чтоб утонуть. Плыть я не пыталась, в мыслях было одно: миг, и море меня поглотит. Я потеряла сознание, снова пришла в себя уже на берегу, вокруг столпились люди. Кто-то увидел, как я тону, и вовремя вытащил на сушу. Во мне все смешалось, и даже в голову не пришло спросить, кто меня спас. Я и спасибо не сказала. На следующий день, когда я наконец спросила, все лишь пожимали плечами и говорили, что это был неизвестный чело-

век, он сразу после того, как мне сделали искусственное дыхание, выбрался из толпы.

На оставшиеся одиннадцать дней каникул вода стала для меня запретной полосой. Я проводила время на асфальте возле уличных кафе, словно моря здесь и не было, но куда бы я ни пришла, всюду во мне видели тонувшую. Вода непрестанно заливалась в уши. Я не волновалась, пока тонула, ужас накатил потом, и преодолеть его никак не удавалось. После, рассказывая о море, я не призналась домашним, что тонула. Голод моря по плоти я приберегала для себя, как умалчивала и о голоде земли по плоти. Если молчишь, мне казалось, ужас засыпает в тебе. А заговоришь, он снова просыпается. Я, когда писала об этом случае, место происшествия сдвигала, выдумывая какие-нибудь глетчерные озера в горах, потому что они высоко и небо там ближе.

После того как мне не довелось утонуть в море, я через десять лет, измотанная издевательствами тайной полиции, решила утопиться в реке, чтобы покончить со своей мерзкой жизнью. Плавать я все еще не умела, что было кстати, и все также ненавидела вероломство воды. Тем не менее на берегу я подобрала два камня, чтобы засунуть в карманы пальто. Начиналась весна, солнце грело вяло, и побеги на тополях пахли горьковато-сладко, как жженый сахар. При мысли, что я могу разорвать петлю, стискивающую мне шею, возникала легкая эйфория. Хитро, втихую выскочить из жизни – прикидывала я, – и, когда в следующий раз следователь захочет меня изводить, ничего у него не получится. Он будет там один, этот урод, в солнечном блике на треклятом полу. А что я в придачу лишу себя жизни, которую очень любила бы, не будь она такой пропащей, в тот момент для меня значения не имело. Вне страха быть убитой я свое существование больше не представляла. С сегодняшней точки зрения в этом не было логики: я же испытывала страх именно потому, что хотела жить. Но нервы у меня совсем сдали, ни о чем другом, кроме сеятелей страха, я думать не могла и возможность отнять себя у них воспринимала как триумф. Когда я планировала самоубийство, желание отомстить им выглядело чрезвычайно убедительно, мне даже в голову не приходило, как необратимо при этом я отомщу сама себе.

Камни едва удалось втиснуть в карманы, они были такие большие, что клапаны не закрывались. Все будто бы складывалось как надо, но почему-то мне захотелось бросить эти камни снова на землю. Место на берегу, где они теперь лежали, я запомнила. Я познакомилась с ними, а они – со мной, теперь я знала: когда будет необходимо, мы друг с другом сойдемся. Заключив с собой договор, я успокоилась и отправилась обратно в город. У меня получилось поупражняться в смерти, отныне мне были известны приемы, какими можно ее добыть. Она еще раз меня отпустила, однако не отвергла. Восприняла я это как отсрочку, поскольку вода оставалась еще очень холодной, весеннее солнце только сонно ее вылизывало. Впоследствии я написала: "Смерть мне свистнула. Нужно было брать разбег. Я почти полностью держала себя в руках, лишь маленькая частичка меня сопротивлялась. Всердцезверь, должно быть"[1]. Еще через некоторое время я сделала коллаж, составив вырезанные из газет слова таким образом, чтобы сквозь придуманные камни просвечивали те, настоящие, с речного берега:

топал Генрих из бюро
во средине дня
птица пела ветрово
сверху над каналом
где родинки небес венец
болтало проволоки конец
как строчку его брюк
в сорочку и сюртук
карманил Генрих камни

1. Цитата из романа "Всердцезверь". (*Прим. автора.*)

мнил малые побольше искренни
искрой
родной ему мотив
как не был никогда
разлиться высока вода
и утонуть чтоб
глубока гнездо свивает птица
с охваткою дубка в обличье
механика у ней певичья и чернота
чулка черничья

Через несколько дней после упражнения с камнями тайная полиция конфисковала у меня желание ускользнуть, утопившись, — как и многое другое. На фабрику заявился незнакомый следователь. Заперев мой кабинет изнутри, он бросил ключ на стол, уселся и потребовал воды. Я наливала минеральную воду в стакан, а он наблюдал за мной. Так долго стакан не наполнялся никогда. Хоть я и сама не знала, о чем в тот момент думала, но мне представлялось, будто он видит мои мысли, будто, как бегущая строка, они высвечиваются во мне. Невзирая на запертую уже дверь, следователь ждал с таким видом, словно мог по-настоящему прийти, только когда стакан будет налит. Наконец стакан был полон, и я ни капли не пролила. Потом вода в стакане запузырилась, а воздух стал как замороженный. Такая тишина пролегла между мной и им, что слышно было, как потрескивают пузырьки газа в воде. Вдруг он начал орать и, войдя в раж, позабыл про минеральную воду. Его локти широко растопырились на столе, плечи напряглись, а голова ушла в плечи. Голос его рвался от натуги, на шее набрякла синей проволокой жила. Я стояла, прислонясь спиной к шкафу, потому что он сидел на моем стуле, и выпискивала из себя время от времени какую-нибудь бессмысленную фразу. Мой страх придал себе видимость хладнокровия. Следователь, должно быть, заметил, что криком здесь не возьмешь, и сменил тактику. Глотнув воды и проведя по лбу тыльной стороной ладони, он придал своим интонациям видимость спокойствия и объявил, что я его дурачу, хоть мне вообще не пришлось высказываться. Он приподнял конец своего галстука, положил на стол рядом со стаканом, уставился на него, будто пересчитывая полоски, и сказал, как бы желая меня с чем-то примирить: “Да ладно, мы тебя засунем в воду”. Затем взял со стола стакан вместе с концом галстука, который уронил себе на живот, и осушил одним глотком. Пока он вытирал рот, мне вспомнились оба моих камня у реки, я знала, что больше такого со мной не случится. “Не утоплюсь. Он хочет моей смерти, пугает меня рекой, так пусть похлопочет, попотеет, не стану за него делать его гнусную работу”. С того дня я старалась держаться подальше от реки, старание зашло так далеко, что я забыла, где лежат мои камни. Реки не существовало, даже когда я ее переезжала в трамвае. Солнце скользнуло в лето, и вода наверняка прогрелась. Возле моих камней цвел шарами болотно-серый мордовник.

Тайная полиция свою гнусную работу не сделала, я за нее — тоже. Следователь, выпивший одним махом стакан воды и тотчас заговоривший об утоплении, был мне настолько мерзок, что после его ухода я вылила в умывальник остаток воды из бутылки, а стакан, чтобы больше из него не пить, выбросила в мусорную корзину. На другое утро стакан снова стоял у меня на столе. Уборщица, видно, решила, будто он угодил туда по недосмотру. Чтобы избавиться от него наверняка, я после работы засунула стакан в сумочку и по дороге домой на пыльной соседней улице швырнула его с размаху в бетонную стойку. Проезжавший мимо грузовик помешал мне услышать звон разлетавшегося стекла: звук этот был тише, чем потрескиванье пузырьков газа днем раньше. У меня в голове кружила фраза, которую обронил один из друзей. Тогда, в разговоре о румынском языке, мой друг заметил: “Что это за язык, в котором даже слова ‘утопленник’ не найдешь”. После угроз водохлёба меня это замечание очень успокаивало: если в румынском отсутствует слово “утоплен-

ник", размышляла я, тайная полиция не сможет меня утопить. Я не могу стать тем, для чего в языке, на котором изъясняется тайная полиция, нет слова. Это бессловесное место в румынской лексике маячило у меня перед глазами в виде крохотной лазейки. Я надеялась, что они до меня не доберутся, что, если дело примет серьезный оборот, я исчезну, ускользну туда, где нет такого слова. Я описала друзьям допрос, рассказала про выпитую воду и про галстук. Но не упомянула, что вылила воду из бутылки и выбросила стакан. И уж подавно не говорила о лазейке, через которую предполагала исчезнуть.

Попозже, в какое-то другое лето, мне случилось на кладбище для бедных увидеть труп молодой женщины, что избавило меня от иллюзии, будто в этой стране нельзя человека утопить, раз в румынском языке нет соответствующего слова. Я подарила этой женщине две вишни — в благодарность за встряску.

У одного из наших друзей провели очередной обыск, влезли в квартиру, когда его не было дома. И снова инсценировали взлом. Каждому из нас был знаком этот их спектакль, он повторялся неоднократно, что ни год. Они перерывали книги и бумаги, выдирали картины из рам, вспарывали подрубленные края гардин. Денег и драгоценностей не трогали. Когда обыск заканчивался, прихватывали с собой какую-нибудь небольшую, не обременительную для них вещицу: будильник, наручные часы, транзистор. Перед уходом портили замок, чтобы входная дверь казалась взломанной. Когда вы возвращались, полиция, как правило, была уже у вас дома. Обыск в полицейском протоколе назывался кражей, поскольку тот или иной предмет отсутствовал. Через некоторое время приходил вызов в суд. Кому-то, арестованному за кражу, подсовывалась вещь, забранная у вас тайной полицией. Этого арестанта вынуждали признаться, что он и совершил взлом. У нашего друга тогда пропал маленький транзистор, потом его известили, что вор Ион Сераку умер в тюрьме. Друг захотел узнать в суде адрес его семьи, на что получил ответ: у покойного, мол, семьи не было и близких не осталось. Мы решили это проверить. Зная, что одиноких покойников хоронят на кладбище для бедных, отправились туда. Предполагаемого вора вдобавок снабдили редкой фамилией: Сераку. По-румынски *saras* означает "бедный". Кладбище окружала высокая стена из бетона, поговаривали, что здесь государство закапывает свои жертвы. Был полдень, середина лета и нестерпимая жара. На кладбище цвели достававшие до колен луговые травы, бахвалились своими колюче-яркими красками. По протоптанным в них тропкам тощие бесприютные псы таскали части тел: пальцы, уши, сухожилия. Мы отыскали могилу с надписью: Ион Сираку. На ней лежал букет, и не луговых цветов, а роз. Они были еще свежими, хоть день выдался жаркий, лежали, стало быть, совсем недолго. Покойника кто-то прямо перед нами навестил. Но кто?

Посреди кладбища стояла бетонная будка. Красной масляной краской на стене было написано: "Кровопийцы". В будку вел узкий дверной проем, самой двери не было. Внутри на стене висел умывальник, а посредине находился стол из бетона. На столе лежала мертвая голая женщина. У нее ноги возле щиколоток были стянуты проволокой. Проволоку, связывавшую руки, явно разорвали потом, конец проволоки болтался, свисая с локтя. На локтевом сгибе другой руки остался след, где проволока пережала артерию. Волосы, лицо и тело облепил толстый слой ила. Мертвая была утопленницей, хоть в румынском языке и нет такого слова. Однако связанная по рукам и ногам женщина не утопилась, ее утопили. По дороге на кладбище я купила на базаре кулек вишен — просто потому, что мы проходили мимо. В растерянности, не зная, что делать, я достала из кулька две вишни и положила мертвой туда, где вытекшие глаза запали вглубь

глазниц. Мы ушли и, пока не покинули кладбище, не произнесли ни слова, ноги у нас подгибались. Травы стояли нестерпимо прекрасные, ощущение было, что они голодны и готовы меня сожрать. Вся трава будто окаменела, и казалось, она не выпустит нас из ворот. Было ли это буйно цветущее разнотравье одним большим букетом для всех мертвых, у которых нет никого, кто мог бы принести цветы, или служило цветистым прикрытием государственных убийств? Вполне возможно, оно выполняло обе функции. А может, оно не было ни тем ни другим, а лишь воплощало навязанную нам страхами дурацкую потребность как-то определить увиденное, которое мы не в силах вынести. О розах на могиле и о будке со связанной женщиной мой друг и я рассказали в нашем небольшом кругу. О псах и вишнях мы оба, не сговариваясь, умолчали. О травах умолчала только я, к этому я успела привыкнуть.

Когда через несколько лет мы все очутились здесь, в Германии, и начали рассказывать о чудовищных преступлениях Чаушеску, друзья сказали нам обоим, побывавшим тогда на кладбище для бедных, что о таком лучше помалкивать: “Никто вам не поверит, только превратите себя в посмешище. Дойдет до того, что всех нас будут считать тронутыми и вообще перестанут нам верить”. Что ж, я не упоминала о кладбище для бедных, когда пыталась дать представление о вопиющей жестокости Режима. Я выбирала далеко не самые жуткие факты — но предостерегали меня не зря, даже эти почти безобидные истории воспринимались здесь как преувеличение. Уже тогда я заподозрила, что у меня с головой что-то не в порядке. Время диктатуры вспоминается мне как некое бытие, висящее на волоске, когда я все больше и больше узнавала о том, чего не передать словами.

Это знание, из-за которого ты выглядишь смешным, я не могла просто отбросить и забыть, когда писала. Я упорно пыталась подступиться к кладбищенской траве, ухватиться за нее *с изнанки*, дотянуться до нее отсюда, из моего отстояния во времени, придумать, как изменить ее до неузнаваемости и подсунуть словам. Поодаль от кладбища для бедных — в романе “Всердцезверь” — это возникает как неожиданное озарение, повторяющееся всякий раз по-иному: “Прибегая к словам, что у нас на языке, мы вытаптываем не меньше, чем пробегая по траве на лугу. К молчанию — тоже”.

Вот еще: “Та трава вырастает в наших головах. Когда мы говорим, коса подрезает ее. И когда молчим. А вторая, третья трава растет следом, как бы то ни было. Все же нам везет”. Или: “Хочу, чтобы любовь вырастала, как скошенная трава. А нет, пусть иначе: как зубы у детей, как волосы, как ногти на пальцах. Пусть растет, как сама пожелает”. И далее, там же: “Трава подслушивает сейчас, когда я говорю о любви. У меня ощущение, что это слово нечестно перед собой”.

Есть, наверное, и другие примеры, когда мы говорим о той жизни, — не только наголо остриженная голова матери, отцовское пьянство, бабушкин футляр для аккордеона, учетные книги деда, облик далий, предательство подруги, обоюдоострая красота травы на том самом кладбище. Но и в других примерах шла бы речь о тех, кто свел знакомство с “галсом ночи в горле”, о тех, кого касаются слова: “В молчании мы неприятны, а если заговорим — смешны”.

Вера Бишицки

О той, что отважилась мыслить самостоятельно, или “Лишь тот, кто меняется, верен себе”

Перевод и послесловие Ирины Алексеевой

Друг мой, разве с тобою не так же?

любить могу лишь то,
что, если захочу,
покинуть волен:

эту страну
этот город
женщину эту
и эту жизнь

Ведь именно по этой причине
мало кто любит страну
кое-кто любит город
многие любят женщину
но жизнь любят все[1].

Протест выражается порой в совсем крошечных поступках. Иногда они до того микроскопически малы, что их вряд ли увидишь невооруженным глазом. И тем не менее в них может таиться огромная сила. Хотя сердцебиение такого героя можно ощутить, только приставив к его груди стетоскоп... Между тем все бесчисленные подлые методы слежки госбезопасности стали известны – и они превосходят даже пророческий оруэлловский сценарий будущего в “1984”, однако в наши мысли и сердца эти дамы и особенно господа в серых плащах[1] к счастью, проникнуть не могли...

Когда я зимним днем 1971 года переписывала у друзей текст этого взрывоопасного стихотворения на последнюю пустую страницу записной книжки, я казалась себе очень смелой. Ведь Вольф Бирман, поэт, бард и философ, который в 1953 году шестнадцатилетним подростком – против людского потока, устремившегося на запад, – отправился из западногерманского Гамбурга

1. Вольф Бнрман, 1965. (*Прим. автора*). Курснвом, еслн это не оговорено особо, выделены цитаты нз песен Вольфа Бнрмана. Цитируются песнн: “Лнщь тот, кто меняется, верен себе”, “Вы прославите меня”, “Друг мой, разве с тобою не так же?”, “Баллада-посвященне поэту Франсуа Вийону”, “Баллада о порочных старцах”, “Баллада о прусском Икаре”, “Ободренне”, “Баллада о ‘штазн’”, “А когда мы вышлн на берег”. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев – прим. перев.*)

1. Онн наверняка еще долго будут досадовать, что тогда у них не было этих нынешннх “чудес техннкн”... (*Прим. автора*)

на восток, в ГДР, уже давно был персоной нон грата в "государстве рабочих и крестьян". Любой контакт с ним самим или его текстами могли истолковать как преступление против государства — но если иначе никак, приходится брать в руки раскаленное железо, невзирая на все грозящие неприятности. Впрочем, не обязательно голыми руками, ведь можно же придумать что-нибудь. *Тот, кто идет навстречу опасности, в ней...* не...*сгинет.*

Этот романтик отправился на восток, чтобы пожить в мире мечты своего отца, погибшего в Освенциме, — мечты о "лучшей Германии", в духе антифашистско-гуманистической традиции. Как хорошо я его понимаю и сейчас — ведь и мой отец заронил в мою душу надежду на *новую песнь, лучшую песнь*[1]. Как было бы замечательно, если бы удалось *в небо землю превратить*. Но дождь из *сладкого горошка*, который предсказал нам Генрих Гейне, что-то до сих пор на нас не пролился. Я тоже до сих пор иногда ощущаю призрачную боль утраты. Такое чувство, сказал однажды Бирман, будто ты утратил то, во что верил в детстве...

"Лучшая" Германия не испытывала ни малейшего интереса к его неортодоксальному представлению о социализме, более того — она его опасалась. В 1965 году *порочные старцы* из политбюро наложили запрет на его выступления и публикации, длившийся вплоть до того самого момента, когда в 1976 году наконец-то окончательно выставили за дверь строптивого инакомыслящего, применив метод "лишения гражданства" — проверенное средство, которое в Германии имеет, увы, свою недобрую традицию. Собственные мысли не были желанны в стране, главный принцип которой звучит сегодня практически как пародия: по официальным поводам партийцы со всей серьезностью и энтузиазмом громогласно скандировали строки песни под названием: "Партия всегда права".

В период между 1965 и 1989 годами 194 штатных и 210 секретных сотрудников госбезопасности написали 40 000 страниц донесений и тому подобного про одного-единственного маленького человека с гитарой, 69 томов документов про *победителя дракона со звонким деревянным мечом*... Сколько энергии было потрачено впустую на эту абсурдную деятельность! А разве помогло? Хмурым ноябрьским днем 1976 года старцы лишили Вольфа Бирмана гражданства в лучшем тоталитарном стиле и посчитали, будто таким образом избавились хотя бы от этой опасности, — но они не подозревали, что, выдворив его из страны, они объявили начало конца ГДР. Ведь они пытались *погасить огонь, заливая его бензином*... Кости домино падали одна на другую на протяжении оставшихся тринадцати лет, пока, в конце концов, инерция не увлекла за собой всю прогнившую стену — и та обрушилась. Эта столь типичная реакция репрессивного государства — страх перед *контрабандой* в головах, перед — в гейневском смысле — *щебечущим птичьим гнездом запрещенных книг* и идей — разумеется, необычайно повысила интерес к его текстам у критически мыслящей, жившей не по доктрине СЕПГ и, прежде всего, молодой публики в ГДР. Песни и стихи Бирмана имели хождение в разного рода кружках, их тайком передавали из рук в руки, то в виде едва разборчивой машинописи, то в виде бессчетное количество раз переписанных магнитофонных лент, которые скрипели и трещали. Переклички с "Зимней сказкой" Генриха Гейне, в которой высмеиваются *прусские ищейки*, обнюхивающие каждый уголок в поисках запрещенных книг и прочего недозволенного духовного богатства, обнаруживаются в его творчестве повсеместно, и не с ней одной. Вообще с Гейне. Он — *дерзкий кузен* не одного Бирмана. Какое удовольствие мне доставляет чтение его текстов! И за двести лет они ни-

1. Генрих Гейне. Зимняя сказка. Перевод В. Левика.

чуть не утратили актуальности, остроты, насмешки — насколько они остроумнее изделий большинства сегодняшних литераторов!

Тонюсенький, переходивший из рук в руки и уже истершийся лист, напечатанный под копирку (способ размножения, который сегодня, наверное, уже никому не ведом, — буквы, отпечатанные бледным, почти неразличимым шрифтом), лист, с которого я переписывала это маленькое стихотворение в свою записную книжку, так много значил для меня. Эти слова пробудили меня. Стихотворение необычайно точно отражало не только состояние моих чувств. Уже в то время я ощущала не совсем еще пока понятное недовольство моей страной *семи гномов*, где мы жили более или менее уютно, но под постоянной опекой, за высокой стеной, под неусыпным наблюдением, на виду у вездесущей госбезопасности. Хотя у нас вовсе не было намерения поворачиваться спиной к той стране, где мы жили. Мы ведь по-прежнему лелеяли мечту о социализме и "лучшем мире". Но при этом хотели распахнуть окна, чтобы свежий воздух наполнил наш дом, да и очищающей грозы ничуть не страшились. Однако все это было нежелательно в нашей стране, где превыше всего чтили порядок, *словно у семи гномов* в доме, как остроумно подметил Бирман в "Балладе-посвящении поэту Франсуа Вийону". Какая потрясающая дерзость звучала в ней! Она была остроумна, полна словесной игры, иронии, разящей насмешки над обстоятельствами нашей жизни. Особенно в Берлине, где мы постоянно были опутаны колючей проволокой, сидя на которой бирмановский Вийон *ради забавы играл на большой арфе*... А не исполнял ли Вийон на своей *арфе с проволочными струнами* и дерзкие песни Гейне? Как бы то ни было, он балансировал между столетиями...

Снова и снова мы слушали пленку с записью баллады о Вийоне — она поддерживала наш бунтарский пыл. От души потешались мы и над *тремя сотрудниками великого войска народной полиции*, которые тщетно гонялись за *неким рыжим Францем Филлонком*. Многим эта песня помогла не верить партийной галиматье, противостоять все новым и новым попыткам вербовки, уклоняться от опеки властей и не бояться собственных мыслей.

Когда я больше тридцати пяти лет назад переписывала в записную книжку стишок о любви к городу, стране и жизни, я была студенткой (Восточно-)Берлинского университета имени Гумбольдта и в очередной раз оказалась в гостях у двоюродных сестер в Йене. Как ни странно, студенческая жизнь "в провинции" была тогда гораздо разнообразнее и живее, намного интереснее и привлекательнее, нежели в Берлине, среди моих благонадежных столичных товарищей. Это может показаться странным, ведь в провинции во времена репрессий организовать контроль и надзор над инакомыслящими куда проще, чем в большом городе: здесь и улочки уже, за местами встреч наблюдать легче, стены — тоньше, новые лица и одежда не как у всех быстрее бросаются в глаза... Возможно, появление широко известной впоследствии "йенской тусовки", феномен подпольного сопротивления и статус главного во всей ГДР оплота диссидентства объясняются тем, что у Йены давние университетские традиции. Alma mater jenensis была основана на 250 лет раньше Берлинского университета — такое наверняка даром не проходит...

Впрочем, первое время на меня, студентку-русистку, поглядывали с изрядным недоверием — мало кому тогда приходило в голову, что можно по собственному желанию заниматься языком и литературой нашего восточного соседа, который, согласно партийной стилистике, назывался "братским народом"!!! Такой выбор считался подозрительным и выглядел по меньшей мере приспособленчеством или, в лучшем случае, несуразным поступком человека "не от мира сего". Многих смущало, что я с упоением читала Пушкина, Гоголя,

Тургенева или Чехова, а также Ильфа и Петрова, Зощенко или Айтматова. Считалось en vogue[1] проявлять солидарность с борцами за гражданские права негров в США, со студентами из Западного Берлина или из Карлова университета в Праге, которые страдали теперь от последствий советского вторжения в Чехословакию, — но заниматься русистикой в семидесятые годы считалось в высшей степени подозрительным. Очевидно, со временем мне все-таки удалось погасить сомнения, поскольку в конце концов я, экзотическая личность с необычными пристрастиями, все же удостоилась признания в "тусовке"... Ночи напролет просиживали мы вместе в набитых книгами тесных комнатах — пестрое сборище не подстроившихся к системе молодых людей с огромной жаждой свободы. Для меня до сих пор загадка, отчего хозяйки комнат терпели наши сходки. Юноши были одеты в американские куртки-парки, многие отращивали бороды; мы, девушки, почти все без исключения носили длинные распущенные волосы на прямой пробор и конечно же все одевались в черное — ведь нам хотелось какой-то внешней символики, которая отделила бы нас от "правильных граждан", от этого *деревянно-педантичного* народца. "Шагают — ни дать ни взять манекен, муштра у них на славу! Иль проглотили палку они, что их обучала уставу[2]?" — гейневский диагноз ничуть не утратил своей актуальности...

Студенты — историки, философы, математики, химики, германисты — и я, помешанная на всем русском... Буйно и громко, попивая болгарское вино, мы спорили о Марксе, Бакунине, Малколме Иксе или о педагогических идеях А. С. Нейла[3], школа которого под названием "Summerhill" сулила детям свободу и счастье. Роман Дж. Сэлинджера "Над пропастью во ржи" был нашим катехизисом. Встречались среди нас и сторонники модной тогда макробиотики. Они питались разнообразными пророслими зернами, ходили босые и кутали свои тощие тела в экзотические одежды. Мы говорили о Руди Дучке, о пророческом романе Джорджа Оруэлла "1984", награждали себя именами вроде Буэнавентура Дуррути или Эрих Мюзам[1], Дубчек, Сартр, Бовуар, Кафка — много ли мы понимали во всех этих теориях? Бог его знает, не поручусь. И все эти *персонажи*, само собой разумеется, перекочевали из западногерманских студенческих кругов в наши круги и наши головы, несмотря на "антифашистский оборонительный вал". Здесь не помогла бы никакая стена, даже самая высокая. То была молодая неперебродившая смесь из экзистенциализма, анархизма и "социализма с человеческим лицом", мы шли напролом, прокладывая дорогу через идеологии и жизненные философии всех мастей...

Большинство книг, которые мы читали, курсировали, разумеется, нелегально, за исключением, кажется, "Над пропастью во ржи" и Карла Маркса. Но даже штудирование Маркса "официально" не очень поощрялось, правильнее было читать *про* Маркса в мудрой интерпретации товарища Ленина и прочих уже подумавших за нас философов. Самостоятельное мышление было нежелательно. Но именно оно нас и привлекало.

Охотно и часто мы использовали и термин "промискуитет", эквивалент излюбленного лозунга запад-

1. Модио (*франц.*).
2. Перевод В. Левика.
3. Малколм Икс (иаст. имя Малколм Литл, духовиое имя аль-Хадж Малик аль-Шабаз, 1925–1965) — американский мусульманский проповедник, борец за права афроамерикаицев; Алексаидр Сатерленд Нейл (1883–1973) — шотландский педагог, сторониик приицнпа максимальиой свободы ребеика.

1. Руди Дучке (1940–1979) — деятель восточиогермаиского студеического движеиия, диссидент, сторониик христиаиского социализма; Буэиавеитура Дуррути (1896–1936) — испаиский аиархист, во время граждаиской войиы в Испании — глава "Колоииы Дуррути", воииского соедииеиия аиархистов, боровшихся против Фраико; Эрих Мюзам (1878–1934) — еврейский поэт, драматург и мыслитель анархистского толка.

ногерманского студенчества: "Кто дважды с той же телкой переспит — к буржуазии тот принадлежит". Наши друзья мужского пола, видимо, считали, что это неотъемлемая часть революционного образа жизни. Мы, романтически настроенные девушки, были, впрочем, не в восторге от этого кодекса мачо, но в любом случае каждая из нас могла сама принять решение...

И конечно мы слушали музыку: Джона Леннона, Боба Дилана, Джоан Баэз, Джими Хендрикса или "Blood, Sweat and Tears", элегические баллады Леонарда Коэна, блюз и, наконец, — Вольфа Бирмана. И мечтали о лучшем, более справедливом, свободном мире, в котором можно открыто выступать против авторитетов или обсуждать собственные идеи, не подвергая себя опасности сидеть необозримое время за решеткой, как это позже и вправду произошло с некоторыми людьми нашего круга.

Итак, я записала тот маленький стишок в записную книжку и с тех пор всегда носила ее с собой как манифест. Как я гордилась своей смелостью! Ведь, как известно, это разные вещи: одно дело — когда ты бунтуешь при поддержке целой группы соратников, и совсем другое — когда такую вот программную провокацию ты устраиваешь в одиночку, носишь крамольный текст с собой, ходишь под дамокловым мечом страха, что тебя обвинят в государственной измене и начнется травля. Тогда я чувствовала себя чуть ли не героиней, борцом за свободу. Эти тринадцать записанных строк были моим первым настоящим действием, первой попыткой воспротивиться повсеместной опеке. Эти 45 неприметных, привычных слов вселяли в меня мужество, они добавляли мне сил и давали уверенность, что я не одна, когда плыву против течения.

Конец семидесятых: Вольф Бирман, изгнанный тем временем из ГДР, ничуть не утратил популярности. Наоборот, лишение гражданства в ноябре 1976 года невероятно увеличило интерес к его песням и стихам в ГДР. Товарищи из политбюро забили гол в собственные ворота: певца теперь знали даже те, кто раньше никогда не слышал его имени.

Бензином не залить пожар,
Не погасить огня.
Вы, вопреки самим себе,
Прославите меня.

Как все-таки точно эти строки Бирмана передают суть ситуации!

В прессе была запущена невообразимая клеветническая кампания против него, но по *нашей стране-половинке* прокатилась и волна солидарности и протеста. Писатели, художники, ученые, рабочие, студенты ставили свои подписи под петициями, давление под колпаком усиливалось, *семь гномов* начинали всерьез волноваться. Они ответили запретами на профессиональную деятельность и всевозможными репрессиями на всем пространстве своего огорода площадью в 110000 км^2.

Началась волна отъездов. Но я пока еще никуда не собиралась, я все еще считала, что мое место — по эту сторону Стены... Конечно, у меня по-прежнему была с собой та самая записная книжка, и по-прежнему в тяжелые минуты жизни я черпала силы в этом маленьком сокрушительно-невинном стихотворении. Но теперь мне уже захотелось "настоящую" книгу стихов Бирмана. И однажды я попросила об этом своего двоюродного брата, который жил в Париже и время от времени навещал нас. Каким образом я передала ему свою просьбу, уже не помню. Точно не по телефону и не письмом — с таким же успехом я могла бы тогда протрубить свою просьбу через громкоговоритель на Александерплац. Я сама хотела подыграть балладе о Вийоне на струнах "арфы из колючей проволоки", подержать такую же "арфу" в собственных руках, даже если рисковала оцарапаться. Но как переправить столь опасную книгу через границу? За несколько лет до того на пути с востока на запад на государ-

ственной границе конфисковали даже мою ни в чем не повинную дипломную работу по специальности "славистика"! Я ведь тем временем завершила столь осмеиваемую друзьями учебу на отделении славистики и захотела переслать копию своего политически корректного и наивного труда (про "социальную утопию у Достоевского и Чернышевского") на запад через навещавшего нас в Восточном Берлине "западного" дядю. Он должен был передать моей бабушке в Западном Берлине произведение внучки — в подарок. Но, к нашему великому удивлению, это было... запрещено! Пограничники взяли дядю в оборот, обвинили убежденного члена КПГ в том, что он покушается на законы и предписания "государства рабочих и крестьян", которое он идеализировал. Оказалось, не дозволяется, как было заявлено, *вывозить* "научные работы" на Запад без разрешения университета! Большей паранойи и представить себе нельзя! Итак, они попросту изъяли невинную дипломную работу. Об этой истории я узнала от упомянутого дядюшки только через тридцать пять лет (!)... А в тот момент он счел за лучшее ничего мне об этом не рассказывать! Дядя и сегодня разбирается в подобных вещах...

Насколько же более серьезным был запрет на *ввоз* сочинений поэта, которого партийное руководство называло врагом номер один! Впрочем, мой двоюродный брат оказался на редкость изобретателен, хотя сегодня, когда всеми владеет страх перед террористическими актами, его трюк вряд ли удался бы. Явившись к нам, он достал книгу... из сапога! Тонкие, хорошо сгибающиеся книжечки издательства "Вагенбах" в четверть листа идеально подходили для такого рода перевозки. Так я наконец-то стала обладательницей этого взрывоопасного томика.

Между тем у меня появились связи с разнообразными диссидентскими кругами Берлина. Здесь тоже шли ожесточенные дискуссии, впрочем, постепенно эти споры начинали ходить по кругу, и становилось нелегко различать "друзей" и "врагов". Какое-то время я еще пыталась ориентироваться на "*Ободрение*" Бирмана: *не ожесточиться в это жестокое время* (*тот, кто слишком жесток, ломается, а тот, кто слишком заострен, — жалит и тут же ломается*), но дышать стало заметно труднее. Хотя наш мирный пейзаж еще никуда не делся, но круг друзей заметно редел. Все чаще я задавала себе вопрос: *Что же будет с нашими мечтами?.. Раны не хотят затягиваться... под грязной повязкой. И что будет с нашими друзьями? И что будет со мной? Я охотней всего бы уехала... Но лучше останусь здесь.*

Однажды, весенним утром 1984 года, я наконец поняла, что больше не вижу никакой перспективы в том, чтобы жить в затхлой атмосфере опеки — мечта бабелевского Гедали о "сладкой революции" и об "интернационале добрых людей" рассеялась. И настало то, чему суждено было настать, — я подала заявление на выезд из этой *омываемой свинцовыми волнами островной страны.* Последовали два года неизвестности для меня и моей семьи — дамоклов меч *братьев из службы безопасности* висел все это время над нашими головами.

Как я позже с удивлением прочитала в моем деле, хранившемся в архиве Штази, эти товарищи давно уже отчаялись изменить мои настроения и вернуть меня в лоно семи гномов. Белоснежка очнулась. В отчете говорилось, что я уклоняюсь от любых способов общественного воздействия и не допускаю и мысли о том, что мое заявление могло быть ошибкой, у меня "твердое намерение добиться переезда" и я "упорно" стремлюсь к своей цели. "В дальнейших письменных обращениях и устных высказываниях она подтвердила свою прежнюю точку зрения и осталась верна своим намерениям. Она ссылается на Декларацию прав человека, которую ГДР подписала, вступив в ООН". И поскольку товарищ Хонеккер нуждался в весьма солидном количестве валюты для своего государства (раз уж он сам развалил его экономику), а также потому, что опасность заражения была велика,

меня с мужем и детьми наконец-то выпустили — в обмен на солидное финансовое вливание со стороны классового врага (о чем мы тогда, впрочем, ничего не знали). Миллиардный кредит и дальнейшие "трансферы" со стороны Федеративной республики, направленные в Восточную Германию, были действенным средством, обеспечивавшим выезд уставших от ГДР людишек. Да, они торговали человечиной, кто бы мог себе такое представить... И вот, после того как в особой официальной инстанции нас лишили ГДР-овского гражданства, мы в марте 1986 года вчетвером, с птичьей клеткой в руках, где сидел Макс — карликовый попугай, — переступили границу, которая считалась такой непреодолимой. Я попрощалась со страной и смеясь, и плача, поскольку возвращение, даже на время, в гости, стало для нас невозможно — навеки. Но Максик так заливисто, с таким довольством щебетал в своей клетке, раскачиваясь на жердочке, что это помогало мне подавить слезы.

Послесловие автора

Своему увлечению всем русским я осталась верна — сегодня я не только читаю Чехова, Гоголя и Гончарова, но и дерзаю даже переводить их заново! Как хорошо, что и от этой стези меня никому не удалось отвратить...

Послесловие переводчика

С Верой Бишицки мы ровесники. Более того, в те самые годы, когда Вера училась в университете и укреплялась в своем особом мнении о происходящем, я была студенткой-германисткой и в 1974 году приезжала на ознакомительную практику в Йену. Какой правильной и фанатично устремленной в социализм казалась мне тогда ГДР! И какой раскрепощенной, устремленной (хотя и втайне!) к свободе казалась наша жизнь — во всяком случае, в Ленинграде 70-х! Да, мы знали, что из страны изгнаны И. Бродский и Е. Эткинд, и многие, многие другие... Но песни Высоцкого звучали из каждого окна, и посадить за это всю страну уже явно никто не мог. Уже опубликован был роман "Мастер и Маргарита" Булгакова, из рук в руки передавались самодельные распечатки книг Набокова: "Дар", "Другие берега", "Защита Лужина"... Мы жили и надеялись...

Однако мы постыдно мало задумывались о том, как на самом деле живется нашим сверстникам в "социалистическом лагере" (который, собственно, наша страна и создала). Фасад был вполне официозным и поэтому отталкивающим. Муки и страхи, таившиеся за ним, обнажаются в статье Веры Бишицки с потрясающей откровенностью. Ее честный рассказ в очередной раз заставляет задать себе вопрос: а не пора ли и нам честно оглянуться на прожитые при социализме годы? Ведь в том, как жили люди в ГДР, есть и наша доля ответственности.

Глазами кролика

Подготовка материала и перевод с польского Ксении Старосельской

На ежегодном Краковском международном кинофестивале — одном из старейших фестивалей документального кино — главный приз национального конкурса "Золотой лайконик" в 2009 году получил польский фильм "Кролик по-берлински" режиссера Бартека Конопки и оператора Петра Росоловского. Известный кинокритик Тадеуш Соболевский назвал этот фильм "концептуальным, сложным, многозначным документом, подобием свифтовской или оруэлловской притчи о животных". "Герои, — пишет Соболевский, — колония кроликов, поселившихся между двумя линиями Берлинской стены. Образ этих кроликов — свободных и одновременно несвободных, живущих в замкнутом, но дающем ощущение безопасности пространстве, — многим берлинцам давно казался символичным. Еще во времена ГДР Манфред Бутцман устраивал представления для детей "Кроличьи празднества" — по сути, манифестации в защиту свободы; после падения Стены он писал на ее обломках лозунги типа 'Пусть кролик останется кроликом', — предостерегая от чересчур поспешного объединения двух Германий, которое и в самом деле оказалось унизительным для бывших гэдээровцев... Сегодня Конопка и Росоловский показали кроличью колонию, для которой падение Стены стало крахом всех иллюзий: кролики считали, что Стену возвели для нихх — ведь они получили в свое распоряжение островок свежей травы".

А вот что пишет критик, многолетний редактор журнала "Кино" Божена Яницкая: "Спустя 16 лет после окончания Второй мировой войны в центре Европы начали возводить Стену, отделяющую Ost от West. 20 лет назад ее разрушили. Автор фильма "Кролик по-берлински" рассказывает эту историю с точки зрения кроликов, обитающих на пустой зеленой полосе между Восточным и Западным Берлином. Жилось им там неплохо: не нужно было заботиться о корме, можно было спокойно скакать в заданных Стеной границах, охранники гарантировали им безопасность. Метафорический смысл повествования, который становится понятен постепенно, раскрывается в документальных кадрах, касающихся отнюдь не только симпатичных грызунов. Остроумный замысел (поначалу фильм воспринимается как научно-популярный) полностью проявляется в замечательном финале: на пригорке сидит рядышком пара кроликов и смотрит в *светлое будущее* — на залитый солнцем чудесный зеленый край. Типично голливудская картинка. Берлинская стена пала 20 лет назад (чему предшествовало падение ее невидимого двойника у нас) и началась иная жизнь — не только для кроликов".

Как сказал во время обсуждения "Кролика по-берлински" Анджей Вайда, у зрителя создается ощущение, что перед ним нечто совершенно вымышленное. Именно в этом видят критики одно из главных достоинств фильма: как иначе рассказать о ненормальной жизни, которую хорошо помнит немало наших современников, но которую молодежь воспринимает как далекое и непонятное прошлое, которого, возможно... и не было? Неслучайно едва ли не самое сильное впечатление производит сцена разрушения Стены, когда ошеломленные кролики оказываются в новой действительности.

А вот что говорит в одном из интервью сам Бартек Конопка. На вопрос, откуда взялась идея фильма, режиссер отвечает:

Однажды в киношколе Мачей Лозинский[1]*, рассказывая о своих неосуществленных проектах, упомянул услышанную от кого-то историю о том, что в разделенном Берлине между двумя стенами растет трава, по которой бегают тысячи белых кроликов: картина, по мнению Лозинского, сильно поражающая воображение, но скорее сюрреалистическая. Я тогда подумал: вот это идея! <...> Когда Петр Росоловский был стипендиатом в Германии, ему вспомнились эти кролики. И неслучайно: мы всегда искали необычные идеи, позволяющие говорить новым киноязыком, всегда искали "перспективу инопланетянина" – возможно, наподобие той, что использует в своих фильмах Херцог*[2]*. Довольно абсурдную историю с кроликами и Стеной, подумали мы, можно показать так, что она будет выглядеть еще более абсурдной; да и сама история оказалось гораздо богаче по смыслу, чем мы полагали.*

<...> Нам пришлось нелегко. Мы долго искали деньги на этот проект[3]*; а когда добыли средства, месяцы ушли у нас на подготовку. Мы разговаривали с людьми, смотрели фильмы, даже дали объявление в берлинские газеты: просили откликнуться тех, кто жил у самой Стены и помнит что-нибудь, связанное с кроликами. Таких не нашлось, но нашлись другие, жившие неподалеку, с которыми случались разные истории... Из таких вот рассказов, обрывков, фрагментов и составился фильм.*

К счастью, мы добрались до Роланда, охранника, – охранники не очень-то любят появляться на экране, но Роланд охотно рассказывал о кроликах, что помнил. А вот, например, Хаген Кох, любопытная личность (его называют "звездой Стены") – у него дома хранится нечто вроде частного "архива Стены": разные предметы, фотографии, – выступить в фильме наотрез отказался, поскольку речь там идет не о людях, а о кроликах.

В ответ на недоуменное замечание интервьюера: "Но ведь на самом деле о людях..." – Конопка сказал:

Совершенно верно, но очень трудно объяснить это словами тому, кто не видел фильма. И тем более немцам, которые к таким вещам особенно чувствительны. У них даже есть большое объединение – "Жертвы Стены", мы были на нескольких собраниях, но о фильме даже не упоминали, боялись, что нас могут неправильно понять... В процессе работы мы хватались за разные идеи, предпринимали различные попытки, даже искали "человеческого" героя; попробовали рассказать эту историю как сказку... Наконец мне пришло в голову, что фильм можно сделать словно бы естественно-научным – в духе традиционных фильмов о природе, только это будет документ о социализме как о природном явлении. Кролики для этого очень подходят – они ведь, как известно, животные общественные. Нам хотелось показать их с большой теплотой, ничем и никем не подменяя. Но таким получилось только начало фильма, дальше уже пошли игры со зрителем...

Нас постоянно мучили сомнения, до самого конца мы не знали, удался ли фильм. Мы чувствовали, что идея отличная, но хватит ли ее на 50 минут? Это аллегория, но отнюдь не всеобъемлющая; с другой стороны, это аллегория политическая, и касается она не только людей, но и системы, способа мышления... Так что мы продолжали упорно пробираться вперед: "чистили", монтировали, постоянно сокращали комментарий, чтобы не сказать слишком много...

Всего четыре года назад мне хотелось снимать классические документальные фильмы, для которых, как я считал, нужны реальные люди и необычные ситуации, но постепенно мои представления менялись... Документальный фильм в гораздо большей степени может быть поэзией, чем беллетристикой, и аллегорическая форма выражения – намного интереснее, чем фабулярная.

<...> "Кролики" – можно сказать, наше кредо. Это наш первый исторический фильм, но не о героях, а о простых людях – обывателях, которые жили собственными, довольно ограниченными интересами и искали нормальности в ненормальном мире. Я сам такой и знаю таких немало. Они меня интересуют – это мои люди, мне есть что рассказать о них.

1. Мачей Лозинский – польский кинодокументалист. (*Здесь и далее – прим. ред.*)
2. Вернер Херцог (р. 1942) – немецкий режиссер, сценарист, актер.
3. Фильм создан при участии немецкой стороны.

Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Не так уж это мало – быть современником событий последней четверти девятнадцатого столетия – великого столетия, заката буржуазной и литературной эпох – жить в этом мире и дышать этим воздухом. Это слова, произнесенные Томасом Манном в свои семьдесят пять, ровно в середине следующего, двадцатого столетия – в 1950-м. И хотя он оговаривает, что *всегда оказывается опрометчивым гордиться обилием исторических событий на отрезке собственной жизни: ведь их может выпасть на долю следующего поколения еще больше, да так оно обычно и бывает,* – но тем не менее предполагает, что вряд ли *сегодняшние младенцы, пережив совсем иные повороты и грандиозные исторические перемены (конечно, при условии, что неистовствующая техника вообще оставит их в живых), смогут в преклонном возрасте гордиться так, как тот, кому сейчас семьдесят пять лет.* Текст под названием *Мое время* опубликован в выпущенном издательством "Культурная революция" сборнике очерков, статей и эссе великого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1929 года [**Томас Манн** *Аристократия духа* / Перевод с немецкого **С. Апта**, **В. Бакусева** и др.; Составление, предисловие и редакция перевода **И. Эбаноидзе**. – М., 2009. – 368 с. Серия "Классики современности"].



И действительно: "Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые"... Однако в случае Томаса Манна дело не в самом факте "посещения" и уникальности личного опыта: ведь писателю было суждено не только стать свидетелем важнейших событий истории и наблюдать ее переломные моменты, но и (что, конечно же, главное) – глубоко осмыслить происходящее, увидеть в нем проявление неких фундаментальных процессов. Не случайно в сборнике соседствуют тексты, посвященные и политике – в прошлом и настоящем (*Фридрих и большая коалиция, Братец Гитлер*), и философии (*Шопенгауэр, Фрейд и будущее, Философия Ницше в свете нашего опыта*), и искусству (*"Амфитрион" Клейста, Август фон Платен, Рихард Вагнер и "Кольцо нибелунга"*). Подобная комбинация тематических ракурсов позволяет составить объемное представление об авторской картине мира – и прежде всего об авторском представлении о месте Германии в ряду других стран и культур.

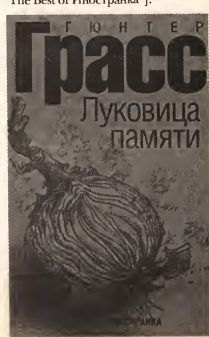
В наших стереотипных представлениях (обусловленных прежде всего историческим опытом) Германия ассоциируется с силой и агрессией (ко-

За предоставленную для обзора книгу Александры фон Шёнбург "Искусство стильной бедности" автор благодарит магазин "Фаланстер".

торую Россия периодически испытывала на себе), а также с порядком и педантизмом (в сопоставлении с российскими безалаберностью и анархизмом). Однако самим немцам ("изнутри") Германия видится совершенно иначе: ее собственный исторический опыт — это борьба небольших и разобщенных немецких государств с соседними — сильными и сплоченными — империями, а своя культура отмечена особой духовностью и романтизмом — качествами, противопоставляемыми "западному" (уже для Германии) рационализму и прагматизму. И в данном случае существенно, что подобным образом Германию видит не рядовой обыватель, а крупный мыслитель.

Более всего неравнодушен Томас Манн к трем великим представителям немецкой культуры XIX века: Шопенгауэру, Вагнеру и Ницще — именно им посвящены самые страстные страницы его эссеистики. Особое место в этом ряду занимает Ницше, который в философских размышлениях Манна постоянно становится главным "провокатором". А самыми *монументальными фигурами*, в которых *воплотился гений Германии*, были, по мнению Томаса Манна, Лютер, Гёте и Бисмарк: *монах, поэт и политик*. Им посвящено эссе 1949 года *Трое мощных*, которое автор завершает так: *"Добрая Германия" – сила, благословенная музами, просвещенное величие. На этом-то пути немцы и умели достигать совершенства, становиться образцами и представителями не только своего народа, но всего человеческого рода, "разливая" свою душу до его всеобщей души.*

Когда Томас Манн получал Нобелевскую премию по литературе, еще одному (будущему) нобелевскому лауреату **Гюнтеру Грассу** исполнилось два года; свою премию он получит спустя ровно 70 лет, в 1999-м. Согласно приведенному выше высказыванию Томаса Манна, Грасса можно (условно) считать одним из *младенцев*, которым вряд ли в преклонном возрасте придется гордиться тем, что они пережили столь же *грандиозные исторические перемены*. Что касается "гордости", то в отношении Грасса Манн оказался отчасти прав — однако исторические перемены, которые Грассу довелось пережить, были не менее грандиозными. Более того, во Второй мировой войне, которую Томас Манн наблюдал издалека (будучи вынужденным эмигрировать), Грасс успел поучаствовать, "прыгнув" в самый ее последний, уже уходящий вагон — и поводов для особой "гордости" в связи с этим у него, конечно же, нет. Напротив, есть незаживающая рана, есть оставшаяся память о далеких 1944-м и 1945-м, когда 17-летний мальчик (по словам Грасса, "с теми же именем и фамилией, как у меня") в эсэсовской форме защищал Германию от наступавшей Советской армии. И лишь более шестидесяти лет спустя, в мемуарной книге *Луковица памяти*, среди прочих воспоминаний о детстве и юности Грасс подробно расскажет о том, что в те годы происходило и как он это переживал. Первые четыре главы этой книги (охватывающие и военный период) были опубликованы в "ИЛ" полтора года назад (2008, № 3); затем в издательстве "Иностранка" вышел и полный текст [перевод с нем. **Бориса Хлебникова**. — М., 2008. — 592 с. Серия "The Best of Иностранка"].



Обращаясь к своему прошлому, Грасс старается проанализировать

поступки мальчика "с теми же именем и фамилией", реконструировать его сознание, его тогдашнее мировосприятие. И в широком контексте эпизод с военной службой выглядит вполне естественно. Ведь это для наших солдат война против фашистов была священной; а для немецкого мальчика естественным и психологически объяснимым был порыв защищать свою страну. В еженедельных киножурналах, которым Грасс *безгранично доверял*, он *видел Германию в окружении врагов; она уже вела самоотверженные оборонительные бои в степях России /.../. Защитные редуты против красных орд. Народ в решающей битве за свою судьбу. Крепость Европа, противостоящая натиску англоамериканского империализма*... Действительно, если наблюдать за динамикой событий в таком ракурсе, то этически неприемлемым для подростка было бы желание избежать военной службы; инициатива же отправиться на войну добровольцем должна была, напротив, восприниматься как благородная. И предосудительным этот поступок можно назвать лишь ретроспективно — да и то с точки зрения его обобщенного этического смысла (участие в неправедной войне), а не психологической оправданности (было бы лицемерием осуждать лежащие в его основе глубинные патриотические мотивы).

Среди прочих значительных исторических событий Томас Манн успел застать послевоенный раскол Германии на Западную и Восточную; однако до кульминации этого раскола — возведения в 1961-м Берлинской стены — он уже не дожил. А вот Гюнтеру Грассу довелось наблюдать все германские "трансформации" второй половины XX века, включая разрушение Стены (которой довелось простоять 28 лет — очень долго для жизни одного поколения, но ничтожно мало в историческом плане) и воссоединение ФРГ и ГДР. Сразу после воссоединения, в 1990-м, он отправился (в рамках предвыборной кампании социал-демократов) в Восточную Германию, где вел путевые заметки; в 2009-м он опубликовал их отдельной книгой (см. настоящий номер). И все же историческое воссоединение немецких Запада и Востока не стало для Грасса возвращением к статус-кво времен его детства: ведь его родной Данциг остался в Польше, став Гданьском...

Гюнтер Грасс родился спустя полвека после Томаса Манна. А спустя очередные почти полвека (в 1969-м) на свет появился еще один пишущий немец — потомственный граф **Александр фон Шёнбург**. Долгое время он работал журналистом; в 30 лет женился на Ирине, принцессе Гессенской, а с 2003 года публикует книги.

Стереотипное воображение уже рисует нам портрет чопорного светского льва, живущего в родовом замке и периодически появляющегося в смокинге на пышных приемах. Однако оно ошибается, причем радикально: фон Шёнбург живет с женой и двумя детьми в скромном восточногерманском Потсдаме, а книги пишет на совершенно неожиданные для графа темы. И если его дебютная книга вполне вписывалась в контекст изданий, пропагандирующих традиционный "здоровый образ жизни" (*Искусство бросить курить, не испортив настроения*, 2003), то в следующей автор дает не вполне традиционные рекомендации по образу жизни вообще (*Искусство стильной*



бедности. Как стать богатым без денег, 2005). По-русски эти книги (обе — в переводе **С. Городецкого**, издательство "Текст") вышли в обратном порядке: сначала о бедности (М., 2008. — 190 с.), а потом — о курении (М., 2009. — 157 с.).

Искусство стильной бедности — это апология альтернативного восприятия жизни, основанного на убеждении в том, что "счастье" и "деньги" — понятия не то чтобы несовместные, а просто лежащие на разных осях координат. Можно быть богатым и несчастным — впрочем, так же, как и богатым и счастливым или бедным и несчастным. Из всех четырех возможных комбинаций двух этих параметров автор выбирает один — как быть бедным и счастливым — и делится собственным опытом в поисках ответа на этот вопрос. *Эта книга призвана дать несколько советов, как оградить жизнь от царящего потребительского безумия. Тот, кто вовремя научится обходиться скромными денежными средствами, наверняка войдет в элиту будущего, потому что грядущая эпоха окажется несладкой для собственника. Ему останется лишь трястись над своим имуществом, когда тот, у кого собственности мало, многого и не потеряет. А если еще вдобавок обзавестись самообладанием Владимира Набокова, то для хорошей жизни собственности и вовсе не потребуется.*

В последние годы так называемый дауншифтинг стал и в России довольно модным явлением. Однако у нас он (как и любое заимствование) приобретает особые, самобытные формы. Дауншифтингом в России считают эксцентричный поступок успешного бизнесмена, который неожиданно для всех решает "бросить всё к черту и уехать в Урюпинск". При этом в качестве Урюпинска обычно выступает какой-нибудь известный южный курорт (типа Бали), а само действие носит подчеркнуто-демонстративный характер (как *потлач* у американских индейцев): посмотрите, мол, *сколько* я бросил...

Александр фон Шёнбург пропагандирует дауншифтинг совсем иного толка: для него вовсе не обязательно что-то бросать, а, напротив, нужно с максимальной эффективностью ис-



пользовать то, что имеешь (а также — можешь и умеешь), и главное — ориентироваться в этом не на сложившиеся стереотипы, а на удовлетворение своих собственных, присущих только тебе желаний. Например, *почему лучше не иметь машины* — размышляет он в главе *Наваждение вождения*. Или почему не стоит фетишизировать непременные туристические выезды — в главе *Отпускное отупение. Аргументы против дальних поездок.*

Основным принципом умеренного дауншифтинга становится отказ от гонки за "престижем", толкуемым как "материальное воплощение успеха", имеющее целью постоянное "подтверждение высокого статуса". Конечно, графу фон Шёнбургу придерживаться этого принципа намного легче, чем другим, — ведь этот самый статус имеется у него от рождения и никто не способен его отнять. Тем же, у кого нет потомственного титула, нужно стараться удовлетворять свои "статусные" потребности как-то иначе. А это вовсе не так просто. Впрочем, "Как уметь сохранять свое достоинство" — это тема отдельного исследования; а для начала стоит, наверное, осознать, что "достоинство" и "престиж" — тоже понятия с разных осей координат, как и "счастье" с "деньгами".

Немецкая литература на страницах "ИЛ" 2004—2009

2004

Симон Яна	*Ведь мы – другие. История Феликса С.* Роман. Перевод Н. Федоровой [7]
Мюнклер Херфрид	*Терроризм сегодня.* Статья [9]
Гессе Герман	*Пять эссе о книгах и читателях.* Перевод Г. Снежинской [10]
Гессе Герман	*Акварель.* Эссе. *"Рисовать – это чудо".* Фрагменты книги "Магия красок". Перевод и вступление Н. Васильевой [10]

2005

Ланге Вольфганг	*"Элементарные частицы" Уэльбека и мениппова сатира.* Перевод Е. Драйтовой. Статья [2]
Мюллер Герта	*Эссе. Рассказ.* Перевод и послесловие Марка Белорусца [4]
Шмидт Арно	*Черные зеркала.* Повесть. Перевод и послесловие Т. Баскаковой [5]
Бенн Готфрид	*Стихи.* Перевод и вступительная статья Вальдемара Вебера [8]
Вальзер Мартин	*Из книги "Мысли Месмера".* Перевод Л. Бухова [9]
Рильке Райнер Мария	*Из ранней прозы.* Перевод Владимира Летучего [10]

2006

Рёрихт Карл Херман	*Нелицеприятные сказки.* Перевод А. Кукес [1]
	"И сей красотой полон круг земной". Поэзия немецкого барокко. Переводы Владимира Летучего, Алексея Прокопьева. Вступление Александра Маркина [2]
Бринкман Рольф Дитер	*Стихи. Рассказ.* Перевод и вступление Е. Соколовой [6]

2007

Ницше Фридрих	*"Я не человек, а судьба".* Письма 1887—1889 годов. Перевод и вступление Игоря Эбаноидзе [1]
Йонсон Уве	*Две точки зрения.* Повесть. Перевод С. Фридлянд. Вступление Екатерины Скляровой [2]

Маар Михаэль	*Лолита и немецкий лейтенант.* Перевод Е. Ивановой [4]
Лихберг Хайнц фон	*Рассказы.* Перевод Е. Ивановой [4]
Беньямин Вальтер	*Роберт Вальзер.* Перевод Т. Баскаковой [7]
Вебер Анна	*Наведаться к Церберу.* Перевод В. Седельника. Вступление Т. Баскаковой [8]

2008

Грасс Гюнтер	*Луковица памяти.* Главы из книги. Перевод и послесловие Б. Хлебникова [3]
Кляйн Георг	*Либидисси.* Роман. Перевод Анатолия Егоршева. Послесловие Т. Баскаковой [6]

2009

Энценсбергер Ханс Магнус	*Долой Гёте!* Объяснение в любви. Перевод и вступление Н. Васильевой. *...Каждый сам для себя должен решить как ему обходиться с Гёте.* Письмо в "ИЛ". Перевод Н. Васильевой [8]

Уве Телькамп
Uwe Tellkamp
[р. 1968]. Прозаик. Лауреат Дрезденской поэтической премии и премии имени Ингеборг Бахман [2004], Немецкой книжной премии [2008], Немецкой национальной премии [2009] и др.

Автор романов *Щука, сны и Португальское кафе* [*Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café*, 2000], *Зимородок* [*Der Eisvogel*, 2005].
Фрагменты романа публикуются по изданию *Башня. Истории с затонувшей земли* [*Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land.* Suhrkamp, 2008].

Хайнер Мюллер
Heiner Müller
[1929—1995]. Драматург, поэт, прозаик, режиссер. Лауреат премий имени Генриха Манна [1959], имени Г. Э. Лессинга [1975], имени Георга Бюхнера [1985], Европейской театральной премии [1991] и др.

Автор пьес *Маузер* [*Mauser*, 1970], *Германия. Смерть в Берлине* [*Germania Tod in Berlin*, 1956—1971], *Гамлет-машина* [*Die Hamletmaschine*, 1977; рус. перев. 2004], *Квартет* [*Quartett*, 1980—1981; рус. перев. 2005—2009], *Волоколамское шоссе* [*Wolokolamsker Chaussée*, 1984—1986] и др., многих сборников стихов, автобиографии *Война без сражений. Жизнь при двух диктатурах* [*Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen*, 1992].
Стихотворения 1989—1995 годов публикуются по изданию: *Стихи.* Собрание сочинений, т. 1 [*Gedichte.* Werke, Bd. 1. Suhrkamp, 1998].

Инго Шульце
Ingo Schulze
[р. 1962]. Прозаик. Лауреат литературной премии *Аспекты* [1995], премий имени Йозефа Брайтбаха [2001] и Петера Вайсса [2006], польско-немецкой премии имени Самуила Богумила Линде [2008] и др.

Автор сборников рассказов *33 мгновенья счастья. Записки немцев о приключениях в Питере* [*33 Augenblicke des Glücks. Aus den abenteuerlichen Aufzeichnungen der Deutschen in Piter*, 1995; рус. перев. 2000], *Simple Storys* [1998; рус. перев. 2003], *Мобильник* [*Handy*, 2007], романа *Адам и Эвелин* [*Adam und Evelyn*, 2008].
Отрывки романа публикуются по изданию *Новые жизни* [*Neue Leben.* Berlin: Verlag, 2005].

Дурс Грюнбайн
Durs Grünbein
[р. 1962]. Поэт, эссеист, переводчик с древнегреческого. Лауреат Марбургской литературной премии [1992], премий имени Георга Бюхнера и Петера Хухеля [1995], международной литературной премии *Шпайхер* Фонда замка Лойк [2001], премий имени Фридриха Ницше [2004], Фридриха Гёльдерлина [2005] и др., кавалер ордена *За заслуги перед наукой и искусством* [2008].

Автор поэтических сборников *Серая зона утром* [*Grauzone morgens*, 1988], *Лекция об основании черепа* [*Schädelbasislektion*, 1991], *Подражая сатирам* [*Nach den Satiren*, 1999], *История Веры* [*Una Storia Vera*, 2002], *Хвала тайфуну. Путевые дневники в виде хайку* [*Lob des Taifuns. Reisetagebücher in Haikus*, 2008] и др., поэм *О снеге, или Декарт в Германии* [*Vom Schnee oder Descartes in Deutschland*, 2003], *Фарфор. Поэма о гибели моего города* [*Porzellan. Poem vom Untergang meiner Stadt*, 2005], дневника *Первый год. Берлинские записки* [*Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen*, 2001], сборников эссе *Галилей измеряет Дантов ад...* [*Galilei vermißt Dantes Hölle...* 1996; рус. перев. трех эссе в *ИЛ*, 1998, № 1], *Зачем жить бесписьменно?* [*Warum schriftlos leben?* 2003], *Античные диспозиции* [*Antike Dispositionen*, 2005], *Картезианский ныряльщик. Три медитации* [*Der cartesische Taucher. Drei Meditationen*, 2008]. На русском языке опубликованы *Избранные стихотворения* [2007; перев. Е. Соколовой].
Публикуемые стихи взяты из книги *Строфы на послезавтра* [*Strophen für übermorgen.* Suhrkamp, 2007].

Аннетт Грёшнер
Annett Gröschner
Журналист и писатель. Лауреат литературной

Составитель сборников документальных материалов *"Я стряхнул с мамы горящие искры". Сочинения берлинских школьников 1946 года* [*Ich schlug meiner Mutter die brennenden Funken ab. Berliner Schulaufsätze aus dem Jahr 1946*, 1996],

премии имени Анны Зегерс [1989], премии имени Эрвина Штриттматтера [2002].

Каждый получил свой кусочек Берлина. Истории с Пренцлаэурберг [*Jeder hat sein Stück Berlin gekriegt. Geschichten vom Prenzlauer Berg*, 1998], *Контракт 903. Воспоминания о сияющем будущем* [*Kontrakt 903. Erinnerung an eine strahlende Zukunft*, 2003] и др., автор романа *Чемодан из ослиной кожи. Берлин–Будапешт–Нью-Йорк* [*Ein Koffer aus Eselshaut. Berlin–Budapest–New York*, 2004].
Отрывки из романа публикуются по изданию *Мороженое "Московское"* [*Moskauer Eis*. LEIPZIG: GUSTAV KIEPENHEUER VERLAG, 2000].

ГЕОРГ КЛЯЙН
GEORG KLEIN
[р. 1953]. Прозаик. Лауреат премии имени братьев Гримм города Ханау [1999] и премии имени Ингеборг Бахман [2000].

Автор сборника рассказов *Про немцев* [*Von den Deutschen*, 2002; рус. перев. одноименного рассказа из этого сборника — *ИЛ*, 2003, № 9], романов *Либидисси* [*Libidissi*, 1998; рус. перев. *ИЛ*, 2008, № 6], *Barbar Rosa. Детективная история* [*Barbar Rosa. Eine Detektivgeschichte*, 2001], *Солнце нам светит* [*Die Sonne scheint uns*, 2004] и *Грех Добро Молния* [*Sünde Güte Blitz*, 2007].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Призыв слепой рыбы* [*Anrufung des blinden Fisches*. BERLIN: ALEXANDER FEST VERLAG, 1999].

БОРИС ШАПИРО
BORIS SCHAPIRO
[р. 1944]. Немецкий поэт и переводчик российского происхождения, пишет на русском и немецком языках. Лауреат премии Фонда искусств *Плаас* [1984], премии международного ПЕН-клуба [1998], премий Фонда Конрада Аденауэра [2000] и Фонда Урсулы Лахнит-Фикссон [2006].

Автор поэтических сборников на русском языке *Начало* [1964], *Соло на флейте* [1991], *Две луны* [1995], *Предрассудок* [2007], *Тринадцать* [2007] и на немецком — *Зерно метаморфозы* [*Metamorphosenkorn*, 1981], *Никейская львица* [*Nikeische Loewin*, 1998], *Будто зяблик* [*Wie ein Fink*, 2007].
Публикуемые стихотворения взяты из сборника *Только человек* [*Nur der Mensch*. WEILERSWIST: VERLAG RALF LIEBE, 2007].

РАЙНХАРД ЙИРГЛЬ
REINHARD JIRGL
[р. 1953]. Прозаик. Лауреат премии имени Анны Зегерс [1991], Марбургской литературной премии [1994], премии имени Йозефа Брайтбаха [1999], литературной премии *Рейнгау* [2003], премий имени Лиона Фейхтвангера и Гриммельсгаузена [2009] и др.

Автор романов *Мама-Папа-Роман* [*Mutter Vater Roman*, 1990], *В открытом море. Роман сечений* [*Im offenen Meer. Schichtungsroman*, 1991], *Прощание с врагами* [*Abschied von den Feinden*, 1995], *Собачьи ночи* [*Hundsnächte*, 1997; рус. перев. 2007], *Атлантическая стена* [*Die atlantische Mauer*, 2000], *Генеалогия убийства. Трилогия* [*Genealogie des Tötens. Trilogie*, 2002], *Незавершенные* [*Die Unvollendeten*, 2003], *Отщепенец. Роман из нервозного времени* [*Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit*, 2005], *Тишина* [*Die Stille*, 2009] и др., сборника очерков *Земля и добыча* [*Land und Beute*, 2008].
Публикуемый очерк взят из антологии *Ночь, когда пала Стена. Писатели рассказывают о 9 ноября 1989 года* [*Die Nacht, in der die Mauer fiel. Schriftsteller erzählen von 9. November 1989*. Hrsg: von Renatus Deckert, SUHRKAMP, 2009].

КЕРСТИН ХЕНЗЕЛЬ
KERSTIN HENSEL
Поэт, прозаик, драматург, член международного ПЕН-клуба и Берлинской академии художеств. Лауреат премий имени Анны Зегерс [1987], имени Геррит Энгельке [1999], лите-

Автор сборников стихов *Натюрморт с будущим* [*Stilleben mit Zukunft*, 1988], *Атмосферный фронт* [*Gewitterfront*, 1991], *Понять, что такое вокзал* [*Bahnhof verstehen*, 2001] и др., радиопьес *Мойщик окон* [*Der Fensterputzer*, 1992], *Призраки Лавант* [*Die Gespenster der Lavant*, 1993] и др., сборника рассказов *В доме ткача* [*Im Spinnhaus*, 2003] и др., романов *Auditorium panopticum* [1991], *Гипсовая шляпа* [*Gipshut*, 1999], *Фальшивый заяц* [*Falscher Hase*, 2005].
Публикуемый очерк взят из антологии *Ночь, когда пала*

ратурной премии имени Иды Демель [2004] и др.

стена. Писатели рассказывают о 9 ноября 1989 года [*Die Nacht, in der die Mauer fiel. Schriftsteller erzählen von 9. November 1989*. Hrsg. von Renatus Deckert, Suhrkamp, 2009].

Томас Розенлёхер
Thomas Rosenlöcher
[р. 1947]. Поэт, эссеист, детский писатель, переводчик. Лауреат премий имени Георга Маурера [1989], имени Фридриха Гёльдерлина [1999], премии Гарца за достижения в области культуры [2000], премии имени Вильгельма Мюллера [2004] и др.

Автор поэтических сборников *Снежное пиво* [*Schneebier*, 1988], *Я сижу себе в Саксонии и смотрю на снег* [*Ich sitze in Sachsen und schau in den Schnee*, 1998], *На обочине стоит Аполлон. Виперсдорфский дневник* [*Am Wegrand steht Apolla Wiepersdorfer Tagebuch*, 2001], *Карусель хлопьев. Стихи о цветах, ангелах и снеге* [*Das Flockenkarussell. Blüten-Engel-Schnee-Gedichte*, 2007] и др., детских книг *Человек, который был бегемотом* [*Der Mann, der ein Flußpferd war*, 1991], *Если любишь меня, я люблю тебя* [*Liebst Du mich, ich liebe Dich*, 2002], *О человеке, который верил, что детей приносит аист* [*Der Mann, der noch an den Klapperstorch glaubte*, 2007] и др. Публикуемый очерк взят из антологии *Ночь, когда пала стена. Писатели рассказывают о 9 ноября 1989 года* [*Die Nacht, in der die Mauer fiel. Schriftsteller erzählen von 9. November 1989*. Hrsg. von Renatus Deckert, Suhrkamp, 2009].

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обмененные головы* [1995], *Бременские музыканнты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковались его статьи *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2], *Запад есть Запад* [2006, № 5], *Квадратура круга?* [2006, № 12] и *Чур меня!* [2009, № 6].

Гюнтер Грасс
Günter Grass
[р. 1927]. Писатель. Лауреат Нобелевской премии [1999], лауреат литературной премии имени Георга Бюхнера.

Автор романов *Жестяной барабан* [*Die Blechtrommel*, 1959; рус. перев. *ИЛ*, 1995, № 11; книга первая] *Собачьи годы* [*Hundejahre*, 1963; рус. перев. *ИЛ*, 1996, № 5–7], *Из дневника улитки* [*Aus dem Tagebuch einer Schnecke*, 1972], *Крысиха* [*Die Rättin*, 1986] и др.; книги путевых очерков *Гомункулы* [*Kopfgeburten*, 1980]. В *ИЛ* напечатаны повести Г. Грасса *Кошка и мышь* [1968, № 5] и *Встреча в Тельгте* [1983, № 5], стихи [1983, № 10; 1988, № 4], фрагменты книги *Мое столетие* [2000, № 1], новелла *Траектория краба* [2002, № 10], торжественная речь *Метафорам можно доверять*, произнесенная в Лейпциге по случаю вручения Кристе Вольф Немецкой литературной премии [2003, № 9], главы из книги *Луковица памяти* [2008, № 3]. Текст публикуется по изданию *Unterwegs von Deutschland nach Deutschland. Tagebuch 1990* [Göttingen: Steidl Verlag, 2009].

Герта Мюллер
Herta Müller
Писатель, эмигрировала из Румынии; член Немецкой академии языка и литературы [1995]. Лауреат литературной премии *Аспекты* [1984], премии немецких критиков [1992], Европейской литературной премии *Аристейон* [1995], международной литературной премии IMPAC Дублин [1998], пре-

Автор сборников малой прозы *Низины* [*Niederungen*, 1982], *Босоногий февраль* [*Barfüßiger Februar*, 1987; рассказ из этого сборника *Черная ось* публиковался в *ИЛ*, 2005, № 4], сборников стихов *В пучке волос живет дама* [*Im Haarknoten wohnt eine Dame*, 2000], *Бледные господа с чашками кофе в руках* [*Die blassen Herren mit den Mokkatassen*, 2005], романов *Человек – большой фазан на этом свете* [*Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt*, 1986], *Лис уже тогда был охотником* [*Der Fuchs war damals schon der Jäger*, 1992], *Всердцезверь* [*Herztier*, 1994], *Сегодня я бы предпочла с собой не встречаться* [*Heute wär ich mir lieber nicht begegnet*, 1997], сборников эссе *Черт прячется в зеркале* [*Der Teufel sitzt im Spiegel*, 1991], *Голод и шелк* [*Hunger und Seide*, 1995] и др. Публикуемое эссе взято из сборника *Король кланяется и*

мии имени Франца Кафки [1999], премии за ораторское искусство имени Цицерона [2001], Берлинской литературной премии [2005] и др.

убивает [*Der König verneigt sich und tötet.* MÜNCHEN: CARL HANSER VERLAG, 2003].

ВЕРА БИШИЦКИ
VERA BISCHITZKY
Немецкий славист, переводчик с русского, издатель и редактор.

Автор статей по истории культуры. Перевела произведения А. Чехова, Н. Гоголя, А. Тарковского, Д. Рубиной, С. Дубнова.
Текст статьи был любезно предоставлен редакции в рукописи автором.

АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МИХЕЕВ
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ралена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*, А. Дёблина *Три прыжка Ван Луня*, повесть Т. Бернхарда *Халад: Изоляция*, текст Герта Йонке *Говорящий по часовой стрелке* и др. Составитель [вместе с М. Белорусцем] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Т. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], повесть А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5], пьеса Э. Елинек *облако.дом.* [2008, № 9], повесть А. Мореско Синяя комната [2009, № 3] и др.

Алексей Петрович Прокопьев
[р. 1957]. Поэт, переводчик с немецкого, английского и шведского языков. Лауреат премии журнала *Лик Чувашии* за переводы чувашского фольклора [1995].

Автор поэтического сборника *Снежная Троя* [2003]. В его переводах выходили стихи Р. М. Рильке, Г. Бенна, Г. Тракля, Г. Гейма, О. Уайльда, Дж. Мильтона, Э. Паунда, Т. Транстрёмера. В *ИЛ* в его переводе публиковались сонеты А. Грифиуса [2006, № 2], стихи Б. Хансона [2007, № 3], М. Доути [2007, № 9], фрагмент поэмы А. Нове *Мория* [2008, № 10].

Святослав Городецкий
[р. 1981]. Поэт, драматург, переводчик с немецкого и английского языков. Победитель Конкурса молодых переводчиков немецкоязычной поэзии [2005]. Лауреат премии имени Жуковского [2008].

Переводил сонеты Шекспира, стихи немецкого рэп-поэта Б. Бёттхера и др. В его переводе вышли сборник рассказов *В незнакомых садах* и роман *Не сегодня-завтра* П. Штама. В *ИЛ* в его переводе опубликовано эссе П. фон Матта *Смех, и лукавство, и любовь* [2008, № 5].

Екатерина Львовна Иванова
Преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик.

В ее переводе публиковались письма Б. Л. Пастернака американскому издателю Курту Вольфу [*Знамя*, 2005, № 3]. В *ИЛ* была опубликована ее статья *Измерение мира: о чем писали немецкоязычные литературные издания осенью 2005 — зимой 2006 годов*

[2006, № 7], книга М. Маара *Лолита и немецкий лейтенонт* [2007, № 4] и рассказы Х. фан Лихберга [2007, № 4].

Михаил Львович Рудницкий
[р. 1945]. Литературный критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иналит* [1996] и премии имени Жуковского [2002].

Автор книги *Перед лицом правды* [1987]. В его переводах издавались романы и повести *Короткое письмо к долгому прощанию* П. Хандке, *Искра жизни* Э. М. Ремарка, *И больше ничего желать* А. Мушга и др. В *ИЛ* напечатаны его переводы *Под конвоем заботы* Г. Бёлля [1988, № 11, 12], *Другой процесс* Э. Канетти [1993, № 7], *Медея. Голоса* К. Вольф [1996, № 1], *Собачьи годы* Г. Грасса [1996, № 5—7], *Земля обетованная* Э. М. Ремарка [2000, № 3], *Завет* Г. Бёлля [2001, № 1], *Билленбрак* К. Хайна [2001, № 7, 8], *Письма Ф. Кафки Фелиции Бауэр* [2003, № 2], книга У. Тимма *На примере брата* [2004, № 11] и др.

Андрей Владимирович Чистяков
[р. 1986]. Переводчик с немецкого, аспирант МГУ.

В *ИЛ* в его переводе опубликована.статья Ш. Мастера *Финская литература сегодня* [2009, № 9].

Марк Абрамович Белорусец
[р. 1943]. Переводчик с немецкого. Лауреат премии Андрея Белого [2008].

В его переводах опубликованы поэтические сборники *Стихотворения* П. Целана [1998], *Попытка чтения* Ю. Шуттинга [2000], воспоминания М. Шпербера *Напрасное предостережение* [2002], а также произведения Г. Айха, Г. Тракля, Р. Музиля, Г. Мюллер, Б. Кальфа, Э. Аксман и др. Составитель [вместе с Т. Баскаковой] и переводчик книги *Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма* [2008]. В *ИЛ* в его переводах напечатаны стихи П. Целана [2005, № 4].

Борис Николаевич Хлебников
[р. 1943]. Переводчик с немецкого, французского и английского языков, журналист, публицист. Лауреат премии *Иналит* [2003], премии имени Жуковского [2006].

В его переводе публиковались немецкие народные песни и баллады, песни Ж. Брассанса, стихи У. Дж. Смита и Р. Фроста, роман Б. Шлинка "Чтец". В *ИЛ* напечатаны его переводы стихов Х. Ведера [1985, № 6], Э. Фрида [1987, № 10], Г. Грасса [1983, № 10; 1988, № 4], повести *Чужой друг* К. Хайна [1987, № 1], романов *Книга царя Давида* [1990, № 4, 5] и *Агасфер* С. Гейма [1994, № 9], новеллы *Траектория краба* Г. Грасса [2002, № 10], главы из книги *Луковица памяти* Г. Грасса [2008, № 3] и др., статья *Феномен Грасса* [2007, № 1].

Ирина Сергеевна Алексеева
Переводчик с немецкого. Профессор кафедры перевода РГПУ им. Герцена, проректор по науке Института иностранных языков Санкт-Петербурга, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода РГПУ им. А. И. Герцена.

Автор ряда книг по теории перевода и методике обучения переводчиков, в частности *Теория перевода* [1998], *Устный перевод. Немецкий язык* [2002], *Введение в переводоведение* [2004], *Текст и перевод* [2008], а также более ста научных статей. В ее переводе публиковались произведения Л. Тика, Э.-Т.-А. Гофмана, Г. Келлера, Г. Гауптмана, Г. Тракля, Г. Гессе, Г. Броха, Р. Музиля, Г. Бёлля, З. Елинек и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ксения Яковлевна Старосельская
Переводчик с польского, лауреат премий *ИЛ* [1986], польского ПЕН-клуба [2004], польского Института Книги *Трансатлантик* [2008].

В ее переводе издавались произведения Г. Сенкевича, Я. Ивашкевича, М. Хараманьского, Т. Конвицкого, В. Шимборской, Т. Новака, В. Мысливского, С. Хвина, Г. Кралль, Е. Анджеевского, М. Хласко, Е. Пильха, О. Токарчук и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы романов Т. Новака *Черти* [1975, № 3—4], В. Мысливского *Камень на камень* [1986, № 7—9], М. Хласко *Красивые двадцатилетние* [1993, № 12], С. Хвина *Ханемон* [1997, № 12], П. Хюлле *Касторп* [2005, № 12], повестей Е. Анджеевского *Врата рая* [1990, № 1] и Э. Ментцеля *Все языки мира* [2006, № 10], теленовелл Т. Ружевича *Телетрендели* [2006, № 8], фрагментов из книги Я. Андермана *Фотографии* [2006, № 8], рассказа Я. Ю. Щепанского [2008, № 3], рассказов Е. Пильха [2009, № 2], фрагментов книги В. Шимборской *Литературная почта, или Как стать/не стать писателем* [2009, № 7] и др.

Журнал “Иностранная литература” выходит 10 числа каждого месяца.
Для регулярного получения нашего журнала вы можете оформить текущую подписку.
Оплату подписки необходимо произвести в любом отделении банка не менее чем за 10 дней до выхода подписного номера.
Подписка производится только на территории Российской Федерации.
Стоимость подписки включает почтовую доставку до почтового ящика.

Для оплаты подписки вырежьте и заполните прилагаемую квитанцию
или воспользуйтесь ксерокопией.
При заполнении разборчиво укажите название организации, получателя,
почтовый индекс, адрес доставки, количество номеров, а также сумму вашего заказа.
Стоимость одного номера — **210** руб.
Стоимость комплекта (полгода) **1260** руб.
Копию квитанции необходимо отправить:
по факсу **785-14-76**
или по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Напоминаем, что журнал выходит 6 раз в полугодие.
Оплату по этой квитанции необходимо произвести до 10 числа предыдущего месяца
(есть возможность оформления подписки с № 7 2009 года).

При оплате платежным поручением, необходимо отправить заявку на подписку и затребовать счет к оплате любым удобным способом:
по телефону **(495) 921 25 52**
по E-mail **pretenz@rosp.ru**

Почтовый адрес для писем по вопросам подписки:
123995, Москва, пр-т Маршала Жукова, 4, Агентство “Роспечать”, Отдел прямой подписки.

ИЗВЕЩЕНИЕ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: ______ ФИО: ______ Адрес для доставки: ______ ______ ***Подписка на журнал «Инстранная литература»*** ***на______ номеров 2009г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):
КВИТАНЦИЯ КАССИР	**ОАО Агентство"Роспечать"** ИНН 7734006150 р/с № 40702810100020001342 Сбербанк России г. Москва К/с 30101810400000000225; БИК 044525225; КПП 773401001 Организация: ______ ФИО: ______ Адрес для доставки: ______ ______ ***Подписка на журнал «Инстранная литература»*** ***на______ номеров 2009 г.*** **Сумма, руб.** Плательщик (подпись):

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Роя Лихтенштейна [1923–1997] *Руины* [1965].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая");
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.09.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 1344.
Тираж 6 600 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Поздравляем нашего постоянного автора

Бориса Владимировича
Дубина,

социолога, переводчика, преподавателя социологии культуры в Институте европейских культур РГГУ, руководителя отдела социально-политических исследований Аналитического центра Юрия Левады,

с присвоением ему звания

Кавалера национального ордена Франции *За заслуги*
[*L'Ordre national du Mérite*].

---

[11] 2009

БЫТЬ ИНДИЙЦЕМ В XXI ВЕКЕ: РОМАН ШАШИ ТХАРУРА "ПОГРОМ" / РАССКАЗЫ САЛМАНА РУШДИ, АРАВИНДА АДИГИ И АМИНА КАМИЛА / "ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ" / "АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОЗА": "НЕ СОВСЕМ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" БАБИ ХАЛДАР / АМАРТЬЯ СЕН И ПАВАН ВАРМА В РУБРИКЕ "СТАТЬИ, ЭССЕ" / "NB": СЕРГЕЙ АРУТЮНОВ О КНИГЕ СУДХИРА КАКАРА "ЦВЕТА НАСИЛИЯ"

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2009, №10, 1-288

ISSN 0130-6545
09010
9 770130 654770